

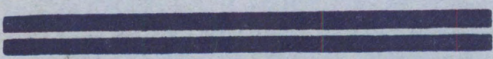
|| 1 ||

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ МИР

|| 1974 ||

||



1974

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания L

№ 1

Январь, 1974 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА — <i>Вашим, товарищ, сердцем в именем...</i>	3
ВАЛЕРИЙ КРАСКО — <i>Костры</i> , стихи	10
МЭРИ КРУС — <i>В Мавзолее</i> , стихотворение. Перевел с испанского П. Грушко	12
ЛЕВ ОЗЕРОВ — <i>Далекая слышимость</i> , стихи	14
ВИТАУТАС БУБНИС — <i>Три дня в августе</i> , роман. Перевел с литовского Виргилиос Чепайтис	17
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — <i>Без метафор</i> , стихи	66
ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ — <i>Двенадцатая буровая</i> , повесть	72
ФЛАННЕРИ О'КОННОР — <i>Рассказы</i> . Перевели с английского М. Кан. Л. Беспалова, Андрей Кистяковский. Послесловие В. С. Муравьева	108

НА ЗЕМЛЕ АЛТАЙСКОЙ

А. ГЕОРГИЕВ — <i>Двадцатый хлеб Алтая</i>	154
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — <i>Мы привыкли</i> , стихотворение	165
БОРИС УКАЧИН — <i>Малые народы</i> , стихотворение. Перевел с алтайского Илья Фоянков	166
АНАТОЛИЙ ПРОХОРОВ — <i>Две елочки следа...</i> , <i>Марал</i> , стихи	167
ОЛЕГ СМИРНОВ — <i>Василий Тимофеевич</i>	169
МАРК ЮДАЛЕВИЧ — <i>Дождь</i> , стихотворение	192
НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ — <i>Павфилово</i> , стихотворение	193
ЭРКЕМЕН ПАЛКИН — <i>Раздумья</i> , стихи. Перевели с алтайского А. Смер- дов и Михаил Синельников	194
ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА — <i>Эстафета</i>	196
АРЖАН АДАРОВ — <i>Партийный билет</i> , стихотворение. Перевел с алтай- ского Илья Фоянков	207

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
АЛЕКСАНДР ТЕПУКОВ — Жаворонок, стихотворение. Перевел с алтайского Илья Фоянков	209

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ — Духовные ценности: мифы и действительность. Полемические заметки	211
ВАДИМ КОВСКИЙ — «Будь заодно с гением...» Личность писателя и позиция критика	232

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	250
Г. Цурикова. Мудрость движения.— И. Роднянская. «А душу можно ль рассказать...» — Л. Михайлова. Вчера и сегодня.	
<i>Политика и наука</i>	265
Е. Соловей. Пламенный революционер.— Олег Мороз. Освоение науки.— В. Орлов. В море — значит, дома.— В. Турбин. Тайна или секрет?	
КОРОТКО О КНИГАХ — Г. Петрова.— Анар. Круг. Библиотека «Дружбы народов». ♦ Юрий Алянский.— Лазарь Маграчев. Сюжеты, сочиненные жизнью. ♦ Н. Бонецкая.— Макс Фриш. Штиллер. Роман. ♦ Игорь Мотяшов.— Николай Яновский. Голоса времени. Н. Яновский. Лидия Сейфуллина. Критико-биографический очерк. ♦ В. Жданов.— А. Аникст. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. ♦ И. Браинин, С. Маглакелидзе.— Яков Кривенок. Бора. Роман. ♦ А. Т. Якимов.— В. С. Познанский. Сибирский красный генерал	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА

★

ВАШИМ, ТОВАРИЦ, СЕРДЦЕМ И ИМЕНЕМ...

...вашим,
товариц,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!..

(В. Маяковский, «Разговор с товарищем Лениным»)

Ленин жил. Ленин жив. Ленин будет жить. Это чувство с нами всегда. Множество впечатлений и встреч утверждают его каждодневно, иногда в проявлениях неожиданных и потому особенно сильных и ярких.

Прошлой осенью я была во всероссийском пионерском лагере «Орленок». Расположенный по берегу широкой бухты, где мелкое песчаное дно гасит даже многобалльные штормы и море чаще тихо лежит или плещется слабо, «Орленок», окруженный горами, как бы выплывает из них — белые здания с палубами и кормой подобны кораблям.

У каждого отряда в лагере есть свое имя и свое задание.

Я пришла в отряд «Патрули революции». Семь лет назад в «Орленок» приехали гости. Пионеры из школы № 1 города Ульяновска. Они рассказывали о гимназических годах Володи Ульянова, о парте, за которой он сидел, об актовом зале, где он держал выпускной экзамен в день, когда узнал про казнь брата, о чем сообщения были расклеены по всем улицам на фонарных столбах.

И в лагере «Орленок» образовался новый отряд, был основан музей имени В. И. Ленина, принят девиз: «Идти дорогами ленинской мечты».

Плодоносные колхозы Краснодарского края — рядом с «Орленком», и вдалеке — на Урале, Алтае, в Сибири — города с бесчисленным числом новых домов, тысячи новых заводов, гигантская Красноярская ГЭС, перед которой малюткой выглядит вызывавший когда-то надежды Владимира Ильича Волховстрой, и еще, и еще, и еще чудесно молодое — оглянитесь, увидите! — ведь все это и есть дороги ленинской мечты.

Так говорила мне пионервожатая отряда «Патрули революции» Зина, круглолицая, чуть курносенькая, милая девушка из деревни Ивакино Костромской области.

— Я тоже с Волги, — смущаясь и радуясь, говорила она. — Мы воодушевляем пионеров, стараемся воспитывать их верными ленин-

ской мечте, идеалу, понимаете... Как я люблю его! Знали бы вы, как я его люблю!

Она говорила о Ленине как о живом, по-детски трогательно при- тиснув руки к груди. Она любила его, живого. «Ленин жив. Ленин бу- дет жить».

21 января 1924 года в шесть часов пятьдесят минут вечера в Гор- ках скончался Владимир Ильич. Пять дней и пять ночей бесконечны- ми вереницами двигались люди к Дому союзов, где лежал он в гробу, покрытом красными знаменами, утопая в цветах.

И в эти скорбные дни на экстренном заседании пленума ЦК комсомола имя Владимира Ильича было присвоено пионерской орга- низации. Первая общественная организация, которой навечно было дано имя Ленина.

Закрылись глаза Великого человека, вдохновенно и зорко виде- шие завтрашний день.

Символично и знаменательно то, что этот завтрашний день — пионерия — назван был ленинским. Ему посвящен. Ему присягнул дорогой Ленина идти.

Нет нужды убеждать, как важно, когда в душе человека с детства живет Идеал.

В воззвании пленума ЦК комсомола 24 января 1924 года, полным горестной боли об ушедшем вожде и гордой веры в победу его высо- кого дела, заключался страстный призыв: «Все пролетарские дети должны знать жизнь и борьбу Ильича».

В наши годы как никогда дети и взрослые, советские люди и люди социалистических стран, дружественные нам люди из стран капиталистических и народы, сбросившие цепи колониализма, как ни- когда изучают, знают, любят жизнь Ильича!

На Всероссийском совещании по детской литературе в марте 1973 года учителя, библиотекари, писатели приводили поражающие факты постоянного, повседневного, любовного общения детей и юно- шества, пионеров и комсомольцев с Лениным. Сотни посвященных Ленину школьных музеев, поистине широчайший размах движения красных следопытов, изучающих пути ленинского труда и борьбы, ху- дожественная и публицистическая Лениниана, книги, графика, музыка.

Ленин не раз говорил об огромном воздействии искусства, формирующего рядом с политической пропагандой человеческую душу.

Гляжу на мой любимый рисунок Н. Жукова «Аппассионата» и ви- жу Ленина живого, слышу вместе с ним дивную музыку, наслаждаюсь и, главное, главное, как пионервожатая Зина, как миллионы людей, люблю Ленина, его нежное, щедрое, верное сердце.

Могучую волю, беспощадную трезвость революционной практики и пламень мечты, разум, и сердце, и непримиримость к врагам револю- ции — вот что оставил Владимир Ильич в наследие созданной им Коммунистической партии.

Мне кажется, в день 1 марта 1973 года, когда начался обмен пар- тийных документов и Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев подписывал новый партийный билет Владимира Ильича за номером первым, все присутствовавшие при этом руководи- тели партии и государства и все, кто смотрел это на экранах телеви- зоров и на следующий день видел в газетах запечатленный фото знаменательный час, каждый по-своему с волнением чувствовал и ду- мал именно это.

Думал о том, что ленинские идеи, биение ленинского горячего серд- ца живут и всегда будут жить в делах и свершениях партии и народа.

Как прекрасно, что на партийном билете отныне навсегда — изображение Ленина и проникновенные слова его: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи».

Снова как живой говорит нам Ильич о величайшей миссии, возложенной историей на советский многонациональный народ, — о построении коммунизма.

Коммунистическое отношение к труду настойчиво, непрестанно внедряется партией в сознание и поведение народа. Всесоюзный коммунистический субботник 21 апреля 1973 года в ознаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича — убедительное тому доказательство.

Как давно это было и как близко, недавно, когда 1 мая 1920 года Владимир Ильич сам принимал участие во Всероссийском субботнике! Когда возле древней Царь-пушки в Кремле выстроились курсанты, ожидая команды начальника курсов, чтобы приступить к очистке Кремлевской площади от хлама и мусора, Владимир Ильич в стареньком пиджаке и кепке, серьезный и вместе радостно-оживленный, быстро подошел и по-военному отрапортовал командиру:

— Поступаю в ваше распоряжение.

И таскал с курсантами бревна. И шутил. И работал до усталости. И был счастлив, потому что угадал небывало новое: героические черты в бесплатном, по доброй воле труде рабочих на общую пользу, назвав Великим почином первый субботник железнодорожных рабочих Московско-Казанской железной дороги.

«Прямо-таки гигантское значение» придавал Ленин устройству рабочими коммунистических субботников, «ибо это — победа над собственной косностью, распушенностью, мелкобуржуазным эгоизмом... Когда эта победа будет закреплена, тогда и только тогда новая общественная дисциплина, социалистическая дисциплина будет создана... коммунизм делается действительно непобедимым».

Изумляясь необычайно разносторонним свойствам ленинского интеллекта, нельзя не удивиться особенно тому чувству нового, тому угадыванию и предугадыванию нового, какими Ленин был бесконечно одарен, и это пронизывало глубокой революционностью всегда всю его деятельность.

С самого начала, с первых шагов.

Приезд Владимира Ильича в Петербург осенью 1893 года означал поворот к тому новому в рабочем революционном движении, что в конечном счете приведет страну к двадцать пятому октября тысяча девятьсот семнадцатого.

Как часто гениальность проста! Петербургские марксисты той поры, по преимуществу студенты, молодые просвещенные люди, занимались в конспиративных кружках изучением «Капитала» и материалистической философии Маркса, но никто не догадался о том, что для Владимира Ильича было совершенно очевидно и ясно. Соединение марксизма с рабочим движением, то есть «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» — вот первоочередная, насущная цель. Открыты пути, средства, задачи борьбы.

Не пройдет и двух лет — сотни передовых рабочих будут охвачены и объединены «Союзом борьбы», из числа их вырастут Бабушкины, Шелгуновы, Калинины, сила партии, гордость ее.

Владимир Ильич очень большое значение придавал «Союзу борьбы» не только в пору его организации, но и в последующие, даже послереволюционные годы.

Г. М. Кржижановский рассказывает. В 20-х годах происходил обмен партийных билетов. Утром, как полагается, Глеб Максимилиано-

вич приходит в райком. Ему вручают заготовленный для него новый партийный билет, где дата вступления в партию обозначена 1893 годом.

— Как? Ведь партия создана... — смущенно и чуть недоумевая говорит Кржижановский.

Что же оказывается? Вчера звонит Ильич, говорит, что Кржижановский известен ему много лет как честный и преданный коммунист, что он, Ульянов-Ленин, ручается за него и подтверждает год вступления в партию: 1893-й.

Сколько бы ни случилось Глебу Максимилиановичу знать и быть свидетелем активного, горячо внимательного отношения Ленина к людям, снова он до волнения растроган!

«Смел и отважен» — кратко, с пронзительной, самой этой краткостью подчеркнутой силой скажет о Владимире Ильиче Н. К. Крупская. Смел и отважен, создавая в каменном, наводненном чиновниками и жандармами Санкт-Петербурге первое в мире вооруженное революционным марксизмом рабочее движение.

Смел и отважен, когда в шушенской избе под свист и вой студеных метелей пишет работу «Развитие капитализма в России», о которой издательница ее Водовозова так отзовется: «Эта книжка раскодится с невероятной быстротой... Нельзя читать эту книгу без самого захватывающего интереса».

Каждый день, каждый час жизни смел и отважен!

Когда гордые качества — отвага, боевитость, идейность — соединены с гениальностью, это и есть наш Ленин. Четверть века гигантского труда нашего Ленина привели партию и рабочий класс к победе.

«Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Материализм и эмпириокритицизм», «Государство и революция» — только малая часть созданного Владимиром Ильичем в эти огромные четверть века.

Молодое поколение нашей страны, не знавшее с детства нужды, не видавшее нищих с сумой, что когда-то понуро брели от села к селу за куском, наши юноши и девушки должны знать, как жил Ленин в годы, когда отдавал без остатка подготовке революции все свои силы и гений.

Чье сердце не забьется с тревогой и болью, читая письма Ленина периода его швейцарской эмиграции в 1916 году: «О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем... Если не наладить этого (заработка.—М. П.), то я, ей-ей, не продержусь, это вполне серьезно, вполне, вполне».

Работал в ту пору Владимир Ильич над важнейшими произведениями и совсем недавно закончил глубоко научное исследование «Имперализм, как высшая стадия капитализма».

А скоро в послесловии к первому изданию книги «Государство и революция» Ленин скажет, что продолжение книги, «пожалуй, придется отложить надолго; приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

Опыта пролетарской революции не было, кроме героической попытки парижских коммунаров, восстание которых безжалостно задавила буржуазная реакция. Теперь опыт пролетарской революции «проделывала» большевистская партия под водительством Ленина.

Мысленно вижу то первое утро нового государства, когда солнце, забежавшее в комнату Владимира Ильича, осветило на письменном столе только что начертанные торжественные слова: «Декрет о земле».

Слышу первую речь перед народом главы правительства товарища Ленина. О мире. О новой жизни. О власти рабочих и крестьян.

Вместе с делегатами и недеlegatesми съезда — матросами и рабочими, солдатами и крестьянами стоя слушаю эту речь.

Молодые люди всей земли, помните, Советское государство устами Ленина в первый день возвестило: миру — мир.

Пять лет работы Ленина над созданием нового общества, все впервые, все небывало, — и одновременно отражение яростного нашествия интервентов и внутренней контрреволюции, рвущихся задуть Коммунистическую партию, рабоче-крестьянскую власть.

Чудом можно было бы назвать те стремительные и необычайные годы, если бы не были они реальной действительностью.

Жизнь и творчество Ленина — подвиг. В ней бывали, и нередко, страницы, достигавшие предела героической красоты, драматизма и беспримерного мужества.

Первый съезд Советов СССР 30 декабря 1922 года, объявивший создание Союза Советских Социалистических Республик, так долго и страстно подготавливаемый Лениным, проходил без него. Ленин болен. Но душа его там, весь он там, в сверкающем зале Большого театра. Партии, советскому народу обращает Ленин последние напутствия.

Выпало перо из руки. Он диктует. Огненное сердце, гениальную мысль и предвидение вкладывает Ленин в статьи — завещание, оставляя партии, рабочему классу, потомкам стройный план построения социалистического общества.

Разумеется, дело создания Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства даже ленинский гений был в силах свершить лишь в сообществе и дружбе с товарищами, единомышленниками, помощниками, делившими с ним его идеи и планы, смертельные опасности битв с врагами и счастье побед, его мужество и ежедневный, кропотливый, тяжелый труд.

У Ленина были, есть и будут, пока существуют капиталистические государства, враги. И несравненно и несопоставимо больше было, есть и будет друзей! Все лучшее, что есть в человечестве, — с Лениным.

А как богат был при жизни преданными революции, талантливыми друзьями Ленин! «Человеком-магнитом» называл Владимира Ильича близкий ему с молодых лет Глеб Максимилианович Кржижановский.

А Надежда Константиновна Крупская, оставившая поистине бесценные воспоминания о Владимире Ильиче и письма о нем, где так просто, так глубоко и лирично создает его человеческий образ, раскрывает в Ленине то, что делает его магнитом.

«У Владимира Ильича был всегда большой интерес к людям, бывали постоянные «увлечения» людьми. Подметит в человеке какую-нибудь интересную сторону и, что называется, вцепится в человека... И обычно под влиянием вопросов Владимира Ильича, заражаясь его настроением, люди, сами того не замечая, развертывали перед ним лучшую часть своей души... Они невольно как-то поэтизировали свою работу, рассказывая о ней Ильичу. Страшно увлекался Ильич людьми, страшно увлекался работой. Одно с другим переплеталось».

Вы читаете эти строки, не содержащие ни восклицательных знаков, ни единого громкого слова, напротив, предельно скромные и точные, и вновь испытываете прилив нежности и благодарной любви к Ленину. И радость. Отчего вам радостно? Отчего вам хочется на какое-то время оставить, отодвинуть от себя все обыденные, будничные дела и заботы? Светло на душе. Вы любите Владимира Ильича, Человека. Гордитесь им.

Меня всегда как-то особенно пленяет в Ленине — меня все в нем

пленяет! — но есть один штрих, одно качество его щедрой и могучей натуры, которое кажется мне особенно драгоценным в человеке, драгоценным в вожде.

Г. М. Кржижановский это качество наблюдал долгие годы дружбы, революционной борьбы и общей работы с Лениным:

«Если мы скажем, что Владимир Ильич всегда стремился окружить себя людьми большого таланта и волевой энергии, то этого будет мало. Он положительно готов был «ухаживать» за такими людьми, радовался их успехам, прощал им порой многие «слабости», которые, казалось бы, не могли ускользнуть от его зоркого взгляда».

Таланты, воли, умы и сердца искал, находил, объединял вокруг себя, мобилизовывал и вел к действию Ленин для одной цели, великой цели — революционного преобразования общества.

Полвека после Ленина продолжают его дело ленинская партия, советский народ.

Полвека! — суровые, тяжкие, героические, победные, гордые.

Доклады Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, по воле и поручению партии выступавших на XXIV партийном съезде, нарисовали широкую картину достигнутого, начертали грандиозные планы на будущее.

Грандиозные, а советскому народу по силам.

Прошедшие после съезда годы о том говорят.

В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве — во всех областях жизни нашей страны ленинская партия ведет советский народ ленинским курсом к ленинским целям.

1 мая 1920 года Владимир Ильич работает со всеми на Всероссийском субботнике. После говорит речь на закладке памятника Карлу Марксу на Театральной площади. После... За один день Владимир Ильич выступает шесть раз в разных аудиториях разных районов. Шесть раз! Среди этих выступлений одно, наверное особенно радостное Ленину, было на открытии Рабочего дворца в Благуше-Лефортовском районе Москвы. Близится конец гражданской войны, скоро мы вздохнем полной грудью, начнем залечивать раны и строить, строить... И вот уже открывается первый рабочий дворец.

Всем известны слова Ленина о культуре, всем известен призыв: учиться! Ленин сказал: «...учиться мы будем и научимся».

Вы можете приехать теперь в любой областной город и непременно встретите один или несколько вузов. Снилось ли такое дореволюционным Воронежу, Рязани, Курску, Костроме, Ярославлю, Орлу? Вы приезжаете в любой столичный город союзной республики и встречаете Академию наук, научные институты, коллективы ученых, творческие союзы...

Вы можете посетить театр оперы и балета не только в столичных Тбилиси, Ереване или Киеве, но в Новосибирске, Челябинске, Свердловске, а филармонии — почти всюду. Поезжайте за Полярный круг, в город Нарьян-Мар Ненецкого округа, или селение Заюково у начала Баксанского ущелья Кабардино-Балкарской АССР, или... не стану перечислять, перечисление только виденных собственными глазами в городах и селах дворцов культуры, музеев и клубов заняло бы слишком много места. И в развитии культуры партия твердо ведет нас ленинским курсом к ленинским целям.

«Верный путь к достижению этих целей — труд, труд и еще раз труд, вдохновенный, умелый, хорошо организованный труд советских людей, своими руками строящих свою жизнь. Человек — обществу, общество — человеку», — сказал при вручении Узбекской ССР ордена Дружбы народов Леонид Ильич Брежнев.

Необходимейшее, главнейшее условие возможности и прочности творческого труда, а с ними благополучия и счастья людей — мир во всем мире.

Наша Коммунистическая партия и Советское правительство мудро ведут международную мирную политику. Это признано всеми, даже враги не смеют этого отрицать.

Мы живем в международной обстановке, новой и сложной, благоприятной и одновременно трудной.

Новизна и благоприятность в том, что мы не одни, рядом социалистические страны — друзья, и миллионы разбуженных народов во всех частях света; в том, что ленинский принцип мирного сосуществования государств независимо от их социального строя завоевывает все больше сторонников, постепенно становится общепринятой нормой международной жизни.

Сложность и тяжесть — в алчных стремлениях империалистических заправил любыми средствами (вплоть до атомной бомбы) к наживе; в фашистских зверствах чилийской военной хунты; в опасных событиях на Ближнем Востоке; в поведении китайских руководителей, направленном против прогрессивных, радующих перемен в международной жизни.

Против угроз врагов и агрессоров, на счастье народам твердо стоит Советский Союз.

В дни празднования пятидесятилетия Союза Советских Социалистических Республик, созданного гением Ленина, торжественно и с волнением сказал Леонид Ильич Брежнев: «Прошло полвека... Советский Союз верен знамени социализма и мира, которому присягнул в час своего рождения».

И дальше: «Всем этим по праву гордится каждый советский человек, все сыновья и дочери нашей великой многонациональной Родины, «всяк сущий в ней язык».



ВАЛЕРИЙ КРАСКО

★

КОСТРЫ

В ту ночь простуженно хрипели
Гудки, гудки со всех сторон,
По всей стране костры горели...
Мираж? Смещение времен?
Я спал, мне снилось: по аллеям,
Вливаясь в сотни большаков,
Брели костры,
И скрип шагов,
И громкий шепот: «Умер Ленин...»

Зачем задолго до рассвета
Тот шепот разбудил меня
И по бессонному портрету
Скользили отблески огня?
Зачем теперь? Ведь это было
Давно, десятки лет назад:
Январской вьюгой гасило
Костры — и все-таки горят!

Уж сколько раз в моих раздумьях
Он падал, вражескою пулей
Впотьмах сраженный наповал,
Уж сколько раз казалось — «умер».
Он никогда не умирал!
И вновь из тьмы вздымалось пламя,
И превращалась в пар вода,
И вновь гремело: «Ленин с нами!»,
И вновь горело: «Навсегда!»

Горят костры по всей планете.
Мы — костровые.
Мы — в ответе.

В МУЗЕЕ ЛЕНИНА

...Троньте губами ласково
Алого флага шелк,
Который когда-то галстука
Свет на груди зажег,
И ощутите зарево
Тех — зоревых — костров,
И прошепчите заново
Клятву: «Всегда готов!»

МЭРИ КРУС

(Куба)

★

В МАВЗОЛЕЕ

С испанского

Звон курантов льется над площадью,
отдается в сердцах.
Мне ли это не знать, если он
отдается и в моем сердце!
Все ближе чеканный шаг часовых.
Толпа напряглась, замерла.
Три солдата в серых шинелях.
С последним ударом —
смена караула.
Я прохожу в мавзолей
под пятью буквами твоего имени.
Тишина.
За дверьми остались обрывки слов,
вокруг меня безмолвные люди
в почтительном молчании
идут вдоль траурных стен.
В тихом сумраке я чувствую
касание чужой одежды,
слышу шаги неспешной процессии.
И внезапно — свет,
не похожий ни на какой другой,
исходящий от стеклянного надгробия.
Он — здесь. Словно уснул,
сомкнул веки.
Люди замедляют шаги.
Каждый из молчаливых борется
за лишнее мгновение.
Вот он. Такой же, как на портретах,
словно сейчас на миг очнется
и что-то нам скажет.
Сейчас его профиль слева.
Да, это он. Я знаю на память его черты,
я могла бы воспроизвести их
с закрытыми глазами.
Если бы я могла рисовать!
Безмолвная цепочка застыла,
движется медленней медленного.
Я сама медлю.
Вот я уже у изножья. Смотрю в его лицо.

Необычный свет, излучаемый его телом,
преображает темноту.
Ничего нет, только он и мой взгляд.
И мое волнение, и мысль:
есть ли революционные молитвы
для подобных мгновений?
Для человека, который жив
в многократном мятеже дней?
Для человека, который трудится идеями
и руками двухсот пятидесяти миллионов
своих соотечественников
на благо своей родины и всего мира?
Я хотела бы остановиться, но поток движется
и несет меня.
Уже я его не вижу.
И вновь отделяются от безмолвия
касания чужой одежды
и гул теперь уже более быстрых шагов.
Снаружи утро,
октябрьское солнце.
Ели, похожие на часовых,
мемориальные доски на стене и на земле —
имена героев и бюсты с надписями, цветы...
И внезапный поток голосов,
словно прорвавший плотину.
А я все еще — тишина,
все еще — молчаливая дума.
Жизнь кипит вокруг,
поет.

Перевел П. ГРУШКО.



ЛЕВ ОЗЕРОВ

★

ДАЛЕКАЯ СЛЫШИМОСТЬ

* * *

Присутствие Волги я чувствую даже во мгле.
Дыханье ее догоняет меня на земле,
И в небе меня догоняет ее синева.
В забое, на горных вершинах сияет, жива.
Далёко отъехал, а ветер ее наливной
За мною вдогонку, по следу за мною, за мной.
Присутствие Волги не только лишь в роще сырой —
В горячем цеху, где ковши заливают зарей.
Мне Волга — не только идущая к небу река.
Она — горизонты России. Былины. Века.

* * *

Воз, полный сена воз
Плывет. Начало лета.
Сверкание стрекоз
И стрекотанье света.

Плывет на склоне дня
На близком расстояньи,
Плывет мимо меня
Воз как воспоминанье.

Спешил, а вот — стою.
Бежал, а вот мне надо
У детства на краю
Побыть хоть миг — отрада!

Медвяный, земляной,
Цветочный и душистый,
Он умеряет зной,
Тот запах детства чистый.

Как снова мир запах!
О, как благословенна
Соломинка в зубах
И сладкий запах сена!

* * *

Река-мастеровой
Проносит на спине
Набитый синевой
Мешок, на самом дне —
Огромный медный таз,
Слепящий нам глаза.
Опущен в воду вяз
И дуб, и полоса
Рассвета в Жигулях.
Рабочая река.
На медленных плотах
Идут ее века.
Средь сизой синевы,
Судов, ракет, огней —
Бурлацкой бечевы
Глубокий след на ней.

* * *

Еще не вечер, моя родная,
И рано лампу нам зажигать.
Что скажут людям — о том не зная,
Ложатся строки в мою тетрадь.

Пока не стали воспоминаньем
И этот голос и этот шаг,
Беру мгновенье как достоянье,
Что много больше всех в мире благ.

Скажу по правде: а мед с горчинкой,
А жизнь не в радость была порой,
Но за поэтом не под сурдинку,
А громко звал я ее сестрой.

Пускай не в спину — в грудь дует ветер,
Пускай нам трудно порой идти,—
Моя родная, еще не вечер,
Еще не видно конца пути...

* * *

Яблоко падает не в траву,
Яблоко падает в тишину.
Звук глухой плывет в синеву,
Снизу плавно идет в вышину.

Вдохнула яблоня тяжело,
Страхнула слезу, поглядела вокруг
И увидала: совсем рассвело,
А звук, он все еще длится, звук.

А звук, он все тянется, как струна,
От яблока до небес,
И как ни старается тишина,
Тот звук до сих пор не исчез.

Проходящие поезда,
Вы верны своему маршруту.
Круглосуточная страда
Не смолкает ни на минуту.

Лишь один прогудит во тьму,
Как второй гудит над поляной.
В центре мира, видать по всему,
Полустанок, пока безымянный.

Я сюда прихожу иногда
И люблю такие мгновенья:
Проходящие поезда —
Как идущие поколенья.



ВИТАУТАС БУБНИС

★

ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ

Роман

Сколько раз проходил сегодня этой тропой и даже не поднял головы, не огляделся в саду... А бывало ли утро, чтоб он не проведаль каждую животину да не поговорил с ней? «Совсем уж в детство впал», — смеется жена. Пускай ее смеется, за свой долгий век Марчюс Крейвенас ко всему притерпелся.

Как выведешь корову на выгон, не почесав ее меж рогов да не посетовав, что трава скудная, а тростник на берегу озера загрубел, уже не накосишь коровушке на обед? И поросенку приносишь полные пригоршни подгнивших паданцев и бросаешь в загородку — ешь, хрумкай, кисленькое — хорошо. И мимо собаки не пройдешь, не спросив: почему ночью спать не давала, все гавкала? И петуху скажешь: хо-хо-хо, на те зерна прошлогоднего, а то нынче неизвестно что будет, такая сушь... И пчелам, облепившим летки ульев... Сегодня утром не остановился в саду, а то бы заметил... Ах, Стяпонаса он проводил глазами по этой садовой тропе, и сердце сжалось, так заныло, что опустился на лавку у забора и сидел, пока жена не ткнула кулаком в спину: «Совсем уж...» Очнулся, осовело уставился на нее.

— Стяпонас... — проговорил.

— Корова сорвалась. Зову, не дозовусь.

Марчюс долго глазел на жену, не понимая, о чем это она, потом сообразил наконец, что его обругали, встал и поплелся в кусты искать корову.

Стутуясь, пролезает под ветвями яблони. Человек ты мой! Еще вчера легали как миленькие, весь сад так и звенел, словно пульки вжикали через озеро (он плавал за травой на тот берег и видел). А теперь — лежат у летка мертвые: одни вытянулись, раскинув крылышки, — пытались взлететь, да не смогли; другие скорчились словно от боли, держатся лапками за брюшко. И на доске около улья полным-полно их. Пчелка-другая ползает еще, но через силу, как-то омертвело. Взлетит и тут же упадет в траву. Реденькая, сожженная солнцем трава полна пчел, и Марчюс Крейвенас пятится... пятится, он боится наступить даже на мертвую пчелу.

Подходит к накрытой еловой лапой колоде. Ветхий улей, но дружная семья в нем жила — большая и работающая. И тут... На летке словно запекшиеся капли крови. Даже когда немцы отступали, а над головой завывали снаряды, Крейвенас не бросил старый улей — сложил пожитки на телегу, похватав на скорую руку что придется, потом остановил лошадей на проселке около сада и сказал старшему сыну Миндаугасу — пошли!.. Был поздний вечер. Крейвенас нарвал травы, заткнул ею леток улья и, вместе с сыном обхватив живую жужжащую

колоду, принес и поставил на телегу. Жена вскипела, обозвала половомком, пыталась вывалить наземь «эту гниль», но Крейвенас отмотал вожжи с колышка и хлестнул лошадей. На опушке леса, куда съехалась вся деревня, чтобы переждать страшную бурю, отнес улей подальше, поставил под сосной, сел рядом с ним в изнеможении и посмотрел на беспокойное, плакающее небо. Соседи пожимали плечами, словно поверив воплям его жены: «Господи, тронулся муженек, вконец спятил! Столько добра бросил, а эту гниль приволок...»

— Человек ты мой...— вздыхает Крейвенас тяжело, до боли в сердце.— Никак мор напал...

— Огурцы полил?

Жена стоит за забором, у вишенника, нагнув зеленую ветку.

— Чего тут присох?.. Отец!

— Слышу...— мямлит он, давась терпкой слюной.

— Полил?

— Полил.

— Чего ж стоишь?

— Стою...

Крейвенас не знает ни что говорить, ни что думать. Он все еще не верит своим глазам... Такая тишь в саду... только в голове звон, но это не пчелы, это отголосок живого звука, прилетевший из вчерашнего дня, из череды звонких лет, из стародавних времен.

— Отец!

— Чего?

— Тьфу!

— Иди сюда, покажу.

— Совсем уж в детство... Ишь, стану я голову совать!..

Бойтся она пчел ужасно. Проходя мимо ульев, непременно натягивает на глаза платок. Паданцы из-под яблонь собирает непременно вечером или в дождь. Кровь у нее дурная, что ли: ужалит пчела — и вся опухнет, хворает долго. А сейчас... сейчас-то чего ей бояться, когда кругом могильная тишь.

— Иди, раз говорят...

Голос доносится словно из-под земли, и женщине страх как хочется увидеть, что же он там нашел. Раздвинув вишневые ветки, она налегает грудью на штакетник.

— Пчелы неживые,— говорит Крейвенас и вздрагивает от этих слов.— Пчел нет!

Наклонившись, свесив длинные и такие ненужные сейчас руки, он смотрит на жену будто в ожидании чуда. Ну, пусть хоть раз в его жизни свершится чудо, пусть свершит его эта женщина, с которой он прожил сорок пять лет и которая по сей день верует в бога и его всемогущество. Почему же она молчит, почему не зовет о милости божьей?

— Самое лето, все зеленеет, цветет... и нету... неживые...

Женщина недоверчиво смотрит на него из-под платка: даже мертвых пчел бойтся.

— Почему? Почему, человек ты мой?

— Может, кто отраву задал?

— Вот, вот! — горько усмехается Крейвенас.— Отраву задал! Как корове или свинье... Баба скажет, так хоть уши затыкай. Отраву задал!

— Тогда с чего, раз уж такой умник? С чего?..

Если б он знал!

— Так и будешь торчать? Раз неживые, то неживые.— Как еще не добавит: хоть жалить не будут...— Проку-то, можно сказать, никого. Меду на кончик языка... А сколько сахара на них ухлопывал!..

Крейвенас поворачивается и торопливо удаляется по тропе.

— Ведра возьми! Ведра!

Исчезает за белыми стволами, убегает от сердитого голоса жены. Кущее у нее понятие! От пчелы ей проку нужен, как от скотины или птицы. А если этого проку мало, то и маяться ни к чему. А вот ему пчелы приносили радость. Святой день, когда разжигаешь дымарь и ступаешь к улью. Так только ксендз к алтарю идет. Ах, человек...

За избой раскидистый клен отбрасывает густую тень, и Крейвенас, задохнувшись, останавливается под ним. У кухонной двери Шаруне рассыпает моченое пшено.

— Цып, цып, цып! — звонко, на весь двор подзывает она цыплят.

Цыплята совсем крохотные — самоседка недавно вывела, — и Шаруне защищает их от инкубаторских, уже оперившихся, которые клюют малышей.

— Цыпоники, цыпоники... Кыш, нахалюги.

Увидев отца, подбегает к нему и негромко говорит:

— Полина плачет.

Крейвенас отмахивается — уходи, мол, у меня свои заботы. Потом спохватывается:

— А что я могу? — Голос гаснет. — Сами не маленькие.

— Полина не хочет уезжать...

— Сколько раз я Стяпонасу говорил, толку-то?

— Да разве Стяпонас один?..

Голубые глаза Шаруне — словно две спелых сливы в утренней росе. Почему она недоговаривает? Почему не бросит в лицо: «Разве один Стяпонас виноват?»? А кто виноват? Кто еще виноват в том, что Полина плачет, что Стяпонас стоит здесь на одной ноге?

— Пчелы, — бормочет Крейвенас и убегает от дочки — мол, идет налаживать дымарь, может ли быть дело важнее — и чувствует спиной обжигающий взгляд Шаруне. Подкашиваются ноги, просто сил нет их тащить. Спрятавшись за амбаром, опирается рукой на теплое бревно в стене.

В горловине озера качается лодка, жарятся, развалившись, дачники. В чем мать родила, тела багровые, будто вылеплены из глины. Когда вчера Крейвенас греб на тот берег, под дубом увидел две палатки. На свежесрубленных кольях сушилось разноцветное белье, и он подумал — разорят дачники лес. Но мысль убежала в сторону — рядом с озером, у Козьей балки, на колхозном капустном поле, пыхтел трактор, кольхалось на ветру белесое облачко...

А вдруг это?.. — пронзает Крейвенаса мысль с такой силой, что даже треск раздается в голове. Ведь и вчера подумал было: что, если вместе с пылью пчелы занесут в ульи яд? Там желтеет сурепка, по краю луга алеет кашка. Отогнал страшную мысль, отбросил, но сейчас, когда пчел не стало, когда замерли вековые колоды... Человек ты мой, может ли быть такое, говорю, чтоб ты изобрел порошок для истребления червей, а отравил им пчел?

Крейвенас и верит и не верит. Достает из-под стрехи дымарь, ломает в него гнилушек и поджигает щепу, разводит огонь. Дымарь-то старый, еще отцовской работы, дуешь, приткнувшись носом. Мог купить новый, с мехами, да не поднялась рука выбросить старый инструмент. Старый инструмент остался, а пчелы... Пальцы трясутся, на задымившую труху Крейвенас бросает веточку сухой полыни, и дым уже пахнет кадилом.

А вдруг... Покойный отец когда-то говаривал: если кто из вас без материнского благословения дом оставит, то и пчел с собой уведет. Этот Стяпонас... Столько лет носился, бегал, а теперь снова крылья поднял. Но почему, кто виноват? — спросила Шаруне. Не этими точно словами спросила, но думала-то об этом.

Крейвенас стоит у амбара и смотрит на озеро. Бросает взгляд на лодку, которую отнесло в тростники. На лугу Козьей балки издали не разглядишь точки красной кашки, но он видит, как с цветка на цветок перелетают пчелы. И капустное поле видит — стальное оно, словно застелили его шероховатым листом оцинкованной жести.

В одной руке дымарь, в другой — белое гусиное крыло, и Крейвенас тяжелым шагом направляется в сад.

* * *

Она стягивает через голову платье, расстегивает лифчик, сбрасывает бельишко. Смотрится в зеркало, закинув руки за голову, улыбаясь. «Ты создана для баловства, милоч», — сказал Ауримас, и Шаруне ни капельки не обиделась. Она тогда стояла в тесной комнатухе у окна, смотрела на прибор и расчесывала свои длинные волосы. «Ты кадр что надо», — добавил Ауримас. Шаруне посмотрела через плечо: «Хочешь, чтоб обиделась навеки?» Ауримас валялся на кровати, до пояса натянув на себя простыню. «Помнишь, кто-то сказал: нет ничего вечного!» — «Вот, ей-богу...» Ауримас соскочил босиком на пол, подхватил Шаруне на руки, шагнул вправо, шагнул влево, но гостиничный номерок был тесен, и он не смог понести ее на край света, как недавно обещал. Целовал шею, грудь, потом огляделся и, словно не зная, куда ее девать, положил на кровать. И сам лег, конечно. «Чайка ты моя». За окном и правда горланили чайки.

Что-то мелькает в окне. Шаруне приседает, скрестив руки на груди, и не вставая берет с кровати голубой купальник. В дверях, застегивая халатик, сталкивается с Полиной. Щеки у той посерели, под глазами повисли мешки, только длинные черные ресницы по-прежнему живые. «Мисс штукатурша», — подумала Шаруне, впервые увидев ее. Связвила, конечно, — красота Полины сбила Шаруне с толку: кто мог подумать, что брат у черта на куличиках отыщет жену с приличной внешностью? Все тогда говорили наперебой, расспрашивали Стяпонаса о жите в дальних краях, и он рассказывал, похохатывая, забыв про жену, которая сидела у окна с четырехлетним ребенком на коленях. Все напрочь забыли про нее, она была чужая в этой старой избе, где из каждого угла глядел на нее дух чужих отцов и дедов, где звучали непонятные ей литовские слова. Она молча смотрела огромными глазами на Крейвенасов, не перебивая родную им и дорогую речь; на ясное лицо изредка набегали тени, но только изредка, — казалось, она искренне рада чужому счастью. Шаруне сразу же, даже не перебросившись словом, потянулась душой к Полине. Ей стало больно, что эта женщина так одинока в их доме. «За что ее караете?» — бросила Шаруне словно мокрую тряпку на праздничный стол. Мать отвернулась, подтянула углы платка — руки у нее задрожали — и вполголоса выдавила: «Не научилась еще по-ихнему». Стяпонас побагровел и опрокинул стаканчик. Отец провел рукой по шершавому лицу. Вацис желчно рассмеялся, но тоже не сказал ни слова. Шаруне пересела к окну и, протянув руки к ребенку, позвала: «Иди ко мне». Ребенок перебрался к ней на колени, и счастливая Полина сказала: «Он большой и хороший мальчик». «Как тебя зовут?» — спросила Шаруне. Ребенок смотрел на нее, выпучив глазенки, и Шаруне подумала — вылитый Стяпонас. «Как тебя зовут?» — «Скажи, как тебя зовут. Он знает, но стесняется. Скажи — Марюс». Ребенок повторил: «Марюс». За столом молчали. Мать глубоко вздохнула: «Ах, Стяпонас...» И заслонила ладонью глаза. По щекам из-под пальцев катились слезы. Вацис встал из-за стола: «Вот оно как, братец...» «Ну, выпьем, — сказал отец. — За твое возвращение, Стяпонас». Оба выпили по стаканчику не водки — полынного настоя, а Стяпонас грохнул кулаком по столу, помолчал и

сквозь зубы процедил: «Дома я!.. В конце концов, тут... Вот и все, что я хочу сказать!» Полина придвинулась к нему и положила руку мужу на плечо...

Сейчас она стоит в дверях, взяв Марюса за ручонку, смотрит на Шаруне тусклым взглядом, и Шаруне опускает голову, словно ее обвиняют в чем-то.

— Пчелы перемерли.— Голос Полины звучит напряженно.— Отец у пчел...

— Отец ужасно пчел любил, я не знаю, как он теперь...

— Еще заведет.

— Старый уже, вряд ли.— Шаруне вдруг хватает Полину за руку.— Ты не убивайся, Полина, Стяпонас, может быть, останется!

Полина мягко улыбается.

— Раз уж Стяпонас что-то решил...

— Я знаю Стяпонаса, он же мой брат.

— Он мой муж!— И уходит, уводит ребенка.

Шаруне плотно притворяет дверь избы, чтоб не налетели мухи (мать непременно начнет зудеть, оставь только дверь открытой), и через сад уходит с хутора. Идет медленно, придерживая поднятой рукой волосы, чтоб не спутал их ветерок. Но рука устает, опускается, мягкие пышные волны заливают лицо, и Шаруне идет как во мгле. Хорошо идти, когда тебя окружают теплые запахи ржаного поля. Тропка узенькая, не больно, даже ласково колется рожь, согревая все тело. Дух дозревающих хлебов, густой и жаркий, как вино ударяет в голову, от трели жаворонков сильнее бьется сердце. Шаруне уже забыла про Полину, родная изба со всеми хлопотами и негромким горем осталась за спиной, все удалилось, скрылось куда-то, а перед глазами за густой сеткой волос всплывает мужское лицо— так ясно, что она даже застывает в растерянности, протягивает руку, а губы сами произносят: «Ты приехал, Аурис...» Но ведь это только колышется побелевшая рожь; лицо исчезло, и Шаруне боится: неужто больше не увидит его так близко? Нет, нет, сегодня же вечером, ну, завтра. Не позже, чем завтра. И так уж Ауримас застрял где-то, не сдержал слова, и Шаруне помучает его. Впредь будет знать: дал слово — держись!

Воздух дрожит от полуденного зноя, поле пахнет свежим хлебом, словно открытая печь.

«Автобус приходит в семь вечера,— думает Шаруне,— я побегу встречать, а когда увижу, что он идет по полю, спрячусь. Он спросит у мамы: «Здесь живет Шаруне?» Мама скажет: «Здесь!» «А где она?»— «Да убежала куда-то, я и не заметила...» Он растеряется, не будет знать, что делать: в город вернуться или остаться, и вот тогда я покажусь. «Да так, на вечеринке была»,— скажу. И когда он надуется, не захочет со мной говорить, обниму его: «Ауримас, я так тебя ждала...»

Перепрыгнув канаву, шагает по большаку. Мимо, громяхая на ухабах, пронесится грузовик с полным кузовом зерна, пыль вихрится, плавает в воздухе. Шаруне, прищурившись, вытирает ладонью лицо. Стрекочет мотоцикл, скользя по дорожной пыли, заворачивает во двор Сянкуса. Вздох лает пес.

На заборе голубеют почтовые ящики. Что же скрывает этот, правый ящик с цифрой «три»? В кармане халатика ключик, маленький. Шаруне едва нащупывает его, отпирает ящик и достает сложенные газеты. И это все? Наклонившись, заглядывает в крохотное оконце. Пусто. И на земле ничего нет... Может, почтальон перепутал, бросил к соседям? Нет, такого не бывает... Нету письма. И сегодня нету. Как вчера, как позавчера...

Она смотрит на газету, перед глазами пляшут крупные буквы. «Косо...ви...ца...в...раз...га...» Буквы мелькают, слова какие-то непонятные. Совсем другие слова ждет Шаруне целыми днями, другие слова снятся ей по ночам.

— И письма нету, — вслух говорит она.

Воздух насыщен дорожной пылью; сереет трава в пересохших канавах, серая листва яблонь, яблоки и то серые. Серость, серость...

— Все нет да нет...

Ноги сами сворачивают на тропу через рожь. «Я железно приеду», — две недели назад сказал Ауримас, толком все расспросил и записал в книжку «все координаты»: и когда автобус выходит из Вильнюса, и когда приходит в Букну, и куда свернуть от остановки, и какая в озере вода — если прозрачная, прихватит подводное ружье; и какие гостинцы ей привезти... «Нет, нет, не подсказывай, сам придумаю. Ну коньячку придется прихватить, со стариками раздавим... Пока, Шаруне!» Он помахал на прощание и остался на шумной автостанции, она уезжала счастливая, как в детстве, и дорога в родную деревню была на редкость короткой.

Шаруне приходит в голову: если Ауримас не пишет, значит, он уже едет!

Она проводит ладонями по шелестящим колосьям, и они кажутся ей нежными и мягкими, как цветы ромашки. Только теперь она замечает за полем комбайны. (Не было их тут раньше, что ли?) Комбайны ползут медленно, в раскачку, от их гула сотрясается раскаленный воздух. Три, четыре... На каком из них Дайнюс? Шаруне вчера вычитала в районной газете: «За уборку — 120 га! Вот слово комбайнера Дайнюса Гуделюнаса...» Надо же! «Сорока-морока-сорока!» — когда-то этих слов ему хватало. Да, сейчас он уже не такой. «В отпуск приехала, Шаруне? Так редко приезжаешь...» Шаруне выбегает на луг и несется прямо по отаве к озеру.

— Раз сегодня нет письма, значит, еще сегодня он будет здесь! — говорит она озеру.

Скручивает волосы, закалывает их на макушке и, сбросив халатик, заходит в воду. Рыбья мелюзга стаяй кидается в глубину. В тростниках крикает старая утка, предостерегая утят. Шаруне окунает пальцы в прохладную воду, поплескавшись, делает еще шага три и, оттолкнувшись от песчаного дна, пускается вплавь. Она выросла на озере. Вода не только берега омывала — она шлифовала ноги, руки, наводила блеск на все тело девушки. («Кожа у тебя — чистый шелк», — сказал Ауримас.) Шаруне любила озеро, неотъемлемую частицу своей жизни. Конечно, куда ему до моря — там головокружительная мощь и величие, веселые и опасные волны, белый песок пляжа и золотистые крупы янтаря, — и все же озеро... Шаруне только себе может признать, чтоб ее не сочли деревенской чудачкой: все же озеро роднее — это необъятное море ее детства.

Шаруне заплывает далеко и, возвращаясь, чувствует усталость. Но это не та усталость, которая подкосила ее в море, — если бы не Ауримас, она бы не выплыла. Озерная усталость — легкая, ласковая, давно знакомая, и она выходит на берег отдохнувшей и свежей.

— Он сегодня придет... придет... — все повторяет Шаруне, отгоняя засевшее сомнение.

На бронзовом теле сверкают капельки воды. Жаркое солнце подбирает их с плеч, с бедер, сушит голубой купальник. Шаруне оглядывается — сбросить бы купальник и позагорать так, но на пригорке — правда довольно далеко — гудят комбайны. Все-таки на каком из них Дайнюс? Сидит небось замурзанный, потный. «Сорока-морока!» Неужто он все еще о ней думает?.. У камышового островка два парня

лениво плещут веслами. Шаруне садится на раскаленный камень, обхватывает руками колени и зажимается.

— Киса, слышь, давай покатаемся! — доносится веселый голос. Парень сдвигает на затылок свое «сомбреро», кладет на сиденье спиннинг.

Лодка медленно плывет к берегу.

— Садись, киса.

Шаруне смотрит на парней как на пустое место.

— Мы серьезно, — откликается другой, сидящий на веслах; на шее у него сверкает цепочка. — Ты нам нравишься.

Шаруне не отвечает.

— Мы тебя не первый раз видим, киса, — говорит владелец «сомбреро». — Наша палатка вон там, под дубом. Поехали, а? Покутим...

Шаруне молчит.

— Или ты немая?

— Точно, она немая!

— Русалочка! Послушай, киса, это злая ведьма обратила тебя в русалку!

— Хо-хо-хо!

Лодка в пяти шагах от берега, и Шаруне отчетливо видит их лица, мускулистые руки и нахальные глаза.

Она вскакивает, хватая халатик и пускается бегом через лужок.

— Да куда ты! Покатаемся, и ладно...

— Ишь, выкобенивается еще!

— Мы тебя разыщем, киса.

Слова подгоняют ее, камнями бьют по обнаженной спине.

— Хо-хо-хо! — несется над тихим озером.

Запыхавшись, она останавливается у поваленной садовой изгороди и замечает у конца избы голубой автомобиль. «Вацис прикатил», — думает она, но с таким равнодушием, что сама удивляется: можно подумать, что Вацис ей не брат. Не потому ли она плохо ладит с братьями, что намного их моложе? «Мамин последыш», — смеялся Вацис когда-то. «Зачем он явился?» — думает Шаруне снова как о чужом.

* * *

Оседают жаркая пыль, автобус исчезает за пригорком. Две бабенки бредут к магазину. Но на двери замок — обеденный час, — и они не знают, куда теперь деваться. Стоят у широкой витрины, наклонившись, смотрят через стекло в магазин — вдруг разглядят вещь, которая им понадобилась.

Мужчина закуривает и, отшвырнув спичку, осматривается. По обе стороны дороги дома — белые, каменные, с мансардами, высокомерные; тут же робко прижалась к земле изба с почерневшими от дождя стенами; поодаль в окружении старых тополей — хутор. На дорогу выбегают замурзанные дети, потолкавшись, повалявшись в пыли, всей стаей влетают в соседний двор.

— Ах вы нехристи, вишенку ободрали. И опять туда же! — кричит тощая высокая женщина, выскочив из желтой двери каменного дома. — Вот погодите, вернется со ржи отец, все про вас скажу!

Дети, словно воробьиная стая, — уже в другом дворе, слышно, как там истошно кудахчут куры.

— Здорово, Стяпонас!

Мужчина медленно поворачивает голову.

— А, Сенавайтис. Привет.

И смотрит куда-то в поле.

— Чего такой? Может, успел забыть, в какой стороне дом?

Стяпонас косится на Юргиса Сенавайтиса и сквозь зубы бросает:

— Говнюк! Сдался тебе мой дом!

Жирная шея Сенавайтиса покрывается темным румянцем.

— Смелый стал,— говорит он тихо.— В свое время рта бы не раскрыл.

— Знаю.

Смягчившись, Сенавайтис усмехается:

— Помнишь-таки.

— Ты меня домом не попрекай.

— Думаешь, не слышал?

— Чего — не слышал?

— Я бы тоже уехал, Стяпонас, да не могу. Я должен тут быть!

Стяпонас делает несколько шагов и останавливается, понутив голову, чешет в затылке.

— Трояк не найдется? — жалобно спрашивает Сенавайтис. — У меня копейки есть.

— Видишь, замок. Где достанешь?

— Был бы трояк!

Подумав, Стяпонас оглядывается и, порывшись в карманах, достает мятую бумажку.

— Постой тут! — говорит Сенавайтис и куда-то убегает.

— Если в обед берешь, — объясняет он вскоре, — двадцать копеек лишних, после десяти вечера — полтинник, а после полуночи — рубль. Не знал?

— Сама продавщица?

— Продавщице и так хватает! Багджювене держит.

Ноги вздымают фонтанчики пыли. На дороге взрывает машина, пролетает мимо верб, и Сенавайтис почему-то наклоняется, засовывает голову в густой вишенник.

Точно ветер пронесится «газик». Стяпонас злорадно хохочет.

— Думаешь, председателя испугался? — как подросток, пыжится Сенавайтис. — Рабочее время, зачем лишние разговоры... Но не боюсь! Я никого не боюсь, можно сказать.

Он ходко переступает кривыми ногами кавалериста, кажется, так и ищет случая доказать свою смелость. Пыхтит, отдувается, неловко молчит.

— Председатель — ценный человек! — наконец говорит он. — Я бы тоже мог на него зуб иметь, да нет, не за что! Тракимас не из тех, которые продают...

Не доходя до избы Жёбы, останавливается. Бросает взгляд на Стяпонаса, на старые постройки у дороги.

— Где расположимся? — спрашивает.

— А мне один черт. — Стяпонас догадывается, почему бегают глаза Сенавайтиса, и язвительно предлагает: — Да хоть и под липами Жёбы.

Плечи Сенавайтиса перекашиваются, под выцветшей рубашкой проступает острая, словно тесло, лопатка.

— Там! — показывает на озеро.

Бороздой огорода мимо картошки спускаются к воде. Впереди — Сенавайтис, придерживая рукой булькающую в кармане штанов бутылку, а за ним, отстав на несколько шагов, Стяпонас, который все обводит взглядом изнуренные жарой поля, словно это незнакомая ему деревня. Полгода уже в родных краях, а все не привыкнет здесь. Да ведь и понятно, за четырнадцать лет многое изменилось: речушку Шальтякшне выпрямили, новые дома у дороги выстроили, но и лица людей позабылись, просто срам. Сенавайтиса и то сразу не признал. Наткнулся на него в деревне, глянул исподлобья и прошел мимо. «Чего нос задираешь?» — остановил его Сенавайтис, и Стяпонас только плеча-

ми пожал. Видеть-то видел, но кто это? А когда тот назвался, не поверил. Как, Сенавайтис? Тот самый, что с винтовкой... истребитель?.. Что в Крикштонисе командовал... Стяпонас знал его другим. Был он тогда рослый, плечистый мужик. Ввалится со всем своим отрядом в избу и с порога: «Где бандитов прячешь, Крейвенас?» Отец, бывало, ссутулится, словно его по спине шарахнули, и натужно улыбнется: «Да что ты говоришь, Юргялис?..» «Я не шучу! — И тут же товарищам: — На чердак, в чулан!» «Будто не знаешь нас, будто не соседи мы». — «Я одно знаю, Крейвенас, бандитов бить! Где сын? Миндаугас-то?» — «Хоть бы ты мне, Юргялис, сказал, где Миндаугас». — «Брось придуриваться, старик, а то рассердимся!» И не раз и не два вот так Сенавайтис носился по избе — они, мол, подстерегут и как собаку прихлопнут Миндаугаса и тогда уж всех отправят к белым медведям. Шли недели и годы, отец сжимал кулаки и последними словами крыл Юргялиса, он думал, что тот раньше или позже ужалит, как змея, исподтишка. От бандитов и духу не осталось, ни ночью, ни днем никто уже не барабанил в дверь избы, не стучался в окна. Все говорили — Сенавайтис в Крикштонисе управляет заготовками и уже не сам ходит, а других гоняет проверять квитанции поставок.

Стяпонас, угодив ногой в яму, спотыкается, смачно выругавшись, говорит:

— Лисья нора, наверно!..

— Дети играютя.

— Вот ужаки... Чуть было ногу не вывихнул.

Спустившись с кручи, они ложатся в тени ольшаника. Но и сюда доходит белый полуденный зной. Мутные капли катятся по лбу, по щекам. Мужчины смахивают пот рукавами. Рукава мокрые, хоть выжми. И спина пропотела.

— Жарынь как в парилке, — отдувается Сенавайтис. — Не помню уже такого года.

Стяпонас разлегся на траве, смотрит сквозь листву на ясное небо, и оно кажется ему на диво высоким, как в те дни, когда он — мальчишкой — выгонял коров на лужок и, откинув голову, глазел на едва заметные в небе самолетки. Выстроившись клином, они летели на запад, а иногда кружили, словно аисты, и стучали пулеметами — тоже как аисты клювами. Война только что прошла, небо звенело от стального гула самолетов, а Стяпонасу хотелось улететь куда-то далеко-далеко, где неведомые края и незнакомые люди, где все устроено иначе, чем в деревне или во дворе, обнесенном штакетником. Понимал, что отец не пустит его в город, где он бы выучился на машиниста и исколесил на паровозе весь белый свет, его приставят к работе, припишут к земле — ведь в свое время этот хутор перейдет к нему. Ах, если бы самолет опустился на луговину и забрал его! Конечно, он уже не был маленький тогда и взаправду не надеялся на это, но чувствовал: что-то надвигается, вот-вот случится чудо. И ведь какой-то малости не хватило... Отец поставил его у дороги охранять огород от беженцев. Большак утопал в пыли, которую поднимало бредущее стадо. Усталые, с ввалившимися боками буренки едва волочили ноги. Уставшие не меньше их погонщики щелкали кнутами, хрипло кричали. Коровы не слушались их, забредали в хлеба, забирались в огороды и истошно мычали. За стадом тарахтела телега, запряженная двумя кобылами. Вторая пара была привязана к задку. На куче мешков сидел бородастый старик и, увидев Стяпонаса, остановил лошадей. «А ну, подойди!» — махнул он кнутом. Стяпонас поначалу не понял, чего хочет от него старик. Подошел. Их разделяла только придорожная канава. «Там живешь?» — Старик показал кнутом на хутор у озера. Стяпонас кивнул. Солнце было невысоко, бурая дорожная пыль висела над полями.

«Видишь это?» — Старик поднял кусок грубоватой холстины, перевернул другой стороной, и Стяпонасу открылась картина далекого мира: суровый горный хребет, дети, спрятавшиеся под утесом от грозы. «Хочешь? — спросил старик. — Тащи сюда бутылку водки», Стяпонас не отрывал глаз от картины, от этого живого, красочного и манящего зрелища. Старик согнул ее пополам и сунул себе под широкий зад. «Тащи бутылку, и картина твоя». Стяпонас опрометью кинулся домой. Старик ждал на дороге, на телеге, груженной всяким добром, а Стяпонас, достав из-под отцовской кровати отпитуемую до половины бутылку водки, уже несся обратно к дороге. Глаза старика заблестели, потом он увидел, что бутылка почата, и помрачнел. «Ничего не выйдет», — сказал старик и хлестнул лошадей кнутом. Тогда Стяпонас уцепился рукой за грядку телеги: «Я ехать хочу, я хочу с вами...» Старик рванул ремешные вожжи, лошади остановились, и Стяпонас, привстав на спицу колеса, взобрался на телегу. Сунул бутылку старику, тот, выдернув бумажную затычку, отхлебнул порядочный глоток. Снова заткнул и спрятал бутылку в карман необъятного плаща. Лошади бежали тяжелой рысцой, старик без передышки хлестал их кнутом, видно, хотел поскорей догнать свое стадо. Стяпонас не понимал, что делает, что с ним творится, казалось, что если он будет так ехать целую ночь, потом день, снова ночь и еще один день, то доберется до моря, а может, до гор, подпирающих небо, о которых зимой рассказывал учитель. Узнает все, а когда вернется, отец, выслушав его, помолчит и скажет: «Собери сундучок, завтра поедешь в город учиться».

Лаяли собаки родной деревни, пытаясь сорваться с цепи у хлебов. В воротах стояли бабы, пожимали плечами, глядя на Стяпонаса. А старик все понукал лошадей.

Садилось солнце, когда они догнали стадо. Коровы мычали, толкались, бодались острыми рогами, их бока охаживали палками погонщики. Умаявшиеся мужики кляли коров и весь белый свет...

— Стяпас! — Стяпонас услышал голос, но сначала не узнал его, а обернувшись, увидел отца верхом на гнедке. — Стяпас! Полезай с телеги! — По боку гнедка грозно хлестнул ивовый прут. — Полезай, тебе говорят!..

Сквозь навернувшиеся слезы полыхнул багряный закат. Стяпонас спрыгнул с телеги, босые ноги погрузились в теплую пыль большака. И тут он вспомнил про картину, бросился к старику.

— Моя! Моя! — Схватив холст за уголок, пытался выдрать его из-под старика.

Старик покосился на Стяпонаса, на его отца, не спеша вытащил из-за голенища сапога немецкий штык — длинный, как нож для убоя свиней.

— За полбутылки — полкартинки, — сказал он и, чикнув по холсту, швырнул наземь лоскут. Рассмеялся, хлестнул лошадей кнутом.

Стяпонас взглянул на половину картины, упавшую в дорожную пыль, и пустился бежать в сторону дома. Слышал, как застучали копыта гнедка, как он задыхался рядом, как мимо ушей просвистел ивовый прут. Второй удар обжег плечи.

— Домой, гаденыш! — сквозь зубы сипел отец. — Сейчас я тебя проучу! Домой!

От ивового прута горели плечи, лицо и руки, которыми он защищал лицо. Стяпонас не плакал, перед его глазами все еще мелькал острый штык старика, маячили дети, съездившие под утесом... и этот лоскут холста на дороге — хребет далекой горы.

— Домой!

Отец верхом на гнедке гнал Стяпонаса через всю деревню. Бабы,

забыв про вечерние хлопоты, стояли в воротах и молили бога, чтоб у их детей тоже не помешалось в голове.

Долго Стяпонас не поднимал глаз ни на небо, ни на дорогу. Отец, может, успел обо всем позабыть, но сын долго еще, топая за бороной или плугом, чувствовал удары ивового прута — год, другой, третий...

Сенавайтис подталкивает Стяпонаса:

— Заснул? Вышей, жажда не будет мучить.

Стяпонас поворачивается на бок, упирается локтем на лужок, и только теперь ему приходит в голову — какого черта он тут прохлаждается? Не домой пошел, а забрался в кусты. Да еще с Сенавайтисом.

— Замори червячка, замори, который тебя грызет...

«Не твое дело», — хочет сказать Стяпонас, его бесит, что Сенавайтис с ходу уловил его смятение. «Но почему я должен идти домой? — думает Стяпонас. — Да и где мой дом? Был ли у меня когда-нибудь свой дом? Это дом отца, куда он мог когда-то пригнать меня, словно заблудившегося теленка, а потом сказать: «Иди ищи жизнь в другом месте...» И пусть сейчас старик лучше помолчит да вспомнит, что было тогда».

Стяпонас подносит к губам мятую алюминиевую стопочку, «движимый инвентарь» Сенавайтиса, с которым тот никогда не расстается. Водка теплая, приторная, и Стяпонасу кажется, что его вот-вот вырвет — дает о себе знать прощание с бригадой в Крикштонисе. Не первый раз прощался, еще на той неделе погулял с ребятами — все-таки полгода проработал с ними, — а сегодня просто так встретились, отчего ж не посидеть. Одни одобряли его: молодец, мол, широка страна моя родная, рабочие руки всюду нужны, рыба ищет, где глубже; другие попрекали: родной край меняешь на чужой угол... А бригадир, пожилой человек, на прощанье вцепился в рукав и спросил: «Ты дерево посадил? Когда уедешь, будет тут расти твое дерево, Стяпонас? Пошли на вокзал, сдай билеты, возвращайся на стройку». Конечно, билеты вернуть еще не поздно. Стяпонас ощупывает задний карман брюк — там пухлый бумажник, а в нем два билета. Его и Полины.

— Я бы тоже дал чесу, — снова лезет в душу Сенавайтис. — Не раз собирал манатки, совсем было решил. А не могу. Хоть убей, не могу. Я тут боролся, можно сказать, я жизнь в русло вставил! Дай фужер. — Так он величал помятый почерневший стаканчик. — Еще по одной, Стяпонас. Не могу я все оставить как есть. Я должен торчать тут вроде бельма на глазу. Теперь-то все сбежались к корыту, пригоршнями хватают...

Загорелая шея Сенавайтиса снова отликает красным, словно печной жар. Бутылка дрожит в руке, и он торопит Стяпонаса, чтоб тот не тянул.

— И ты, Стяпонас, туда же, — бормочет он сквозь зубы. — Тоже ведь отсиживался в тепле, пока мы боролись, верно?

— Я тогда ребенком был.

— Когда колхозы создавали — ребенком? Хорош ребеночек, если в армию призвали. Вот что я тебе сейчас скажу: когда ты повестку получил, два дня и две ночи я караулил, куда ты пойдешь. Если бы в лес, на месте бы ухлопал, признаюсь. Твое счастье, что в военкомат поехал, а я-то сомневался...

Стяпонас смотрит на Сенавайтиса так, будто увидел его впервые. Потом говорит:

— Ну и гад же ты...

В голосе ни злости, ни удивления.

— Твой братец Миндаугас у нас во где сидел.

— Его самого бандиты...

— Хоть убей — не верю!

— Ты никому не веришь! — кричит Стяпонас. — Отца и мать родную бы не пожалел.

— Пойди они против Советов — это уж как пить дать... Не умел я тепленьким быть.

— А если невиновного?

— Кто же этот твой невиновный? Невиновные вместе с нами шли.

Сенавайтис крепко по-прежнему, ему все ясно, и Стяпонас швыряет в него последний дротик:

— Может, скажешь, каким врагом для тебя был старик Жёба?

Попал! Юргис Сенавайтис втягивает голову в плечи, застывает на минутку, сжимая кулаки.

— Да, враг! — исподлобья смотрит он на озеро. — Враг, можно сказать...

Стяпонас зло смеется:

— Скажешь, не вы покалечили старика Жёбу?

— Он сам! — Сенавайтис еще больше ссутулился, кажется, он уже не кулаки сжал, а всего себя. — Сам! Уже тогда он себя покалечил, когда своего брата убил.

— Случайность это.

— Нет, Стяпонас, он сам! Ты не знаешь. Они с братом рыли колодец, на смену. Один спустился на дно, а другой наверху думает: если не вылезет брат, хозяйство не придется делить. Можно сказать: и один и другой так думали. И выиграл тот, кто первый уронил ведро с камнями. Юозапас выиграл... Мол, цепь порвалась. Какая там цепь! Он потом уже цепь разорвал... Вот с тех пор он и не человек.

— И все-таки вы доконали Жёбу.

— Молчи! Слышать не хочу...

Стяпонас хохочет. Что ж, сыпанул Сенавайтису соли на рану. Но замолкает. Оба молчат. Долго молчат...

Стяпонас прижимается лбом к сухой, теплой траве. Голос Сенавайтиса удаляется, уплывает куда-то — изменившийся, чужой. И, словно легкий пепел на лету, меняются картины: ребенок пасет коров на жнивье... парень уезжает из дому... Полина сердится, что ему не сидится на месте... друзья смеются... и голос старого рабочего: «Ты дерево посадил?..» И правда — ты посадил дерево?..

* * *

В глазах рябит от мельканья колосьев. На коротенький миг поднимешь голову, охватишь взглядом белесое ржаное поле и снова гляди, гляди на бегущие волны. Под тобой мерно хлопает мотовило, и круг, по которому ты плывешь, все меньше, все круче поворот. Впереди пылит комбайн, а за спиной... Первым выехал старик Варгала, за ним ты, за тобой — Нашлюнас... И не везет же Нашлюнасу! Раза три проехался по кругу — и стоп машина. Захлебнулся мотор, чихнул и замолк. Ковырятся он теперь на краю поля, ругается последними словами. Отсюда не слышно, конечно, как он ругается, но Нашлюнас ведь из-за каждой чепухи очередями строчит: «А чтоб ее гром разразил, эту змею подколодную!.. Мать ее растак!..» Рядом с его комбайном алеет «Ява» — прилетели бригадир с механиком. Уже втроем битый час копаются в двигателе. Да, не везет Нашлюнасу. Жалко парня. Вчера председатель прелесочил за то, что через щель в бункере поле обсеивает, а сегодня...

Дайнюс дергает рычаг, и на жнивье растягивается продолговатый валок соломы.

Бегут и бегут колосья, мелькающее мотовило захпихивает их в насытную глотку машины. Заполняется бункер, и Дайнюс чув-

ствуется, как отяжелел комбайн под грузом зерна. Но полем уже мчится грузовик, эта скорая помощь, и останавливается за поворотом.

— На черта похож,— смеется шофер, подставляя кузов грузовика.

— На себя посмотри.— Дайнюс проводит ладонью по лицу. Велика важность— пыль да пот.

— Жаль, зеркальца не прихватил, погляделся бы,— закатывается смехом шофер.

Нашел над чем зубы скалить. Он-то всегда с зеркальцем да с расческой. Одно слово — девица. Но шофер как внезапно разразился смехом, так внезапно и замолк.

— В Лепалотасе вчера ливень прошел,— говорит он.— С градом. Со сливу величиной градины, сказывают, хлеба потравило, огурцы посекло.

Гудит транспортер, бурой струей течет зерно. Дайнюс то и дело поглядывает на комбайн Нашлюнаса, на замурзанных злых мужиков, слышит, как они стараются побольше поддеть друг друга.

— Разнесу эту гадину в пух и прах! — кричит чумазый Нашлюнас, скачет вокруг комбайна, словно петух, размахивая черными от смазки руками.

— Вперед, Дайнюс!

Шуршит колкая стерня под шинами грузовика.

Дайнюс спрыгивает наземь, подходит к мужикам. Пристально всматривается в обнаженный двигатель.

— Дай-ка я погляжу, Пятрас,— говорит он Нашлюнасу.

— Только ты ко мне не лезь! О, змея подколодная, жаба зеленая!.. — стонет Нашлюнас, не поднимая головы.

— Я серьезно, Пятрас.

— А ты жми, жми прямым ходом на Доску почета.

— Чего ты бесишься?

— Пятрас, перестань,— вставляет механик.— У Дайнюса руки.

— Пускай сунет их себе в...

— Да ну тебя! — сердится Дайнюс и шагает к своему комбайну, не станет же он напрашиваться. Хоть и нашел бы, в чем загвоздка, наверное. Нет в колхозе машины, двигатель которой он бы не знал назубок. Разбирает в два счета, как стенные часы в детстве. Кроме шуток, куда комбайну до военного корабля! А ведь на флоте Дайнюс служил судомехаником и домой вернулся с двумя медалями. Может, они успели об этом забыть? Да нет, наверно, просто не знают. Есть ведь народ: заработает значок ГТО и вышагивает словно павлин, грудь колесом — герой... Дайнюс не из таких, его «значки» покоятся в ящике шкафа вместе с письмами и старыми фотокарточками. Изредка Дайнюс достанет свои реликвии, вспомнит Одессу, приятелей, помечтает и снова спрячет в шкаф.

От штурвала Дайнюс косится на мужиков у комбайна Нашлюнаса. Не безрукие ведь, не безголовые. Да еще втроем! Найдут поломку, как не найти! Но дотемна провозятся.

— Ершится! — сплевывает Дайнюс.— Вечно он трясется, чтоб только не сказали, что Нашлюнас хуже других или чего-то напортил, все он знает, все понимает, все для него пара пустяков...

На пригорке Дайнюс поворачивает штурвал, комбайн аккуратно срезает угол, и прямо перед глазами возникает хутор Крейвенасов. Каждая тропка во дворе и в саду для него как своя. От озера бежит по лугу девушка. Шаруне? Ну, конечно, она! Дайнюс невольно притормаживает комбайн и смотрит не отрывая глаз. Но Шаруне исчезает в саду среди вишенки, и Дайнюс, спохватившись, нажимает на педали. Но с вишенника глаз не сводит. «Сорока-морока, Сорока-морока!»—во

всю глотку кричал он когда-то. Давно это было, сейчас кажется, сто лет назад, и просто не верится, что эта стройная, ладная девушка — та самая худенькая девчонка с двумя плетенками кос на костлявых плечиках. «Сорока-морока, Сорока-морока» — дергал он ее за эти косы. Однажды она заплакала, учительница поставила их перед классом и велела ему извиниться. Дайнюс упрямо молчал. «Почему ты ее обижаешь?» — спросила учительница. Он все молчал. «Почему обижаешь девочку?» — не отставала от него учительница. Тогда на задней парте кто-то фыркнул: «А он влюбился в Сороку!» Класс загалдел, учительница улыбнулась, Шаруне, всхлипывая, крикнула кому-то: «Дурак!» — а Дайнюс бросился в дверь. Целый день бродил у озера, проголодавшись, вернулся домой и сказал, что больше в школу не пойдет. Это было в седьмом классе, осенью, когда захворала мать. Она не ответила, словно не расслышала, но наутро, когда отец ушел на работу, громко сказала: «Пока я жива... ведь недолго-то... Не дури...»

«Пока я жива...» Страшными были эти слова, и Дайнюс целых три года носил их в сердце, хотя больше она ни разу не заговаривала об этом.

В ту весну они сажали у дороги деревья. Росли их саженцы, росли и они, дети. Нет, они уже не были детьми. Только родителям они позволяли называть себя так. Они знали о жизни больше, чем взрослые могли предполагать. Выпив бутылку вина, приходили на танцы в школьный зал... Провожали девушек и целовались... Были и мастера, которые с каждой вечеринки уходили все с новой и наутро хвастались, как «обжимали», притиснув к забору. Но у Дайнюса была одна-единственная, та самая Сорока-морока. Конечно, теперь Дайнюс так ее не называл, словно и не он приклеил ей когда-то это прозвище. Шаруне — когда слышат другие, Шарунеле — когда вдвоем. А вдвоем они оставались часто, ни для кого это не было секретом. Да они и чихали — пускай чешут языки кому не лень. «Моя Шаруне», — обращался к ней Дайнюс, правда в мыслях. «Мой Дайнюс», — думала, наверное, о нем Шаруне. Они верили, что так будет всегда.

«Неужто суждено погибнуть тому, во что мы верили? — думал Дайнюс. — Мы сызмальства умели запрячь лошадь и проборонить посева, подростками забирались на трактор и сгребали сено, когда родители запрещали вступать в комсомол, грозилась уйти из дому в интернат...»

Им с Шаруне было хорошо просто оттого, что они были на свете.

Дайнюс песню напевает,
Песня Дайнюса качает... —

Шаруне хохотала в лодке, и вечернее озеро звенело, как исполинский колокол.

Дайнюс песню напевает,
Песня Дайнюса качает...

Пахло сиренью.

От дома долетел голос отца:

— Дайнюс! Гребки домой, Дайнюс!

Отец стоял на берегу сгорбившись, опустив простоволосую голову. Дайнюс почувствовал неладное и налег на весла. Весла не слушались — то загребали глубоко, то скользили по воде. Лодку заносило, Шаруне все учила: «Левым давай, левым... А теперь на правое нажми, еще на правое...»

— Маме совсем худо, — сказал отец.

Выпрыгнув из лодки, Дайнюс увидел его укоризненный взгляд — целый день тебя нету, за домом не смотришь. носишься задрав хвост...

Отец, правда, этого не сказал. Шаруне он не заметил, словно ее и не было здесь.

— Пойдем, сынок.

Дайнюс шел впереди в засученных штанах, нес в одной руке башмаки, а в другой — сумку с учебниками. Отец брел за ним.

Шаруне осталась в лодке.

Мать умерла через неделю, двадцать пятого мая, в день, когда в школе прозвенел звонок на каникулы...

Дайнюс сидел в кузове грузовика, прислонясь спиной к кабине, и летел через деревню, мимо школы, в город — за гробом для мамы.

Он вышел в жизнь за год до аттестата зрелости. Осенью в школу не вернулся, и учительница литературы сказала: «Вот и хорошо, все равно не вытянул бы на выпускных...» Языки и литература не давались Дайнюсу, это верно, и он не очень-то огорчился, что пришлось бросить школу. Он был нужен дома — отец заболел, его увезли в больницу. Дайнюс как сел на трактор в начале лета, так и не слез до поздней осени. Пахота, потом сев... Страде не было конца. Ему, сызмальства привыкшему к труду, работа не была в тягость. Он созревал одновременно с рожью, которую посеял, и сам подчас удивлялся своему возмужалому виду — крепкие ноги в сапогах, задубелые ладони опущены, брови насуплены. За полгода он перерос своих сверстников, стал старше их на несколько лет. Субботним вечером он приходил в школу. Пряча в карманах руки, с которых не удавалось смыть смазку, стоял в углу, смотрел на сцену. Оживал, увидев струнный оркестр. Дайнюс четыре года был первой скрипкой, но теперь никто не звал его, никто не предлагал сыграть свою старую партию — на скрипке неуклюже пикивал долговязый паренек. Когда начинались танцы, Дайнюс выходил во двор, угощал парней сигаретами и не знал, о чем с ними разговаривать. Больше слушал сам: об учителях, одноклассниках; и казались странными их мелкие беды, дурацкие ссоры — все отдалилось, стало чужим. А когда все гурьбой высыпали с танцев, он подходил к Шаруне, девушки услужливо отставали, и они оказывались вдвоем на дороге. Шли медленно, молча, как бы нечаянно касаясь руки друг друга и пугаясь этой близости.

— Ты меня забудешь, Шаруне, — после долгого молчания сказал как-то Дайнюс.

Шаруне вздрогнула — он это почувствовал, потому что держал ее за пальцы.

— С чего это ты? — спросила Шаруне.

— Ты меня забудешь.

— В голове у тебя... ха! — Она рассмеялась слишком уж беззаботно, даже, пожалуй, деланно.

— Не смейся, Шаруне. Забудешь.

— Но почему?

— Я чувствую.

Шаруне встряхнула распущенными светлыми волосами.

— Неправда! Я ни с одним мальчиком...

— Мне скоро в армию.

— Ну и что?

— Забудешь.

— Никогда, Дайнюс. Я буду ждать тебя. Правда буду.

Дайнюс обнял Шаруне, ту самую Шаруне, с которой катался на озере («Дайнюс песню напевает...»), носился наперегонки по лесу, готовил уроки, читал те же самые книги. Волосы Шаруне пахли весенним ветром. Дайнюс спрятал в них лицо и целовал пушистые пряди, потом коснулся губами ее маленького нежного уха, прохладной щеки.

— Мы всегда будем... — шепнула Шаруне, нашла губами его губы, подняла руки и обняла Дайнюса крепко, словно доказывая силу своей любви. Потом оттолкнула его, попятилась. — И ты не веришь? Я вижу, не веришь!

Шаруне огляделась вокруг, посмотрела на оробевшего Дайнюса и пустилась бегом по озеру. Под ее ногами зазвенел, захрустел ячеистый, изъеденный мартовским солнцем лед. У Дайнюса ноги подкосились. Он знал, что Шаруне может выкинуть любой номер, но чтоб так... А Шаруне уже остановилась и бросилась назад.

— Я бы все озеро перешла, я бы тебе доказала, — шептала она, дрожмя дрожа на берегу. — Там вода черная и холоднющая...

— Шаруне...

— Мы будем вместе, Дайнюс.

Он верил. И она верила в свои слова и свое чувство. А на Купалу, когда она оттанцевала ночь после выпускного бала и они встретились, он предложил ей выйти за него замуж. Она рассмеялась, он обиделся, оттолкнул ее и хотел убежать, но Шаруне не отпустила. «Куда нам спешить, Дайнюс? — спокойно спросила она и рассудительно добавила: — Мы ведь еще дети». «Не дети уже, Шаруне... — Он хотел показать ей свои задубелые ладони, но сказал только: — Ты меня забудешь». «Никогда!» — поклялась Шаруне. И они снова поверили в это.

Осенью Шаруне укатила учиться, а Дайнюс, уложив в чемоданчик пару теплого белья, шерстяной свитер и варежки, что связала мать, отправился в военкомат.

Потянулись годы военной службы и нетерпеливых писем...

Кажется, кто-то шепнул Дайнюсу — тормози, и он останавливает комбайн. Бункер полнехонек: еще полпрокоса — и зерно посыплется через края. А грузовик, как нарочно, стоит у комбайна Варгалы. Жди теперь, куда не денешься. Самое время распрямить спину и размять ноги. Дайнюс бродит по жнивью, щупает колосья в валках — не осталось ли зерен, и все поглядывает на вековой клен, на липы Крейвенаса. Раскидистые липы окружают сад и постройки. Во двор и не заглянешь. А если и заглянуть — не будет же Шаруне торчать во дворе да пялиться на него, Дайнюса. «Послушай, что умные люди говорят, парень, — думает, криво улыбаясь, Дайнюс, — не забывай, кто ты такой, не уносишь в облака!»

Красный комбайн пышет жаром. Зноем дышит потрескавшаяся земля, побелевшая рожь; лицо и губы горят.

Сбежать к озеру искупаться?

Заскочить к Крейвенасам и напиться колодезной воды? Вода в их колодце чистая, как в горном роднике. Может, Шаруне кружку подаст...

Взрывает мотор грузовика. Шофер подгоняет машину, хлопает дверцей кабины.

— Сенавайтиса подвез. Готов, несет как из бочки. Сунь спичку — загорится.

Взобравшись на комбайн, шофер осматривает поле, словно собственный двор. Смеется — видно, вспомнил что-то веселенькое.

— Говорят, Крейвенасов Стяпонас его поил. С какой стати ему поить Сенавайтиса?

Дайнюс поднимает голову.

— Это правда, что уезжает?

— Билеты в кармане. В воскресенье. Опять за Урал или еще куда.

— Летунов хватает, — говорит Дайнюс.

Шофер разевает рот, будто подавившись.

— Вот что скажу — Стяпонас молодчага! В будущем году, может, и я... Страна теперь большая!

— Тебе-то не впервой по ветру летать да ягодки клевать.

— Может, ты назовешь летунами и тех парней, что ехали плотины строить?..

— Хватало и там таких.

— Дурень ты. Ей-богу!..— Шофер с грохотом сбегает по ступенькам. Напыжился, смотрит зло.

Затихает транспортер.

— Пошел! — кричит Дайнюс.

Машина, словно вспугнутый зверь, мчится по ржищу к до-роге.

Дайнюс снова бросает взгляд на липы Крейвенаса, потом огляды-вается. У комбайна Нашлюнаса стоит «газик» председателя Тракимаса. Уже четверо мужиков убивают время. Так им и надо, раз безголо-вые! — хорошо, когда веришь в свои руки...

Дайнюс видит, как председатель садится на «Яву» бригадира и по-ворачивает к нему. Знает, что скажет председатель, и трогает комбайн с места. Вытирает лоб — от пота и пыли на ладони грязные полосы. Сидит, наклоняясь над штурвалом. В ушах звон и грохот, но он ясно слышит работу каждого механизма; так четко различает, что выйди из строя мельчайшая деталь, он в ту же секунду заглушит двигатель. Все машины он так проверяет — на слух. Для другого эти звуки — немудрящий звон да стук, а Дайнюсу они говорят о многом.

— Дайнюс, стой!

Тракимас залетает спереди, врезаясь в рожь. Комбайн прибли-жается, хлопая мотовилом, и, дернувшись, замирает.

— Как идет?

— Неплохо.

— А Нашлюнас стоит. Поехали, Дайнюс, посмотришь.

— Он не хочет.

— Мало чего! Поехали!

Дайнюс кладет локти на штурвал и качает головой. Если Нашлю-нас завистник и горячка, то пускай Тракимас с ним и толкует, Дай-нюс не станет унижаться и снова кланчить: окажи любезность, поз-воль тебе помочь. Нет уж!

— Да вроде не с руки, председатель.

— Тебя разве это не касается?

— Все работу бросим и давайте вокруг одного плясать! Так и сажаем себе на шею прихлебателей...

Тракимас отводит мотоцикл в сторонку, смотрит на Дайнюса в упор.

— Значит, каждый за себя? Вот не думал.— Председатель садится на мотоцикл, катит прочь.

Дайнюс, забыв про работу, смотрит в одну точку.

За полем снова мелькнула Шаруне. Почему она все бегаёт к доро-ге? Раньше неслась вприпрыжку, теперь опять... Исчезла за ольшани-ком...

«Сорока-морока... Сорёка...»

Криво усмехается: никак хочешь, чтоб председатель на колени перед тобой встал? Вздернутый нос Нашлюнаса тебе не нравится?.. А ведь комбайн стоит... Каждый за себя...

Тогда ты первый год сидел на тракторе. В поле навоз возили. Фев-раль выдался легкий, днем таял снег, пашню исполосовали черные гребни. На тебя что-то нашло. Ты дурачился, не мог разъехаться ни с одним трактористом. Они, дурни, морщились да сердились. «Сопли сперва утри!» — бросил Варгала и не уступил тебе дороги. И ты, воз-вращаясь порожняком, свернул к фермам напрямик. Они же рукой

подать, за болотцем. Отчего ж не рискнуть? Дорога-то вдвое короче будет. Но трактор забуксовал и застрял. «Утонет!» От этой мысли вся дурь мигом вылетела из головы. Три километра бежал полем, просил мужиков помочь, а они только хохотали в ответ. Хотелось заплакать, а то все бросить и убежать домой — пускай наказывают, пускай хоть в тюрьму сажают. Но ты услышал голос Тракимаса: «Может, не будем ждать, ребята, пока трактор утонет?» Лопались тросы, сам председатель залез в студеную грязь. «Морду набить сопляку!» — бесился Варгала. Ругали Дайнюса на чем свет стоит, но Тракимас, казалось, даже не слышал всей этой брани. Трактор вырвали-таки из болота. «Председатель, — подошел ты к Тракимасу. — Председатель, я...» — что-то мекал, но Тракимас прервал: «Ладно, езжай, всякое бывает...» И улыбнулся: — Не забудь этот день, парень...»

И ты все-таки... забыл?

* * *

Вот не думала, что столько времени придется ухлопать. Пришла бы после, да кто мог знать. Поспешаешь, чешешь во все лопатки, а не дай бог застрянешь, то как поросенок в заборе — ни туда, ни назад. Да и продавщица нынче на людей чихала: сперва ящики из машины таскала да в угол ставила, а теперь от бумажек носу оторвать не может. И чего нашептывает этот кобель в кирзовых сапогах (как и выдерживает в такую жарынь!) продавщице? Ишь — та красная стала, ерзает, будто от щекотки. После работы не смогут, что ли, — да хоть и под кустом. Молодежь нынче...

— Девонька, может, уже? — не выдерживает Крейвенене.

Продавщица, наклонясь над опрокинутыми ящиками в кладовке и выставив в открытую дверь обтянутый куцым халатиком зад, не слышит и знай бесстыдно дергает жирными ляжками. Нейлоновые кружева лезут в глаза.

— Девонька!

— Ягодка, помираю, пива дай! — канючит старик Марчюконис, похрустывая новенькой пятирублевкой.

— Отойди, дядя, разве не видишь, что пушка на тебя прямой наводкой нацелена! — грохочет молоденький шофер, поставивший под окнами машину.

Фыркают бабы, хохочут мужики, налегшие на прилавок, а продавщица, не оборачиваясь, ногой захлопывает дверь.

— Вот те и на... — Марчюконис укоризненно смотрит на шофера. — Ни пушки, ни душки.

— А не трепите зря языком, — заступается кто-то.

— Мужики, поглядите, чего они там делают, — просит Марчюконис.

— А ты уже забыл, дяденька, чего парень с девкой делает? — отбригают его.

Стены дрожат от хохота. Но тут открывается дверь кладовки и выходит продавщица, сияя улыбкой, — точь-в-точь поздравительная открытка. Затихает смех и говор. Марчюконис сладко разевает широкую пасть:

— Ягодка, пива...

«Ишь, скалится, краля», — думает Крейвенене. Сердце заходится от нетерпения, но злость как нашла, так сразу и схлынула. Бойкая деваха и собой хороша. Вон как пялятся мужики, живьем бы слопали, гады. Марчюконис и тот облизывается. Не для тебя сало, старый кот. Когда ни придешь, он в магазине околачивается. Втрескался, что ли? Вот была бы потеха! Надо как-нибудь у Багдживене спросить, она все

знает. Нынче-то раз-два и готово — седина в бороду, бес в ребро. А кто там у весов стоит? Вроде бы не из нашей деревни старуха... хоть бы обернулась разочек... Колбасы целых три круга взяла, хлеба две буханки, кило крупы. Да это же Марцеле из Дегимай! Как это раньше не разглядела! И она не признала... А может, не хочет признавать-то? Ну и ладно, пускай... Копаются в кошельке, медь наскребают. Усохла-то как — не узнать. Сколько лет не виделись, а ведь такие подружки были, водой не разольешь. Стареем, господи, все к концу подходит... а поди, поди... Нет, Крейвенене не хочет вспоминать о том, что было когда-то.

— Мадонна! — слышен женский голос за спиной; это Гуделюнене разоряется, даже оборачиваться не надо. — Платьце не изгваздай, Мадонна. Новое!

Девочка лет шести присела на корточки под окном, выковыривает что-то из-под отопления.

— Мадонна!..

Девочка нехотя оборачивается — лицо у нее чумазое, как у трубочиста.

— Чего? — спрашивает, не поднимаясь с корточек.

— Иди сюда, Мадонна.

— Это ты иди сюда.

Гуделюнене топает ногой, и девочка, надув губы, подходит к матери.

— Боже мой, боже, — стонет мать, — час назад умыла, в новое платьце нарядила... На кого ты теперь похожа?

— Какое у тебя платье красивое! — сладко говорит соседка в очереди. — Где и достала такое?

— Одно разоренье, когда надо чего достать, — тараторит Гуделюнене. — В магазине-то не купишь. Без знакомства ни шагу! Вот туфлями разжилась, червонец переплатила и не жалко, очень уж хороши.

Крейвенене косится на Гуделюнене в лаковых туфлях на босу ногу и думает: был бы у тебя муж как муж, не ломала бы тут комедию. Эх, у мужиков часто ум за разум заходит. Свежатины, ишь, захотелось. Только-только первую на кладбище спровадил — и уже хвост трубой. Не подумает, что это сыну жениться пора. Если б Дайнюс не ушел служить, не дал бы отцу сдуреть.

Кто-то толкает Крейвенене: мол, ее очередь. Она просит полкило сосисок (дома в избытке сала, но Шаруне воротит нос), кладет на дно сумки каравай хлеба, берет мыло — и для стирки и для лица.

— Все? — спрашивает девушка за прилавком, а Крейвенене шарит взглядом по полкам со всяким добром — только бы чего не забыть. Шаруне ждет гостя. Ежели приедет, нехорошо на стол не выставить. Известно, отец найдет, у него, верно, бутылочка припрятана, но надо и от себя. Что ж, чокнемся, зятек, твое здоровье...

Ее снова пихают в бок.

— Вот этого... одну.

Опускает в сумку бутылку красного, расплачивается, в последний раз бросает взгляд на полки. Вдруг увидит что-нибудь нужное. Пожалуй, все, теперь побежит домой, страх сколько проканителлась.

— Мадонна! — словно у себя во дворе, покрикивает статная горделивая Гуделюнене.

На лавочке у автобусной остановки сидит старуха. Она самая, Марцеле из Дегимай. Сейчас Крейвенене пройдет мимо, будто не заметила ее. Господи, Марцеле совсем старуха, хоть всего-то на три годика ее старше.

— Боже ты мой, Крейвенене!..

Вроде бы не расслыпав, она семенит дальше, но... невесть что может давнишняя подруга подумать!

— Марцеле! — изображает радость Крейвенене, возвратившись к лавочке. — Откуда же ты взялась?

— Да все оттуда же, Крейвенене, из Дегимай.

— Знаю, что из Дегимай, не бойся, помню. Спрашиваю, каким ветром к нам занесло.

— А ты присядь, Крейвенене. — Марцеле отодвигается на краешек, снимает с лавки свою сумку.

— Да нет, бежать надо.

Марцеле — махонькая, сухонькая старушка с газовым платком на седых залызанных волосах. Та самая, с которой вместе ходили по толокам и вечеринкам, в одно время выбирали парней, да и замуж вышли в один год: она, Крейвенене, в своей деревне увязла, а Марцеле на бричке с бубенцами укатила на другой край прихода, за глухой лес, в Дегимай.

— Как жизнь-то, Крейвенене?

— Да так, Марцеле. Ты-то совсем усохла, на себя не похожа.

— Если б не доктора, давно бы богу душу отдала. Одними лекарствами жива. А как твой?

— Вроде ничего. — Крейвенене надо уходить, но ведь не с руки встретиться спустя столько лет и не поговорить хоть немножко, не поделиться радостями да бедами.

— Слыхала я, сын из России пришел?

Крейвенене хочет руками замахать — мол, горе одно, — но сдерживается: не привыкла перед чужими исподнее вытряхивать.

— Все теперь в куче, — протягивает Крейвенене и тут же, чтоб Марцеле больше не допытывалась, спрашивает сама: — А у вас что?

— Да ничего, Крейвенене, как всюду. Рожь косят. Уродилась на славу, да вот сушь страшная. Ага, чуть было не запаматовала: во вторник Антасе похоронили. Вечный ей упокой.

Крейвенене мотает головой, берет сумку в другую руку; тяжеленная, хорошо бы на лавку поставить, но ей пора, не может она столько тут торчать.

Из магазина выходит Гуделюнене с огромной полосатой сумкой, в которой, высунув горлышки, позвякивают бутылки, скалитися половинка белого хлеба.

— Мадонна, туфельку застегни!

Девочка убегает, мать не переставая наставляет ее.

— Какую... Антасе? — невольно спрашивает Крейвенене.

— Да ту самую, Крейвенене, ту самую, знаешь. Жила на отшибе, отвернувшись от людей, так и тлела всю жизнь-то. Если б не дети моего сына... страх подумать, Крейвенене... Бежали мимо ее избенки, глядят — лежит на огороде. Прилетели и сказывают, а я знай не спешу, думаю, прилегла баба, пускай. Полю огород, а на душе муторно. Места себе не нахожу. Вечером сходила — о, боже ты мой, уже который день не дышит, мухи облепили, разбухла вся. А ведь молодая еще, упокой, господи, ее душу.

— Говоришь — молодая, — зло усмехается Крейвенене.

— Да уж помоложе нас с тобой. Упокой, господи...

— Ну, бывай, Марцеле, я побежала.

— Мне тоже пора — вон автобус идет.

Крейвенене хотела бы поторопиться — пускай Марцеле увидит, какая она еще шустрая, — да ноги отяжелели, не слушаются, сумку просто не поднять, хоть и купила какую-то мелочь. Вот бы присесть в тенечке, душно ведь, и солнце припекает макушку. Дай зайдет за пригорок, за деревья, и посидит, переведет дух, а то виски сдавил

железный обруч... «Во вторник Антасе похоронили»,— кажется, догоняет ее голос Марцеле.

Спустившись с пригорка, не останавливается и не присаживается под деревом. Бредет по обочине дороги, забыв про усталость, голову сверлит одна мысль— сказать Марчюсу или не говорить? Двадцать лет уверяла себя: что было— сплыло, а оказывается, только с этой минуты она может успокоиться. Грех это, конечно, прости ее, господи, но все двадцать лет ждала этого дня. Знала, не положено так думать, даже бога молила отвести от нее дурные помыслы, помочь ей, грешнице,— ведь все уладилось, пускай так и будет всегда. Но, видно, сам черт мучил ей все эти годы голову: «Я-то грешница? А она, Антасе,— святая? А Марчюс? Столько мучилась, исстрадалась вся, и после всего этого я— грешница? Нет уж, господи, если уж кого карать, то ты ее покарай, его покарай. Взвесь все и воздай по заслугам...» Кто знает, до чьих ушей долетала эта молитва— до божьих или дьявольских, но Крейвенене твердила ее и верила, что она поможет. А то пойдет на чьи-нибудь поминки, подпекает псалом одними губами, а мысли далеко... Там, конечно. Вот хороший человек помер, думает, хорошему человеку на земле нету места, а чтоб эта Антасе окочурилась, прости меня, господи, чтоб хворь ее скрутила, чтоб под машину угодила— теперь-то они так и сигают по дорогам,— хоть бы молнией ее шарануло... Да нет, такая ни в рай, ни в пекло не годится... Поймав себя на грешных помыслах, еще громче, от всего сердца пела: «Ангел господень явился Марию...» С годами, конечно, боль исподволь слабела, но не угасала. Возьмет и екнет вдруг сердце, стиснешь зубы и промолчишь. Но теперь...

— Скажу! — вслух говорит Крейвенене.

Увидеть бы, как встретит эту новость Марчюс, услышать бы, что он на это скажет! Не из мести, наверно,— она хочет увидеть, как Марчюс вздохнет, свесит бессильные руки, потупит глаза. Настрадавшись за эти двадцать лет, она хоть разочек хочет оказаться победительницей. Пускай Марчюс увидит ее т а к о й.

— Скажу! — решительно повторяет Крейвенене и чуть ли не бегом несется домой. Платок сполз на затылок, она вспотела, покраснелась.

Мимо проносится автобус, Крейвенене погружается в пыль и думает— машина везет Марцеле в Дегимай; хорошо нынче, не надо пешком топать, как раньше. Хотя тогда она птицей летела, не почувствовала даже этих девяти километров... Ах, господи, как она измучилась тогда. Теперь, спустя двадцать лет, она хочет только одного— спокойно выложить Марчюсу эту новость: «Антасе из Дегимай померла!»

С пригорка она уже видит свой хутор на берегу озера, сворачивает на проселок, замедляет шаг. И правда, чего она бежит как угорелая? Придет себе спокойно, положит покупки на место, окинет взглядом двор и позовет: «Отец, поди-ка сюда, что я тебе скажу...»

И скажет...

* * *

Сидит Марчюс Крейвенас у забора, не выпуская изо рта сигареты— одну высосет, другую закурит. Дым разъедает глаза, и он, прищурив правый, левым пялится на песочек, на окурки, раздавленные каблукком. Пробегает Шаруне— говорит что-то, но что? Проплывает Полина, останавливается, может, хочет спросить о чем-то, но уходит, так и не раскрыв рта. У гумна Вацис чинит тачку, чтоб сено с поля притащить, и выговаривает: «Просил я тебя, отец, никому не давай, вот и поломали грядки». Но и его Крейвенас туго понимает. Все, что тво-

рится во дворе, проплывает стороной... Да и он сам где-то в стороне от этого дома — не хозяин, а путник, присевший отдохнуть. Но почему никто не принесет ему воды с кусочками сотового меда? Ведь кто ни забредал в летний зной к ним на хутор — родня, не родня, — отец Марчюса непременно усаживал под кленом и угощал медовым кваском. Как не угостить — еще пчелы меду на зиму не нанесут да сами переведутся... Бросив все дела, вел отец гостя на берег озера и показывал Дуб повстанцев, рассказывал о Лесорубе, но чаще всего шел с гостем в сад к жужжащей колоде. И заводил долгий разговор о тех черных временах, когда царские жандармы запрещали литовские книги печатать.

Отец Марчюса не только молитвенник читал — его-то больше для отвода глаз, — он знал цену книге. Сам читал, другим давал, хоть и понимал, чем все это может обернуться. Когда наступали долгие вечера рождественского поста, он на несколько дней исчезал из дому, а возвращался уставший, промокший до нитки, но с книжками и газетами за пазухой. Он был тайным деревенским книгоношей. Как-то подоидя к хутору по ольшанику, не пошел в избу, а присел сперва в саду у колоды, вынул потайной клинышек, спрятал свое богатство, приставив ухо, послушал, о чем беседуют пчелки, потревоженные в полночь. И только потом постучался в дверь. А в избе его ждали жандармы — видно, доказал кто-то. Набросились на него, раздели догола, прощупали каждый шов. И ничего не нашли. «Вот тут, в торце колоды, я тайник устроил. А там пчелки жили себе поживали, мои сторожа», — объяснял гостю отец, не боясь, что у путника дурной глаз, что наведет он порчу на пчел. Пчелы жужжали, летом в саду стоял звон, как в костеле, когда играет орган. Рано поседевший отец, будто святой отшельник, бродил под яблонями. Хозяйство мало заботило его. Если б не бойкая мать да два старших брата, пустил бы он хутор по ветру. «Пропал человек из-за книжек», — сетовала мать и как-то, потеряв терпение, смахнула газеты со стола — и в печь! Отец не набросился на нее, только грустно уставился на пепел и покачал головой: «Не ты, женщина, эти газеты сожгла. Твоя слепота это сделала». Мать испуганно перекрестила отца: мол, «его устами нечистая сила глаголет»...

Отец — как сейчас помнит Марчюс — сладил из досочек «прибор» точь-в-точь как в книжке и потирал руки от радости, что теперь может измерить высоту липы, клена или холма. Потом мастерил диковинные крылья, собирался подняться в воздух, но почему-то забросил это дело. Читал вечерами при лучине и говорил, что земля бежит вокруг солнца, будто овца вокруг вбитого на выгоне колышка. А то примется вполголоса клясть царский гнет да неравенство.

Вечерами стал пропадать где-то, возвращался лишь поутру и молчал, когда мать приставала с вопросами. К нему тоже забредали незнакомые люди. Мать вздыхала и терпела, но когда отец отказался идти к пасхальной исповеди, побежала к ксендзу и попросила освятить дом, чтобы изгнать злых духов.

Марчюс был уже подростком, когда во двор влетели на конях жандармы. Они перевернули вверх дном весь дом, содрали с избы соломенную крышу, перерыли гумно и наконец в дровяном сарае под колодой нашли сверток с газетами и книжками. Отец свесил на грудь седую голову и молчал. Усатый жандарм, побагровев, крикнул: «Социалист?» — и прикладом ударил отца в грудь. Отец пошатнулся, но устоял на ногах. Они скрутили веревкой ему руки, привязали к седлу лошади и угнали — без пиджака, босиком.

Через два года пришла весточка — письмо из Сибири. А еще две недели спустя грянула война. Больше об отце никто не слышал. «Вы, дети, держитесь подальше от книг да политики», — учила мать своих

сыновей и ругала тех, которые взбаламутили ее мужа, проклинала страшную Сибирь, которая сожрала Марчюсова отца.

Вскоре Марчюс стал хозяином на хуторе и, как умел, хранил память об отце. Заедет в гости родственник, заглянет прохожий—каждого он угостит медовым кваском, каждому поведаст о Дубе повстанцев, о Лесорубе, покажет отцов улей—еловую колоду в две сажени длиной. Со временем в саду осталась лишь эта колода, место других заняли разноцветные дощатые домики. Но пчелы жили в этой колоде по-прежнему и несли мед. Марчюс думал, что в этом стародавнем улье не переведется жизнь и когда он оставит его детям. Но вот оборвался пчелиный разговор, замолк улей. Может, потому, что Марчюс угощал медом не каждого, кто заходил к нему? Но разве сейчас на всех напасешься? Давно уже никого не угощает, с этой войны, когда незваные гости врываются и днем и ночью и вместо кваса требовали водки.

Умер улей, о котором так часто рассказывал он своим детям, а они, наверно, своим о нем не расскажут. Будет валяться в саду трухлявый пень, пока однажды Вацис не возьмет топор и не изрубит на растопку. А почему Вацис? Ах, человек ты мой...

Умерла старая колода. Другие ульи тоже мертвы. Садовая трава черным-черна от погибших пчел...

В ушах звенит, и Крейвенас не может больше сидеть так. Но за что ухватиться, за какое дело? Работы хватает, да выдюжит ли он? Марчюс вспоминает—надо сено в лесу переворочить.

Скрипит ржавый замок, громыкает цепь. Крейвенас отталкивает лодку от берега и, усевшись на досочку, вставляет весла в уключины. Видит грабли на берегу—оставил-таки,—вылезает из лодки. Все делает медленно, нерасторопно, никак не может отвязаться от мыслей. Весла едва задевают воду, и лодка тихо скользит по спокойному озеру, раздвигая стаю желтых кувшинок.

У берега, рядом с лесом, купаются парни, под дубом перед палаткой переключаются девушки. Дымится погасший костер, вьется черный дымок, и Крейвенас даже подумать боится—в такую засуху много ли надо, отнесет ветром искру, и конец. Все ведь высохло, лес будто порох.

— За огнем последите! — проплывая мимо, кричит Марчюс парням. Те хохочут, словно он глупость сморозил.

— С огнем шутки плохи! — откликается один.

— Своих внуков учи, папаша! — добавляет другой.

— Гребни к нам, дяденька, опрокинем по рюмочке!

— Девку сосватаем, папаша! — И все хохочут.

Крейвенас не обижается на то, что молодые смеются над стариком—привык уже. Мерно машет веслами; завтра придется сходить посмотреть, чтоб все не вытоптали, не разорили, чтоб корни дуба не сожгли. Ведь этот дуб не простой. Прошлым летом приехали два ученых мужа, осмотрели, измерили этот дуб, выпытали у стариков, кто чего про него знает; и Марчюс им рассказал, что слышал от своего деда; ученые мужи все строчили в тетрадку, а потом сказали, что перед дубом поставят доску с надписью: «Дуб повстанцев». И огородить придется дуб заборчиком, потому что это памятник. Уехали, и ни слуху ни духу. Была бы тут дощечка с казенной надписью, сам бы Крейвенас отогнал туристов подальше. Попробовал как-то, а они ответили: «Жми отсюда, старик, со своими сказками! Это лес, а в лесу все деревья—деревья». Им-то что, а ведь на суку этого дуба висела петля царских жандармов. Эх, подняли бы головы, может, увидели бы, если, конечно, водкой глаз не залили, что под первым венцом ветвей кора топорщится наподобие креста. В юности Марчюса еще можно было различить оловянное распятие. Повстанцы когда-то приколотили его

к стволу и, опустившись на колени, не выпуская из рук сабель, кос и вил, молились, оплакивали павших и просили всевышнего о здоровье, мужестве и плодородии земли. Под этим дубом ксендз служил мессу, и в небо поднимался дымок луговой полыни, колеблемый словами песнопения: «Смилуйся над нами, господи...» — и Христос с печалью смотрел на восставших мужиков. Печально смотрел и когда жандармы совали их в петлю; он был равнодушен к страданиям деревни.

Давно это было... Дуб рос и спрятал под шершавой корой оловянно-го Христа. Осталась только рана на дереве. А кто ее видит? Развели рядышком костер, знай хохочут... Для них—сказки... Ах, человек ты мой...

Шуршит песок под днищем. Крейвенас выбирается на берег, обматывает цепью ствол ольшины и защелкивает замок. Когда-то никто без спросу лодки не брал, а теперь только оставь незапертую—не будешь знать, в какой бухточке искать.

Идет по тропе с граблями в руке, срывает на ходу горсть малины, бросает ягоды в рот, но вкуса не чувствует, во рту горечь, небо сухое; хорошо бы напиться родниковой воды. Но родник далеко, не по пути, разве что, возвращаясь, заглянет к нему. Сена-то немного, вчера утром косил. Еще придется разочек сходить поутру с косой, на просеках трава по пояс. Лесничий просил, как тут Марчюс не поможет. Он-то ведь тоже ему помогает, добрый человек, лошадь весной дал на картошку, осенью поможет сотки вспахать. А то пока у колхоза выпрошишь... Да еще председатель этот... Не хочет Марчюс ему кланяться, и спасибо лесничему за доброе сердце. Крейвенас накосит травы, сложит сено в копны. Для лесных обитателей—лосей да косуль. И впрямь красота, когда лоси щиплют сено из кормушек, будто лошади. «Лошадей сменили на трактора, так что давайте лосей разводите»,—говорит лесничий. Правду говорит человек. Не знает, наверно—откуда ему знать, молод еще,—что самого Марчюса Крейвенаса когда-то здесь звали Лосем. Это прозвище он от отца унаследовал. Неизвестно, кто надел на его отца эту «корону», но он гордился ею и шагал по деревне, высоко подняв голову, прямой как трость. А Марчюс уродился в отца... «С Лосем лучше не связывайся!»—предупреждали парни каждого, кто хотел сцепиться с Марчюсом за грудки. Сладко было слышать это и знать свою силу. А теперь что от тебя осталось, человек ты мой. Сутулый старик. И никто не назовет тебя Лосем, все успели забыть. Петроне, жена, и та, наверно, забыла, сейчас она знает одно: «Совсем уж в детство впал...»

Крейвенас ворошит прокосы. В тени трава еще сырая, завтра, пожалуй, рано сгребать. Послезавтра придется, в воскресенье. Ах, в воскресенье Стяпонас... А может, и нет, ведь Марчюс его не выгоняет, никто его не гонит... И никогда не гнал? Подумай, Крейвенас, подумай хорошенько—так-таки никогда ты не выталкивал Стяпонаса за порог? Никогда не говорил: «Иди ищи жизнь в другом месте»? Не твои это слова? Кто же их произнес, Крейвенас?

Марчюс вытирает лоб рукавом рубашки. До родника далеко, а его мучает жажда, рот как будто ошпарили кипятком. Ладно, сперва он переверошит сено, сегодня все равно не сгребать—может, в воскресенье. Воскресенье было и в тот день, когда Стяпонас покинул дом...

Дети покидают дом... пчелы — ульи...

* * *

На своем берегу на краю капустного поля Марчюс долго торчит, опустив голову. Потом медленно шагает через грядки. Земля кое-где белым-бела, словно заплесневела. Сурепка увяла, цветы пожухли, иссеченные блошкой капустные листья дырявые, что решето.

По жнивью с рычанием несется «газик» председателя. Крейвенас еще сильней сутулится, выпячивает подбородок и пускается бегом к дороге. Спешит, помогая себе граблями,— только бы не пропустить машину!

— Постой! Погоди! — издали кричит Крейвенас, задыхаясь, машет рукой. Споткнешься, упадешь на грядку — проедет, и лови ветер в поле.— По... стой!..

Визжат тормоза «газика», из-под колес поднимается густое облако пыли. Крейвенас прижимает руку к правому боку — остро кольнуло там — и, замедлив шаг, плетется к дороге. Пыль уже осела. Тракимас открывает дверцу, высовывает голову.

— В чем дело, Крейвенас?

Марчюс проводит рукой по потному лицу, ловит ртом воздух и тяжело опирается на грабли; еловый черенок сгибается под его весом.

На загорелом лбу Тракимаса проступает глубокая складка; председатель, кажется, готов помочь.

— Председатель... — Марчюс все еще задыхается, голос звучит неровно, рвется, словно гнилая веревка.— Председатель...

— Говори, Крейвенас.

— Пчелы перемерли.

На глаза председателя опускаются кустистые брови.

— А мне-то показалось...

— Пчелы перемерли, председатель.

— Чьи пчелы-то?

— Мои пчелы. Все мои колоды неживые. Колхоз виноват, говорю. Чистая правда, председатель. Вы перетравили пчел.

— Очухайся, старик! — Лицо Тракимаса сурово.

— Кто на капусту химию сыпал? И на сурепку тоже...

Председатель хочет что-то сказать, но замолкает, словно ему рот заткнули; на лице проступают красные пятна, брови так и пляшут.

— Ты бы, Крейвенас, лучше пошел на рожь помочь.

Хлопает дверца машины.

Стоит Крейвенас, опершись на грабли, и провожает взглядом удаляющийся пыльный вихрь.

На что надеялся, старый дурак? — сердится Крейвенас. Неужто жизнь мало тебя учила? Думал, заступится, утешит? Накажем, мол, а покамест извиняемся... Тьфу! Это который председатель покался, что насвинячил? Тракимас — пятый по счету, весной стукнуло девять лет, как он в колхозе, но и он не святой. Разве это председательский разговор... Человек ты мой, сердце так и вскипает, просто не передохнуть. Помнится, явился Тракимас в колхоз... Кто скажет, что Крейвенас здесь с боку припека? Его хутор у озера стоит исстари, все постройки не раз перестраивались. Когда-то, в его детстве, копали у забора яму для картошки, и лопата наткнулась на дубовые обгоревшие бревна. И большие сырцовые кирпичи в яме нашли. «Видать, прадеды горели», — сказал отец. Марчюс вырос у озера, в тяжелые годы озеро кормило семью. Рыбы всегда хватало. Поставил на ночь вершу и взял. Не то что теперь. Той осенью расхворалась Петроне — простудилась на колхозной свекле и слегла. Марчюс днем ходил на свеклу (бригадир пригрозил: «Не уберешь за жену свекловицу да не почиштишь — увезем с сеновала сено, будешь знать!»), а вечером готовил ужин, варил травки для жены и допоздна сидел на стульчике у ее кровати. На дворе завывал ветер, дождь барабанил по стеклам, а в избе было тепло, пахло вареной картошкой, но Петроне все опостылело, ко всему пропал вкус.

— Может, оладий пожарить? — спросил Марчюс.

- Не хочется.
- Может, глазунью?
- Не надо.
- Что будет-то, если ничего не ешь?..

Они молчали в большой и пустой избе. На лавке лежали газеты за всю неделю, но Крейвенас не брал их в руки; войны и заботы земного шара в эти дни куда-то уплыли и не трогали его.

Они молчали и слушали, как свистит осенний ветер, как бьются о берег волны, думали о колхозной свекловице и о своих детях, разбежавшихся по всей огромной стране, о корове, покормленной свекольной ботвой, и о собаке, которую еще не кормили...

— Вот бы ложку ухи...— тихо сказала Петроне, не поднимая век: свет резал ей глаза.

Крейвенас покосился — может, во сне сказала? И не ответил.

— Отец,— напомнила о себе Петроне: когда родились дети, она забыла, как зовут мужа.

Марчюс оттолкнул стульчик, надел жесткий брезентовый плащ, нахлобучил шапку и вышел в сени. Зажег свет, по прислоненной к балке лестнице взобрался на чердак. На память знал, где лежит верша. Стащил ее в сени и вышел в темноту. Озеро пенилось, кипело, в темноте поблескивали белые волны. Небо опустилось низко-низко, тучи лежали прямо на полях, холодная изморось умывала лицо, потрескавшиеся на свекле руки. У ольшаника в прогалине между тростником Крейвенас поставил вершу, глубоко загнав в ил жердь, и, промочив-таки ноги, вернулся домой.

— Зову не дозовусь,— с упреком сказала жена.

— Надо чего?

— Ничего. Садись и сиди.

Утром Марчюс еще в потемках побежал к озеру. Выбрал вершу, а в ней металась две щучки. Обрадовался Крейвенас, как ребенок, хихикнул даже и заговорил с рыбинами: мол, уха будет, выкушает Петроне тарелку и сразу разругается, пойдет на поправку.

Сунув вершу под мышку, Крейвенас потопал домой. И тут из ольшаника появился председатель. В руке — ружье, на спине — ягдташ. Остановился и пялится на него во все глаза. И Крейвенас остановился, тоже смотрит.

— Рыбачишь, Крейвенас? — Тракимас первым пришел в себя.

— Да нет... Да так...— залепетал Крейвенас, обняв руками вершу.

Тракимас подошел к нему, взял вершу и швырнул на лужок.

— Что делать будем, Крейвенас?

— Не знаю.

— Не знаешь? А я знаю. На браконьеров есть закон!

Крейвенас, как только его назвали браконьером, очнулся. Обиделся даже:

— Да какой из меня браконьер, председатель! Ежели для себя рыбешку! Жена хворает, ничего в рот не берет, вот и говорю, ухи...

— Все вы тут браконьерствуете да на базар тащите. На работу ходить не надо, рыбка кормит? Не думай, что я ничего не знаю, Крейвенас! Ого! — Тракимас рассмеялся и спросил:— Соседи-то ловят?

— Я за соседями не доглядываю.

— Не ври, старик. Видел, и, верно, не раз.

Тракимас вытряс щук в траву, а на вершу, сплетенную из ивовых прутьев, поставил тяжелый резиновый сапог.

— Председатель...

Хрустнула верша, сплоснулась.

Крейвенас, шатаясь, словно пьяный, повернул к своему дому.

— Подожди, старик! Стой!

Крейвенас остановился.

— Ладно уж, бери своих щук. На.— Голос Тракимаса чуть смягчился. Он даже поднял этих щук, протянул старику.— Неси бабке. Говоришь, значит, не знаешь, кто из соседей рыбкой балуется? Может, даже сетью. Другие мешками рыбу волокут, а ты...

Крейвенас взял щук и, сделав шаг к озеру, швырнул их в воду. Не оборачиваясь, пошел к дому.

Открыл дверь избы и встретил взгляд Петроне. Ноги подкосились, и он грузно опустился на лавку.

— Ничего? А у меня и охота прошла.

Глаза Марчюса заволокла какая-то муть...

— Петушку бы голову отрубил...— попросила Петроне.

Председатель тогда замахнулся законом, как топором, на Марчюса... который оторвался однажды от земли и по сей день... вроде палки в колхозных колесах. Сегодня забыл это Марчюс, раз председателя остановил и заговорил с ним о пчелах... Он горазд забывать...

* * *

Стяпонас зацепил крюки за скобы ящика; тросы натянулись, зазвенели. «Полетать не хочешь? — крикнул крановщик. — Цепляйся за тросы!» Стяпонас прыгнул в облепленный затвердевшим раствором ящик, уцепился руками за тросы и оторвался от земли. Ветер обжигал лицо, стрела крана скрипела. А он все поднимался, поднимался, плыл над домами... Недостроенные дома в пять, девять этажей, корпуса заводов, плотина на бурной реке... Но почему накалились тросы, аж обжигают руки? Всем телом он почувствовал невыносимую жару, просто невтерпеж стало... «Назад! Назад!» — закричал Стяпонас крановщику. Но, высунув голову из окошка кабины, ему ухмылялся Сенавайтис. «Назад!» — закричал Стяпонас. Сенавайтис радостно заржал. «Назад!» — Стяпонас разжал горящие руки, полетел вместе с ящиком и в этот миг на всех домах, на заводских корпусах, на плотине ГЭС увидел себя. Ей-богу, это был он сам! И там, и там, и еще там... Как в зеркальном зале. Стоят в сделанных из газет шапках и радостно машут: «Сюда! Сюда приходи!» Но Стяпонас ведь падает... сквозь огонь падает... И слышит голос: «Сюда иди!» Его же собственный голос. Откуда-то издалека... от этих домов, от заводов доносится его голос...

Стяпонас вздрагивает и просыпается. Садится, ошалело осматривается по сторонам: медленно приходит в себя. Тень ольхи отодвинулась: солнце припекает вовсю, он взмок, словно искупался в поту. Переползает в тень, вытягивается навзничь и думает о своем сне. «Приходи!.. Сюда приходи!» Кто же его зовет?..

Стяпонас снова поднимает голову. А где же Юргис Сенавайтис? Вместе пили под кустом, трояк просадил — и совсем зря: эх, где его не пропадала. Значит, он заснул, а Юргис себе ушел. Стяпонас хватается за задний карман брюк, открывает потертый бумажник и, застыдившись, сует обратно: как он мог подумать такое? Сенавайтис никогда не хапал: даже когда винтовку таскал на плече, чужого добра не трогал, кроме самогона: найдет где-нибудь дымящий аппарат или вытащит булькающий бидон из мякинника и делится с ребятами, сам пьет, а остаток на землю выливает. А больше — ни-ни. И сейчас он с чистой совестью живет рядом с теми же людьми, не пряча глаз с ними разговаривает. Бывал крут с кем-нибудь? Согласен, мол, но тут же добавляет: такое время и все делалось на благо святого дела Советов. И тебя бы покнул, признался только что. Начистоту, даже гордо признался: и не чувствовал бы, мол, за собой вины. Прочно врос в эту землю, ни на шаг в сторону не отойдет. «Не могу я все оставить как есть», — он развел руками, точно измеряя саженью бескрайние по-

ля, а может... обнимая эту землю, которую тогда оросил и своей кровью.

Стяпонас становится на камень у берега, присев на корточки, моет руки, потное лицо, брызжет водой за шиворот; прохладные капли словно букашки бегут по спине.

Около дома его встречает Полина. Стоит на тропе и ждет; Стяпонас видит, что она не знает, куда девать руки,— сплетает пальцы на животе. За эти полгода она поправилась, округлилась, полосатое платье на ней как с младшей сестры.

— Явился...

Полина пропускает его вперед. Стяпонас кладет руку на плечо жены, словно собираясь обнять, и тут же снимает.

— Автобус-то давно пришел.

Будет попрекать, расспрашивать... Стяпонас втягивает голову, приподнимает костлявые плечи.

Полина бесшумно идет за ним.

— Где Марюс?

— Бабушка масло делает, а он смотрит.

Стяпонас усмехается: масло делает! Хотя откуда ей знать, что масло пахтают... В городе родилась и выросла — вся еда из магазина.

Останавливается, достает билеты, два пестро-голубых листочка.

— Вот.

Полина смотрит не на билеты — прямо в мужнины глаза, ищет в них ответа.

— Может, не стоило...

Стяпонас отворачивается; он избегает вдаваться в разговоры — одно смущение от них, да и ответить на все «почему» он не сможет; знать-то он знает, точнее — чувствует нутром, да и в голове теснятся мысли, но словами их не выскажешь, слова-то неемкие, куцые какие-то, как детская одежка на взрослом. Не сон же ей пересказывать.

У крыльца в тени сидит мать, зажав коленями маслобойку. Сквозь зазор в крышке брызгает сметана. Марюс стоит рядышком и, как только белые капли прилипают к стенке маслобойки, снимает их пальчиком и отправляет в рот.

— Я хочу масла, бабушка.

— Скажи — свестас.

— Масла...

— Свестас Скажи — свес-тас. Горе мое, он уже говорит, даже можно понять, чего хочет малец. Свес-тас... Свес-тас...

— Свестас,— повторяет ребенок, и Крейвенене, обрадовавшись, свободной рукой гладит белую голову внучонка, чмокает сухими губами в лоб.

— Паинька. Ты вырастешь большой-большой и будешь складно говорить. Как я, как твой отец, как дедушка. Хлеба намажу, хорошо? Вот, уже крупницы пошли...

Шуршит гравий на тропе.

— Марюс!

Ребенок подбегает к матери и, вцепившись в руку, просит масла. Полина обещает ему, но Марюс хочет того масла, он не хочет этого масла.

Стяпонас входит в избу, садится за стол и переводит дух. Спыхватывается, что сел на отцово место. Когда-то, ребенком, он смотрел на отца с уважением: отец первым брался за ложку, и за ним все торопливо начинали хлебать. Так уж было заведено, и Стяпонас с опаской думал о том времени, когда отец одряхлеет. Ведь тогда ему, Стяпонасу, придется командовать застольем, он станет хозяином. Так рассудил отец. Миндаугаса выучит, Вациса отдаст в примаки, а Стяпона-

су — среднему — хозяйство. Давным-давно, когда все вместе садились за стол, отец любил распорядиться детьми, но жизнь каждого повела своей дорогой, даже не спросив, нравится ли топтать по ней. Миндаугас первым свернул в сторону; он шел по краешку, самая малость потребовалась — через канаву да в кусты. Хотя кто там знает, никто ничего точно не может сказать... Потом настал его, Стяпонаса, черед — через другую канаву. А тут и Вацис. Вацис-то шагает посередке — если и заснешь на ходу, не сразу в канаве окажешься. Вацис сызмальства такой. И Шаруне... Но у Шаруне ветер в голове, мамин баловень, другой она породы, даже диву даешься.

Кто же займет место отца за этим отмытым добела столом?
Вацис?

Стяпонас бросает взгляд в окно. У амбара в тени сверкает автомобиль, брат трет тряпкой крыло, наводит блеск. Целый день возится со своей машиной, то и дело отгоняет Марюса, чтоб только не царапнул, камешком не запустил. «Вацис жить умеет», — говорит отец.

— Кушай. Почему не ешь?

Жует колбасу, откусывает от огурца, но проглотить не может — кусок прилипает к нёбу, словно пакля.

Марюс просит масла — не этого масла, а того масла, и Полина, рассердившись, выставляет его за дверь. Ребенок плачет. Полина снова берет его на колени, ласкает, успокаивает, но слова звучат вяло и мысли далеко-далеко.

— Степан, — она называет его Степаном, — я думаю... я все время думаю... Давай останемся, Степан.

Стяпонас все жует да жует; не слышит, наверно, что говорит жена.

— Давай в город переберемся, работать будем. Не могу я без работы, вот так. Все кажется, руки у меня отсохнут. Я сама уже... себя ненавижу. С пятнадцати лет каждый божий день работа, а тут... Или давай в колхозе, работы-то ведь хватает.

Она говорит негромко, глядя на него заботливым и добрым взглядом, как всегда, когда начинала говорить о работе.

— Еще не поздно, Степан.

Не поздно? И приятели ему говорили: «Еще не поздно». А один спросил: «Ты дерево посадил?»

— Поедем, Полина. Надо!

— Почему — надо?

— Ты не спрашивай.

Это «почему» пугает его, он сам еще не ответил на этот вопрос, а если начнешь доказывать Полине... не поймет ведь...

— Здесь хорошо. Тут все есть. И домой бы ездили. А может, в колхозе. Я не знаю...

— Надо!

Полина толкает ногой пластмассового медвежонка, с изголовья кровати локтем смахивает платок — словно вдруг ослепла. Снова останавливается перед мужем, и тот видит, как дрожит ее подбородок.

— Почему три года назад из Березовска двинулись? Почему, а?

— Стройка подходила к концу, сама знаешь...

— А почему Тюмень бросили и сюда приехали? А? Почему?

— Я в Литву вернулся, на родину! Сама же хотела...

— Вот и живи здесь. Давай жить будем.

— Тебе-то все просто. Живи!

— Или я вещь, которую ты с собой в дорогу берешь? Кто я тебе?

— Полина!

Стяпонас отталкивает тарелку, выбирается из-за стола. На загорелом лбу блестят бусинки пота; он смотрит на жену и не узнает ее.

— Кто я для тебя? Вещь? Тень? Нет, Степан! Никуда я не поеду. Хватит с меня! Довольно! Надоело мотаться. Я работать хочу! Соскучилась по кельме и запаху раствора.

— Полина!— Стяпонас сжимает руки жены, поднятые к груди, косится на открытое окно: Вацис застыл у машины и пялится на избу.— Полина!— шепчет Стяпонас.— Не дури, Полина.

— Пусти! Руки пусти! — вскрикивает Полина.— Думаешь, я себе на хлеб не заработаю? Здесь, в колхозе! А то на стройку пойду. Надоело мне мотаться, и я не хочу. Не хочу, не хочу!..

Стяпонас опускает голову; хрустят костяшки пальцев; кулаки исчезают в карманах брюк; задев плечом за косяк, он вываливается в сени; стоит там минутку, кусая губы; знает, что под кленом сидит мать, не хочется мимо нее проходить. Но мать усердно уминает деревянной ложкой масло; она занята — рухни изба, не заметит. Стяпонас бредет в сторону.

— Отца не видел?— Мать не поднимает головы, и Стяпонас не уверен, его ли спрашивают.

— Найдется.

— Может, валяется где в тенечке? Работе конца краю нет, да в магазине столько проторчала... Где же этот?..

В ее ушах наверняка звенит еще голос Полины. Ведь слышала же, она все слышала, так почему молчит, она гораздо поучать, а сейчас: «Где отец?» Отец, видите ли, понадобился, поглядывает на озеро, словно он на самом деле там.

Подойти бы к матери, сесть на лавку и, помолчав, спросить: «Ты правда, мама, ничего не знаешь о Миндаугасе?» Стяпонас даже делает шаг к ней, но останавливается.

«Может, он жив?..» — спросил недавно как бы между прочим. «Очухайся,— сказала мать.— Двадцать лет, как по твоему брату молебен отслужили, как ты можешь спрашивать такое?» Поежившись, Стяпонас идет по выжженному солнцем двору. Голова аж гудит, веки болят. Косится на свою угловатую тень — часов пять, наверно. Смотрит на часы — половина пятого. Что делать, куда себя деть? Три дня бродит как неприкаянный. «Кажется, руки отсохнут»,— сказала Полина; чистую правду сказала, столько времени без дела сидит... Полина с первого же дня рвалась на стройку, но было не с руки. Сам Стяпонас не пускал — мать тогда змеей шипела: «Смастерили кацапенка, сами и растите. Я с ним не столкуюсь и язык ломать не стану». «Это мой сын, мама!» — стиснул зубы Стяпонас. «Не только твой». — «Полина — моя жена!» — «Я сватов к ней не засылала». «Жена! — кричал Стяпонас. — А Марюс — сын! Мой сын!» Мать, отвернувшись, уголком платка утирала слезы. Полина не поняла, из-за чего он поругался с матерью. «Она — твоя мать, ты ее не обижай», — говорила. Стяпонас ничего жене не сказал, только попросил не спешить с работой, обещал все уладить: и садик для ребенка будет, и работа, и, главное, квартира. Час прождав в коридоре, попал к начальнику. Молоденький инженер, листая пухлую папку с чертежами, не дослушал его: «Документы в профсоюз сдал?» — «Три месяца уже». — «Только-то?.. Жди, подойдет очередь». — «Когда же подойдет?» — «Сам должен понять, товарищ Крейвенас, — нехватка жилья. Сможем — дадим». — «Когда? Когда? Мне сейчас надо жить». — «Всем надо жить!» Инженер встал, собираясь уходить, Стяпонас заслонил собой дверь. «Да поймите же меня... Послушайте, я еще не все сказал...» — «Мне на совещание, некогда...» — «Да послушайте...» — «Являются откуда-то и знают одно — все им подавай». — «Точно, всю Россию изъездил и везде добрым словом встречали, но чтобы тут... дома... вот не думал...» А Полина допытывалась: «Ну как? Ходил, говорил? Ты же в родном краю; ты все говорил... дай при-

едем в Литву...» Стяпонас прятал глаза, виновато молчал. Раньше чем через год и не жди, а то и через все два. Шли дни. И вскоре Стяпонас подумал: оно и к лучшему, что квартиру не дали, все проще будет...

Подходит к деревянному сараю, видит на колоде топор — хворосту нарубить, что ли...

— Необязательно, — говорит Вацис, вылезая из-под автомобиля. — Необязательно, Стяпас, я сам могу...

Чах! Чах! Стяпонас легко стучит топором, словно кленовой мялкой по снопикау льна.

— Оставь, я порублю! — кричит Вацис.

Стяпонас, покосившись на него, замахивается обеими руками.

— Вот дурень! — бормочет Вацис. — Мужской ум, называется!

Такая колода была — и пополам!

Стяпонас швыряет топор на щепу, вонзает взгляд в Вациса.

— Чего глаза вылупил? — не выдерживает тот. — Стоит добротная вещь — не трожь!

Косматая тень клена ползет по двору, рябит на голубом автомобиле. Душно. Легкие распирает густой воздух, пронизанный сотней запахов: сухого сена и навоза, терпкой мяты из палисадника и бензина. Руки Вациса по локти в машинном масле; это запах его рук, его автомобиля («Потратился, зато имею!»). Стяпонас редко писал Вацису, а еще реже получал ответ, но все-таки надеялся: придет, встретятся столько лет спустя, как ни крути, братья. Встретились...

Весной Стяпонас пошел помогать отцу. Пахал огород, и словно было прокладывать борозду, как в юности, еще до службы в армии. Хотя, если по правде, тогда он не испытывал такого наслаждения — с утра до вечера спина ныла от смертельной усталости. А теперь он словно родился заново; и ведь не разучился пахать; рассыпчатый хруст дерна, добрый полузабытый запах земли, который он слышал только во сне. Хоть бросай к черту стройку в Крикштонисе, садись на трактор и жми на всю железку... За садом мелькнул автомобиль, и вскоре появился Вацис. «Пашешь, значит?..» — «Пашу». — «Дай-ка сюда». — «Я допашу». — «Мы уж как-нибудь сами...» Вацис взялся за рукоятки плуга, плечом отпихнул Стяпонаса, и тот остался посреди борозды, толком не понимая, что это все значит. А когда он собрался подлатать крышу хлева, Вацис сказал: «Необязательно, мы уж с отцом...» Вацис частенько навещался на родной хутор, переодевался и сразу брался за работу. «Ты посиди, папенька, отдохни», — ласково говорил он отцу, а сам допоздна постукивал на дворе, что-то чинил, плавал на лодке в лес за хворостом. За ужином прикидывал: избу надо вагонкой обить («Да вот Стяпонас бы мог», — напомнил отец. «Необязательно, я найму человека», — ответил Вацис); и печь надо переложить — кафель уже заказан, обещали скомбинировать; яблоньки молодые посадить, а то у старых ветки подсохли, не плодоносят. Говорил один Вацис, строил планы, а отец молчал и только кивал, соглашаясь. Молчал и Стяпонас и чем дальше, тем мучительней чувствовал, что он здесь лишний. Полина замечала, как он убивается, и ночью, положив жаркую руку на плечо, спрашивала: «Что с тобой, Степан?» — «Да ничего». — «Не говори, я же не слепая. Что с тобой?» «Ничего», — повторял Стяпонас, уставившись в черный потолок. Но он ведь правда не знал, что ответить Полине, как ей все объяснить. И Полина горько шептала: «Это я тут с боку припека. Чует мое сердце, Степан». «Еще чего, не выдумывай», — сердился он.

Стяпонас не сводит взгляда с брата. Вацису не по себе, он вытирает руки тряпкой; под клетчатой рубашкой навывпуск вздымается выпирающий животик, и не старайся он так, не вкальвай в отцовском доме, давно бы стал вроде бочонка — поперек себя шире.

Стяпонас ни с того ни с сего раздражается хохотом, аж приседает от веселья. Вацис тоже улыбается — скупно, несмело: очень уж странно смеется брат.

— Так и думал — надрался.

Хохот замолкает, кажется, его и не было, но дышать стало легче, словно после грозы.

— А что мне остается.

— Как постелешь...

— Давно уже постелил.

— Вот так и живешь.

— Не у каждого так получается, как у тебя.

— Хм! — смеется Вацис и, скомкав тряпку, сует в багажник. — Думаешь, даром мне все достается? Я же меньше твоего зарабатываю. Хвастался ведь, сколько загребал в России.

— Две с половиной сотни в месяц, вот!

— И что имеешь?

Стяпонас видит, что Вацис не почувствовал насмешки и, как всегда, гнет свое.

— Что имеешь? — Стяпонас протягивает руки задубелыми, ободранными ладонями вверх. — Вот!

Вацис не замечает его рук.

— Все через глотку спустил.

— Я тебе почетные грамоты показывал...

— Хм, все твое добро — почетные грамоты да медали, — усмеяется Вацис.

— Мое добро — что в сердце положу, а не в карманы.

— Только угла своего нет. Все в чемоданах. Никак у Полины этому научился.

Стяпонас опускает голову, подбородок дергается; Стяпонас делает шаг к брату.

— Кто моя жена?

Говорит он тихо; от ярости перехватывает горло; этот жулик сам за копейку удавится и еще учит... судит других.

— Все там такие... с мешками... И ты... будто цыган...

— Кто моя жена?

Вацис отскакивает, забегает за автомобиль.

— Не дури, Стяпас.

— Повтори!

— Стяпас, не балуй...

Вацис хватает с земли монтировку, сжимает в кулаке, и от этого Стяпонас еще пуще свирепеет. Вот трус! Был бы у братца нож, тоже бы достал. В глазах темнеет, и Стяпонас, набывшись, кидается на Вациса, но тот бежит вокруг машины.

— Стяпас, гад, если что, себя вини...

Стяпонас задевает рукой капот машины, гулко звенит жесь. Вацис аж застывает.

— Погнул! Машину мне испортил!

Вацис замахивается монтировкой, но Стяпонас хватает его за руку, локтем трахает брата в подбородок и, когда тот отшатывается, сплеча шарахает кулаком.

— Стяпас, не бей брата! — кричит Шаруне; она бежит к ним по двору.

От одного крика сестры у Стяпонаса опускаются руки, зря она хватает его за кулак.

— Стяпас... С чего это вы?.. — лепечет Шаруне, и Стяпонас, глядя, с каким трудом Вацис встает с лужайки, скупно улыбается.

— Да пошутили малость, Шаруне, а ты бог весть что...

— Не хочу, чтоб вы так шутили.

— Кретин, — сопит, пятясь бочком, Вацис, но монтировки из руки не выпускает. — Осел! — А добравшись до угла избы, кричит: — Цыган! Цыган бездомный!

И прячется за угол.

Опустив тяжелые руки, Стяпонас бредет к сараю, садится на опрокинутое корыто, в котором отец когда-то солил убоину, и закрывает лицо широкими ладонями. Сквозь пальцы, словно сквозь решетку, смотрит он на окаменевшую, спекшуюся землю и удивляется, что ничего не испытывает к ней. Он равнодушен к земле отцов и праотцев — проклятой и любимой, голодной и щедрой, рожавшей и хоронившей людей. Равнодушен к усиженному курами двору, к покосившимся постройкам с дырявыми крышами. Словно не здесь родился и вырос, словно не эти поля пахал. Подумать страшно. Неужто не уберег в себе святого чувства — ни к родному гнезду, ни к родителям, ни к брату Вацису с Шаруне? Ему казалось, что тоскует по ним. Даже по большаку, где когда-то ползло стадо и в серой пыли валялся лоскут волшебной картины; даже по отцу, хлеставшему его по спине ивовым прутом: «Домой, гаденьш!» Каждая минута тех дней — и горькая и светлая — оживала в мыслях и манила его сюда. И вот вернулся. И чуть не в первые же дни понял: он здесь — отломанная ветка. И снова задумался о дальних краях, каждую ночь они являются к нему в родную избу. Почему? Почему так?

— Почему ты такой?

Стяпонас вздрагивает, отрывает руки от лица и осовело смотрит на Шаруне.

— Почему?

Шаруне накручивает прядку волос на палец, на ногтях блестит перламутровый лак, губы слегка подкрашены. Девчущку оставил, когда уезжал («Последыш, одному богу известно, как она появилась», — говаривала мать), а теперь вон какая! Она одна писала Стяпонасу письма, полные умиленной тоски, пахнувшие полями родного края, не забывая вложить в конверт неяркий луговой цветок, лист яблони или веточку сосны. Может, эти письма и завлекли его? Но почему на такой короткий срок... на такой короткий?.. Почему?

— Почему ты такой, Стяпонас?

В письмах Шаруне была откровенной и близкой, и он тоже откровенничал с ней. Но это было давно и в письмах.

— А что я могу поделаться, Шаруне? — Стяпонас снова прячет лицо в ладони, но тут же поднимает голову: — А ты всегда можешь сказать, почему поступила так?

Расширенные глаза Шаруне — голубые, как у отца; только у него, Стяпонаса, зеленые, от матери, и у Миндаугаса, кажется... Цвета глаз Вациса не помнит; может, тот и не посмотрел ни разу в глаза...

— Смотри в чем...

— Почему кирпич в стене положил на ребро, а не плашмя, я всегда скажу, — смеется Стяпонас.

— А если Полина не поедет? Я слышала, как вы... Переборка-то тоненькая, все слышно.

Стяпонас встает с прогнившего корыта — ему снова нестерпимо душно.

— Пойду искупаюсь, — говорит не Шаруне, себе, и бредет к озеру. Шаруне хочет окликнуть его, но так и не решается.

«А ты всегда можешь сказать, почему поступила так?»

Не всегда, о нет...

* * *

«Так я и думала»,— говорит себе Крейвенене, увидев, что Марчюс гребет от леса.

— Так я и думала! — повторяет вслух и хватается за штaketины забора — г слова чего-то закружилась.

Марчюс машет веслами, но лодка стоит на месте; может, и плывет, да так медленно, что Крейвенене не знает, дотащится ли отец до вечера домой. А надо бы, господи, господи, как надобно, чтоб он оказался тут, в этом дворе, чтоб она могла взглядеться в его лицо и сказать... Да, эти-ми короткими словами она смое т грязь со всей своей жизни и наконец-то испытает сладость возмездия. «Господи, не прогневайся на меня, ведь сотворилось то, о чем просила двадцать лет — ты и так меня покарал, взвалив непосильный крест, но я несла его и не роптала, как учил нас ты, господи, и если еще копчу небо, то одно это — чудо из чудес, господи, слава тебе за то, господи, вечная, боюсь согрешить даже в мыслях, но грешу, господи, и знаю это, нерадивая слуга твоя... Да он на месте стоит! Сходить на берег и позвать, что ли, а то солнце сядет, пока дотащится. Ладно, раз уж тогда я его не звала—и когда греб на тот берег и когда возвращался, а только глядела на него из-за забора,— то теперь... Теперь уж, господи, награди меня терпением: столько лет ждала... ждала, подожду еще малость...»

Стяпонас поцапался с Полиной («Надоело! Пусти руки!»)... Вацис пробежал, задыхаясь («Цыган! Цыган!»)... Мелькнула Шаруне («Не бей брата!»)... Сходить бы в избу да посмотреть, как там что. Но стоит, навалившись на забор, и ей кажется, что лодка удаляется, к тому берегу плывет. Исчезла за ивой, окунувшей ветви в воду.

И тогда она дотемна поглядывала на озеро, хоть знала: не воротится раньше завтрашнего вечера. А то и в понедельник. Не раз и не два в понедельник возвращался... «На лесоповале»,— отвечал Марчюс, когда она еще ничего не знала. «И воскресенья для вас нет?» — удивлялась она. «Такая уж работа»,— негромко отвечал он, опустив глаза, и шел к озеру, где ждала лодка. Крейвенене верила — откуда ей знать, какие порядки у лесорубов. Но встретила как-то на базаре Марцеле и не могла простить, что ходила как слепая. Марчюс не стал открещиваться, молчал и вроде бы не слышал горьких слов, даже слезы его не разжалобили. Тот субботний вечер, правда, просидел дома, но сам не свой, очумелый, а через неделю, не сказав ни слова, исчез.

Крейвенене подоила корову, непроцеженное молоко оставила в кухне на скамейке и сказала Стяпонасу: «Смотри за детьми!» Ушла. Брела по дороге, в огиб озера, через густой лес. Был самый конец апреля, лесная тьма пахла гнилушками и грибами, за каждым кустом подстерегала опасность. Но она спешила, забыв про страшный, запятнанный кровью мир. Где-то неподалеку бабахнули подряд два выстрела, загудел потревоженный лес, звук рассыпался по влажному мху. Остановилась, прислушалась, вспомнила оставленных дома детей («Стяпонас-то большой, семнадцатый пошел»,— подумала) и, разувшись — очень уж громко хрустел под галошами гравий,— пустилась бегом. Знала: девять километров дороги («Прямо через озеро и тропками,— подумала,— и шести нет»)... Чтoб только Вациса кто не напугал, до того в страх парня вогна ли, что мечется во сне и кричит, будто его душат. И Шаруне... Ладно, маленькая, глупенькая. Но ведь не задержится, ей надо только увидеть и его и ее — обоих вместе — и сказать... Нет, она еще не знала, что скажет. Наверно, крикнет э т о й: «Сука! Шлюха! Хватит чужого мужика приманивать!» А ему: «А ну-ка домой, жеребец! К детям!» И пригонит домой. Приволочит да так осрамит его, что он в ту сторону и посмотреть не захочет.

Притомилась Крейвенене, замедлила шаг и огляделась—не заблудилась ли, задумавшись? Да нет, сквозь ветки уже просвечивает опушка, слава тебе, господи, сдвинул тучи, показал луну. Еще версты две, и Дегимай, избушка этой у самого леса, Марцеле все в подробностях растолковала, да и сама Крейвенене угадывает—на базар-то по этой дороге ездит.

В деревне незлобиво тявкала собака. По проселку, стуча по корням деревьев, прогромычала телега, фыркнула лошадь. Замолкло все, и Крейвенене услышала, как гулко бьется ее сердце.

— Господи, не покидай меня,—прошептала пересохшими губами. Деревья поредели, у дороги замаячили кусты, но и они стали редеть. Чернели пустынные поля деревни Дегимай.

«Первый проселок направо, он прямо к воротам выходит»,—вспомнила женщина, увидела дорожку, обрадовалась, что пришла-таки, и обула галоши; может, вернуться?—но эта мысль мелькнула и пропала, уступив место лютый злобе. Крейвенене даже бросилась бежать, пока не спохватилась, что в таком деле нужна осторожность, и стала красться медленно, неслышно, будто кошка. Окна избы не светились—разлеглись уже! Едва не споткнулась. Ноги подкосились, и она разинутым ртом ловила воздух, пока малость не отошла. Подобралась на цыпочках, прижалась к углу избы. Прислушалась: авось услышит чего. Окно занавешено, изнутри не доносится ни звука. Подкралась к другому окну. Тоже тихо, только свое сердце слышит. А может, дрыхнут? Притомились, и сон их сморил, господи... Шлеп-шлеп к третьему оконцу, торцевому. И опять только сердце стучит. Нет, шушукуются! Ее голос! Шепчет чего-то, слов не разобрать. «Да не бойся ты, мало ли кто бродит...»—дуднит мужской голос. Марчюс! Не умеет он вполголоса говорить. Марчюс... «Может, лошадь чья сорвалась...» Господи, он! Крейвенене больше не может...

— Откройте!—бухнула кулаком в оконную раму, и звук оказался до того гулким, что сама отскочила. Проснулась пес у хлева, загремел цепью. «Слава богу, что на привязи»,—подумала и снова бабахнула кулаком.—Дверь откройте!

За окном—тишина.

Пес метался у хлева; сорвется—живьем слопают, но Крейвенене уже вошла в раж.

— Может, оглохли, окаянные?—снова забарабанила кулаком по раме.—Марчюс! Выходи, Марчюс! Выходи, а то хуже будет!

Марчюс не ответил.

— Выходи!

Тишина.

— Ах вот ты как? Ну, погоди!

Крейвенене огляделась, но под рукой ничего не оказалось, и она побежала к дровяному сараю. Схватила полено, такое тяжелое, что выпустила его из рук, в этот миг что-то сверкнуло в лунном свете у колоды. Топор! Она кинулась к избе.

— Последний раз говорю: выходите оба! Марчюс!..

Подождала, прислушалась.

— Марчюс!

И тогда Крейвенене подняла топор да что есть мочи вдарила по окну. Затрещала рама, посыпались стекла, в избе завопил женский голос. А Крейвенене, словно ее кто-то за руку дернул, кинулась к дороге. Ее охватил такой ужас, что она бежала не оборачиваясь, бежала, пока хватало сил, а когда на опушке зацепилась ногой за ветку, рухнула наземь и лежала ни живая ни мертвая. Хотела умереть, молила бога прибрать ее сию же минуту, а то нету жизни и не будет ни-

когда. Но господь терпеливо слушал и не торопился выполнять ее просьбу.

Малость отдышавшись, подивилась, что в руке по-прежнему держит топор. Так, выходит, и бежала с топором, будто убивица, господи...

Полежала, посидела на мху, пока не стал трясти озноб, хотя по лбу градом катил пот. Снова шагала по самой середине большака через темный лес, вслушиваясь в угрюмый гул елей. В руке поблескивал топор. Шушукались ели, глядя на нее: смотрите, сестрицы, она ветки нам обрубит... прячьтесь, сестрицы, корни подсечет... верхушки отхватит... прячьтесь... Но топор не елям был предназначен. Она шла размеренным шагом — ни быстро и ни медленно, не останавливаясь и не оглядываясь, а добравшись до своей деревни, бегом пустилась лугами в сторону озера. Ледяная роса обжигала ноги, в галошах хлюпала вода, и Крейвенене, казалось, плыла в молочном тумане, загребая руками и размахивая топором.

Под кривыми ольшинами, уткнувшись носом в берег, стояла лодка. Цепь обмотана вокруг ствола ивы, заперта на замок. Где-нибудь в кусты засунуты весла.

Он всегда оставляет лодку тут.

Крейвенене забралась в нее и лезвием топора чахнула по днищу. Сейчас она сделает дырку: Марчюс, возвращаясь, сядет в лодку и искупается. Так ему и надо! Пусть побарахтается в студеной воде, может, поостынет. Да хоть бы и утонул — все равно жизни нету. Лучше уж одной горе мыкать, чем с таким, не приведи господи...

Звенело озеро, широко разносила удары топора ночь, будила деревню от первого сна. Крейвенене трудилась без устали, яростно, хороня уже утопленника мужа, и сама не заметила, как изрубила в щепы все днище. Не такой уж дурак Марчюс, чтоб сесть в лодку без дна. Постояла, опустив руки, на берегу, зашвырнула топор в тростник и заплакала. Ах ты, господи, господи...

Ждала его спозаранку. Посматривала на озеро, поглядывала на дорогу. В костел не пошла, даже в час обедни. «Отче наш» не сотворила. «Погоди, попомнишь меня! Такое тебе устрою!..» — готовилась встретить Марчюса, слоняясь из угла в угол — черная, измаявшись от бессонницы.

К вечеру глянула в окно — от хлева идет Марчюс. Вскипела, поту же затянула платок, прислонилась спиной к высокому изголовью кровати. Вспомнила про детей.

— Стяпас, сходи скотину посмотри. И ты, Вацис.

— Да ведь только что...

— Живо, говорят. Оба! Чего вылупились?

Не успели дети закрыть дверь, как порог перешагнул Марчюс. В руке — хлыст с ременной петелькой на хвостике. Зачем? И откуда?..

— Притащился-таки!.. — процедила сквозь зубы Крейвенене. — У, жеребец, выхолостить тебя мало...

Марчюс стегнул хлыстом себя по голенищу, двумя размашистыми шагами приблизился к жене, цапнул ее за руку.

— Я те покажу!.. — вскричала она и замахнулась; эх, никогда не подозревала она, что у Марчюса такие жесткие руки — аж присела от боли, и хлыст прошелся по плечам.

— А не бегай за мной! — Второй раз просвистел хлыст. — Не бегай!

Боль обжигала плечи и спину, но она не могла прийти в себя от удивления — все как гром среди ясного неба, господи!.. Не удары хлыста истязали ее, а мысль — он, этот мямля, которого мизинцем куда ни захочу толкала, меня лупит! Это о н а подучила, о н а... э т а!..

— Иисусе! — взвизгнула наконец-то.

— А не бегай!

— Убьет меня, господи! Люди!

— Молчок!

Марчюс швырнул ее на пол и, будто ржаной сноп, молотил хлыстом. Вбежал Стяпонас, схватил отца за руку, но Марчюс повернулся с такой силой, что сын покотился под лавку.

— Сбесился! — вскричал Стяпонас, схлопотав хлыста, и уже на дворе завыл: — Сбесил-ся отец! Сбесился!..

А Марчюс грохнул хлыстом по столу — словно выстрелил, бахнул по буфету — зазвенели миски, скатился на пол стакан и разлетелся вдребезги, а сам попятился к двери, не спуская глаз с жены, извивающейся на полу.

— А не бегай! — лишний раз напомнил с порога.

Хлопнула калитка, затукали шаги, затихли.

Смеркалось. Крейвенене кое-как заползла в кровать. Тело горело как опшаренное. И боль обжигала ее и ненависть к той, которая подучила Марчюса поднять руку на свою жену — сам бы, конечно, в жизни на это не решился.

Лишь на третий день явился Марчюс. Заросший щетиной. И с хлыстом. Как и не потерял его, шляясь бог весть где...

Хлыст поставил в угол, сел на свое место за стол и положил на него увесистые кулаки — будто два камня с поля приволок.

— Корми! — не попросил, а приказал он.

Крейвенене так и подмывало сказать: «Убирайся к этой своей!..» — но сдержалась, а то Марчюс только и ждал, к чему бы придраться.

Подала еду и осторожно примостилась на краешек кровати — все еще саднила исполосованная спина. Смотрела издали на мужа, который жадно уминал холодное мясо с хлебом, и не раскрывала рта, только думала: «Он уже не тот. Эта подучила, эта! Как такую землица носит? Как такую молнией не убьет? Разве Марчюс бы связался, если б не эта? Все ведь от бабы зависит, может, подпоила чем, любчиком... Где это видано? Все время был шелковый, хоть к ране прикладывай. Этой потаскухи работа!..»

...Возвращается-таки через луг.

Крейвенене отрывается от забора. Дальше она не пойдет. Здесь ее место. Наклонясь, собирает щепочки. Марюс дом строил, набросал. Марюс славный малец, уже можно разобрать, чего он говорит. Дай только подойдет муж, она сразу голову вскинет... и будет стоять прямая как свеча. И скажет...

Грабли прислоняет к стене хлева. Шаркает ногами. Совсем уже дряхлый стал. Ах, и она... Но сегодня она сбросила два десятка лет! Сегодня ей легко, на диво легко, пускай только Марчюс увидит, пускай узнает! Пускай, пускай...

Высыпает щепу под забор, вытирает о юбку руки и смотрит на Марчюса такими глазами, словно он возвращается от той... Как тогда, как двадцать лет назад...

Марчюс останавливается. Рубашка застегнута до подбородка, на ней — сенная труха. Рукав разорван, белеет локоть. Лицо морщинистое, усталое, бороденка торчит, словно клинышек.

— Я в магазин ходила! — гордо говорит Крейвенене и удивляется, как это Марчюс не понимает, как он не видит, в чем дело, по ее лицу, по глазам. Но он и не смотрит на нее... глядит куда-то вбок...

— Свинья этот председатель, — говорит Марчюс.

— В магазин...

— Свинья председатель, — повторяет Марчюс. — Всегда он был свинья свиной, Тракимас-то.

Обалдельй какой-то, думает женщина, если сейчас сказать, ухом не поведет, может, и не расслышит.

— Я ему про пчел, а он мне...

И идет себе мимо, за избу.

— Я Марцеле встретила. Которая из Дегимай,— торопится сказать она; новость жжет ее, она хочет побыстрее сбить ее с рук.

— Пчелы для него — пустое. Пустое! Всегда он был такой, знаю.

И уходит в сад. Тень человека растворяется в тени деревьев.

Крейвенене привзливается спиной к углу избы и видит — медленно, ужасно медленно Марчюс крадется к ульям и, ссутулясь, застывает около них. Стягивает с головы шапку, сжимает в руке. Издали светятся его белые волосы.

Пчелам молится? Совсем уж...

* * *

Каждую пятницу одно и то же: под вечер деревня ждет взрослых детей. Поглядывают из окон изб, торчат у ворот, внучата бегают на дорогу. Загудит машина, заревет мотор на подъеме — и все уже навострили уши. Тут, пыля, пролетает колхозный грузовичок. Тьфу! Еще без четверти, автобусу рано, график у него, и нечего пялиться на дорогу. Порядок — он и есть порядок. А вдруг все-таки?..

— Вот, крест святой!.. — стонет старуха Барштене, вытирая мокрым концом полотенца замурзанное лицо ребенка; внучонок вырывается, кричит, но бабушка крепко зажала его меж коленок — хоть малость обчистит.— Да стой ты, телепень! — ворчит на ребенка и вздыхает: — Вот, крест святой, если б Настуте приехала, я бы хоть отдохнуть прилегла. Сведут меня раньше сроку в могилу эти озорники. Хоть один бы... Двое! На голове ходят. Теснятся в этом общепитии что селедка в бочке, койка, чтоб детей делать, есть, а где прикажешь расти? Ты расти, бабка! Спасибо, зятек попался не лопух. А ведь упрямылась Настуте, не шла: мол, рубщик мяса, продавец... Вот дура дурная! А что ты со своего института имеешь? У зятка что ни день, то прибыль. Аж подумать страшно, храни его господь... Да ладно, скоро, говорят, и квартира и машина будут. За деньги все достанешь... Вот бы Настуте проведала, отдышаться бы дала, а потом я уж опять бы с этими озорниками... А ведь внучата, крест святой...

И Марчюконис поглядывает на дорогу. Вернется сын, вынет из сумки бутылку, со стуком поставит на стол: «Садись, папаша!..» Усядутся, отец спросит, чего в городе слышно, а сын ответит: «Вчера как поддали с ребятами, сегодня голова пополам. Будь здоров, папаша!» «Твое здоровье, ягодка». А если жена начинает зудеть — мол, бездельники вы, пропойцы,—Марчюконис бухнет кулаком по столу: «Цыц, баба! Родной сын угощает! Ну, дай ус, ягодка». И весь разговор. Что ему эта дура баба? Пускай радуется, что зубы целы, другие мужья не так бы ответили... А если все равно не отвяжется, скажет сыну: «Пойдем-ка в люди, ягодка!» Купят коньяка бутылки две... Он сам купит, Марчюконис, грузинского, пятизвездного. И высосут понемножку... посреди улицы. Пускай пьются кому охота да судачат. Он на своем постоит! Не впервой ему, вся округа знает. Как померла матушка, упокой господи ее душу, оркестр за полтораста рублей нанял. И годовщину смерти отметили в Крикштонисе. Из костела прямым ходом в ресторан «Три доярки». Зал аж играет от хрустала, дух жаренных по-особому цыплят в нос шибает. Не только родня — полдеревни пила да плакала, плакала да пила за упокой матушкиной души.

Кто-то съязвил: мол, и богу свечка и черту кочерга. А ну их, пускай чешут языки... Ведь о нем говорят, о Марчюконисе-то, на весь район прославился! А теперь, глянь, и другие с него пример берут. А чей почин, ягодка? Кто инициативу проявил? Да, Марчюконис, как был ты затейником, так и остался, и дай только сын перешагнет твой порог, ты уж что-нибудь отмочишь, тот еще закатишь фестиваль...

И Гарбаускене глаз с окна не сводит. Сестра Маре ехидно смеется: «Думаешь, дождешься?» «Сердце не обманет, приедет мой Альбинукас. А может, и Юргутис. Снились мне под утро оба», — шамкает беззубым ртом старушонка. Выходит на двор — лучше уж на проселке потопчется. Далеко не видит, притомились глаза за долгий век-то, пригласи, а вот слышит хорошо... За версту узнала бы шаги детей: у Альбинукаса тяжелая, размеренная поступь, а у Юргутиса, помнится... Вот присядет на кочку и передохнет. Бог знает с чего это ноги... и все тело, боженька... к земле тянет. Это с того дня, как колхоз гумно разбирал. Просторное было гумно, бревна целехонькие, аж звенят, и председателю вздумалось перетащить его к фермам. Сошлись мужики, сдирают крышу, разбирают стропилы. И ее муж с ними в бригаде строителей работал. Как сейчас помнит — она в избе хлопотала и тут: «Гарбаускене!..» Бросив все, выбежала на двор — ее мужа балкой придавило. Ссыпала холмик и опустила руки — казалось, ее самое в могилу потянуло. Но сама под землю не полезешь: надо жить да детей на ноги поставить. Дети вы мои, дети, боженька милосердный...

Сянкувене тоже ждет. Не автобус, нет. Пускай эти в автобусе давятся да потеют, а ее девочка... Въедет во двор черная «Волга», затормозит перед домом, высадит ее девочку с зятем, и шофер укатит, а в воскресенье вечером приедет забрать. А может, зять на своей легковушке пожалует? Да зачем собственную трепать, когда казенная есть. Хоть бы печенье не подгорело — печь жарко натоплена. Новый рецепт отыскала, должно бы таять во рту, как мороженое за девятнадцать копеек. Ох, а комнату-то и не проветрила, надо окно открыть. Чтоб только мухи не залетели, зять их страх как не любит.

И Шаруне поглядывает на часики. Без пяти. Вот-вот... В комнатке наведен блеск, мытый пол пахнет свежестью, на столике — три георгина в фарфоровой вазочке. И кровать заправлена чистым бельем. Для него старалась, а сама... с матерью ляжет. Нелегко будет заснуть. Наверно, всю ночь глаз не сомкнет, не привыкла в одной кровати с матерью. И не только потому. За стеной будет лежать Ауримас, и Шаруне снова и снова почувствует на себе его руки и губы, все его жаркое тело. Как она успокоится, как уймет мысли? Шаруне не хочет, чтобы ее с Ауримасом разделяла стена — даже дощатая тоненькая переборка. Столько ждала его, и теперь снова не вместе!.. Но мать... А ведь матери-то не рассмеешься в лицо, не скажешь: «Твои взгляды, мама, отдают нафталином!..»

Надев свое любимое платье и надушившись, Шаруне последний раз с порога окидывает взглядом комнатку и выбегает.

... — Боже ты мой, едет! — отходит от окна Барштене и торопливо прибирает в комнате, а то дети снова все перевернули вверх ногами.

... — Наконец-то! — Марчюконис потирает руки и чмокает пересохшими губами.

...Гарбаускене узнает клекот мотора и проводит увядшей рукой по лицу — вот-вот заплачет от умиления.

...Только Сянкувене даже и не посмотрит на полосатый автобус. Эти едут, голодранцы...

...Шаруне выбегает из сада и видит вдалеке вихрящееся облако пыли. Там, где в полдень колыхалась никлая рожь, сейчас оцетинилась колкая стерня, высятся растрепанные скирды соломы. Унылая пустота полей — неожиданная, пахнущая осенью. Хотя не осень сейчас, а самый летний зной... Дорожная пыль обжигает, перегорела, словно пепел, плавает над канавами, ложится на жухлые листья вишенки. Шаруне не спешит. Не побежит же через всю деревню, не бросится же в объятия Ауримаса на глазах всех баб. Плелала она на языке, конечно, а все-таки не стоит: родная деревня. Лучше погуляет здесь по проселку и подождет. А потом уж они подыщут укромный уголок, чтоб побыть вдвоем. К озеру пойдут, может, даже переберутся на тот берег, в лес. Ауримас захочет осмотреть окрестности, он же обожает природу; наверняка скажет: «Такой красоты нигде не видел!..» Будет вечер, в озере отразится закат, над тихой водой будут плескаться рыбы, пролетит, часто хлопая крыльями, парочка уток, и Ауримас скажет: «Как хорошо, что я здесь». Она вроде обидится: «Только потому, что красиво?» «Потому, что мы оба здесь» — и крепко обнимет ее. Она уже чувствует его железную хватку: как там, на взморье, — он поднял ее на руки и легко понес тропой через сосняк; высоченные стройные сосны колыхались и звенели, гремела их голубая музыка — или это вечернее небо, опускаясь к земле, звенело, она смеялась и шептала: «На край света, пожалуйста, на край света...» — но он опустился со своей ношей на колени под высокой сосной, положил ее, Шаруне, на белый мох — затрепетала грозная тишина, она испугалась, но ее руки и отталкивали и привлекали, обнимали его, сосны взлетели в небо, неслись стремительно, словно крохотные тучки, и она забыла страх, все забыла...

Ауримас лежал рядом, подпирая рукой голову, а другую положив ей на грудь, глядел на ее приоткрытые ждущие губы и говорил: «Завтра попробую достать номер в гостинице». — «Меня не пустят». — «Полчервонца за ночь». Ее кольнул этот спокойный уверенный голос. Села, обхватив руками колени; ныла спина. «А ты откуда знаешь?» — «Дурочка! Ребята говорят». Привлек ее к себе, стал осыпать щеками, и сосны снова взлетели в потемневшее небо и долго плавали там.

Но это было... было...

Шаруне мотает головой; тогда она до полуночи расчесывала перед зеркалом длинные волосы, все не могла вычесать сосновые иголки и серебристый мох, а две женщины, вместе с ней снимавшие комнату, смотрели со своих коек и ничего не говорили, но Шаруне чувствовала — они догадываются, и гребень все падал из рук.

Пора ему показаться, думает Шаруне, глядя на дорогу. Проходят две бабы с пустыми корзинами — видно, ягоды возили продавать. Галдя шагают четверо парней — в черных костюмах, в руках вместительные сплюснутые сумки. Пробегает девушка в развевающейся болонье. Кто сворачивает на свой проселок, кто шагает напрямик по полю. Только Ауримаса нет как нет. Он ведь никогда не торопится. Даже улицу переходит прогулочным шагом, не оглядываясь на визг тормозов. «Бешеный темп жизни не велит торопиться», — говорит Ауримас. В его жизни мало логики; пожалуй, это один из крючков, на которые он ее поймал. Шаруне улыбается: а может, это она поймала его на свой крючок? «Ты создана для баловства». И она ни капельки не обиделась тогда. Разве грешно быть привлекательной? Какая девушка не захочет хоть раз вскружить мужчине голову, чтоб и сама потом захмелела от новой победы! Правда, мало кто признается в этом.

За придорожными вишенками идет кто-то. Темные очки, белая каскетка. На спине рюкзак, мужчина наклонился вперед: видать, не легкий груз. Ауримас? Шаруне шарахается в сторону. А то еще подумает, что она тут с утра торчит. А вдруг проскочит проселок? Начнет спрашивать в деревне: «Не подскажите, где хутор Крейвенасов?» Сколько разговору потом будет: «К Шаруне ухажер приехал...»

А мужчина уже дотопал до их проселка, стоит, оглядывается. Увидел, думает Шаруне и знает, что никуда она не побежит. Ауримас приближается своей валкой походкой. Шаруне подается навстречу и словно о невидимую стену ушибается.

— Меня ждешь, красotka?

Голос чужой, но есть в нем, как и в походке, что-то знакомое — самоуверенность, прямота, что ли.

— Да вижу, что меня...

Мужчина стоит перед ней, и Шаруне готова сквозь землю провалиться. Готова убить себя за то, что ошиблась, за то, что незнакомец чем-то смахивает на Ауримаса, за то, что он так нахально говорит...

На белой каскетке голубые буквы: «Тракай». За темными стеклами не видать глаз. Пошутить вздумал.

— Подумаешь! — говорит Шаруне и, приосанившись, мимо незнакомца удаляется к большаку.

— Дуться тут нечего, — догоняет ее угрюмый голос. — Может, лодку кто сдаст на уик-энд, не подскажешь?

— Комбинат бытовых услуг, — бросает через плечо Шаруне.

— Я серьезно.

— И я...

Какого черта он к ней пристал? Идешь, вот и топай мимо. Нет, обязательно должен... И те, что на озере, и этот... черная кобра... У всех мужчин такое сомнение, стыда они не знают. Не выглядит же Шаруне как... какая-нибудь... Был бы тут Ауримас, никто бы пасти не раскрыл.

— Ненавижу, ненавижу, — шепчет она, гневно сжимая кулаки; зубы стиснуты, на глазах слезы — в жизни не простит Ауримасу, что он снова не приехал и не придет — ведь это последний автобус из Вильнюса... Разве что приятель на машине подбросит, у него таких дружков навалом, рассказывал, как весело катались по всей Литве.

Ауримас обожает сюрпризы, не раз он удивлял Шаруне то галстуком с экстравагантным рисунком, то пиджаком сногшибательно-го покроя, то шальной мыслью: «Знаешь, придется купить обезьянку. Почему бы нет? Все в парке собак прогуливают, а я — обезьянку. Это будет вызов окостеневшему общественному вкусу». Возьмет да и объявится посреди ночи или поутру.

Шаруне выходит на большак, оглядевшись, замечает далекий автомобиль и убегает на свой проселок — жуть, какая пыль. Плетется еле-еле, и, хотя не переставая твердит, что Ауримас еще может приехать, в сердце такая пустота, что и вечером не найдет себе места, и ночь будет тянуться без конца.

В комнатке пахнет свежестью. Георгины в вазочке и аккуратно застеленная кровать... Все это бессмысленно теперь.

— Луку нарви, — приказывает мать, и Шаруне рада занятию.

Вяло растет свекла, захирела фасоль, сквозь чахлые огуречные плети просвечивают мелкие желтые цветы. Оскудел огород без дождя; отец каждый день ведрами таскает воду, но разве все успеешь полить... Только подсолнухи улыбаются свысока да стройные маки не опускают головок.

Шаруне рвет ломкие стрелы лука. Набрав полную горсть, возвращается в избу, кладет в кухне на стол и убегает в дверь — неподалеку загудела машина. И правда — мимо сада прямо к воротам катит зеленая легковушка. Уже?! Шаруне бежит за избу, мимо кустов георгин, но автомобиль не останавливаясь едет мимо гумна.

Только об Ауримасе она и думает. Если бы он о ней думал... Ужас какой, совсем блажная стала, никогда ведь такой не была.

Из-за гумна доносятся мужские и женские голоса.

Мама трусит через двор. Кажется, зовут ее, она спешит на помощь, боится опоздать.

Шаруне добегаёт до гумна и видит: на пригорке, за огородом, стоит зеленый автомобиль, а двое мужчин без пиджаков и две женщины в шортах (а может, девушки?) поглядывают вокруг, пялятся на озеро. С этого пригорка видно далеко — любимый уголок Шаруне, здесь она, постелив простыню, загорает. Бородатый мужчина открывает багажник, бросает наземь коричневый брезент, достает топорик и, размахивая им, оглядывается.

— Вон березняк, — показывает бородач.

— А если из забора колья выдернуть?

— Неудобно, — говорит женщина в цветастой кофточке. — Срубил лучше две березки. Нет, три, одну вместе с листочками перед палаткой воткнем, для красоты.

Бородач сует руку в машину, взрывается джаз. И тут же захлебывается — рядом вырастает мама. Подбоченилась и молчит. Молчат и приезжие — не ждали, видно, что кто-то придет.

— И что же вы собираетесь делать? — наконец спокойно спрашивает мама.

— У вас такая красота, бабушка, — заискивающе говорит женщина в цветастой блузке.

— Красота, ну и что? — Мамин голос по-прежнему ровен.

— Мы здесь палатку соорудим, — говорит бородач.

— Тут? — Она обводит взглядом отаву, изрезанную глубокими колеями.

— Мы на две ночи, бабушка.

— Я вот чего скажу: собирайте манатки — и с богом.

Приезжие переглядываются. Мужчина с топориком в руке изображает удивление:

— Ну и ну, подумать только! На колхозную землю и ногой не ступи?

Мама поднимает руки, грозит кулаками:

— Эта земля и меня и тебя кормит, пащенок!

Шаруне испугалась: сейчас все четверо набросятся на маму! К матери подскакивает мужчина с топориком:

— А ну, тетка, потише! Мы тоже закон знаем!

Но мама за свой век еще не таких видывала. Она только оглядывается, словно ищет камень или палку, но под рукой ничего не оказывается, и она повторяет:

— Сказано вам: собирайте манатки — и с богом.

Она ждет. Не говорит больше ни слова, просто подбоченилась и ждет.

Бородач складывает брезент палатки, женщины залезают в открытые дверцы.

— Ну и бабец! — цедит мужчина с топориком.

Мама не слышит. Мама ждет.

Когда легковушка уезжает, она, сгорбившись, плетется домой. Опускается в изнеможении на лавочку у забора.

— Господи, вот времена настали — на голову садятся, и ничего не скажи!

Дышит тяжело, смотрит под ноги на серый песок. Платок сполз на глаза, кончик носа торчит.

— А вдруг ночью... Огород разорят или в колодец нагадят. Добра от таких не жди... Отец-то где? — Она поправляет платок.

— Не видела,— отвечает Шаруне.

— Заберется куда-нибудь... Ни о чем не печется. Если б не я...

* * *

Тракимас яростно швыряет трубку на аппарат — прихлопывает назойливую мысль: всплыла ведь именно тогда, когда ему надо сосредоточиться и хорошенько все взвесить.

Наваливается грудью на стол, подпирает кулаком лоб, крепко зажимуривается.

Пчелы... Пчелы перемерли... Почему лезут в голову пчелы, когда ему позарез нужно... Крейвенас был белее полотна, казалось, вот-вот свалится на дорогу. Пчелы... На колхозную капусту, которую блошка жрет, ему начихать и на колхоз ему начихать, не раз уже чихал. Пчелы! Для него главное три пчелы из трухлявой колоды. Пчелы его, а огород колхозный — вот в чем дело. Тракимас всегда знал, что этот старик... знал... знал... Что же он знал? С ума с ними сойдешь. Или у него дела нет, раз этим голову забивает?

Тракимас закуривает, глубоко затягивается дымом. В открытое окно тянет вечернюю свежесть, слышны крики детей во дворе. Кому еще позвонить? Тамашаускасу в «Единство»? Этот и удобрений урвал больше других. А ведь надо звонить, хоть плачь, надо. Когда беда приходит, нечего в амбицию ударяться. Но упаси бог сразу брать быка за рога, культурно надо, исподволь. Ух, и ненавидит же Тракимас эту галантерейность!..

— «Единство» слушает,— отзывается женский голос.

— Тамашаускаса дайте. Позарез нужен..

— Погляжу.

Тракимас ждет, ладонь, сжимающая трубку, потеет, сердце чистит. Будто девушке звонит...

— Слушаю,— раздается спокойный голос, и Тракимас впопыхах глотает слюну.— Слушаю!

— Тракимас беспокоит,— удастся-таки заговорить.

— Кто-кто?

Узнавать не хочет!

— Тракимас.

— А, Тракимас... Здорово, Тракимас. Как дела?

— Да неважно. Раз уж в страду звоню, значит, дрянь дело, прямо тебе говорю.

— Знаем мы вас, которые плачутся. Оглянуться не успел, а они уже на верху сводки.

— Я серьезно, Тамашаускас. Тебе-то легко, все идет как по маслу. Наверно, центнеров тридцать...

— Еще три добавь. По предварительным.

— Ого! Поздравляю.— У Тракимаса пересохло во рту; выпил бы воды, да в графине, как на грех, ни капли.— Поздравляю, Тамашаускас, поздравляю... У тебя всем нам учиться надо.

— Ну, ну, Тракимас, твое хозяйство тоже...

— Да куда уж там... — Тракимаса аж тошнит от своего подхалимского голоса. Но Тамашаускас на другом конце провода, кажется, отмяк.— Послушай, Тамашаускас, я уже говорил — у меня дело дрянь.

— Ну? — Голос Тамашаускаса сразу остывает.

— Комбайн вышел из строя. Мелкая чепуховина нужна, а не достать. Понимаешь — пружина в клапане полетела. (Тамашаускас молчит.) Весь день простоял, а вдруг и завтра?..

— На то объединение.

— Шиш от них получишь. Может, у тебя найдется, Тамашаускас, одолжил бы. Из-под земли достану, отдам.

— Подожди на проводе, инженеру звякну в мастерскую.

Тракимас тешит себя надеждой — а вдруг? Подпирает плечом трубку, зажигает потухшую сигарету и жадно затягивается. Смотрит в окно на улицу — по ней плетется какой-то старик. Крейвенас?.. («Химию сыплете...» Вот дурак...) Нет, другой старик... Почему он не выходит из головы, этот Крейвенас? Вечно путается под ногами. И он, и его... Опять шут знает что лезет... «Мне ведь нужен клапан. Ни о чем больше знать не хочу».

— Тракимас, а другие хозяйства обзвонил? — ни с того ни с сего спрашивает Тамашаускас.

— В «Передовик» звонил, в «Рассвет»... и в «Пакальнишкяй».

— И ничего?

— Ничего. Ну как, Тамашаускас? Выручишь? Отдам, будь спокоен.

— Не догадываешься, почему не хотят выручать? А вдруг им самим эта пружина понадобится? Сегодня, завтра. Не знаешь ведь ни дня, ни часа. Кто чем разжился, держит в кулаке, не вырвешь.

Тракимас берет трубку в другую руку, влажной ладонью вытирает вспотевший лоб. Он издевается! В лицо смеется...

— Но ты-то ведь, Тамашаускас, можешь мне поверить?

— Верю. Правда, верю. Но инженер сказал: есть тяги, есть поршни, а вот клапанов — нету.

Издевается!

— Этими своими поршнями пускай он задницу заткнет! — И швыряет трубку.

Мечется в кабинете: что теперь будешь делать? Потратил уже полдня, и механики тоже... Хорошо хоть Дайнюс Гуделюнас к комбайну пришел. Ведь тоже — проси, кланяйся в ноги, а он куражится. Ладно, Дайнюсу цены нет, золотые руки у парня, на него нельзя обижаться. У него собачий нюх, чует, что где не в порядке. Не комбайном ему управлять — электронной машиной! Но где взять эту мелкую чепуховину? «Кто чем разжился, держит в кулаке», — добродушно бросил Тамашаускас. Вот змей! Что ж, правду сказал... Будто ты другой... Весной позвонили из «Рассвета», попросили картофелесажалку. Мол, вы завтра-послезавтра не садите, дайте-ка нам машину, а когда начнете, мы вам свою пришлем — и в расчете. Что ты ответил? Нет, мол, в ремонте. А что подумал? Мы начнем через неделю, но с какой стати вам быть первыми? Еще поломаете... запчастей не достанешь, хоть в лепешку расшибись, а ведь нужда бывает непременно в том, чего у тебя нет.

Вот так и живем, горько усмехается Тракимас и, вспомнив, что ответил Тамашаускасу, думает, что хамить не стоило. Он всегда легко теряет равновесие и может черт-те что наговорить. Нервы издержаны, ведь ни разу еще не удавалось на весь отпуск оторваться от колхоза. Недели две, не больше, и снова носись как угорелый по полям да фермам — все, что сделано без тебя, кажется никудышным. Дурацкий характер, работа на износ, конечно. И никто ведь спасибо не скажет, не войдет в положение...

Со скрипом открывается дверь.

— Чего тебе, Регина? — сухо спрашивает Тракимас.

— Из района звонили, председатель.— Регина подходит к нему; стоит так близко, что Тракимас прямо-таки чувствует, как под белой блузкой вздымается ее крутая грудь.

Садится за стол, придвигает к себе папку с бумагами.

— Чего им надо?

— Сводку по жатве просили.

— Передала?

— Передала, председатель.

— Еще чего?

— Сводку по молоку.

В дочери годится, думает Тракимас, а ведь готова на все, только пальцем помани.

— Почему раньше не говорила?

— Только сейчас пришла, председатель.— Покраснев, она тербит свой янтарный медальон.— Работа-то ведь давно кончилась.

— А, верно.— Очнувшись, Тракимас поглядывает на часы.— Сводка по молоку готова?

— Я сейчас.— Регина поворачивается, но Тракимас останавливает ее:

— Не надо, в понедельник покажешь. Помнишь ведь в общих чертах.

Регина возвращается к столу, поправляет алый георгин, вставленный в бокальчик для карандашей — Тракимас только теперь замечает этот цветок...

— По сравнению с прошлым годом ниже.

— Веселая новость! — Председатель хлопает ладонью по папке так резко, что Регина вздрагивает.— Сегодня сплошь веселые новости! Заведующий фермами знает?

Регина пожимает плечами, нагнувшись через спинку стула, поправляет занавеску на окне. Ее грудь мягко задевает плечо Тракимаса, и его бросает в жар. Взять бы и забыть все, хоть на минуту убежать от забот! Протяни руку — и твоя! Усаживай в «газик» и вези куда желаешь. И ты станешь другим. Чепуха ведь — полетел клапан, чепуха! Неужели не видишь, что она ждет? Не первый же раз приходит, когда ты сидишь один. Вроде по делу, а ведь... Наплевать бы на все! На тебя-то ведь тоже наплевали. Как на последнего неудачника плюнули и бросили, а ты все еще чего-то ждешь. Чего ждешь, дурак? Ты ее не возмешь, так другой подцепит и бросит, ведь самые прекрасные слова лопаются как мыльные пузыри. Ее губы вздрагивают, приоткрываются, они ждут, губы-то, а ты не будь олухом, не будь святым; отомсти той, которой нет, и себе отомсти за верность той, которой нет; говорят, месть — сладкая штука...

— Председатель...

Он встает, опираясь ладонями на стол, подходит к Регине и, резко повернувшись, бросается к двери, распахивает ее, влетает в комнату бухгалтерии. Комната пуста, со столов убраны бумаги, аккуратно расставлены стулья. Но здесь прохладнее, куда прохладнее, окна на север, солнце не нагревает. Тракимас глубоко дышит, трет рукой лицо — небритое; не успел второпях, ладно, завтра утром...

— Регина, — говорит он в дверях, — впредь без моего ведома никаких сводок не передавать. Слышишь? — Он говорит сурово, хотел бы к ней придираться, накричать, но Регина — хороший бухгалтер, она никогда не ошибается.— Пока! У меня работа.

Сверкнув глазищами, Регина выходит, покачивая бедрами, обтянутыми короткой юбочкой (где она и научилась так ходить!). Не попрощавшись, выходит.

Тракимас стоит, слушает, как удаляются шаги, и вдруг вспоми-

нает, что с утра ничего не ел. Такой суматошный день! А другие?! Хоть лопни, не успеваешь всего переделать.

Но сегодня он заслужил отпущение грехов, смеется над собой, вспомнив про Регину. Вынимает из бокальчика с карандашами георгин и, повертев в руке, ставит в стакан с водой. Пускай его цветет. «Глупая девчонка, вот-вот опалит крыльшки. Шею сверну тому, кто до нее дотронется!» Тракимас запирает кабинет...

Мать качает седой головой: эх, сынок, сынок, совсем ты у меня замотался.

Тракимас шмякается на стул, облакачивается на стол. Руки в смазке, в пыли. Когда мать приносит обед, он снова бросает взгляд на свои ладони и уходит в ванную. Долго моет руки и лицо под тугой струей.

— Остынет,— слышит голос матери, заботливый и ласковый, таким он помнит его сызмальства.— Поторопился бы.

Перед зеркалом проводит расческой по волосам. Залысины растут.

— Какие у тебя глаза, полюбуйся... Ввалились, веки запухли! На кого ты похож...

— Жара, мама, все от этой жары,— смеется он, обнимая мать за плечи и усаживая ее за стол.— Пообедайте за компанию, мама.

— Я давно. Жду, жду, все остывает.

— Дети где?

— Да они то тут, то и след простыл. Убежали куда-нибудь. Только бы в озеро не забрались!

— Знают, что нельзя.

— Мало ли что знают. Вот в Пакальнишкяй малец утонул. Спрыгнул с берега, и готово. Пойду посмотрю.

— Да посидите, мама. Вы же целый день на ногах.

— Эх, сынок. Ты кушай, я сейчас.

Как бы он жил, если б не мать! Вырастила своих семерых, шутка ли сказать, теперь за его детьми смотрит, и ни слова жалобы. Вся жизнь отдана детям да внукам.

— Роландас! Генюкас! — Мать зовет внучат на дворе.

Кусок царапает горло...

«Ты меня не жди. Я много думала и долго к этому готовилась. Видно, то, что должно прийти, приходит, и никуда не денешься. Знаю, ты меня осуждаешь, все меня осудят, но я не могу быть только твоей тенью...» И лишь в самом конце письма как бы между прочим вспомнила: «Роландаса заберу в сентябре. Ему лучше будет ходить в городскую школу. Могла бы и Генюса. Как ты хочешь... Бывшая твоя...» Бывшая... Исчезнувшая... Пропавшая без вести. И ты рано утром уехал искать ее, ведь не может человек исчезнуть без следа... Растерянно брел по проспекту, будто впервые оказавшись в большом городе. Стоял у троллейбусной остановки и не знал, куда ехать.

А когда вернулся, тебя встретили печальные глаза матери. «Почему ты от меня скрываешь?» — спросила она. «Что я скрываю, мама?» — «Вся деревня знает, только я ничего не ведаю. Ах, сынок, сынок...» И ты стал ждать, потому что не мог поверить... Ведь нельзя же так вдруг... Но так ли уж вдруг? Не привык ли ты за всегдашними заботами не замечать жены; сидит она дома и пускай ее сидит; ведь дом — полная чаша; пускай учится, пускай ездит в город, пускай ходит сама в кино и театр; тебе-то ведь некогда... Поначалу она ласково звала с собой, потом стала осыпать упреками, а под конец притихла, и ты обрадовался: поняла, притерпелась к твоему образу жизни...

Прошла неделя, началась вторая, и ты опять шнырял в толпе, торчал у кинотеатров, ошивался в ресторанах... И снова ждал. Ждал.

Ты ведь и теперь ждешь. Ждешь каждый день, потому что тебя подкосили из засады, а ты хочешь сразиться лицом к лицу, по-мужски, и выйти из этой рукопашной победителем.

Тукают шажки в прихожей, и Тракимас откладывает вилку.

— Папа, Генюс стекла у Марчюкониса разбил! — кричит с порога Роландас; глаза, кажется, испускают молнии.

— Какие еще стекла?

— В огороде!

— Шут вас там носит! На чужие огороды еще начнете бегать, как ворюшки. Вот возьму ремень...— И уже берется рукой за пряжку, но Роландас понимающе ухмыляется: отец часто грозитя, но еще ни разу... Растерявшись, Тракимас опускает руки.— А почему ты ябедничаешь на Генюса?.. Он бы и сам признался.

— Роландас сказал, что я не попаду, и я ка-ак запустил...— надув губу, всхлипывает Генюс.

— А если Роландас тебе велит сунуть палец в огонь, ты тоже послушаешься?

— Он меня не слушается! — кричит Роландас.

— Я не буду его слушаться!

— И я не буду!..

Дети кричат наперебой, и Тракимас не знает, кому что говорить.

— Лучше давайте так: вы будете слушаться бабушку.

— Ладно,— первым соглашается Генюс.

— Будем,— помолчав, говорит Роландас.— Но мяса есть я не буду. Я хочу картофельных оладий.

— Попроси хорошенько, и бабушка нажарит.

— ...Бабушка, оладий! — И оба убегают в открытую дверь.

Веселье, бойкие ребята. Но почему они так редко вспоминают свою мать? Бабушка ее заменила. Надо ей все-таки отдыхать побольше. Вот кончится страда, может, смогу чаще забегать домой. «Роландаса я заберу в сентябре...» Заберет... Осеннюю и зимнюю одежду заберет и вдобавок — Роландаса.

Шаркая, входит мать, спрашивает, наелся ли, не надо ли еще чего, потом говорит:

— Я с Барштене толковала. Говорит, у Крейвенаса пчелы перевелись. Не слышал?

— Да что вы, мама,— отмахивается он и, отвернувшись к окну, закуривает.

Опять этот Крейвенас! Только-только забыл про него, и опять!

— Говорит, вы порошком посыпали... Не ты велел там сыпать?

— Ну знаете, мама! Пчелы, пчелы... Я о колхозе думаю!

Старуха вздыхает и, помолчав, обиженно говорит:

— Что поделаешь, стара стала, ничего не смыслю. Хоть в гроб ложись.

— Мама...

Теперь надолго замолчит, подождет губы. Обиделась, конечно. Пока с детьми возится, обед готовит да обстирывает, в огороде хлопчет — спасибо, мама, никто так не умеет, как вы, а дай только обмолвиться о том, что творится за плетнем, о чем люди толкуют,— ничего вы не понимаете, не встречаите... Выходит, кругом он виноват... У него — легкая ноша, он не устает от этих бесконечных дел, напастей да разговоров? А доберется до дома... и тут из-за мелкой чепуховины тебе снова в затылок гвоздь заколачивают...

— Вы, мама, лучше бы спросили, сколько ржи соберем.

— А пчелы — пускай?

— Опять двадцать пять! Это же мелочь, пустяковина. Да разве вам понять?..— Тракимас обрывает на полуслове, увидев, что мать

едва не уронила тарелку, но не знает, как сказать ей не покрывя душой, как объяснить матери все? Ведь сам не умеет разобрать эти перепутанные нити, концы которых убегают в далекие времена, в послевоенные годы. Думал, что все давно оборвал, а вот, оказывается...

Мать хлопочет на кухне, изредка глубоко вздыхает. Надо бы слетать во вторую бригаду, где сейчас идет дойка, но Тракимас сидит понуриив голову, положа руки на стол. Этими самыми руками ты взял тогда небольшой, но увесистый пакет, сказал: «Большое дело, отнесу». Миндаугас, сын старого Крейвенаса, снимал комнату в одно окошко. Но это была отдельная комната, а вы, трое пятнадцатилетних парней, снимали угол и мечтали о тех временах, когда устроитесь так же привольно, как ваш сосед-лесничий. Вечерами Миндаугас садился на скамью на террасе, и вы развесив уши слушали о лесных работах, о кубометрах древесины, о том, что за войну извели много леса и что главное теперь — сажать деревья. Он разбирался не только в лесах — говорил о литературе, читал целыми страницами наизусть Баронаускаса, Майрониса, гётевского «Фауста» — по-немецки. Правда, не часто выпадали такие посиделки, потому что чаще после ужина лесничий уезжал куда-то на велосипеде.

Однажды уже в сумерках Миндаугас подозвал тебя и попросил: «Ты хороший парень, помоги мне, ладно? Нумератор я забыл передать, а рано утром им приступить к работе. Отнеси, ладно?» Миндаугас сказал адрес на окраине городка, а потом добавил: «Ах да, передай там: завтра в восемь». «Что — завтра в восемь?» — не понял ты. «Нумеровать он должен начать. Но ты скажи просто — завтра в восемь, он будет знать». Ты отнес тяжелый сверток и сказал: «Завтра в восемь». Человек, стоявший в темном провале двери, бросил: «Постараюсь». Когда ты вернулся, на террасе тебя ждал Миндаугас. «Ну как?» — спросил он. «Передал». — «Вот и молодец! Не закуришь?» И ты обрадовался, что лесничий угощает тебя папироской.

В другой раз Миндаугас послал с письмом. К какой-то женщине. Мол, очень срочное дело. Ты отнес и снова вместе с лесничим выкурил душистую папироску.

Вот и все, пожалуй. Уже осенью ввалились в дом народные защитники. Прошлись по комнатам, забрались на чердак, открыли дверь кладовки. «Где Крейвенас?» — спрашивали хозяйку, но та не могла ничего сказать. Тогда они вывели всех вас во двор и спросили: «Чей это велосипед?» Ты первым ответил, даже обрадовался, что можешь сказать правду: «Это его велосипед! Лесничего!» Они спросили у хозяйки: «Это его велосипед?» Хозяйка часто заморгала, подойдя к велосипеду, потрогала руль и ответила: «Хоть убейте, не знаю». Ты удивился: как это хозяйка не узнает велосипед? И народные защитники удивились. «Нет, нет», — качала головой хозяйка, но приятели поддержали тебя. Вечером хозяйка оставила вас без ужина: «Дурни вы, дурни! Ничего не знаете — ни что, ни как, а болтаете. Может, на человека доказали...» И ты вспомнил про пакет, про письмо; по спине побежали мурашки.

Вскоре вы узнали, что лесничий Крейвенас ездил в лесхоз за жалованьем для лесорубов, забрал тридцать тысяч и исчез. В лесу у дороги нашли его велосипед. То ли бандиты подстерегли его и убили, то ли он сам сбежал к бандитам со всеми деньгами. Люди строили догадки, а тебя все время бросало в жар... Потом все как-то забылось, немало лет утекло, и пакет с письмом лишь изредка мелькали в мыслях. Ты пришел работать в колхоз на другом конце района и тут услышал фамилию, которая обожгла, заставила вспомнить. Но ты и не думал прятаться — ненастолько же ты слаб, чтобы бояться собственной тени. И все-таки эта тень, ощущение невольной вины

преследуют тебя. Не потому ли возненавидел ты дом Крейвенаса? Молчишь. Почему же молчишь, а?

За окном опять громко спорят дети, и Тракимас вскакивает из-за стола, подходит к двери в кухню — надо бы войти, сказать матери что-то доброе, слишком часто он обижает ее. Но ведь некогда, надо бежать — дойка вот-вот кончится, а ему надо посмотреть.

Садится в «газик», но во двор с ревом влетает мотоциклист. Нашлюнас!

— Вот здорово, что поймал,— говорит Нашлюнас, расстегивая шлем.— Достал чего-нибудь, председатель?

— Черта! — Тракимаса раздражает развеселый голос Нашлюнаса.

— О, змея подколодная! Подавай запчасти, председатель, я тебе новый комбайн сотворю.

— Умник нашелся! Некогда мне. Выкладывай, зачем приехал.

— Справиться приехал, председатель. Будет работать завтра мой комбайн или не будет?

— Думаешь, мне не хочется этого знать?

Парень не торопится уезжать, нагнувшись, ковыряется в моторе. «Вот сбесился,— сердится Тракимас,— мне ехать надо, а не глазеть на его выпяченный зад».

— Знаешь, председатель,— наконец подает голос Нашлюнас,— пронюхал я тут про одно местечко — будут и пружина и клапан, чтоб их жаба драла.

— Не шутишь?

— Железно!..

— Чего тогда тут торчишь?

Нашлюнас протягивает правую руку и потирает тремя пальцами.

— Много?

— Без четвертного и не говорят.

— С ума сошли! Такие цены! Милиции на них нет!

Нашлюнас стоит себе спокойно, все еще держит протянутую ладонь. Потом рука опускается.

— Раз нет, так нет, могу завтра и отдохнуть, суббота.— Нашлюнас садится на мотоцикл, поправляет очки.— Сказал — четвертной, значит, четвертной. Я его знаю, не уступит, нечего зря языком трепать...

Тракимас вынимает бумажник, отсчитывает потертые бумажки. Нашлюнас даже не смотрит в его сторону, и председателю приходится подойти к нему.

— На.— Нет ничего паскуднее, как расписываться в своей слабости.— И смотри у меня,— зло добавляет,— чтоб завтра с утра комбайн был на ходу.

Нашлюнас не спеша пересчитывает бумажки, скомкав, сует в карман штанов.

— Порядок! — важно говорит он.

Мотоцикл, подпрыгнув, исчезает за домом.

Тракимас напряженно смотрит на дорогу, на облако пыли — в лучах солнца пылинки кажутся искрами костра.

Перевел с литовского ВИРГИЛИУС ЧЕПАЙТИС.

(Окончание следует)



АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

БЕЗ МЕТАФОР

ЧИЛИ

Очевидец мне сказал: «Будь они прокляты!»
Одного,
 перед хохочущей толпой,
человека,
 обмотав колючей проволокой,
волочили нагишом по мостовой.

Помните — терпел венок из терний
Сыне Человеческий, мучим...
Тыща девятьсот семьдесят третий
год,
 как мы от этого кричим!

Вновь ты стонешь, Сыне Человечий,
не от сотни, а от тысячи шипов...
Не оплакать во веки веков!
В наши дни голгофианский венчик
превзойден количеством витков.

СПАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ

Огни Медыни,
а может, Волги?
Стакан на ощупь.
Спят молодые
на нижней полке
в вагоне общем.

На верхней полке
не спит подросток.
С ним это будет.
Напротив мать его
кусает простынь.
Но не осудит.

Командировочный
забылся в угол.
Не спит с Уссури.
О чем он думает
под шепот в ухо?
Они уснули.

Отвям — качаться,
не спать родителям,
не спать соседям...
Какое счастье
в словах спасительных:
«Давай уедем»!

Да хранят их
ангелы спальные,
качав и плакав,
на полках спаренных,
как крылья первых
аэропланов.

ОБСТАНОВОЧКА

Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.
Вот кресло-катапульта
времен культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая Дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.
Стол. Кент.
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю Беломор Кенту».

Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!
На обед
все, чего нет
(след. перечисление ед).

Тень бабушки — салфетка узорная,
 вышивала, страдалица, вензеля иллюзорные.
 Осторожно, деда уронишь!
 Пианино. «Рёниш».
 Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
 Одна клавиша полуутоплена,
 еще теплая.
 (Бьет.) Ой, нота какая печальная!
 Сама, вероятно, в спальне.
 Услышала нас и пошла наводить маршфет.
 «Уходя, выключайте свет!»
 «Проходя через пороги,
 Предварительно вытирайте ноги.
 Потолки новые —
 предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.
 Ой, как развалено...
 Хорошо, что жены нет.
 Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет
 + 14 созданий
 с площади Испании.
 Уголок забытых вещей!
 № 2-й,
 № 3-й,
 № 8-й — никто не признается чей!
 А вот женина брошка.
 И платье брошено...
 наверное, опять побегла к Аэродрому
 за димедролом...
 Актриса, но тем не менее!
 Простите, это дела семейные...

(В прихожей, черен и непрост,
 кот поднимал загнутый хвост,
 его в рассеянности Гость,
 к несчастью, принимал за трость.)

Вот ванная.
 Что-то странное!
 Свет под дверь. Заперто изнутри.
 Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
 Вот так всегда.
 Слышите, переливается на пол вода.
 (Стучит.) Нет ответа.
 (От страшной догадки он делается неузнаваем.)
 О нет, только не это!..
 Ломаем!
 Она ведь вчера говорила —
 «Если не придешь домой...»
 Милая! Что ты натворила!
 (Дверь высаживают.)
 Боже мой!..

Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины.
Сухие, нетронутые полотенца...

Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»

ПЕСЕНКА ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ

Ты поставила лучшие годы,
я — талант.
Нас с тобой секунданты угодливо
развели. Ты — лихой дуэлянт.

Получив гвою меткую ярость,
пошатнусь и скажу, как актер,
что я с бабами не стреляюсь,
из-за бабы — другой разговор.

Из-за той, что вбегала в июле,
что возлюбленной называл,
что сейчас соловьиной пулей
убиваешь во мне наповал!

ПОВЕСТЬ

На суде, в раю или в аду,
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну,
хоть они совсем не близнецы».

Все равно, что скажут, все равно...
Не дослушивая ответ,
он двустворчатое окно
застегнет на черный шпингалет.

ПОХОРОНЫ ГОГОЛЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬИЧА

1. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться...

Н. В. Гоголь, «Завещание».

I

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя,—
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны витии,
поминают, когда мертвы,
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачиваете в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

II

«Поднимите мне веки, соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудите от галиматьи.
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!

Под Уфой затекает спина,
под Одессой мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Грешный дух мой бронирован в плоть,
безучастную, как каменья.
Помоги мне подняться, господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несется в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

III

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки господние
перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.
Двое выпили на могиле.
Любят похороны, дивясь,
детвора и чиновничий класс,
как вы любите слушать рассказ,
как Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.



ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

★

ДВЕНАДЦАТАЯ БУРОВАЯ

Повесть

Дизелист буровой номер двенадцать Косых проснулся рано утром; слабенький свет с трудом пробивался сквозь окно, окрашивая комнату с тремя кроватями и печушкой-козлом в жиденькую серость. В доме было холодно.

Ежась, он встал, оделся, обернул ноги сухими прохладными портянками, проверил, не трет ли. Потом, прихватив из чулана малокалиберную винтовку, вышел из дома.

Косых невысок, крепок, увертлив, было в его внешности что-то привлекательное, поначалу неуловимое, идущее от земли, он вписывался в природу как нечто естественное, правомерное.

Прояснилось. Рождающийся день, раздвинув тайгу, обнажил вырубленную поляну с домиками, в которых еще не было живых огней; склад соляра, расположенный на бугре, у края «песка» — узкого, похожего на дорогу аэродромчика; оставленный жившими здесь до буровиков сейсмиками старый гусеничный вездеход, уткнувшийся радиатором в высокий сосновый комель... Вездеход походил на танк своими угловатыми формами, защитным цветом бортов и большими колесами-катками. Косых обошел домик с тыльной стороны, нырнул под брезентовый навес, где стоял давно немывтый, испятнанный засохшими ошметками «ЗИЛ-161». Хозяина у грузовика, можно сказать, не было — на нем ездили три человека: мастер Сазаков, бурильщик Жименко и дизелист Косых. Ездить все равно некуда — кругом тайга, болото, зверь и птица, полно мест, где человеком и вообще не пахнет. Есть, правда, проложенная бульдозерами пятикилометровая дорога — по ней перетаскивали вышку с первой скважины, когда начали проверять тром-аганскую площадку. Та скважина оказалась пустой, вторая, кажется, тоже... Но начальство считает, что площадку надо проверить практически — бурением. А вдруг нефть брызнет? «Жди, брызнет, — усмехнулся Косых. — Только деньги на ветер идут».

Как всякий охотник, он знал, что в предзимье глухари и глухаринные самки, копалухи, выходят на песчаные придорожные куртины клевать кремешки. Зимой они питаются хвоей, а хвоя, известное дело, жесткая, сухая, остистая, переваривать ее — что проволоку, вот глухари и перетирают хвою в желудках кремешками. Убей сейчас глухаря, вскрой брюшко — в распластованном «пупке» на ороговелой пленке среди складок будут лежать большие, в половину воробьиного яйца крупниной голыши. Когда же вспарываешь желудок глухаря, убитого весной, то вместо голышей там поблескивают тонюсенькие прозрачные катыши-пластинки. Все что осталось...

Глухарь в предзимье доверчив и сонлив. Человека, если он пеший, подпускает метров на семьдесят, а грузовик и вовсе за лесного зверя принимает — позволяет подъехать близко и взлетает из-под колеса.

Косых завел машину не сразу — остывший за ночь мотор капризничал минут десять. Пока он прогревался, Косых извлек из кармана нераспечатанную пачку патронов, вскрыл ее — капсюльные задки у патронов были матово-черными. Целевые — с ровным завесом пороха, с хорошо подогнанной пулей. Полюбовавшись патронами, открыл «комод» — вещевой ящичек, встроенный в приборную панель, — положил их на приступку, винтовку с выдвинутым затвором приспособил рядом. Вот и все приготовления.

Он натянул кепку на глаза, ограничивая козырьком сектор обзора, чтобы взгляд не осекался, не замечал, что творится на макушках деревьев, потом включил первую скорость и выехал из-под навеса.

Дорога, пересекая вертолетный «песок», спускалась к Тром-Аганке — узкой, на редкость спокойной и рыбной протоке, отрывающейся километрах в десяти от большой реки Ялмы.

За поворотом Косых сбавил скорость. Мотор на низких оборотах простуженно закашлял, требуя свободы, быстроты.

— Но-но, зверюга, — успокаивающе сказал Косых. — Не в бой же идешь... Не рвись.

Дорога то скатывалась под радиатор, то лентой уходила вдаль, врезаясь в неподвижную стену кедровой тайги. Косых старательно объехал две заполненные мерзлой водой глубокие рытвины, подумал, что охота сегодня может выйти неудачной — ветер поднимается, а глухарь от ветра за поваленными карчами прячется, там его не углядишь, оттуда не выгонишь...

Но за поворотом он заметил, как с дальнего облыселого кедра молнией сорвалась палюшка — черная тетерка — и низами ушла в сторону, виляя между древесными стволами. Значит, все-таки есть птица.

На брошенной бурильной площадке он развернулся, объехал гору отработанного железного хлама, а когда выбирался на дорогу, то увидел, что метрах в пятидесяти от него на свежую колею выскочила едва приметная серенькая копалуха и принялась решительно ковыряться клювом в песке.

— Сумасшедшая, что ли? — пробормотал Косых.

Он сбросил скорость донельзя, и машина буквально поползла, еле-еле, подкрадываясь к птице, а копалуха и внимания не обращала на приближающуюся смерть. Когда до птицы осталось метров семь, Косых дернул рукоять тормоза. Копалуха удивленно повертела головой и, словно не заметив машины, вновь принялась выклеивать камешки из пробитой в снегу колеи.

— На ловца и зверь... — сказал Косых, вгоняя патрон в казенник.

Он открыл дверцу кабины и пристроил ствол на ребровине полуопущенного окна как на упоре. Целился долго, зная, что копалуха не улетит, — не углядит она человека, сидящего в кабине, поэтому и целился основательно, нащупывая мушкой корень шеи. Он плавно нажал пальцем собачку и, еще не услышав выстрела, увидел, как подпрыгнула копалуха и грузно шмякнулась оземь, заметелила крыльями по колею, взрыхляя песок, разбрасывая в стороны снег.

— Один — ноль, — сказал Косых, выбрасывая дымную и теплую гильзу себе на ладонь: пустые стакашки патронов он обменивает в городском комитете ДОСААФ на полные пачки.

Он подошел к копалухе — та и биться перестала, — поднял с земли, с удивлением заметил, что правое, не видимое с его стороны крыло птицы вроде бы меченое. Косых попытался припомнить что-либо, связанное с меченой копалухой, но на ум ничего не пришло, и он,

хваля себя за удачный выстрел, зашагал к машине. Закинув копалуху в кузов, он сел за руль, повернул ключ зажигания.

— Это тебе, жена Надежда, на рагу. Рагу из глухарихи, а? Будет чем носы соседкам утереть.

Уже у самого «песка» у него неожиданно забарахлил и заглох мотор. Косых матюкнулся, но делать было нечего, пришлось вылезать из теплой кабины. Он открыл капот и сразу понял, в чем дело — с головок двух свеч соскочили колпачки. Они и раньше сидели слабо, на головки надо бы навернуть проволоку, но подходящей в инструментальном ящике не было. Косых решил отложить эту операцию до деревни...

Он по привычке попинал скаты ногами, но звука не услышал — во круг какая-то стылая тишина. Даже кедр, кланявшийся ветру, гнулся бесшумно, без обычного потрескивания. Он ступил на обочину дороги, поскользнулся на ягеле. Оленьего корма ягеля в тайге полным-полно — бумажно-белый, пористый, похожий на синтетическую губку, мох сверху был ломок и сух, а снизу влажен — корнями он воду собирает, — оскользаешься на нем, как на коровьем блине.

На глаза попалась круглая поляна, полная перезрелой, обкаленной снегом голубики; листья голубики были так красны на чистом снегу, что даже глаза резали. Косых нагнулся, взял несколько ягодок в щепоть, съел — варенье, а не голубика. Неподалеку синели горошины спелой шиксы, ягоды, которая поначалу кажется сладкой, а как раздавишь языком — жгуче-горькой. Косых поддел кустик шиксы сапогом, синие горошины попадали в снег.

Загнав машину под навес, он запер на ключ «комод», в котором оставил патроны, и, прихватив с собой винтовку, пошел в дом. Там уже плескался у раковины помбур Поликашин.

— Завтракать пойдем? — с порога весело закричал Косых.

«Не пьян, но в настроении», — определил Поликашин и промычал, не вынимая изо рта зубной щетки:

— М-м-угу.

— Намного ввинтились в землю за ночь? Не знаешь? — спросил Косых.

Поликашин, худенький пожилой человек, продолоскал рот и выпрямился. На мохнатых бровях его блестела вода, щеки голубели после бритья.

— Что-то голос у тебя звонкий. Как у пионера.

— Есть причина... Так намного?

— Нанемного. Если до Америки бурить, то еще далеко... Инструмент поднимать пришлось, сработанное долото меняли... Так, считай, вся смена на долото и ушла.

— Не горюй, Поликашин. Главное, не дрейфить — прорвемся... А я вот копалуху бабе на рагу подстрелил, — похвастался Косых небрежно, — пусть соседей поудивляет.

— Ишь ты, — вдруг ехидно произнес Поликашин, — на беззащитную птицу ходить до зубов вооруженным. Да еще на машине... Дать бы тебе лук в руки и стрелы, как в древние времена, вот и иди добывай копалух на рагу. Посмотрел бы я тогда...

— Ты что, не с той ноги встал? — удивился Косых. — Все стреляют, и я стараюсь...

— С той, — буркнул Поликашин.

Он подошел к скамейке, на которой, свесив крыло вниз, лежала убитая копалуха. Поликашин приподнял ее за крыло, подержал на весу, словно обдумывая что-то.

— Знаешь хоть, кого ухлопал? — Он опустил копалуху на лавку, осторожно подложил под птичью тушку меченое крыло. — Ты же Катюку застрелил.

Тут у Косых словно ум прояснился. Катька — ручная копалуха... Весной, когда буровая была еще на старой площадке, трое рабочих пошли с плетушками на берег Тром-Аганки: там в сыром кедраче почвились первые грибы — сморчки и строчки. На подходе к речушке наткнулись на глухариное гнездо, свитое прямо на земле. В гнезде сидел сам хозяин, бородатый глухарь, — видно, самку недавно сменил, еще не успел обрывать оперенье после полета. Увидев подходящих людей, он беспокойно завертел головой, но не поднялся — боялся гнездо застудить. Один из грибников изловчился и накрыл его плетушкой. А когда корзину подняли, увидели, что глухарь и глаза уже закрыл — был мертв. Сняли с гнезда, осмотрели; с клюва сорвалась капля крови — глухаря поразил, верно, разрыв сердца. А гнездо было полно крупных серо-коричневых яиц.

Тут на буровиков свалилась с ближайшей сосны отощавшая от сидения на яйцах копалуха; не пугаясь людей, она подковыляла к гнезду, привычно устроилась на нем...

Потом специально приходили подкармливать копалуху, узнавали ее среди сотен других глухарок по диковинному черно-изумрудному пятну на правом крыле. А кличку Катька ей дала повариха тетя Оля. Катьками она величала все ручные существа, будь то прихлебала кобель, воруга кот или ручная коза, — все для нее были Катьками... Кличка привилась. Позже переехали на новую площадку, копалуха с выводком глухарят осталась на старой. А вот теперь угодила под пулю...

— Не я, так другой ухлопал бы, — сказал Косых, — все равно под заряд подвернулась бы как пить дать. И потом, я ее, дуреху, не видел, она ж с-под ветра вышла, левым боком ко мне...

Поликашин махом нахлобучил на голову кепку и, не говоря ни слова, вышел.

Косых — следом. На ходу посмотрел на часы — через час сорок вахта, времени остается в обрез, самый раз позавтракать да прикорнуть после завтрака. В сенцах остановился, подумал, что копалуха, выходит, общая, все кормили ее и мясо в таком разе коммунальное.

— Нам общественная птица нужна не больше, чем в носу третья ноздря.

В сенцах он набрал дров, вернувшись, сложил их охапкой у печки, потом, отыскав под лавкой пустую банку из-под сгущенки, зачерпнул ею соляра. Без бензина либо соляра мороженые дрова не разгорятся, но бензин опасен, печку разворотить может да и человека опалить, а соляр в самый раз.

На толстых чугунных колосниках скопилась зола. Косых сдвинул поленом в сторону пыльную кучу, пристроил несколько располовиненных смолистых сосновых чурок и полил соляром. Печка затряслась от басовитого гуда, когда он кинул в нее зажженную спичку, и в хате сделалось уютно и покойно от этого домашнего звука. Пряно и легко запахло дымом.

Косых расстелил на полу газету, стал ощипывать копалуху. Ощипывалась она плохо, перед зимой птица оделась в перо длинное и пышное. Пулевые отверстия (входное над крылом, выходное — большое, палец просунуть можно — на спине) еще не успели запечься коркой.

Косых натянул перчатку на руку и, взяв глухарку за лапы, сунул ее в огонь. Запахло горелым. Опалив птицу, он рывком в несколько приемов сдернул шкурку и, еще дымящуюся от жара, понес в столовую, пятная заснеженную дорожку сукровичным следом.

Он вошел в предбанник и бухнул копалуху на приступок.

— На обед. Нашей вахте...

Добрячка тетя Оля вытерла пальцами пот с усатой верхней губы.
— Кулеш сварись.— Косых уже не смотрел на повариху, а сквозь марлю, завешивающую вход, разглядывал сидящих за дощатым столом людей.— Кулеш с лесной индюшатиной, народ порадуешь...

В столовой сидела почти вся вахта: помрачневший и в несколько минут спавший с лица Поликашин, которого по осени одолевала язва и он не расставался с анальгином и питьевой содой, видимо, и сейчас его прихватили боли; два К — Кеда и Колышев, которые были неразлучны, как Пат и Паташон; и новенький, только что окончивший курсы верховой Витька Юрьев, всему удивляющийся, как десятиклассник. Все ему в новинку... На Косых застолье не обратило внимания.

Козлами отпущения по обыкновению бывают новенькие, поэтому беседа нет-нет да и «прихватывала» Витьку Юрьева.

— Бывает, у нас молодых крестят,— сказал Кеда, длинный и тонкий, к таким, как Кеда, в детстве намертво прилипают клички «каланча», «телеграфный столб», «ходячая верста».

— Как это крестят? — спросил Витька.— В купель ногами, что ль?

— Да нет, проверяют на сообразительность.

У Витьки, все заметили, чуть что — на щеках румянец проступает. Румянец проступил и сейчас, и Витька, круглоголовый и лопухий, стриженный по моде двадцатилетней давности — с детской челкой,— еле удержал улыбку на припухлых, которые так и хотелось сравнить с телячьими, губах, лишь глазами заморгал обиженно. Витька с малых лет больше всего на свете, даже больше грома и грозы, боялся насмешек, он робел перед острьями.

Кеда заметил Витькину напряженность, махнул рукой.

— Ладно-ладно. Я, помню, пацаном пришел на шахту работать — старшим помощником младшего углекопа, так меня поставили посреди штрека и велели спиной потолок подпереть. Сказали — поддержи, сейчас стойку поставим. Так и держал целый час... А потом вся шахта в коликах каталась. Некоторые от смеха даже челюсти вывернули, бюллетени им выдавали, мне еле удалось от оплаты этих больничных отбояриться...

— Загибаете вы все,— сказал Витька.

— Конечно, загибаю,— подтвердил Кеда без смеха.

Вот железный человек — все хохочут, а он хоть бы хны, даже не улыбается.

— Разве вы шахтером начинали работать? Не бурильщиком?

— Не-а, шахтером... В Донбассе. Бурильщиком стал позже. В Северной Осетии. Женился на горянке, у нее вся семья на нефти трубила. Вот они и приобщили, по-родственному.

— А как нефтяников крестят?

— Молодых?

— Молодых.

— Свежеиспеченных крестят очень просто. Начинал, к слову, у нас один... Костя Гаврилов. Парень хороший, но доверчив, как голубь. В первый же день к нему подкатывается дизелист, посылает трубы римскими цифрами маркировать. Да кувалду велит потяжелее взять, чтобы как раз ударил, так след глубже оставался.

— Ну и что?

— Как что? Трубы же все равно в землю загонять и маркировка нужна им не больше, чем щуке зонтик, как говорит наш штатный остряк Жименко.

Помолчали. Только ложки стучали о доньшки мисок.

— Где он сейчас, этот Гаврилов?

— Как где? Инженером работает...

Хлопнула дверь, из предбанника донесся хрипчатый голос, в котором сквозь простуженное сипение проскальзывала насмешливость.

— Вот вам Жименко,— сказал Колышев.— Легок на помине .

Жименко откинул в сторону марлеву «портьеру», вошел первым, за ним показался Косых с копалухой, крепко зажатой в руке.

— Видели казанского сироту? Стоит у порога с видом частника, у которого реквизировали мимозу... Чего-то ждет...

— Да не ждет он,— вмешалась тетя Оля и осеклась, свернула усатую губу трубочкой, и на животе у нее заколыхался фартук от смеха.

Ду-ду-ду-ду — поварихин смех был похож на стрельбу скорострельной полковой пушки. Тотчас же загрохотали и остальные, даже Поликашин, который, видно, уже превозмог боль, к нему сейчас возвращался нормальный цвет лица, улыбнулся грустно.

Жименко поскоблил пальцем затылок, взъерошил на темени редкие волосы, затем театрально отставил в сторону ногу.

— Громодяне, над кем смеетесь?

Вид у него был действительно странный: одна щека выбрита тщательнейше и гладкостью своей напоминала хорошо отутюженную ткань, а вторая была шершаво-кустистой от щетины — одну половину лица бурильщика мог иметь какой-нибудь рецидивист, вторую — ну... эстрадный актер. Витька Юрьев выдавил сквозь смех:

— Клоунада! — И опять залился звонко.

А Кеда даже глаза закатил. Поликашин поинтересовался:

— Что это с тобой? На тетеревов готовишься? Считаешь, как тетерев увидит тебя полувывыскобленного, так от хохота и околеет?

— Охотники на тетеревов и без меня найдутся.— Жименко кивнул в сторону Косых.— Профессионалы: с трех патронов пять птиц щелкают.

Непонятно было по его тону, одобряет он охотничий талант дизайнера или порицает.

— Опять лорд Ремингтон отказал?

Жименко соорудил горькую мину:

— Опять.

В прошлом году он ездил туристом в Англию и привез «ремингтон» — бритву добротную и вполне надежную. Живя в городе, о такой бритве можно только мечтать. Но в таежных «командировках» «ремингтон» часто отказывал, вот и сейчас сотворил очередную шутку: заело где-нибудь щетки и пока их не почистишь, ни за что не побреешься, а в избе никого, все на буровой — пришлось Жименко в таком виде и тащиться в столовую, чтобы выклянчить бритву взаимы...

— Возьми-таки, тетя Оля.— Косых, отвлекая внимание от бурильщика, протянул копалуху поварихе, встряхнул нетерпеливо.— Я даже опалил ее. Специально... На дровах...

— Как же, на дровах... А соляжкой почему припахивает?

— Так дрова же соляром разжигают.

— Знаю, что не соплями. Кулинар...

Тетя Оля по доброте своей готова была оплакать любого снятого на охоте зверя или птицу.

«Хорошо, что хоть сосед не настучал ей про Катьку,— подумал Косых и покосился на Поликашина,— не то б она устроила сейчас...»

— Вари сам! — отрубила тетя Оля.

Косых молча повернулся и хлопнул дверью, вздыбив марлеву «портьеру».

— Теть Оля,— у Витьки был удрученный вид,— он же от чистого сердца...

— Браконьерит — да, от чистого сердца,— сказал Поликашин.— За это штраф положен да кое-что еще... С песочком.

— А мне Косых нравится,— заявил Витька и, взглянув на Жименко, прыснул тоненько.

— Что-то веселья у нас сегодня много... Недельную норму по смеху выполнили. Не к добру это.

— Поживем — увидим.— Кеда первым поднялся из-за стола и заглянул в темное, исполосованное изоляционной лентой оконце.— На дворе сентябрь, а белые мухи уже третий день летают.

Витька Юрьев шел к себе в избу по размякшей, заслеженной тяжелыми сапогами тропке и думал о буровой бригаде, о тех, с кем ему теперь предстоит работать. Может, даже всю жизнь.

Первым на смену вахт пришел Жименко, выудил из-за уха окурок «Орала» — так бурильщики на свой лад звали болгарские сигареты «Опал», — сунул в обветренные губы, стал придирчиво оглядывать буровое хозяйство. Вид у него был недовольный: то одно не нравится, то другое, то вертлюг в грязи, то доска у помоста выкололась, то еще какая-нибудь хреновина не на месте находится. Витька Юрьев даже не поверил, что этот хмурый человек всего час назад мог заразительно хохотать и над своим же несуразным видом и над любой другой мелочью. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день,— вспомнилась пословица.— Начальство-то мягко только стелет, спать же жестко будет...»

— Ты что приуныл? Выше нос! — Подошедший Кеда обхватил Витьку за плечи.— А-а, на Жименко заглядываешься?.. Все перемелется, мука останется. Это он для виду. Психологический фактор, так сказать. Если на всякую кислятину обращать внимание, то жизнь слишком короткой будет.— Он нагнулся к Витькиному уху, зашептал хитро:— Говорят, мы пустое месторождение бурим... Одну скважину пробили — пусто, другую проколупываем — тоже, кажись, пусто. А я чую нефть. Вдруг найдем, а?

Он прищурился.

Последними на вахту прибрали дизелист Косых и мастер Сазак. Подминая ступени, Сазак поднялся на мостки. Он был малоразговорчивым, грузным силачом с крохотными, но очень живыми глазками, странно выглядевшими на огромном загорелом лице. Всего месяц назад он был переведен в бурмастера из НГДУ — нефтегазодобывающего управления, где жизнь для него была вольготнее и даже денежнее, чем у геологов-буровиков, которые забирались в тайгу на неделю, на две и на три и сидели безвылазно у черта на куличках — ни тебе кино, ни ресторана, ни городского тротуара... Сазак молча поднял засаленный ватный полог, прошел в дизельную, прислушался к мощному реву работающих дизелей, постоял с минуту у верстака, где Косых уже обрабатывал рашпилем какую-то мудреную пластмассовую деталь (Сазак определил — эбонитовую ручку для ножа), но не сказал ничего, прошел к яме с глиняным раствором. Раствор был еще теплым и курил паром — вертолет привез на буровую не только вахту, но и полторы тонны бентонитовой глины — разорванные бумажные мешки были грудой сложены здесь же, на краю ямы. Сазак спустился в яму и, нагнувшись, поболтал пальцем в растворе, растер его на ладони.

При бурении скважин глиняный раствор играет едва ли не главную роль: глиной промывается долото, глиной укрепляются стенки скважины, которые могут обвалиться и намертво схватить инструмент; и тогда уже ни одна сила не поможет высвободить километр труб, глина приводит в движение турбину, выносит разбуренную породу на поверхность, создает противодействие на нефтяной пласт, и если нефть прорвется наружу, ее загоняют назад опять-таки глиной, глиной

затыкают и скважину. Буровики даже считают, что хорошая глина — это премиальные...

— Давно свежий раствор начали закачивать? — спросил Сазаков, вернувшись на мостки.

— Минут пятнадцать как начали.

— Плотность какая?

— Одна и две десятых...

— Одну десятую сбросим.

— А если нефть? — неожиданно спросил Жименко. — Если нефть поперет?

— Откуда? Всем известно, что нефтью здесь и не пахнет. Геологи не дураки, все облазили.

— Все равно облегченным раствором не положено бурить.

— Напрасно, — спокойно проговорил Сазаков, — чем жижее раствор, тем выше скорость бурения.

— Все равно, — бросил Жименко.

— И тем не менее попробуем. Я займу ваше место, а вы у меня пока постоите помбуром. Лады?

Сазаков спустился с мостков и пошел вдоль зарослей кедрача к мокро темнеющим невдалеке домикам — переодеваться. Жименко проследил за ним взглядом, на лице — уже знакомое кислое выражение. Предложение Сазакова он принял без восторга.

— Все мы чемпионы...

— А ты не стрекочи, побереги нервы, — посоветовал ему Кеда. — Смену и помбуром отстойшь... А нервы, пишут, новые не вырастают.

— Из меня чемпион — все равно что из мастера Джина Лоллобриджида.

— А что? Накрасить губки, навести реснички...

Жименко подошел к перильцам мостков, посмотрел в сторону изб — в нескольких горел огонь, на единственной улочке было пусто. Со стороны густо поднявшейся за «песком» тайги напозало несколько фиолетовых, с ровно обрезанными краями туч, уже накрывавших землю ночной темнотой.

Жименко подумал, что минут через двадцать эти бомбардировщики начнут разгружаться над их головами, залепят снегом. Из-за домов показалась человеческая фигурка, направляющаяся к буровой. «Быстро обернулся», — мелькнуло в голове. Сазаков широко вышагивал по тропе, постукивая веткой по голенищу кирзового сапога. Когда-то, до техникума, он работал помощником бурильщика в Башкирии, но прошло вон сколько времени... Верно, уже успел растерять навыки...

Поднявшись на мостки, он приказал закачивать в скважину раствор плотностью один и один...

Вскоре на тайгу обрушился снежный шквал — пухлые сырые хлопья лезли за шиворот и неприятно обжигали тело, забивались в уши, в карманы, в рукавицы... Спас компрессор — когда включили, теплый воздух понемногу отогнал снежные хороводы от площадки, очистил от наледи. Но только внизу — на вышке же, где сидел верховой Витька Юрьев, все равно творилось невообразимое, слабо освещенная электричеством фигура беспомощно металась среди огромных хлопьев снега.

Кеда приложил руки ко рту и позвал Витьку, но из-за грохота дизелей Юрьев не услышал. Тогда Кеда спросил у Сазакова, указывая на Витькину фигурку:

— Может, заменить?

— Не знаю, — качнул головой Сазаков. — Я б, например, послал бы

к черту, если мне кто из жалости вызвался помочь. В ясную погоду — пожалуйста, а когда трудно — будьте любезны, не надо!

— Что он, будущий полярник, чтоб закаляться?

— Ладно. Если через двадцать минут не кончится снег, пойдете сменить. А то мальчика действительно сдует, — съехидничал Жименко.

— Вы что, макса объелись? — Кеда похлопал рукавицей о рукавицу, — он же замерзнет; на нем брезентовая куртка и свитер, больше ничего... Я сам видел. Телогрейка даже не поддета, ему не выдали.

У Жименко даже мешки под глазами набрякли.

«Максом» в этих краях называли мороженую налимью печень. У обских налимов печенка жирная, как масло, и доходит до двух килограммов весом. Вербованный Жименко появился в городе перед Октябрьскими праздниками и, определившись на работу в нефтеразведочную экспедицию, был приглашен бурильщиками за праздничный стол. Много пили, много ели, танцевали и дурачились, а когда сели за стол по второму кругу, то Колышева жена стала обносить гостей желтой, тающей во рту стерляжьей строганиной и круто посоленным «максом». Жименко, для которого печень была в новинку, перестарался на том пиру и до сих пор не может есть не только налимью печень, но и самих налимов и рыбу вообще...

Вскоре сверху, из снежного ада вывалился стучащий зубами Витька Юрьев, машинально натягивая на голову широкий воротник куртки. Он был действительно без телогрейки.

— Герой... Надел куртку поверх свитера.

Жименко ругнулся, а Витька, покосившись на него, хотел что-то сказать в свое оправдание, но побоялся, что от холода он ничего не сможет произнести. Он попрыгал на одной ноге, выждал момент, когда взревет дизеля и голос будет едва слышным.

— Я морж, товарищ Жименко. В Оби зимой купаюсь.

— Из тебя морж, как из меня папа римский, — разозлился Сазаков. — Мотай домой одеваться!

Если Витька не подчинится, то — точно! — Витьке будет плохо. Витька скатился с мостков вниз.

Кеда прокричал вслед, чтоб взял его запасную телогрейку, она на печушке сушится, но Витька не услышал, он уже скрылся в снежной крутоверти.

На втором часу работы вдруг упала скорость проходки — бур бесильно вгрызлся в породу, со звонким грохотом завывали дизеля, когда им давали перегазовку, но это не помогало — порода не поддавалась...

Сазаков покусывал губы, соображая, в чем же дело. Вообще-то все было ясно — обломилась одна из трех шарошек — булавчатых головок, укрепленных в основании долота. Выход один — поднимать инструмент да менять долото, но Сазаков медлил, на что-то еще рассчитывал. Увы — тащить придется почти километр труб, развинчивать их, менять долото на новое и как минимум полторы смены на это uğрохать...

— Ну что, подымаем инструмент?

— Да вот, думаю...

Упряма мастер, упряма, как козел.

— А если скоростенку увеличить? Вдруг пласт не по зубам попался? Бур пройти не может, а?

— Ни к чему не приведет. Дизеля только уйму топлива 'сдят. И вся любовь.

— Попытка — не пытка. Поднимай скорость.

Когда зашлись в реве дизеля, из-под полога на площадку выскочил Косых и, сбив набок шапку, покрутил у виска пальцем: вы что, в своем

уме? — но, увидев напряженную фигуру Сазакова, его шею, наливающуюся густой краснотой, ожесточенно рубанул рукой воздух и повернул обратно в дизельный зал. Стрелка индикатора, показывающего нагрузку на долото, поползла вправо. Безрезультатно.

— На нет и суда нет,— примирительным тоном произнес Сазаков.— Если бы я поставил на спор, проиграл бы.

Жиженко заслонился рукавицей от света.

— Говорят, что из двух спорящих один, извиняюсь; дурак, другой нечестен. Нечестен потому, что знает, что он прав и выиграет, дурак — потому что не знает, а лезет спорить. А потом, спорят люди, которые или слишком много знают, или же слишком мало...

Сазаков рассмеялся и подал знак на верховую площадку, где стоял Кеда. Тот скрестил руки над головой, давая понять, что готов.

Много лет инженеры пробуют найти способ бесподъемной замены долота. Пока безуспешно. Наверное, для начала надо найти новый метод бурения. Если подсчитать, сколько времени бурильщики теряют, меняя сработавшиеся долота, то цифра получится ошеломляющей — это миллионы угробленных дней. Никакой прибор не может подсказать бурильщику, когда надо менять долото — все зависит от породы, которую пробиваешь, тут нужно чутье, художническая интуиция: бывает, поднимешь долото, а шарошки еще не сработались, еще могли бы пройти метров семь — десять. Цена каждому метру сто шестьдесят рублей. Иногда случается, что автоматический буровой ключ АКБ неплотно схватит свечу челюстями — и... Весной струсилась с ними подобная история — уронили на дно скважины два с половиной километра труб. Трое суток возились, пока не разобрали «завал». В вахтовый журнал записали как аварию. Было совещание в главке, нагоняи от тюменского и московского начальства — ославили себя, можно сказать.

А Жиженко вспомнил, как он видел одну допотопную скважину, где землю бурили не долотом, а... дробью. Через трубу в забой засыпали дробь, потом били по ней специальной фрезой. Били и одновременно вращали фрезу — словом, в пору жиженковской молодости было ударное бурение. Потом изобрели РХ — долото, похожее на рыбий хвост (оно, кстати, в документах и называлось «рыбьим хвостом», РХ — сокращенно): одна половина хвоста (или плавник — как лучше назвать?) была загнута в одну сторону, вторая — в другую. Были еще пикообразные и коронковые долота... Но все это уже история и, наверное, ничто в сравнении с тем же трехшарошечным долотом...

Снег стал идти реже, и ветер, кажется, ослаб. Жиженко поднял голову. Как там, на верхотуре, чувствует себя Кеда?

— Не заглядывайся! За ключом смотри!

Это Сазаков.

Ключ вывернул свечу из паза и теперь шел вверх — труба, задевая боками устье скважины, длинной макарониной выползала из земли, напряженно звеня металлом, а на площадке, выгнув руки, ее уже ожидал Кеда. Вот труба выбралась из скважины и, пройдя мостки, стукнулась нижней частью об тесины пола. Кеда совершил короткий, но резкий бросок и, обняв свечу, словно младенца, бережно и мягко подтянул к себе. Две секунды — и он уже накидывал на верхний ее конец трос.

Жиженко, приглядевшись к очередной свече, заметил, что по гладкой, ровно обработанной боковине ее стекает густой голубоватый ручеек, а на месте стыка труб, на зазорах муфты застряло несколько комочков рыхловатой отработанной глины. Он подошел к Сазакову:

— Надо взглянуть на скважину. Чтой-то глины много назад выходит.

Сазакон зашевелил, зачмокал губами.

— Раствор облепченный, вот глина и пошла наверх. Обойдется...

— А вдруг нефть? Сквжина переливать начнет. Кольшев, дай спички!

— Проверь.— Сазакон взмахнул рукой и улыбнулся.— Проверь, вдруг в сквжине «советское шампанское»... И бокалы стоят наготове и закусь на салфетке.

Он насмешливо заморгал своими глазами-бусинами. Жименко, повернувшись к нему спиной, стал спускаться с мостков, осторожно пересчитывая ногами облепленные ступеньки. Согнувшись, он подлез под мостки, стукнувшись макушкой о бревно перекрытия, пробормотал бранное слово. В темноте с грохотом промчалась свеча, чуть не задев его патрубком, прошла так близко, что бурильщик даже ощутил запах сырого железа, запах самой земли. Он запоздало отшатнулся, увидел, как в светлом пятне проема мелькнула черная макаронина и ушла вверх, на глазах уменьшаясь в размерах. Подобравшись к устью, он увяз сапогами в чем-то густом, клейком.

Потом чиркнул спичкой, но едва успевший вспыхнуть огонек погас в порыве ветра, тогда Жименко нашарил щепотью несколько спичек, сложил вместе. Зажег, загодя зажимая огонь с обеих сторон ладонями, осветил и вздрогнул — из сквжины, как паста из тюбика, выпирала глина. Похожая на перебродившее тесто, она бугрилась, растекалась в стороны, в ней с глухим хлопаньем взрывались пузыри, обрызгивая настил крупными каплями. Скрытая ожесточившаяся сила толкала вверх огромный глиняный столб. До сих пор ему не приходилось сталкиваться с подобными явлениями — Жименко, хоть и имел солидный стаж работы с нефтью, никогда еще не видел, как рождаются нефтяные фонтаны... Но как бы там ни было, пузырящаяся глина — явление ненормальное, поэтому он, осветив еще раз все увеличивающуюся лужу спичками, стал выбираться из-под мостков: надо было предупредить Сазакон и перекрыть сквжину превентором — специальным устройством, которое, как пробкой, может заткнуть любую дыру в теле земли... А завтра утром, когда рассветет, они разберутся, в чем дело.

— Раствор прет, будто снизу его кто толкает,— сообщил он Сазакону.— Может, надвинем превентор? От греха подальше?

— Сильно прет глина?

Жименко вспомнил слова про шампанское.

— Посильнее... твоей шипучки.

— Так сказать, издержки слишком бурной деятельности?

Кольшев, слышавший разговор со стороны, придвинулся ближе.

— Что такое стряслось?

— Кажется, сквжину переливает... Но с чего бы переливать? Ведь здесь же нет нефти?

— Пойду погляжу,— сказал Кольшев.

Жименко подумал, что, не дай бог, суета, поднятая им, окажется напрасной, завтра бригада засмеет, глухари в тайге будут показывать на него пальцем...

Кольшев прокричал снизу:

— Посветите фонарем!

Жименко снял с крюка переносную электрическую лампу и, потянув за собой кольца загнанного в резиновую трубку провода, осветил Кольшева. Тот шурился, заглядывая под мостки. Но под ними все равно ничего не было видно; он снял рукавицу и попросил дать ему переноску. Жименко спустил ее на проводе. Кольшев неуклюже подхватил и, слепо зажав отражатель рукавицами, полез под мостки. Сквозь щели пробились наверх полоски света. Фигура Кольшева вначале

медленно двигалась в глубине, пересекая светящиеся полосы, потом вдруг стремительно метнулась в сторону, и в ту же секунду до Жиженко донесся крик. Жиженко не разобрал, что крикнул Колышев, и бормотнул машинально, переспрашивая:

— Что?

Но так слабо прозвучал его голос, что даже он сам не услышал его. Колышев в это время показался у края мостков, взмахнул фонарем, прочертив им яркую электрическую дугу.

— Закрывай скважину! И Кеду вниз давайте! Кеду! — повторил он настойчиво и вновь тревожно взмахнул фонарем.

В голосе Колышева прозвучали незнакомые нотки, заставившие всех подчиниться. Сазаков поднял тронутое морозным румянцем лицо, позвал Кеду и тут же с изумлением поглядел под ноги — из отверстия в мостках с металлически-звонким шипением выползла забитая глиной головка свечи и медленно двинулась вверх. Без ключа. Сама! Она поднималась на «пятки», как змея, зачарованная звуками свирели, вначале ровно, потом конец ее начал раскачиваться. Рядом вздохнул Кеда и неверяще-сипло проговорил:

— Неужели нефть нашли, а? Превентор! Превентор-то, господи... Не успели закрыть...

Свеча согнулась дугой, не выдержав собственной тяжести, воткнулась в землю за пределами мостков, метрах в восьми от них, а над головами все росла хорошо видимая в свете фонарей тонкая, на глазах меняющая свою кривизну стальная петля.

— Не перекрыть нам теперь... Не успели... Ведь нефть! — Голос Кеда лез всем в уши, но смысл того, что он говорил, доходил не сразу.

Неожиданно пугающе громко вздохнула земля под мостками, и все ощутили далеко внизу, в глубине, огромную пустоту, в которой плескалась, волнами бурлила и трубно клочотала потревоженная нефть. Океан нефти. Значит, не была тром-аганская земля мертвой, как предсказывали геологи...

Под ногами раздался гулкой толчок, потом еще один, еще и еще... Бурильная труба выползла теперь из скважины свободно, не застревая в устье — свечи тянулись одна за другой, убыстряя свое движение. А потом они обломились и оставшийся в скважине стометровый конец вдруг с тяжелым свистом взметнулся в небо, лица рабочих обдало знакомо резким запахом газа, потом выбрызнуло первые капли нефти, и все тело земли, всю тром-аганскую тайгу, все реки и поляны, болота и озера заставил вздрогнуть, всколыхнуться вязкий, всепоглощающий взрыв, в грохоте которого мгновенно потонуло все... Вскинулось вывернутое из мостков огромное бревно — целая лесина с торчащими в стороны острыми суками скоб — и, медленно перевалив через дрожащие перильца, рухнуло на мерзлую землю.

Мимо Жиженко скачками пронесся дизелист Косых, за ним мазутным крылом волочилась телогрейка, которую он, зажав в руке, тащил за собой.

Жиженко сбежал с мостков, оглянулся — настил, едва освещенный фонарями, стал разваливаться на глазах, доски отпрыгивали в стороны и, вихляясь в воздухе, уносились в тайгу; потом рядом с вышкой поднялся черный куржавистый столб, скрылся в выси, взметнулись большие темные предметы — обломки трансмиссии, со звоном стукнулись о перекладыни вышки в том месте, где находилась площадка верхового. И словно выпалило орудие — фонтан взорвался розовым пламенем, мгновенно высветив тайгу на многие километры. Жиженко отбежал к опушке и упал в сырую, остро пахнущую свежими, будто бы только что принесенными из леса грибами канаву. Когда

выглянул, лицо обдало колючим жаром. Дымилась густыми клубами земля, быстро таял снег. Он расстегнул на себе телогрейку и, натянув ее на голову, прыжком выскочил из канавы и побежал к домикам. На бегу видел, что от домов тоже отделяются черные муравьиные фигурки людей, бегут к Тром-Аганке, к оранжево поблескивающей светом опушке тайги.

— Куда же они? — Беззвучный вопрос застрял на языке.

Жищенко бежал, чувствуя, как колотится в груди нестарое, но уже поизносившееся сердце, слабеет прерывистое дыхание и противная тошнота подступает к горлу.

Он добежал до крайнего домика, у которого были настежь открыты двери, а внутри никого, увидел на столе выстроенные в длинную ветвистую дорожку костяшки домино. На лавке лежала ощипанная птичья тушка, в углу стволom к стене притулена малокалиберная винтовка с продетой в ушки веревкой, заменяющей ремень.

«Косых. Это его винтовка», — как о чем-то постороннем подумал Жищенко.

...А Косых в это время сидел за толстым кедровым пнем на окраине тайги и не моргая неотрывно глядел на высокое пламя фонтана. На глазах его пламя высветилось ярким — рвануло бочку с соляжкой. Сорокаметровая буровая вышка раскалилась до малиновой красноты и стала беззвучно стекать вниз, к ногам пламени, потом долго еще чернел высокий угловатый корпус трансмиссии, не желавший поддаваться огню. Но и он вскоре раскалился, засверкал искрами-звездами, пламя подпрыгнуло еще выше, будто внизу невидимый кочегар подкинул горячего, грохот усилился, и от него заныли барабанные перепонки. Пораженный этой картиной, Косых попятился от кедрового пня в глубину тайги, спотыкаясь о валежины и оскользаясь на обледенелых куртинах, потом вдруг сорвался и с отчаянным криком покатился вниз по пологому склону, увидел, как его ноги, обутое в сапоги, по колену погрузились в воду. «Тром-Аганка», — мелькнуло в голове.

А из-под ног стремительно метнулось в сторону тело большой рыбы. Рыба проскользила, видимая, по поверхности воды несколько метров, потом звучно, как лопатой хлопнув хвостом по глади реки, ушла в глубину. Косых заметил толстые ребристые шипы на рыбьей спине. Осетр.

Он вылез из воды и, цепляясь руками за ветки кедрача и краснотала, стал выбираться наверх. Там увидел в неровном свете, что голенище правого сапога рвано разрезано, будто располосовано тупым предметом. Осетр, видно, зацепил шипом. Косых стащил один сапог, вылил из него воду. Из второго, рваного, выливать не стал, а, ступив на валежину, постучал о нее несколько раз каблуком, и каждый раз сквозь дыру в голенище с хлюпаньем выплескивалась вода.

...Сазаков добежал до опушки вместе с Колышевым и Кедой и теперь сидел на холмике-пяточке, не ощущая ни мокрой стылой земли под собой, ни сильно припекающего жара, бросающего на его лицо солнечные отблески, машинально дымил толстой, разбухшей от влаги сигаретой, пряча стреляющий вонючими кольцами красный огонек в рукаве. Он не испугался взрыва газа и нефти, выхлестнувших из планетных глубин, ни того, что так неожиданно открыл месторождение... Он сидел безучастный ко всему происходящему, казнил, прислушиваясь к грохоту горящего фонтана и одновременно к громкому путаному разговору, который вели Кеда и Колышев. Первый испуг у них уже прошел, осталось острое любопытство.

— Слушай, какая высота у кедров? — непонятно зачем спросил Кеда.

— У кедров? В среднем?.. Метров двадцать пять, — ответил Колышев.

— Значит, средний рост у тайги — двадцать пять метров.

— А что?

— То. Высчитываю высоту пламени. В шесть раз пламя выше тайги. Выходит, метров полтора ста...

— Ну...

— А температура пламени, как думаешь?

— На расстоянии? Как же ты замеришь, градусник ходячий?..

Кеда поплевал на палец, выставил его перед собой.

— Ветра нет... А мороз?

— Градуса два...

— При минус два на метр пространства клади пять градусов жары. От нас до фонтана четыреста метров. Две тысячи градусов да прибавь еще пятьсот для первоначального обогрева... — Он умолк и посмотрел на мастера.

Сазакв оперся рукой о землю, под ладонью у него лопнули дробины шиксы, что вызвало гадливое чувство, будто подавил каких-то жучков, он отдернул руку и, вытирая ее о снег, спросил:

— Что делать будем?

Встал.

— На рацию надо идти, — сказал Кеда. — Давать знать о пожаре. Помогут...

Сазакв постоял несколько секунд с опущенной головой, потом неловко переступил с ноги на ногу и произнес с горечью:

— Зачем я закачивал облегченный раствор? Но кто знал, что здесь нефть?

— Не горюйте. Нет худа без добра.

Сазакв не отвечая направился сквозь редколесье к домам, хватаясь руками за стволы деревьев, со стороны казалось, что он раздвигает эти деревья, расчищает дорогу. Кеда и Колышев пошли следом.

По расписанию буровые бригады выходили на связь в шесть вечера и в двенадцать ночи, в десять же был выход необязательный, аварийный — на случай, если в буровой ушибется кто или кончатся продукты. Как правило, десятичасовой эфир пустовал, переговаривались далекими голосами чужие службы. Васильич, мастер бригады, в которой находился заместитель начальника главка Чертюк, включил рацию на всякий, что называется, пожарный... Несколько лет назад десятичасовой сеанс перевели на аварийный. Поначалу Васильич каждый день выходил в этот час в эфир, но потом, получив нагоняй, перестал передавать сообщения о проходке, о бурении пластов, жаловаться на нехватку горючего и пара, но «подслушивать» эфир не прекратил. И в этот раз он вернулся с буровой к себе в балок к десяти, щелкнул пакетником рации.

Рация была старая, ламповая, нагревалась не сразу, три — пять минут проходило, прежде чем в трубке неясно проступали треск, завывание, попискивание морзянки, искаженные голоса. Мастер услышал голос — вначале далекий, но быстро приблизившийся:

— ЕРС — ноль — два, ЕРС — ноль — два, я ЕРС — двенадцать. Повторяю сообщение... Повторяю сообщение.

Васильича будто кто толкнул — он выдернул из стола разлинованный бланк наряда, перевернул чистой шероховатой стороной кверху и, взяв шариковую ручку, царапнул заостренным ее концом несколько раз по столу, очищая шарик от прилипших пылинок. «В восемь часов сорок минут на буровой номер двенадцать неожиданно обнаружена нефть. Ударил фонтан. Через несколько секунд после появления газа

и нефти вспыхнул огонь. Оборудование буровой сгорело. Все люди живы и здоровы. Раненых и обгоревших нет. Срочно прошу помощи. Мастер бригады номер двенадцать Сазаков. ЕРС — ноль — два. Я ЕРС — двенадцать... Как поняли меня? Прием!»

В ответ послышался хриловатый, сдобренный писклявым потрескиванием голос дежурного радиста, подтверждающий, что он принял сообщение. Мастер пробежал глазами по строчкам, скроенным из акkuratных маленьких буковок, потом, отставив листок от себя на вытянутую руку, перечитал текст. Вдруг у него кольнуло сердце... Господи, ведь на двенадцатой работает верховым его внук Витька Юрьев. Но раненых-то нет... Мастер растерянно огляделся.

— Надо начальство поднимать...

Он протопал по тротуарчику к балку Чертюка, прислушиваясь к грохоту собственных сапог, стукнула костяшками пальцев по деревянной оплетке и, услышав негромкое «войдите», толкнул дверь. В балке было словно в Африке — такая жара. Чертук полулежал на кровати и, расстегнув рубашку, растирал плечо, сквозь пальцы виднелся бугристый, грубым жгутом сросшийся шрам. «С Отчественной, должно быть», — подумал мастер.

— Вот, Федор Федорович, вышел в десять в аварийный эфир, — сказал он дрожащим голосом, показывая Чертюку листок с сообщением, — и запеленговал, так сказать. Двенадцатая буровая передала в экспедицию...

Чертук взял из ладони Васильича скомканный листок, расправил его, потом бросил на стол.

— Где пилотов расположили? — спросил он, будто вспомнил, что при нем есть вертолет.

— Недалеко, второй балок с краю отвели. Что? Нужны?

— Командир экипажа — да, остальные — нет.

— Сейчас пошлю, кликнут. — Мастер заторопился.

Вскоре пришел вертолетчик, огромный белесый человек в куртке с цигейковым воротником и короткими рукавами, из которых по запястья вылезали громадные кулаки.

— Ночью летали когда-нибудь? — спросил Чертук.

Вертолетчик, не разжимая кулака, пригладил им волосы.

— Когда в военной авиации служил, летал.

— А сейчас могли бы?

— Мог бы, да не разрешат.

— А на свой страх и риск?

Вертолетчик опять пригладил кулаком волосы.

— Не могу. Узнают — спишут. А если спишут... — Он недоговорил и так глянул на Чертюка, что сразу стало ясно, чего больше всего боится этот огромный и, наверное, смелый человек.

Чертук подумал: «Если боится, значит, из военной авиации его наверняка списали за какой-нибудь подобный полет. А теперь, один раз обжегшись на молоке, на воду дует».

— Значит, только завтра? — машинально спросил он.

— Далеко лететь? — спросил вертолетчик.

— Километров двести...

— Куда именно?

— На двенадцатую буровую, — сказал стоящий у двери мастер. — На Гром-Аганке это...

Вертолетчик помолчал, он что-то высчитывал.

— Пятьдесят километров прибавьте. Двести пятьдесят будет... — Поднялся, сунул руки в карманы куртки. — Случилось что?

— Пожар, — вновь подал голос мастер.

— Та-ак,— протянул вертолетчик, тряхнул головой, и на лице его появилось упрямое выражение.— И-эх, была не была!

— Душевный мужик,— проговорил мастер, которого не оставляла тревога за внука.

Чертюк не ответил, он уже начал торопливо складывать в портфель бритву, книги, зеркальце, носовые платки, прочую мелочь, взятую из дома в дорогу, и думал о том, что каждое новое месторождение — это нередко новый пожар. Огонь и нефть всегда рядом...

...Летопись нефтяных и газовых промыслов — это не только внушительные колонки цифр добытых земных богатств, это еще и трагический перечень огромных и злых пожаров. Один из самых страшных случился на поднятых скважинах в районе Мексиканского залива. Там взбунтовалась одна из скважин компании «Шелл», ударил нефтяной фонтан, который сразу же превратился в факел. Первые вести об этой катастрофе были краткими и горькими. Если в сообщении, переданном мастером буровой номер двенадцать, была фраза: «Все люди целы», — то в сообщении с буровой в Мексиканском заливе значилось: «Четыре человека погибли, тридцать два тяжело ранены...» За первой скважиной запылали соседние, и вскоре огромный участок земли на берегу Мексиканского залива представлял сплошное море огня. Тяжелый маслянистый дым пожара, гонимый ветром, двинулся на Новый Орлеан.

Справиться с огнем удалось очень не скоро, пришлось бурить новую, так называемую наклонную, скважину, закачивать в нее бентонитовую глину... Тушили этот пожар шестьсот пятьдесят первоклассных специалистов, появившихся на буровой спустя несколько часов, причем одну скважину удалось накрыть с вертолетов металлической крышкой — счастливый случай помог: нефть сильно загрязнила море — судам невозможно было приблизиться к берегу, потому что в огне оплывали и земля и железо, и море кипело, и долго еще не могли определить, из какой скважины нефть стекает в залив,— компании «Шелл» пришлось распылить специальный препарат, и два судна буксировали огромный плот, на котором стояли баки, а команда вручную очищала море от смертоподобной нефтяной пленки.

Убытки от этого пожара были обозначены восьмизначной цифрой...

— Поосторожней там.— Мастер кивнул на чернеющее в окне небо.— Пусть повыше вертолет поднимут, чтобы издали пламень увидеть. Огонь, он ночью заметен километров за сто как пить дать. Не менее. И еще... Федор Федорович, у меня к вам просьба. На двенадцатой буровой мой внук... Витька. Юрьев его фамилия. Человек он молодой, родительского окорота нет, полезет куда-нибудь в огонь. Присмотрите за ним, а? А то никого с ним рядом...

— Ладно,— сказал Чертюк.— Обещаю. Присмотрю.

— Ну, ни пуха,— тихо сказал Васильич и первым протянул Чертюку руку.

— А вам счастливо оставаться...— ответил тот.

«МИ-4» стоял у озера-старицы, самого вертолета не было видно, но горел заметный издали синий огонек в пилотской да светился фонарь в распахнутом настежь грузовом трюме, выхватывая из темноты скамейку и большой облупленный бок огнетушителя.

Чертюк, уцепившись за поручни, забрался в трюм, уселся на освещенную скамейку. Из кабины высунулся вертолетчик, удивленно свел вместе светлые, почти невидные на лице брови:

— Уже?

Тяжело заерзал, заворочался винт над потолком, в выхлопных

трубах защелкали дымные выстрелы, корпус вертолета задрожал, затрясся, будто в падучей. Пока гоняли двигатель на разных оборотах, Чертюк углубился в себя и пропустил миг, когда отрывались от земли,— выглянул в иллюминатор, а огни буровой уже исчезли из виду, лишь смутно ощущалась невидимая, погруженная в непроницаемую сажевую мглу тайга.

Пролетели всего немного, считанные минуты, как к нему спустился бортмеханик и прокричал на ухо:

— Огонь уже виден, но еще далеко!

Чертюк взглянул в слюдяное оконце — за бортом по-прежнему черная ночь и по-прежнему никакого проблеска, кроме звезд.

— Вы в кабину ступайте. Оттуда видно.

Чертюк поднялся по лесенке наверх. Лица пилотов были слабо высвечены горящими циферблатами приборов. Звонко щелкал какой-то счетчик. Чертюк стал вглядываться в ночь. Собственно, само пламя еще не разглядеть — просто метались по горизонту розовые сполохи. Отблески.

— Километров двести до пожара! — выпалил над ухом белесый вертолетчик.

Эх, пожар, пожар... Говорят же: «Каждому месторождению — свой пожар». Или: «Каждой скважине — свой факел». При обработке скважины в специально вырытый земляной бассейн выливается примерно шестьсот тонн нефти-сырца. Нефть эта густеет до вазелинового состояния, хоть на хлеб мажь, потом ее сжигают — многие дни она чадит, заплыввая пеплом деревья. Мегион, Нижневатовск, Сургут по ночам стиснуты огнем — горит попутный газ, драгоценнейшее сырье. Ну, в Сургуте, правда, эту проблему решили — построили огромную ТЭЦ, в газетах о ней много писали, правительство приезжало. А в других сибирских городах? Огонь стал привычной частью пейзажа, вот ведь как.

..Не знали в эту минуту ни Сазаков, ни два К, ни белесый вертолетчик, ни мастер Васильич, ни сам Чертюк, что вскинулись дежурные аэропортов в Тюмени и в Нижневатовске, что тревога дошла до Москвы, что с лихорадочной быстротой уже начали грузить на баржи громоздкое оборудование, чтобы успеть до ледостава забросить на Тром-Аганку, за две с половиной тысячи километров. По тревоге поднимались спецподразделения и пожарные части...

Долгим показался ночной полет Чертюку, он облегченно вздохнул, когда пошли на посадку, полукругом огибая горящий факел, верткий и длинный. Сквозь слюду иллюминатора обдало жаром, и Чертюк прикрылся ладонью. «МИ-4» развернулся хвостом к огню, понесся совсем низко над землей к домам — белесый искал площадку поудобнее. Перед глазами мелькали светлые пятна камней, блестя-мокрая от растаявшего снега земля, пронеслась поленница дров, на которой болтался красный, с облохмаченными краями флажок, проплыл совсем близко влажный бревенчатый бок избы. «Откуда здесь избы? — подумал Чертюк. — Чепуха какая-то...»

Вертолет осторожно опустился рядом с поленницей, подняв столб сырого песка, пулеметной очередью пробарабанивший по борту машины и залепивший оконце, в которое глядел Чертюк.

Спрыгнул бортмеханик, толкнул ногой дверь. Чертюк поднялся и хотел было выйти, но бортмеханик остановил его и растерянно взглянул на потолок, где дрожали тросовые тяги...

— Выключили мотор, а он почему-то работает.

— Это фонтан грохочет.

Бортмеханик выглянул наружу — над самым выходом, то тяжело

наклоняясь к земле, то вскидываясь вверх, повисла остановившаяся лопасть.

— Смотрю на приборы — двигатель вырублен, а машину... — бортмеханик стер со лба пот, — а машину трясет и трясет. На звук мы не обращаем внимания, только на вибрацию.

Сбоку от поленницы, низко пригибаясь, бежал человек, придерживая руками сползающую с головы каскетку.

— Кого привезли? — хриплым голосом спросил он.

Широкое лицо показалось Чертюку смешным: нос маленький, глазки маленькие, губы тонкие, а лицо огромное, пористое какое-то...

Бортмеханик стрельнул глазами в сторону Чертюка.

— Вот товарища к вам...

И недоговорил, потому что Чертюк перебил его:

— Заместитель начальника управления...

— Товарищ Чертюк! — подхватил широколицый и, как почудилось Чертюку, яростно сверкнул своими птичьими, прямо как у воробья, глазами. — Я мастер бурбригады Сазаков.

Последним в поселок бурильщиков вернулся Иван Косых. Он напился воды в сенцах, громыхая кружкой, а войдя в комнату, увидел Поликашина и небрежно повел головой в сторону факела.

— Во огонек, а?

Поликашин не ответил, он, сумрачно нахохлившийся, сидел в углу, притулившись спиной к выступающему из стены горбатуму бревну.

— Что молчишь, дед? Язык проглотил? — Косых, не дожидаясь ответа, шаркнул распоротым сапогом по полу. — Видал, дед, чтобы осетр так сапог сумел распороть? До кости мог зацепить...

— Разве осетр? — равнодушно спросил Поликашин.

— Черт его знает. Может, и железяка... Зацепил не помню где. А осетр мне фвал сапог вообще-то. Было такое, когда в рыболовной артели трубил. Только резиновый сапог-то...

Поликашин шевельнулся в углу, выглянул в окно — красные блики разбежались по его лицу, делая его неузнаваемым, чужим.

— Чего огонь-то не зажигаешь? Фонтан и светит и греет? — хмыкнул Косых.

— А чего зря жечь? Годится еще.

— Экономный ты у нас.

— Не тебе чета...

Добродушие с Косых как ветром сдуло. Он метнулся в угол, ухватил Поликашина за борт ватника.

— Ну, повтори...

— А что повторять-то? — Поликашин спокойно оторвал руки Косых от ватника. — Не распускайся-кась, Аника-воин.

Косых круто, как солдат на учениях, повернулся.

— Ладно, — сказал он остывшим голосом. — Кто на вертолете пожаловал? Начальство?

— Начальник...

Косых с придыханием зевнул:

— Пока посним. Минут шестьсот.

Поликашин шевельнулся, провел ладонью по столу, смахивая с него хорошо видимые в свете фонтана хлебные крошки.

— За копалуху я тебя под товарищеский суд подвел бы...

— Больно жирно будет, — отозвался Косых. — Теперь не до товарищеского. Теперь кое-кого настоящим судить надо.

В другой избе тоже шел разговор. Едва Федор Федорович Чертюк появился в ней, как попросил пожарче растопить печь, затем снял

шапку и спросил у Сазакова, в напряженной позе стоявшего посреди комнаты:

— Как получилось, что ударила нефть?.. А? Да садитесь же вы! Буровую уже не спасешь и нефть назад не загонишь...

Сазаков присел на табурет.

— Кто ж знал, что здесь нефть есть? — пробормотал он, сбиваясь, он чувствовал робость перед этим седым и, судя по всему, много повидавшим человеком. — Скважина разведывательная. Геология для нефти неподходящая. Бурим же, чтобы убедиться: нефтью не пахнет. А ею вон как запахло... Земля, куда ни ткни буром, всюду нефтью отзывается.

— Глину закачивали?

— Закачивали. — Сазаков нащупал глазами в ноздреватых досках пола неровно обрубленную шляпку гвоздя, окаймленную блеклым пятном, похожим на звериный силуэт, и теперь не сводил с него глаз, будто в пятне этом заключалась суть ответа. — Это я виноват в том, что скважину перелило. Только я...

— Виноваты, не виноваты — не разговор. Конкретно в чем?

— Велел закачивать в скважину облегченный раствор.

— Так... Для ускорения?

— Но никто же не ожидал нефти. Скважина бурилась как пустая. Как непродуктивная.

— А в результате — целое месторождение... С какой глубины пошла нефть?

— С малой... С девятисот девяноста метров.

— Совпадение какое — облегченная глина и нефть на архималой глубине. Один случай из миллиона... М-да. Идите-ка вы отдыхать. До шести утра. В шесть — аврал. Начнем расчищать площадку...

Наклонившись, он заглянул в окно, всмотрелся в огромный столб огня, в раскаленные, густо переплетенные полосы железа, поваленные на землю, в мрачную глыбу сгоревшей трансмиссии. Подумал, что фонтан очень мощный, даже слишком — миллионов двенадцать кубов нефти и газа псу под хвост уходит... Ежесуточно.

В эту ночь он почти не уснул — до утра пролежал на койке вверх лицом, оглаживая раненое плечо, и забылся уже перед самым рассветом. Но когда забылся, раздался грохот, будто ахнул залп, и он мгновенно вскочил на ноги, шало закрутил головой. В боку избы, пропоров бревна как снарядом, застрял синевато-серый камень, окутанный дымом. Еще секунду назад он находился в глубине, фонтан выплюнул его и с силой всадил в избу, находившуюся к нему ближе других.

Вспыхнул сухой мох, которым строители вместо шпаклевки заткнули дыры в стыках бревен. Чертюк схватил с печки чайник, плеснул через край. В лицо со злым постреливанием ударил пар, ожег щечи. Чертюк, откидываясь назад, плеснул еще.

Потом, уже успокоившись, он подумал, что доверни камень тридцатью сантиметрами правее — угодил бы точно в него. Мог бы и ноги оторвать, в боку избы застряла лишь половина камня, вторая в ворохе стеклянных брызг лежала у противоположной стенки. Окно от удара — вдребезги, хрустальное крошево блистало не только на полу, но и на столе и на одеяле. Он заткнул окно подушкой. «Придется запретить хождение любопытных по фронтальной стороне поселка — опасно».

Утром Чертюк облачился в грубую, пахнущую мышами и чем-то залежалым спецовку, в положенную по инструкции пластмассовую каскетку и мало чем стал отличаться от рабочих.

— Бульдозер на ходу? — прокричал он Сазакову.

Тот в гуле фонтана ничего не услышал, крикнул что-то в ответ, но безголосо: люди в этом страшнейшем грохоте походили на выброшенных из воды рыб — открывали рты и двигали губами, а голосов не было слышно. Только ревел фонтан и содрогалась земля под ногами...

Сазаков, порывшись в кармане, подал Чертыюку блокнот весь в разводах машинного масла. «Пора расчищать площадку. Бульдозер на ходу?» — написал Чертыюк крупно и вернул блокнот мастеру. Тот кивнул, показывая, что бульдозер есть и что он на ходу... Губы его шевельнулись — Сазаков что-то произнес... Что — не разобрать. Чертыюк вспомнил, что в Москве в министерстве работает совершенно глухой тридцатилетний инженер — пострадал, когда воевал с нефтяным пожаром на Мангышлаке; он и сам, вернувшись с Пур-Пе, четыре дня не слышал ни гудков автомашин, ни звонков трамвая, ни голосов прохожих. «Закажите по рации танковые шлемы. Иначе все мы оглохнем», — написал на блокнотном листке и показал Сазакову.

Минут через двадцать мимо поленицы прополз беззвучный бульдозер и, посверкивая траками, двинулся к горячей скважине. Нож вгрызся в поваленное наземь дерево, поддел его вместе с какими-то прогнившими до дыр коробками, поволок к Тром-Аганке, спихнул вниз, вероятно в воду, потом попятился обратно. Чертыюк огляделся — опушка тайги была от скважины довольно далеко, значит, не придется валить деревья, расчищать «жизненное пространство»; слева уходила в тайгу дорога. «Видать, к старой буровой», — подумал он. Потом вновь взял в руки блокнот и написал: «Откуда здесь деревня? Она что, брошенная?» Сазаков, приладив блокнот на колене, поплевал на огрызок и вывел: «До нас здесь цельный год сейсмики жили. Они и построили». Добавил: «Нам деревня по наследству досталась». «Богато живете! — написал Чертыюк. — Пойдемте смотреть вертолетную площадку».

Едва миновали дома, как грохот ослаб, перестал забивать уши, хотя, странное дело, в самих домах он был едва слышен.

— У нас здесь целый аэродром, — пояснил Сазаков. — Сейчас придем, увидите... Вон за бугром поле.

Вдруг Сазаков остановился.

— Фед Федрыч, подождите. Я на всякий случай ружье прихватил! — прокричал он. — Тайга ведь!

И вприпрыжку понесся к своей увенчанной радиоантенной избе. Выскочил, таща на ремне хлопающую по заду двустволку и набитый картонными патронами пояс. Шумно пыхтя, догнал Чертыюка.

— Чем черт не шутит. — Он хлопнул ладонью по прикладу двустволки. — Тайга ведь.

Довольно хорошо укатанная поляна, которую показал Сазаков, была ровной площадкой, песок, мелкий и твердый, малость прихвачен морозом. Здесь и раньше, верно, было нечто похожее на аэродром — даже кое-где вешки сохранились; надо подрубить несколько новых и поставить их на линии, привязать цветные флажки. Сюда и самолеты и вертолеты сажать можно. Все типы, кроме тяжелого транспортника «МИ-6», а ему доставлять бульдозеры, пожарные машины, лебедки и краны, новую буровую вышку, которая понадобится, едва огонь загонят в отводные трубы, поэтому для «МИ-6» придется отвести островок земли в другом месте и выложить его бетонными плитами. Сазаков словно прочитал его мысли:

— И для «Михаила-шестого» есть хорошая плешка.

— Вертолет вы, как царя, величаете.

Они прошли по обочине площадки, оставляя за собой частую строчку следов: обещанная Сазаковым «плешка» была отрогом пло-

щадки, припорошенным ослепительно белым, не стаявшим еще снежком: жар сюда не доставал... В сторону тянулась кривая просека, сворачивала к домам.

— Плиты, может, и не понадобятся,— сказал Сазаков.— Бревнами уложим. Все равно просеку расширять придется.

— Добро,— кивнул Чертюк.

Вдруг Сазаков метнулся вперед и, наклонившись, стал рассматривать следы на снегу — отпечатки лап были длинные, сильно вдавленные, с глубокими царапинами в «изголовье», оставленными когтями.

— Косолапым пахнет! — прокричал Сазаков.— След свеженький. Кружит вокруг деревни, похоже, не ляжет на зиму... Шатун. Опасный медведь.

«На фонтане все опасно,— подумал Чертюк,— огонь, газ, камни, вылетающие с километровой глубины, а теперь вот медведь...»

— Человека поджидает. Шатун, он вовсе не ложится — самый злой... Есть еще шатун-лентяй: берлогу себе не строит, выпадет снег — зароется кое-как, а ударит мороз, зад припечет — вот он от холода и просыпается. Вскакивает да идет куролесить по тайге. Не приведи бог, если человек попадется,— один из двух должен погибнуть. Осторожнее, Фед Федрыч,— предупредил он,— к кустам не подходите, может статься, он рядом сидит, нас рассматривает...

Чертюк отступил от плотной стенки стланика, в ветках которого застряло несколько кедровых шишек, в притемненных гнездах виднелись глубоко утопленные орехи. Сазаков, быстро переломив дустволку, сунул в ружье патрон, потом не глядя выдернул из кармана второй и также загнал в черное дуло.

Из-за края стланика вдруг показалась крупнолобая голова, шишкастая от неровно отросших ключев шерсти, зверь широко открыл пасть, будто зевал: в лицо им ударил сиплый, но грозный рев. Медведь поднялся на задние лапы, он был огромен — голова доставала до самых ветвей. Чертюк не успел ни испугаться, ни подумать о чем-либо, когда прозвучал голос Сазакова:

— Уходи, миша... Без бою. Уходи лучше...

Медведь провел лапой по стланику, и несколько кедровых шишек, сыпля зернами, шлепнулось к ногам Чертюка. Казалось, еще мгновение — и медведь раздвинет изгородь, отделяющую его от людей, и ринется вперед. Сазаков поднял дустволку. Чертюк отчетливо услышал, как щелкнули почти одновременно оба курка.

— Мирно разойдемся,— уговаривал Сазаков медведя.

Тот стоял не двигаясь, и Сазаков медленным, очень точным движением поднес ружье к плечу — медведь моргнул, приподнял сморщенную верхнюю губу, обнажая желтые, иссеченные в драках резцы, затем вдруг спешно опрокинулся назад. И пошел, извиваясь, колыхаясь...

— Так лучше,— сказал Сазаков, опуская ружье и настороженно оглядываясь. Отдышался.— У меня товарищ был, до техникума бурувиками вместе работали. Так он на медведя с мелкашкой ходил. Надкусывал пули и делал крестообразные насечки — пуля становилась вроде бы разрывной. И бил медведей прямо в сердце — либо спереди, либо сзади под лопатку. Глаз точный имел. Пуля, когда входила, отверстие маленькое оставляла, а в выход кулачина мог пролезть — на кресты блок мяса наворачивала и вырывала... Пойдемте, что ль? — Он закинул ружье за плечо, но не разрядил его, не спустил курков.

— Медведь не вернется? Ведь может людей покалечить...

— Не вернется,— убежденно мотнул головой Сазаков.— Иначе зачем мы с ним по душам говорили?

Поднялись на бугор. Загрохотала горящая нефть. Пламя заметно поблекло; извиваясь на ветру, оно пускало длиннотельные цветистые языки, которые, отрываясь, огромными простынями неслись к домам, но, не долетая до них, гасли.

Совсем маленький и неприметный ползал по площадке трудяга бульдозер, старательно распахивая по углам, по канавам коряги, жженое железо, свернутые после выброса в узлы бурильные трубы. Столкнув очередную кучу в какую-то воронку, он лихо развернулся и на полной скорости припустил к поленнице.

— Что это он? — прокричал Чертюк.

Когда подошли, увидели, как бульдозерист, маленький и черный как грач, черпая из бочки пенистую, похожую на пиво воду, окатывал ею курящиеся бока машины. Вода не успевала стечь на землю, высыхая, превращалась в пар. «Надо бы срочно пожарную установку. Иначе загорится и земля и лес», — подумал Чертюк, потом посмотрел на часы: было ровно восемь утра... Бульдозерист неловко мазнул водой из ведра по капоту, от которого отрикошетили крупные брызги, обдав стоящих рядом людей, и поднял голову. Чертюк тоже посмотрел вверх. Над избами висел огромный вертолет («Михаил-шестой», — вспомнил Чертюк), а под брюхом его на толстых витых тросах раскачивался тупоносый бульдозер с широким, отполированным до зеркального сияния лемехом. «В восемь утра начались работы по тушению» — так запишем в журнал. Хотя начались раньше, бригадный бульдозер еще ночью полез в пекло расчищать «жизненное пространство».

К вечеру на буровую номер двенадцать было заброшено четыре бульдозера, два крана, поставленные на мощные тяжелые «КРАЗЫ», две «мортиры» — противопожарные реактивные установки, чьи короткие толстостенные жерла напоминали старые крепостные орудия, — и четыре лебедки.

Прибыли и люди — спасатели, пожарные, прилетел из Тюмени майор Сергованцев, плотный, невозмутимый и важный. Впрочем, не без оснований — майор был большим мастером по части укрощения нефтяных пожаров: ни один факел не тушили без него и смелостью он обладал редкой. О Сергованцеве часто писали газеты, популярностью майор пользовался не меньшей, чем иной заслуженный артист.

Чертюк встретился с ним в избе. Сергованцев сидел за столом и, низко нагнув голову, раскраивал складным охотничьим ножом куски рафинада на четыре ровных кубика — готовился пить чай.

— Федору Федоровичу! — Сергованцев привстал на табуретке и вежливо поклонился. — Здравствуйте, дорогой наш Федор Федорович! — пророкотал он.

Чертюк сел на скамейку, стянул с головы каскетку, чувствуя, как освобождаются от тяжести виски и затылок, пригладил волосы.

— Чаю?

Сергованцев нагнулся и, выдернув из-под стола алюминиевый, фыркающий паром чайник с приплюснутыми боками, наполнил эмалированные кружки, стоящие на столе. В каждую из кружек он опустил по пористому мешочку, приделанному к нитке, нитки же забросил за бортики кружек.

— За границей выдумали — заварку в пакетики, а наш Аэрофлот, не будь дурак, перехватил.

Кипяток быстро окрасился в коричневатый винный цвет, пахнул теплым ароматом. Чертюк не выдержал, взялся за кружку.

— И то... Пока костюмы готовят, мы как раз по кружке и осилим, — пророкотал Сергованцев.

— Вот. О костюмах я и хочу поговорить. Надо бы к скважине подойти. Площадку очистят за три-четыре дня, а там работа уже у самой скважины начнется.

— Противопожарных комбинезонов у меня два. Хотите быть вторым? Тогда я лейтенанту скажу, чтобы со мной не ходил.

— Хочу или не хочу — не те слова. Обязательно надо быть.

На этом разговор кончился. Чай они пили в молчании, каждый думал о своем и вместе с тем об одном и том же... Жизнь на фонтане все равно что на фронте: встаешь утром и не знаешь, ляжешь ли вечером спать — мало ли что может учудить фонтан.

Сергованцев поедал сахарные четвертушки как семечки. А напившись, широким махом сгреб крошки в газету, скомкал ее и швырнул в помятое — шоферское, судя по запаху бензина, — ведро, стоявшее у порога.

— Пора одеваться.

Костюмы сделали их похожими на летчиков — молнии спереди и по бокам, гермошлемы, перчатки, смущала лишь невесомость ткани: не верилось, что такая легкая ткань не прогорит, устоит. Но костюмы были надежными — жар сквозь них не проходил. Они обошли факел кругом, почти прикасаясь к нему плечами. У самого факела было не так жарко, как метрах в двадцати пяти — тридцати от него... Из устья торчала головка чугунной колонны — «окурочка». Сама колонна забита в землю метров на четырехста, над ней, почти касаясь боковиной струи, висел уцелевший превентор. То, что есть колонна, уже хорошо, остается приварить к ней флянец, посадить превентор — и можно будет загонять огонь в отводные трубы, а то, что старый превентор висит над скважиной, плохо. Придется ставить артиллерийское орудие на прямую наводку и стрелять по нему чугунными болванками.

Струя нефти с бешеной скоростью проходила колонну и вырывалась наружу — к ней было опасно прикоснуться: сунь палец — оторвет, сунь руку — оторвет руку; она была плотной, как металл, вырываясь из черного, на пол-ладони приподнятого над землей «окурочка» колонны, тут же расширялась в поперечнике до метра, взметывалась вверх, загораясь высоко над землей — огонь не мог подобраться к устью, слишком велик был напор струи, и пламя, разбиваясь о нее грудью, ускользало в высоту. Такую струю и снарядом не обрубишь, она как металл и даже тверже металла.

От грохота в ушах появился звон, который Чертюк почему-то сравнил с морозной тишиной, когда в тишине вдруг возникает тонкий упрямый звук — то ли деревья запевают свою печальную песню, то ли кровь стучит в ушах...

Чертюк повертел головой, стараясь стряхнуть с себя звон, но тот не отставал, и он подумал, что сейчас ему хочется одного — уйти подальше от фонтана, что он, кажется, начинает трусить, а ему, фронтовику, трусить не к лицу. Сбоку прибrel Сергованцев, поманил рукой, и Чертюк пошел вслед, удивляясь неторопливым шагам Сергованцева, размеренному помахиванию рук и понимая одновременно, что такое спокойствие дается очень и очень нелегко.

У поленницы они присели, из спасительной тени вынырнул Сазаков. Лицо его было невозмутимо. Чертюк показал пальцами, что нужен блокнот. «Орудие, чтоб сбить превентор, будем заказывать?» — написал он. Сергованцев, прочитав, упрямо покрутил головой. «Пока ни к чему. Попробуем стянуть тросом, накинем петлю и дернем трактором». Чертюк согласился. «Хорошо, — написал он. — Начинайте поливать площадку, не то земля закипит». «Не закипит, — возразил Сергованцев. — У меня четырнадцать противопожарных стволов».

«Так приступайте сегодня же. Через два дня, как расчистят, начнем приваривать фланец. А там и превентора очередь». — «Сварщик есть?» «Должен быть. В бурбригаде», — ответил Чертюк. «Сварщик есть в бригаде?» Он подал блокнот Сазакову. Тот вывел неторопливо: «Есть. Косых его фамилия». Чертюк перечеркнул запись мастера размашистой строчкой: «Освободите от всех работ. Через два дня будем варить фланец. Пусть готовится».

Два дня Иван Косых, по определению Поликашина, «ходил голем». Героем себя чувствовал — все знали, что ему, а никому другому поручено приваривать фланец к «окурку» колонны, от чего — впрочем, как и от любой другой операции, все операции были одинаково важны — зависел успех дела. Даже тетя Оля, которая вначале не могла ему простить убитую копалуху, сжалилась и соорудила роскошнейший суп с душистыми приправами, с неизвестно откуда, похоже из-под земли, добытыми свежими перьями лука, с укропом и морковкой, не суп, а объеденье — кто пробовал, хвалил...

За день до того, как Косых пойти к фланцу, в вечернем небе появились пролетные утиные стаи. Птицы шли высоко, у самого окоема подсвеченных облаков, и хотели, видать, пролететь мимо, но яркая струя огня гипнотизировала, притягивала к себе, как пламя лампы примагничивает различных ночных мотыльков и бабочек. Сперва одна стая, а за ней и другая приблизилась к фонтану; построенные углом, утки были хорошо видны в небе. Потом строй рассыпался, пятнышки утиных тел сбились в кучу, и стая беспорядочным клубком вдруг сорвалась вниз, покатила в пламя. Раскаленный ветер тут же расшвырял птичьи тушки по земле, по песчаному берегу Тром-Аганки. Часть стаи рванулась было вверх, но поздно — от факела сбежало лишь несколько уток... А с небесной высоты пикировала в огонь следующая стая.

Первым понял, в чем дело, Иван Косых. Он кинулся к дому, спотыкаясь в темноте о гулко бухающие пустые металлические коробки («Понабросали, черт бы вас побрал!»), схватил в сенцах бумажный мешок из-под бентонита, метнулся к Тром-Аганке, заранее тревожась: вдруг его кто опередит.

Он увидел, что неширокая Тром-Аганка затянута облаком пара, как бывает затянута кастрюля с кипятком, когда ее выносят поостыть на мороз. У берега, где еще можно было что-то разглядеть, плавало несколько белобоких рыбин — вытаскивай, посыпай солью и закусывай! Днем сильный ветер пригнул язык пламени к Тром-Аганке, вот и сварилось несколько десятков окуней, шокуров, сырков. От веток стланика и краснотала, окаймляющих речку, резко пахло паленым — там еще скреблись, бились умирающие утки. Косых схватил одну, ближнюю к нему, затрепыхавшуюся под рукой, и его лицо скорчилось от сострадания: у утки были спалены крылья, от жара лопнули перепонки на лапках.

— Ах ты, утя, — жалостливо бормотнул Косых, — угораздило тебя... Гусь небось хитрее, он перепрыгивает через пожар либо стороной облетает...

Потом бросил тушку на дно мешка, уцепил за лапы следующую, также забившуюся в руке, потом еще и еще... Он продвигался вперед, чувствуя, как тяжелеет мешок, класть уже скоро некуда, а с неба сыпанула очередная стая. Кажется, куличков — тоже съедобная дичь! Один из них огрел Ивана по спине, но несильно.

— Ах вы, ути, — бормотал он, с трудом вытаскивая мешок на кромку берега.

Так, волоком, он и потащил мешок к домам, оставляя в земле

широкий след. Потом отыскал припахивающий терпкой плесенью от долгого лежания рюкзак, поспешил обратно, на второй заход. В стланике он нос к носу столкнулся с кем-то, похоже с Сазаковым, но увильнул от встречи, набрал еще полрюкзака — Надька будет довольна — и на печеную утятину с яблоками, и на утячьи котлетки хватит, и на чердак вывесить еще останется штук пятнадцать. Запас на зиму.

В избе он зажег коптиюшку — света не дали, — пересчитал уток: оказалось, ни много ни мало семьдесят пять штук. Радуясь, что в избе нет приставучего Поликашина, стал вспаривать уткам животы, боясь, что если вертолет завтра в город не полетит (небо обкладывает облаками, и, похоже, опять вызревает непогода), утки могут протухнуть. Он швырял в ведро кишки, печенки и прочую муть, отдельно откладывал пупки — любил их. И Надька любила. Но, потроша четвертый примерно десяток, он утомился, нос и рот его были забиты хлопьями пуха, изба пропахла горелым, и руки были черны от горелых перьев, которые приходилось счищать, чтобы мясо не прогоркло. Он уже ругал себя и свою затею. Вдруг ему пришло в голову отнести десяток уток в столовую — пусть пойдут в общий котел, тем более мастер его в стланике засек, а он с начальством, кажись, в дружбе...

Косых успокоился, отобрал десяток уток похудее и, стянув их за лапы бечевой, взвесил в руке. Тяжелые, заразы.

В столовой никого не было, но все равно он вошел тихо, старательно пошаркав сапогами о мокрую тряпку, брошенную у порога, потом с равнодушным и небрежно-отрешенным лицом шмякнул утиную гроздь на стол.

Тетя Оля молча взметнула руками, из глаз чуть слезы не закапали.

— Стая шла пролетом на юг из пункта А в пункт Б, — пояснил Косых, — у фонтана подзадержалась... Погреться, что ли? Огонь примагнитил. Вишь, как обжарил?

— Жалость...

— А вы на меня за копалуху обиделись, чуть не опозорили... Вот за что надо позорить... Конечно, тех, кто виновен, — добавил он.

— Что поделаешь, стихийное бедство.

— Стихийное бедство, стихийное бедство, — передразнил Косых. — Вари-к, тетя Оля, утей.

— Значит, подарочек с неба свалился?

— С неба, — подтвердил Косых. — Как манка.

— Да, дорого дается нефть... И людям и зверям...

— Не зверям, а птицам, — поправил Косых.

— Я и говорю. — Тетя Оля вытерла руки о фартук и, покраснев от натуги, подняла гроздь за бечевку. — Пуд никак... Не меньше.

Открылась дверь, и в столовую гуськом, нос в затылок, втиснулись два К и Витька Юрьев, два К — усталые и почерневшие, а Витька — свеженький, как июльский огурец, заражающий молодостью и беззаботностью.

— Что-то я вас давно не видел, — сказал Косых, — спите и ждете, когда за вас другие героизм будут проявлять? — Все слова на «изм» он произносил с мягким знаком.

Витька Юрьев, салага необстрелянный, вздернул брови и рот открыл. Косых, увидев это, решил на всякий случай приструнить.

— Не приставай, — опередил его Кеда, сегодня мрачный и не склонный к шуткам.

— А-ах, герой, — переключился Косых. — Спалось как? Вон даже потемнел от сна.

— Все не спалось, — отозвался Колышев, — площадку заканчиваем чистить. Все гоним к завтраму — завтра твой день, тебе работа...

— Еще что новенького на производстве? — по инерции съерничал Косых.

— Ничего. Танкошлемы сегодня выдали. Хоть тише в ушах стало и голова не идет кругом от грохота. И котелок защищает: мало ли что может с небес свалиться.

— Вчера начальству в дом каменюга въехал.— Кеда крикнул и сел на лавку.— Стекло начисто и дырку в стенке проломил. Ничего камешек, в центнер весом... Прибить мог...

— Что каменюга! — Косых сделал жест рукой, показывая, что камень — это детский лепет, на землю падают не только камни.— Вот уток понавалило сегодня. Тетя Оля, покажь...

— Чего птичье горе показывать.— Она все же подняла гроздь. С лица Витьки Юрьева мгновенно сошла улыбка, и щеки сделались бледными.— Иван Косых в кустах понасобирал...

— Видел я, как он по кустам шастал,— по-прежнему мрачным тоном объявил Кеда.

— Ну, ладно.— Косых поднял короткопалую, в черных, вьевшихся в кожу нитях соляра руку, сделал приветственный жест.— До завтра.

Назавтра пошел дождь. Косых высунулся из дома, глянул на небо, поражаясь серой его непроницаемости. Ему казалось, что день обязательно должен быть слепяще-солнечным. Охоты в такую погоду совсем нет, сидят продрогшие глухари под корягами, кукуют, глядя в запруженные тучами небеса. Ему показалось, что он услышал, несмотря на грохот, как шумит неподалеку сонная мокрая тайга, бубнят о чем-то своем пьяные в предзимье пихтачи и кедры, и ему стало жаль себя: сегодня ему надо лезть в пекло, в пламя и жар, к фонтану, варить фланец — и ему вдруг захотелось заплакать. Он вспомнил, как убивал птиц и зверей, бил, не жалея, из всех видов оружия. Из всех, кроме, пожалуй, пулемета... С автоматом и то ходил.

— Родные вы мои,— вдруг прошептал он.

Чтобы успокоиться, он подставил под струю ладонь, протер холодной дождевой водой лицо, затем, прячась от дождевой сыпи под далеко вынесенным тесовым накатом крыши, побрел под навес, к машине. Он потянул к себе сухо ожегшую стылым дверцу, скользнул к рулю и в приливе особой нежности провел ладонью по шершавой от царапин баранке, тронул рычаг скоростей — все здесь было знакомо, каждая рукоять, каждая педаль, каждая кнопка, и выщербленное нечаянным ударом мелкашечного приклада боковое стекло, и ржавь на рифленном резиновом коврикe (глухарина кровь), и в брызги разнесенное стекло спидометра (выдавил локтем, справляясь с заклиненной дверцей) — все-все... Он посидел несколько секунд молча, потом выбрался из-за руля и, резко хлопнув дверцей, вприпрыжку бросился в избу. Там сел на табурет, устался в неряшливые быстрые облака, лохмотьями пролетающие над крышей дома, окончательно успокаиваясь, приходя в себя. Сидел так, наверное, с полчаса, пока не стукнула дважды в дверь тетя Оля — боялась, как бы Ивана Косых не одетым не застать,— и подивилась его печальной прибранности, сосредоточенному блеску глаз, смиренной, отрешенной позе.

— Иван,— позвала она,— а Иван...

Увидев, что герой дня обратил на нее внимание, тетя Оля взбодрилась.

— Утей заказывал? — пропела она.— Готовы ути. И суп готов... С индейскою приправою,— добавила она, решив удивить Косых,— духмяной и вкусной, с языком проглотить можно. Специально молодую крапиву для приправы выписывала — из города на вертолете привезли, бабку мою тревожили.

Косых чуть ожил, и розовость выступила на скулах.

— Тетя Оля,— позвал он,— вертолет будет сегодня?

— А откуда ж я знаю? — удивилась она.

— Ты все знаешь,— с печальной убежденностью произнес Косых.

— Погода, думается мне, нелетная. Сазаков с начальником говорил уже с городом, выясняя прогнозы... Вообще город вертолет пообещал.

— А когда?

— Думается, как дождь перестанет.

Она постояла, держа руки под фартуком, и, оглядывая Косых, позвала вполголоса:

— Пойдем-ка завтракать.

Но Косых не слушал ее — он повеселел, заглянув в окно. Тетя Оля тоже пригнулась посмотреть и увидела, что над лесом медленно разворачивает хвост страшновато огромный, с покатыми, будто порохом покрытыми от дымовых выхлопов боками грузовой вертолет. Под самым брюхом неподвижно висели на стропах металлические, испещренные предупреждающими надписями ящики.

— Новую буровую завозят. Пожару еще конца не видно, а буровую загодя забрасывают!

Тетя Оля восхитилась, а Косых обернулся на нее с неприязнью. Повариха перехватила взгляд.

— Пора завтракать,— произнесла она тоном, не допускающим возражений.

— Счас,— встрепенулся Косых,— нацеди супца в чашку, сбоку положи самую большую ложку и кус хлеба мужской толщины, а я счас...

Он метнулся в сенцы, взвалил на плечо мешок, набитый утками, и, оставив открытой дверь, буквально выпрыгнул на улицу.

Тетя Оля хотела прокричать вслед, что такое «кус хлеба мужской толщины», но Косых уже перемахнул через стенку краснотала и мчался вприпрыжку на «плешку», куда садился «МИ-6»: скорее, а то вертолет отцепит груз и упрет назад и не успеет он передать посылку в город. За первой стенкой последовала вторая — таежная опушка была обрамлена двойным ярусом краснотала, перебиваемым кое-где стлаником-кедрачом. Косых, подпрыгнув, преодолел и ее, но споткнулся, покатился по земле, загребая сапогами песок. Когда добежал, понял, что понапрасну спешил: «МИ-6» не собирался взлетать, его лопасти замедляли бег, а в открытом трюме светлели какие-то мешки, пакеты, обернутые рогожей детали, ящики. Вертолет еще час будет разгружаться.

Косых бочком подобрался к машине, не обращая внимания на предостерегающие вскрики бортмеханика — тот боялся, что зацепит лопастью,— всмотрелся в стекло кабины, но она находилась высоко, лица сливались в блеклые пятна. «Не то чтоб знакомого летчика — родную маму не разглядеть»,— подумал Косых.

Вот лопасти прекратили бег и застыли, пригнувшись тяжелыми стеблями к земле, бортмеханик спрыгнул из трюма, подбежал к Косых.

— Тебе что, лохматый, жить надоело? Шарахнет лопастью — полкота снесет...

Косых разжал кулак и отпустил бечеву, врезавшуюся до кровавой красноты в кожу.

— Слушай, друг, в город не передашь, а?

— Не передашь... Посылки отправляй по почте,— усмехнувшись, посоветовал бортмеханик.

— Жена больна, а я здесь... Выбраться никак не могу.
— Надо не на нефти тогда работать, а сидеть в городе.
— Фланец мне нынче к окурку приваривать,— стал канючить Косых.— Это ж героизм, рискованное мероприятие.
— В огонь полезешь? — Бортмеханик, похоже, не поверил.
— В огонь,— подтвердил Косых, узрев краем глаза, что просеку запрудили буровые рабочие — пришли разгружать вертолет,— впереди вышагивал Поликашин, его здесь только не хватало.
— Все передачи супруге? — Голос Поликашина звучал свежо и громко, будто не было бессонной ночи.
— Говорит, что фланец будет сегодня варить,— вставил бортмеханик.
— Эт-то верно,— неожиданно поддержал Поликашин.
— Ладно,— покуражившись еще немного, согласился бортмеханик.— Мешок не корова...
— Что домой переправляешь? — спросил Поликашин.— Может, и я присоединюсь...
— Белье грязное постирать и,— Косых ткнул в мешок носком сапога,— по мелочи кой-что да пару уток из подпаленных вчера...
— А кому передать? Придет кто? — спросил бортмеханик.
— Либо теща, необхватная такая... Таисией Павловной зовут, либо жена-красотка, не моги на нее заглядываться, Надька... А я знать по рации дам и номер борта сообщу... На вертолетную площадку к пилотскому балку и подойдут, а ты мешок выгрузи и оставь в балке.

— Добро,— сказал бортмеханик.— Пусть приходят.

Успокоенный Косых побрел в столовую к остывшему утиному супу с индейской приправой, а оттуда на площадку.

Площадка, страшное дело, была суха, несмотря на дождь. Косых задрал голову и увидел, что дождь не долетает до земли — он испарялся в воздухе, таял, сжираемый пламенем.

На площадке уже находился весь таежный гарнизон... Косых, ежась оттого, что у него вдруг заохлодели лопатки, подошел к ящику, механически проверил электроды, не сколпнулась ли обмазка, но электроды были подобраны один к одному. На ящике лежала новенькая фибровая маска с синим стеклом. Рядом был вдавлен в песок бидон из-под молока. Он подошел к бидону, на крышке которого стояла эмалированная кружка с диковинным остролистым цветком, зачерпнул кваса — сосал кислотоватую жижку и чувствовал, как леденеет небо, ломит зубы, но кружку допил до конца. Потом зачерпнул вторую, но понял, что не осилит, и поставил полную на бидон.

Неподалеку, широко раздвинув ноги в заляпанных глиной кирзачах, ждал пожарник со шлангом наизготове, поигрывая латунным, начищенным до солнечного сияния наконечником. Косых понял — ждет его, чтобы окатить водой. Он важно кивнул и подставил пожарнику спину, тот обдал его струей, и брезентовая куртка на Косых сразу сделалась деревянной, сухарно хрустящей: кажется, сделай он лишнее движение — начнет ломаться... Косых повернулся грудью, пожарник прошелся и по груди, от воды защеколало под рубашкой, холодный ручеек пополз за шиворот, остужая плечи и живот.

К нему подошел Чертюк, сказал что-то. Косых увидел, как открылся его рот и задвигались беззвучные губы, когда же он подал руку, понял, что это сивый начальник произносил напутственные слова.

«Как генерал». Косых подхватил ящик с электродами и, прикрыв лицо маской, с места ринулся к огню. И ему показалось на секунду,

что со стороны он выглядит большой бесстрашной птицей, к которой сейчас обращены все взоры.

На него действительно в эту минуту смотрели все, кто был на площадке, следили, как неуклюже-гибкая, похожая на таракана фигура с горбом раздувшейся спецовки на спине покрывает пятидесятиметровую — перед факелом — полоску земли. Эта полоска, самый подступ, — наиболее жаркая, здесь от нестерпимого жара полыхают и земля и камни, краска на бортах бульдозеров и одежда на людях...

Косых скачками продвигался вперед. У самого фонтана жар отпустил, стало легче дышать, и ощущение того, что из грудной клетки выпрыгивает сердце, а он пытается догнать его и накрыть своим телом, исчезло.

Около устья он отдышался, бросил рукавицы наземь. На закопченно-мокрый от нефти патрубков колонны уже был надет фланец — ребята сделали это за него. Оглянулся. Да, на площадке были все — и сивый следил за ним, и пожарный майор, и все-все-все, даже женщины. Наверное, тетя Оля пришла из столовой... Затем Косых взглянул вверх, где с клекотным грохотом, будто на землю свалилась бомба, а гул взрыва был непрерывным, распушил свою шляпу оранжевый, с кое-где пробивающейся чернотой гриб. Гриб злорадно хлопал краями, извивался и все норовил соскочить вниз, накрыть его огненным полушубком. У Косых неожиданно подломились колени, он присел на корточки, задрал голову, и, подминаемый ужасом, все рассматривал эту жадную до него заразу... Он вспомнил инструкцию, где говорилось, что вокруг фонтанов собираются газовые облака, ухают время от времени взрывы, — может, и сейчас, сию секунду вокруг него сгущается газовый мешок... Если рванет, раскидает по частям. Говорят, что человека в момент взрыва выбрасывает из одежды, значит, его брезентовая роба останется комом лежать на земле, в то время как самого его уже не будет на свете.

Он вывернул беспомощно голову, увидел, что все смотрят на него; чужое внимание придало немного бодрости. Надо было варить фланец. Он достал прут электрода и, воткнув его в рожки плавильника, нечаянно коснулся фланца. Дуга резанула по глазам, и Косых отшатнулся, оставив на фланце быстро тускнеющий катыш расплавленного металла. Он попробовал взять себя в руки, но сердце протестующе гулко забухало, сигнала об опасности, и он, едва справляясь с сердцем и с гулом в ушах, ткнул электродом в стык фланца с «окурком». Алмазные брызги опять заплясали перед ним, и Косых, прикрывшись маской, начал варить, почти не видя, что варит и как варит. В ушах, одолевая грохот, почему-то звучали три фразы: «Шов встык... Шов втавр... Шов внахлестку». Косых дергал методично головой, пытаясь вытряхнуть эти фразы из ушей. Куртка на нем быстро высохла, и ему стало жарко, он почувствовал себя будто засунутым в топку. Неожиданно он коснулся маской струи. Бока ее, сделанные из твердой, как фанера, фибры, как ножом отрезало, в руках Косых осталась только ручка. И он не выдержал, заорал на всю тайгу, выпустил из руки плавильник и привстал в рост, не видя уже, как тает прикипевший к фланцу электрод, а синий огонь брызжет ему металлом на сапоги. Косых отпрыгнул от фонтана и заглодел, когда понял, что ему отказали ноги — от звериного страха он даже не мог держаться на них, — и он пополз на четвереньках прочь от фонтана, зарываясь по локоть в сухую, кипящую потрескивающую разрядами пыль, ойкая от боли — на ошпаренных руках вздувались волдыри...

Добравшись до людей, он упал грудью на землю, прижался щекой к холодному боку бидона, прохрипел:

— Не могу... Варить не могу. А заставлять не имеете права. Н-нету такого права...

Потом он обнял бидон, слизнул языком несколько мутных капель.

— П-паспорт на эт-ту работу нужен. Сложная работа.... У меня паспорта нету...

Обедали в тяжелом молчании, каждый стыдился произнести пер-вым фразу, все поглядывали на Косых, который уже успел оправить-ся и теперь довольно ловко орудовал за столом перебинтованными руками. Он заговорил, ни к кому не обращаясь:

— Такое чувство, что фонтан на голову тебе вот-вот грохнет. У него, как посмотришь снизу, огонь шляпой. А тут еще газовый мешок начал собираться, я приняхался, смотрю — муравьиной кислотой в ноздри шибает. Того и гляди рванет, тем более сварщик я того... нукудышный. Дизелист я...

— А доплату за сварщика получать так кудышный? — спросил Жименко.

— Так то же... работа по мелочам. Справиться не мудрено. Вон руки себе пожег.

— Руки что? — ехидно сощурился Жименко. — Бригаду ославил.

— А сырая нефть действительно муравьиной кислотой припахивает? — спросил Витька Юрьев. Он решил предотвратить тяжелый, но необходимый разговор.

Косых обрадовался неподдельному Витькиному участию, ответил, глядя ему прямо в глаза:

— Не нюхал? А нюхнешь, так чихать захочется. Будто муравей из организма тебе в ноздрю... Как саданет, сразу голова кругом...

— Молчал бы, отец-наставник... Герой. — Тетя Оля села на свободный угол скамейки. — Супу из утей просил. Я ему супу сготовила, а он у него через задний выход в портках очутился... И-э, хлеб мужской толщины, — фыркнула она.

— Что-то новое? — сощурился Жименко.

— Да вон... Изобрел. — Повариха указала на Косых.

Витька Юрьев вновь вмешался в разговор, хотя и боялся, что его обрежут:

— Я читал, что нефть бывает меловая, юрская, девонская, карбонская, кембрийская. Кембрийская — самая древняя, имеет наивысшее октановое число и чистая, как авиационный бензин.

Витька пулеметил все, что знал о нефти, одним выдохом, без запятых и без точек. Жименко даже есть перестал и с интересом разглядывал теперь Витьку Юрьева.

— Правильно, — сказал Сазаков, которому тоже был неприятен разговор насчет Косых. — На Лене, в Маркове, — кембрийская платформа. Нефть светлая, как спирт, заправляют ею моторки и катаются по реке...

— Прямо-таки научно-популярная лекция, — усмехнулся Жименко, — только школьной доски не хватает. Говорили о Косых, стали говорить о нефти. Давайте еще о небе поговорим, о квасе, о тетерках, о бульдозерах...

— Товарищ Сазаков, — выпалил Витька Юрьев. — Из привезенных бульдозеров один простаивает... А я в школе специальность тракториста приобрел... Посадите меня поработать на бульдозере!

Сазаков повернул к нему лицо, моргнул пуговками, а Жименко неторопливо облизал деревянную ложку и, перегнувшись через стол, легонько щелкнул Витьку по темени.

— Сиди, круглолицый.

Два К дружно засмеялись и посмотрели на Сазакова.

— Напрасно, — огорченно проговорил Витька. — Я б смог.

— Ну, что с Косых будем делать? — взялся за старое Жименко.

Все умолкли, и в столовой вновь воцарилась неловкая тишина. Когда, задумавшись о чем-то, повернулся к Поликашину. Кольшев проследил за взглядом друга — Поликашин был в бригаде не только самым старшим по возрасту, был еще и парторгом. Жименко тоже узрел направление Кединоного взгляда и, не вылезая из-за стола, подал через плечо тарелку:

— Тетя Оля, насыпь-ка чего второго.

Повариха с верхом навалила ему картошки, прилепнула две ноздреватые, щекотно отдающие чесноком котлетины. Жименко копнул концом ножа перец, растряс его над тарелкой.

— Семеныч, ты наша партийная голова, что скажешь?

— Что ска-а-жу? — протянул Поликашин. — Могу сказать. Боюсь вот только быть необъективным.

— А ты не бойся.

— Мое мнение — гнать надо Косых из бригады. Но это мнение только мое. Частное, так сказать...

— Почему только твое? — спросил Жименко. — И мое тоже.

Косых даже есть перестал, глянул на Поликашина пронзительно. Витька Юрьев, сидевший напротив дизелиста, засек этот взгляд и подумал, что запахло дракой.

— Чтоб выгнать по правилам, надо профсоюзное собрание созывать, — сказал он, — протокол должен быть... Мотивировка...

— Мотивировка ясна как божий день, — отозвался Поликашин. — Халатен в работе, нечистоплотен и безынициативен...

— Нечистоплотен? — спросил Витька. — Таких формулировок не бывает.

— Бывает. Давеча мешок утей в вертолет сунул. Слышал бы он, что летуны про него говорили.

— Все равно надо собрание, — проговорил Витька.

— Ты не прав, верховой, — сказал Жименко. — Собрание — это все мы... Так что давай проголосуем. Кто за?

Первый раз в жизни Витька видел, как старшие жестко и непреклонно решали человеческую судьбу, не давая дизелисту ни опомниться, ни оглянуться...

Проголосовали. Против — ни одного. Воздержавшихся два — Сазаков и Витька Юрьев. За — все остальные.

Косых встал. Он изменился до неузнаваемости — глаза побелели, крепкие прямые плечи осели мешком, пальцы тряслись, а кончики их, вылезавшие из бинтов, сами ногти, будто чернилами покрылись. Витька читал где-то, что ногти синеют у человека обычно перед смертью, и ужаснулся.

Около Поликашина Косых задержался, зыркнул бесцветным глазом, а ладонью нежно провел по его спине, словно паутину снимал.

— Иногда люди на тропе нос к носу сходятся. Бывает ведь, а, Поликашин?

— Иди-иди, — спокойно посоветовал Жименко и пристукнул кулаком по столу, звук получился глухой, будто в бок двинул. — Тронешь Поликашина — со всеми нами дело иметь будешь. Не рекомендую...

Вызвали другого сварщика — вертолет забросил его на следующее утро. Чертюк удивился, увидев молодого парня, лет двадцати, одетого в солдатский ватник, — видно, недавно демобилизовался из армии. Но парень, несмотря на молодость, дело знал; единственной фразой, которую от него слышали, было:

— Ничего себе змей-горыныч, грохочет...

И все. Пошел к фонтану нормальным шагом, только от огня все

рукавицей прикрывался, нос берег. У фонтана он аккуратно разложил свою нехитрую амуницию, прутья, запасной щиток, кинул под колени рукавицы и начал варить — буднично, не спеша, будто показывал в учебном классе, как сооружается тот или иной шов, и руки не тряслись, и маской в струю не лез. Иногда вставал и неторопливо обходил фонтан. Один только раз, когда припекло до последнего — во всяком случае, с площадки показалось, что очень припекло, — он встал, расстегнул ремешок танкового шлема, сдвинул его на самую макушку и вытерся полой брезентовой куртки. О чем думал он в минуты, когда стоял у нефтяной струи, никому не рассказал. А ведь приставали — и в обед и ночью, уже в балке, когда тела у всех наполнились гудом и спать хотелось больше, чем жить. От всего парень отмахнулся.

В мелких приготовлениях прошел еще день. К вечеру уже никто не говорил об Иване Косых — забыли. У Чертюка состоялось совещание — собрались командиры таежного гарнизона, рядили, что делать дальше. И хотя рабочих на совещании не было, к ужину все знали, о чем шла речь.

— Завтра превентор сажать будем, — сказал Чертюк на совещании, — фонтан больно свирепый: как сутки, так двенадцать миллионов кубов козе, простите, под репку, а это ни много ни мало норма Москвы... У нас при наводке превентора на фланец пять раз взрывы случались... Неизвестно отчего... Пять раз!

Эти слова будто впечатались в стенки столовой, повисли в воздухе — у всех, кто приходил ужинать, тревогой подернуты глаза... Поужинав, люди молча разбирали шапки, каскетки, танковые шлемы и разбрелись по избам.

Утром в серых, покрытых рябоватой мглой сумерках ударили по фонтану «мортиры» — из кургузых, словно секирой обрубленных стволов вода выхлестывала с такой силой, что, когда ею нечаянно задела по опушке, вмиг опрокинули несколько кедров, только корни, будто ноги, в воздухе мелькнули. Длинные гибкие жгуты ввинтились в пламя, раскроив его на несколько рваных кусков, и фонтан взвыл, земля заходила ходуном, вроде припадок с ней случился. Огонь минут десять сопротивлялся воде, потом оторвался от нее и, плоский, извивающийся, страшный, с самолетным воем описал над головами осевших на четвереньки людей полукруг, метнулся в тайгу. И вздрогнуло под ногами, когда он устало, всей грудью приложился о твердь, а фонтан, будто сбросивший с плеч не меньше чем целый земной шар, ухнул освобожденно, взбрыкнув под самые тучи.

— Ого, взял метров пятьдесят, — отметил Чертюк, ощутил, как под низко надвинутой, не по размеру выбранной каскеткой повлажели волосы.

Выждав момент, он скомандовал красным флажком: пора! — повел ноздрями, учуяв муравьиный запах — газ пришел, гулять начал над головой. Он с надеждой посмотрел в сторону домиков, пожелал: «Ветра бы, ветра», словно ветер прятался за серыми, вылуценными дождями и жаркой сухостью бревенчатыми коробками, но по ровно вспарившей нити дыма и робкому горестному затишью понял, что ветра в ближайšie часы не предвидится. Он перевел взгляд на лебедки, на людей, сгрудившихся наизготове у каждой, на гусеничный кран, червячными рывками придвигающийся к фонтану, толкая повисшую на крюке грузную тушу превентора, несуразно нарядную среди строго серого обличья природы, серой нефти, серых фигурок людей.

Что-то сдавило ему грудь, мешая дышать. Хорошо, что в последнее время плечо хоть не тревожит: всегда в пиковые моменты, когда

нервы натянуты до предела и готовы вот-вот порваться, рана смиреет. Он скользнул глазами по группе людей, окруживших правую, ближнюю к нему лебедку, потом посмотрел на тех, кто оседлал правую дальнюю, на кран — тот все толкал превентор вперед. Не только Чертюка — каждого, кто находился на площадке, одолевало беспокойство.

Лишь Витьке Юрьеву беспокойство было чуждо — он стоял у лебедки, загнанной в студенисто-мокрый, будто чем облитый кедрач. Нашел несколько разбухших, отменно крупных ягодинок голубики и обрадовался им, будто никогда не ел; голубика ему напомнила виноград — даром, что ль, в народе голубику прозвали сибирским виноградом? Потом в упор схлестнулся с чьим-то взглядом: покачиваясь на березовой ветке и вцепившись в нее так прочно, что даже посветлели изгибы алых лап, на него печально смотрел крупный старый щур. Знатная пестристь его оперенья никак не вязалась с человеческой печалью во взгляде. Вещая и редкая птица — не каждому повезет увидеть. Витька хотел крикнуть: «Смотрите, щур!» — но вспомнил, что рядом находятся ребята не их бригады, а совершенно незнакомые вышкомонтажники, большетелье и грубые ребята, плечи по километру, с ними Витьке не состязаться. Он сделал шаг вперед, но взгляд у щура построжел, потемнел, щур разомкнул крючок клюва, словно желал заговорить, и, вздыбив перья, тугим комком упал в голубичную россыпь.

Витька кинулся к нему, взял в руки, щур уже был мертв. Он положил птицу под кедрач и, подогнанный окриком вышкомонтажника, снова встал к лебедке, подумав, что слишком старым и бесстрашным был вещий щур, чтобы осмелиться прилететь к людям и умереть у них на глазах.

Кран тем временем уже подал превентор в струю; едва превентор вошел в нее, как нефтяные брызги осколками сыпанули по площадке, будто град пробежался по ней, взбивая пыль, затем Чертюк махнул заметным издали красным флажком, и крановщик, отворачиваясь от гипнотизирующей его струи, стал майнать превентор, по сантиметру, по миллиметру опуская его на фланец. Вышкомонтажники вдвоем, взявшись за рукоятку лебедки, напыжились так, что лица вином налились, закрутили колесо. Трос визжал, потрескивал электричеством, но натягивался исправно.

Превентор полз вниз, вышкомонтажники сменяли друг друга, и Витьке тоже досталось подержаться за ручку, покрутить — он вращал колесо до тех пор, пока его не оттолкнул небольно и необидно рослый и загорелый, наверное только что приехавший с юга, сменщик. Витька оторвался от колеса и почувствовал, как ладони обдало морозцем: горяча же была деревяшка рукояти.

Когда до фланца оставалось всего ничего, полторы-две ладони зазора — зазор этот мизерный, со стороны его совсем не видно, и Витька считал, что превентор уже сел, осталось только гайки закрутить, — взметнулся в небо огненный вулкан и вязкий гул вновь заставил вздрогнуть землю под ногами. Огонь накрыл и кран и человека, находящегося в нем, и все окаменело застывшие на площадке увидели, как из огненного смерча, раздвинув его толстую оранжевую плоть, высочил крановщик. За спиной его трепетали раздуваемые ветром крылья пламени. Крановщик огромными скачками понесся к опушке, к редкостволью пихт и молодых кедров — там протекала Тром-Аганка. Вдогонку стегнули водяным жгутом — это очнулся растерявшийся поначалу пожарный, — потом с другого конца брызнула трассером еще одна нить, струи скрестились, сбили крановщика с ног, огонь затух, и онемевшему Витьке даже почудилось, что над упавшим на-

взничь человеком взмыло облако пара. Стоявший рядом Витькин сменщик облегченно вытер полою куртки глаза и лоб.

Потом Витька увидел, что загорелся кран, огонь танцует на его брезентовой кабине, а трос, на котором болтается превентор, раскален и уже отдает малиновостью; еще самая малость — и он перегорит и ухнет в пламя превентор; если лишатся превентора, значит, пожар будет еще две недели беситься, встряхивать грохотом тайгу, зажигать землю вокруг. Да и крана другого нет — пока доставят, слишком много времени пройдет...

Все это вертелось в Витькиной голове, одна мысль наскакивала на другую. Неожиданно он вспомнил свой давешний разговор в столовой, когда заявил, что хотел бы сесть на бульдозер — ведь есть же у него права тракториста! — а Сазаков, сидевший рядом, усмехнулся, и даже Косых на секунду навел на Витьку тусклый взгляд.

Витька раздвинул спины стоящих перед ним вышкомонтажников, вырвался из собственного минутного оцепенения, бросился вперед.

...Чертюк увидел, как от правой дальней площадки оторвалась долгоногая фигурка, и в первый момент даже не понял, чего тот хочет. А потом выкрикнул, хотя понимал, что человек все равно не слышит его голоса:

— Куда? Хрен с ним, с краном! Сгоришь!

Чертюк твердо знал, что у лебедек в эти минуты стояли бурильщики да вышкомонтажники — люди, которым крановое хозяйство совершенно незнакомо: никто из них никогда не имел дела с кранами, да еще с гусеничными. Помочь этому безумцу было нечем — в любую секунду мог взорваться топливный бак.

А Витька взбивал сапогами буруны пыли — целый смерч пыли оставая за собой — и не думал о том, что может вместе с краном взлететь на воздух, он только на секунду подивился, почему это кран взбрыкивает, дергается, подпрыгивает, приплясывая из стороны в сторону, и еще он отметил на бегу, что огонь уже провалился с крыши в глубину кабины. Главной Витькиной целью было сейчас добежать до крана. Быстрее, быстрее, быстрее...

Витька почувствовал, что ожгло рот — треснули спекшиеся губы, и кровь потекла по подбородку, с подбородка на шею и за воротник. Он ухватился руками за поручни кабины и закричал от боли — кожа прилипла к горячему металлу, боль словно током пробила все тело от макушки до ступней. Он перемахнул через гусеницу и с размаху опустил на глухо урчавшее огнем сиденье, отметив подсознательно, что брезентовым штанам жар не страшен, расплавит их не скоро... Сторонясь огня, он натянул куртку на уши, потом натащил ее на голову и, оставив только щель для глаз, глянул в пламя. Ему показалось, что лебедочные тросы провисли, и он с благодарностью подумал: «Молодцы ребята, с тросами догадались!» — не обратив внимания, что тросы нагрелись, вот и прогнулись, что стоявшие у лебедек не успели бы так быстро раскрутить барабаны.

«Работает мотор или не работает? Трясти трясет, а что-то непонятно...» Он рывком двинул рукоять газа и почувствовал мелкую, от которой зашился в щекотливом зуде ноги, тряску — двигатель не заглох, работал. «Теперь надо отжать тормоз и включить заднюю скорость... Да где ж она, задняя скорость-то, где? Вот черт! Забыл!» Витька громыхнул рычагом скорости, добавил газу и почувствовал, что кран попятился от факела назад, обрадовался, увидев, как из пламени вылезло грузное дымное тело превентора и, чертя в земле глубокую борозду, двинулось следом, а огонь стал выплескиваться в окна кабины, будто хотел выброситься на ходу...

На этом ярком, больно режущем глаза фоне пламени все увидели неуклюже сгорбатившееся тело Витьки Юрьева.

Вполсилы ударила запоздалая «мортира», вдребезги разнесла заднее стекло кабины, и Витьку с головы до ног окатило водой, с ней на мгновение пришло облегчение. Всего на мгновенье: Витька Юрьев увидел лишь, что вслед за превентором тянутся на тросах опрокинутые лебедки, как сзади раздалось странное, с присвистом шипенье. Витьку со страшной силой швырнуло из кабины на землю, сверху на него выплеснулось целое море горящего соляра. Он лежал на спине в огромной полыхающей луже и с немым удивлением смотрел, как пламя лижет его одежду, его самого, как горят его руки и лужу вперехлест разбрызгивают несколько сильных водяных струй, стараясь сорвать огонь с соляра. Но тот уже просочился в землю и питал огонь, как питает фитиль лампу, и ничем нельзя было выгрызть его...

...Очнувшись, Витька увидел белый потолок над собой и смутно подумал, что он в больнице. Болело все — и голова, и ноги, особенно колени, и руки... Он вспомнил умершего щура и скрежетнул зубами, решив, что нечего думать о больнице. На фонтане от грохота череп раскалывался и трясло так, что зубы выскакивали, а здесь тишина. Он увидел над собой лицо, старое, исполосованное бороздами морщин, очень знакомое лицо, а чье — Витька узнать сразу не смог, потому что лицо тут же заволокло мутной белесой пеленой.

Васильич, звучно сглотив слюну, в который уже раз взгляделся в черное чужое лицо.

Витька шевельнул обгорелыми веками и только тут узнал деда — значит, это дедово лицо он видел над собой. Только вот сильно изменился дед, не заболел ли?

— Деда, это ты? — спросил он.

— Ага, — отозвался дед.

— Я в больнице? — спросил Витька.

— Нет, — дед замотал головой, — на фонтане мы...

— А почему так тихо?

— Да задавили фонтан. В тот же день, когда рвануло, а ты превентор вытащил... Накинули превентор во второй раз и как кляп забили...

— Хорошо, — сказал Витька, вздохнул глубоко. — А я на бульдозер хотел проситься, думал, работы много будет. Как считаешь, дали бы мне бульдозер, а? У меня права тракториста есть...

— Тебе не то что бульдозер — тебе орден дали, — шепотом сообщил дед. — Орден... А месторождение, мне сказали, назвали твоей фамилией. Юрьевским. Юрьевское нефтяное месторождение — вот как будет официально.

— Ну? — не поверил Витька, потом спросил, частя и путаясь в словах: — Ты не скажешь матери, а?

— О чем? — не понял дед.

— Ну... Обжегся... Отлежусь... Главное, чтоб она не узнала. Расстроится мать...

Дед согласно кивнул.

— Спать хочу, — сказал Витька, — как хочу спать!

— А ты поспи...

— Ты иди, я один...

— Ладно. — Васильич поднялся и, слепо нащупав выход, вышел на улицу.

Постояв так, он неровной походкой пошел к фонтану, молчаливый и отрешенный, лишь непрерывно гонял кадык сверху вниз по шее, сглатывая сухую, будто чем припорошенную слюну. У фонтана

остановился, посмотрел, как из двух отводных труб выхлестывает нефть, а когда нечаянно наклонился, рассмотрел вдруг под ногами овальное нефтяное оконце. Нефть сверху запеклась тонюсенькой химической корочкой, на которую налипли крупные песчины.

Васильич нагнулся, скovyрнул пальцем корочку, под ней обнажилась темно-блестящая, уже загустевшая жижа. Он зачерпнул ее пригоршней, глянул и увидел самого себя, свое небритое старое лицо, и морщины на нем, и глаза, в углах которых скапливались слабые слезы. Он вздохнул и проговорил, рассматривая черное пахучее озерцо, заключенное в его ладонях, едва слышимым, но отчетливым голосом:

— Витькина нефть...

Поволяев Валерий Дмитриевич родился в 1940 году на Дальнем Востоке. После окончания школы учился в летном училище, работал электриком на заводе. Был студентом. Выпускник художественного факультета Московского текстильного института.

Первые рассказы опубликовал в журнале «Знамя» в 1971—1972 годах. Участник Московского совещания молодых писателей.



ФЛААННЕРИ ОЖОННОР

★

РАССКАЗЫ

С-английского

Хромые внидут первыми

‡

ШШШ епард сидел на табурете у стойки, разделяющей пополам обшитую панелями кухню, и ел утреннюю овсянку прямо из порционной вощенной коробочки, в каких ее доставляли из магазина. Он жевал машинально, не сводя синих глаз со своего сына, пока тот обходил кухонные шкафчики один за другим, выбирая себе на завтрак что-нибудь по вкусу. Десятилетний мальчик был коренаст, белоголов. Шепард провожал его упорным взглядом. Как ясно читаешь будущее этого ребенка по его лицу. Пойдет служить в банк. Или того чнще. Возглавит небольшую ссудную кассу. Отцу ничего не нужно, лишь бы сын рос добрым и умел думать о других, да что-то непохоже. Шепард был молод, он рано поседел. Ежик коротких волос узким нимбом осенял его розовое нервное лицо.

Мальчик подошел к стойке, держа под мышкой банку орехового масла, в одной руке у него была тарелка с четвертушкой шоколадного кекса, в другой — бутылочка с кетчупом. Отца он, казалось, не замечал. Он влез на табуретку и стал намазывать кекс маслом. Большие уши лопухами оттопырились у него на голове, как бы растягивая в стороны и без того широко расставленные глаза. Его зеленая футболка так выцвела, что от лихого ковбоя на груди осталась только тень.

— Нортон, я вчера видел Руфуса Джонсона, — сказал Шепард. — И знаешь, чем он занимался?

Мальчик обратил к нему отсутствующий взгляд, слыша, но еще не слушая. Синева отцовских глаз на ребячьем лице будто выцвела, как и футболка, один глаз чуть приметно тяготел к виску.

— Он стоял в подворотне, рылся в помойном баке, — сказал Шепард. — Искал что-нибудь поесть. — Он помолчал, чтобы мальчик лучше прочувствовал сказанное. — Он голодает, — договорил Шепард, настойчиво взывая взглядом к совести сына.

Мальчик ухватил с тарелки кекс и откусил уголок.

— Нортон, ты вообще представляешь себе, что значит делиться?

Первый проблеск внимания.

— Пожалуйста, тут есть твоя доля, — сказал Нортон.

— Тут есть его доля, — хмуро сказал Шепард.

Напрасные старания. Пусть бы, кажется, любой недостаток — буйный нрав, даже склонность приврать, — только не эгоизм.

Мальчик перевернул бутылку с кетчупом и, хлопая по донышку, стал вытряхивать содержимое на кекс.

Шепард страдальчески поднял брови.

— Тебе вот десять лет, а Руфусу Джонсону четырнадцать, — сказал Шепард. — Но твои рубашки наверняка пришлось бы ему впору. — Руфусом Джонсоном из колонии для малолетних преступников он занимался весь этот год. Два месяца назад Руфуса выпустили. — В колонии он еще выглядел прилично, а сейчас — кожа да кости. Уж он-то не закусывает по утрам кексами с ореховым маслом.

Мальчик перестал жевать.

— Да кекс черствый, — сказал он. — Я и намаслил.

Шепард отвернулся к окну у конца стойки. Стриженный зеленый газон покато стлался к жидкой пригородной рощице футях в пятидесяти от дома. При покойной жене они часто ели под открытым небом, даже завтракать садились на траве. В те дни он ни разу не замечал у сына признаков эгоизма.

— Послушай-ка меня, — сказал он, отворачиваясь от окна. — Гляди на меня и слушай.

Мальчик поглядел. Во всяком случае, обратил к отцу глаза.

— Когда Руфус уходил из колонии, я дал ему ключи от нашего дома, во-первых, в знак доверия, а потом, чтоб ему было куда прийти как желанному гостю. Пока они ему не пригодились, но теперь, полагаю, пригодятся: он видел меня и он голодает. Если же он не решится, я пойду отыщу его и сам приведу сюда. Я не могу спокойно смотреть, как дети питаются отбросами из помойки.

Мальчик насупился. Очевидно, до него дошло, что на его достоинство посягают.

У Шепарда брезгливо поджались губы.

— Когда Руфус родился, его отца уже не было на свете. Его мать сидит в тюрьме. Он рос у деда, в хибаре без воды, без света, а старик к тому же драл его изо дня в день. Каково бы тебе было родиться в подобном семействе?

— Я не знаю, — растерянно сказал мальчик.

— А ты бы задумался как-нибудь.

В муниципалитете Шепард ведал организацией детского досуга. По субботам на правах консультанта работал в колонии, не получая иного вознаграждения, кроме отрадного чувства, что он помогает подросткам, до которых больше никому нет дела. Джонсон был самый смысленный из всех, с кем ему доводилось работать, и самый обездоленный.

Нортон вяло повозил по тарелке объедок кекса.

— Раз начал, доедай, — сказал Шепард.

— Вдруг он еще и не придет, — сказал мальчик и чуть просветлел.

— Ты подумай, у тебя столько всего, а у него что есть? — сказал Шепард. — А если б тебе приходилось копаться в помойке, когда проголодаешься? Если бы у тебя нога раздулась, как колода, и ты бы ходил, припадая на один бок?

Мальчик моргал глазами явно не в силах вообразить такое.

— У тебя нет никаких увечий, — сказал Шепард. — У тебя хороший дом. Тебе никогда не внушали ничего, кроме правды. Твой папа смотрит, чтоб ты ни в чем не знал недостатка. У тебя нет деда, который тебя избивает. И мать не сидит в тюрьме.

Мальчик отпихнул от себя тарелку. У Шепарда вырвался стон.

Под перекошенным мальчишеским ртом внезапно вспух желвак. Лицо собралось в бугры и шишки, от глаз остались щели.

— Да-а, — завел он надрывным, хватающим за душу басом. — Если бы в тюрьме, я бы мог сходить с ней повидаться.

По его лицу покатались слезы, на подбородок вытекла струйка кетчупа. Выглядело это так, словно его только что ударили в зубы. Уже не сдерживаясь, он заревел благим матом.

Шепард сгорбился на табурете, удрученный, беспомощный, как перед натиском стихийной силы. Есть что-то противоестественное в этом горе. Очередное проявление эгоизма, вот и все. Второй год, как ее не стало, дети не горюют так долго.

— Стыдись, ведь тебе вот-вот одиннадцать,— сказал он.

Мальчик перешел на тоненькие, прерывистые, нестерпимо жалостные всхлипывания.

— Ты бы забыл на минутку о себе да подумал, что можешь сделать для кого-то другого,— сказал Шепард.— Тогда и по маме перестанешь тосковать.

Мальчик затих, только по-прежнему вздрагивали его плечи. Но вот исказилося лицо, и он опять разревелся.

— Ты что же думаешь, мне без нее не одиноко? — сказал Шепард.— Думаешь, я не ощущаю утраты? Еще как ощущаю, просто я не сижу сложа руки и не кисну. Я действую, я помогаю другим. Видел ты хоть раз, чтобы я сидел, уставясь в одну точку, и предавался размышлениям о своих горестях?

Мальчик будто в изнеможении обмяк всем телом, но его лицо вновь перечеркнули полоски слез.

— Чем ты сегодня намерен заняться? — спросил Шепард, чтобы как-то отвлечь его.

Мальчик провел по глазам рукавом.

— Семенами торговать,— невнятно выговорил он.

Вечно чем-нибудь да торгует. Скопил себе четыре банки медяков и серебра, чуть не каждый день достает из своего чулана и пересчитывает.

— Зачем тебе торговать семенами?

— Чтобы дали премию.

— И велика премия?

— Тысяча долларов.

— Ну допустим, у тебя в руках оказалась бы тысяча долларов — что б ты сделал?

— Берег бы,— сказал мальчик и утер нос о плечо.

— Да уж не сомневаюсь,— сказал Шепард.— Слушай.— Он понизил голос и едва ли не с мольбой продолжал:— Допустим, тебе действительно дали премию, тысячу долларов. Неужели тебе не захотелось бы истратить ее на других детей, не таких благополучных, как ты? Например, пожертвовать качели и трапецию сиротскому приюту? Или купить бедному Руфусу Джонсону новый башмак?

Мальчик стал потихоньку отодвигаться от стойки. Вдруг он качнулся вперед и с открытым ртом навис над тарелкой. У Шепарда снова вырвался стон. Кекс, ореховое масло, кетчуп — все вышло обратно осклизлой приторной кашей. Мальчик навис над нею, давясь, его еще раз вывернуло, и он застыл над тарелкой, разинув рот, точно готовясь изрыгнуть напоследок и свое сердце.

— Ну-ну,— сказал Шепард.— Ничего. Ты не виноват. Вытри рот и поди приляг.

Мальчик не шевелился. Потом поднял голову и устремил невидящий взгляд на отца.

— Ступай, ступай,— сказал Шепард.— Отлежись.

Мальчик задрал край футболки и кое-как вытер губы. Затем слез с табуретки и побрел из кухни.

Шепард сидел, уставясь на лепешку полупереваренной пищи. Кислая вонь ударила ему в ноздри, он отстранился. Его замутило. Он поднялся, поставил тарелку в раковину, открыл кран и угрюмо смотрел, как вода смывает месиво в сток. Бедная, исхудалая рука Джонсона пытается нашарить что-нибудь съедобное в мусорном баке, а тут его собственный сыночек, жадный, черствый эгоист, объедается до рвоты. Он двинул кулаком по крану, остановил воду. Джонсон, способный на настоящую отдачу, с пеленок лишен всего; Нортон, заурядный, чтобы не сказать — тупой, ни в чем не знает отказа.

Он опять подсел к стойке и стал доедать свой завтрак. Овсянка слежалась в коробочке влажным комом, но Шепард не замечал, что глотает. На такого, как Джонсон, не жаль никаких усилий, все окупится. Шепард определил это еще в тот раз, когда Руфус впервые приковылял к нему для разговора.

В колонии Шепарду отвели под кабинет узкую каморку с одним окном — столик, два стула, и все. Шепард, в жизни не переступавший порога исповедальни,

считал, что здесь, у него, вероятно, происходит то же, что и там, только он не отпускает грехи, а объясняет их. И занимается своим делом на менее шатких основаниях, чем священник — он, по крайней мере, прошел серьезную выучку.

Когда Джонсон явился для первого разговора, Шепард кончал листать его личное дело. Страсть бесцельно громить и рушить: бил окна, поджигал урны на улицах, вспарывал автомобильные покрышки — обычная история, когда сельский молодняк без подготовки пересаживают на городскую почву. А вот итог тестов на умственное развитие. Сто сорок. Шепард вскинул загоревшиеся глаза.

Подросток ссутулился на краю стула, свесив руки между разведенных колен. Свет из окошка падал ему на лицо. Глаза стальные, неподвижные, уставлены в одну точку. Черные редкие волосы прилизанной челкой срезают наискось лоб, и это производит впечатление не отроческой небрежности, а скорей какой-то стариковской истовости. И — печать иступленной, фанатической мысли.

Чтобы сократить разделяющее их расстояние, Шепард улыбнулся.

Ответной улыбки не последовало. Джонсон откинулся на спинку стула и уложил себе на колено чудовищный обрубок — хромую ногу. Нога была заключена в тяжелый черный стоптанный башмак на толстой, как копыто, подошве. В одном месте рант отошел, и из дыры, будто серый язык из мертвой головы, торчал пустой коней носка. В мгновение ока Шепард разгадал, в чем корень зла. Мальчик хулиганит, вымещая обиду за свое увечье.

— Ну, Руфус, судя по бумагам, тебе здесь предстоит отбить какой-нибудь год, — сказал он. — Вот ты выйдешь отсюда — какие у тебя планы?

— Никакие, — сказал Джонсон. — Я вперед не загадываю. — Он равнодушно перевел взгляд в даль за спиною Шепарда, за окном.

— А, пожалуй, стоило бы, — сказал Шепард и улыбнулся.

Джонсон все так же безучастно глядел мимо.

— Я непременно хочу, чтобы ты нашел наилучшее применение своим способностям, — сказал Шепард. — Что для тебя важно? Давай-ка обсудим — что важно для такого человека, как ты? — Он невольно уронил взгляд на увечную ногу.

— Глядите досыта, не стесняйтесь, — вразяжку процедил Джонсон.

Шепард покраснел. Черный жуткий нарост расплылся у него перед глазами. Он никак не отозвался на это замечание, на глумливое злорадство в глазах мальчишки.

— Руфус, ты натворил без нужды достаточно бед, — сказал он, — но когда ты узнаешь, откуда в тебе тяга к подобным выходкам, у тебя, наверно, убавится к ним охоты. — И он еще раз улыбнулся. Им здесь до того недостает друзей, для них такая редкость увидеть доброе лицо, что порой стоит улыбнуться — и уж полдела сделано. — Думается, я многое могу объяснить тебе про тебя самого.

Джонсон окинул его холодным взглядом.

— Я вроде никого не просил ничего объяснять. Я и без того знаю, зачем что делаю.

— Да? Прекрасно! — сказал Шепард. — Тогда, быть может, расскажешь, что тебя побуждало так себя вести?

Глаза подростка блеснули темным огнем.

— Это сатана, — сказал он. — Я у него в когтях.

Шепард взглянул на него в упор. По лицу непохоже, чтобы малый валял дурака. Узкие губы сомкнуты гордо. Глаза Шепарда уже не улыбались. Его охватила тоскливая безнадежность, словно при встрече с уродством, поразившим самую первооснову человеческой личности и столь застарелым, что его поздно исправлять. Такой Джонсон набирается жизненной премудрости с плакатов, прибитых где-нибудь на сосне: «А ты не в когтях сатанинских?», «Покайся — или сгоришь в адском пламени», «Христос — наш спаситель». Такой всегда будет знать Библию, не важно, читал он ее или нет. От досады тоска его прошла.

— Галиматя какая! — фыркнул он. — Мы живем в космическом веке! Толковый малый — и не мог придумать ничего получше.

Джонсон дернул краем рта полунадменно, полусмешливо. В его глазах сверкнул вызов.

Шепард вгляделся внимательней. Там, где жива мысль, не существует невозможного. Он улыбнулся снова, точно приглашая подростка войти в класс, где все окна распахнуты навстречу свету.

— Руфус, я договорюсь, чтобы раз в неделю ты приходил ко мне на собеседование, — сказал он. — Может быть, твоему объяснению тоже найдется объяснение. Может быть, я объясню, у какого это дьявола ты в когтях.

Целый год с тех пор он каждую субботу беседовал с Джонсоном. Он говорил по наитию, вел речи, каких его собеседник наверняка не слыхивал. Он брал чуть выше разумения подростка — пускай тянется. Он начал с психологии, от изворотов человеческого мышления он переносился к астрономии, к космическим снарядам, что, обгоняя звук, опоясывают Землю и в недалеком будущем закружат среди звезд. Повинуясь чутью, он особенно упирал на звезды. Хотелось, чтобы мальчишка тянулся к чему-то помимо чужого добра. Хотелось раздвинуть пред ним горизонты. Хотелось создать для него зримый образ вселенной, пусть видит, что самые глухие дебри ее досягаемы и постижимы. Чего бы он не дал за возможность подвести Джонсона к телескопу!

Джонсон говорил мало, да и это немногое из гордости говорилось назло, наперекор, и увечная нога, словно оружие наизготовке, постоянно оставалась вскинутой на колено, — только Шепарда было не так-то легко провести. Он наблюдал, как с каждой неделей что-то поддается в глазах подростка. По лицу, замкнутому, но потрясенному, сведенному в усилия устоять перед сокрушительным натиском света, видно было, что каждое слово бьет в цель.

Теперь Джонсону возвращена свобода — есть из помойных баков и прозябать в прежнем невежестве. С ума сойти, какая несправедливость. Отослали к деду — можно себе представить, что за старый осел этот дед. Внук, чего доброго, успел удрать от него. Мысль взять над Джонсоном опеку являлась Шепарду не впервые, но вот дед — как обойти эту помеху? А ведь сколько можно бы сделать для такого мальчишка. Одно заманчивее другого. Первым делом сводить к ортопеду, заказать новый ботинок. А то как сделает шаг, так корежит себе спину. Дальше — натолкнуть на какое-то умное увлечение и всячески в том поощрять. Например, телескоп. Купить по случаю старый школьный телескоп и вместе установить в проеме чердачного окна... Минут десять Шепард сидел, мечтая, как много полезного он мог бы сделать, окажись тут у него Джонсон. Все, что впустую расточается Нортону, дало бы у Джонсона благие всходы. Вчера, застигнув его у помойного бака, Шепард помахал рукой и хотел было подойти. Джонсон увидел его, замер на секунду и с крысиным проворством скрылся, но и за этот миг Шепард успел уловить перемену в выражении его лица. Что-то затеплилось в этих глазах — да-да, несомненно, — некий отблеск утраченного света.

Он встал и бросил коробочку с остатками каши в мусорное ведро. Перед уходом он заглянул в комнату к Нортону удостовериться, что его больше не тошнит. Мальчик, скрестив по-турецки ноги, сидел на кровати. Он сыпал мелочь из банок в одну общую груду и теперь разбирал ее на монетки в пять, десять и двадцать пять центов.

В тот день Нортон остался в доме один. Присев на корточки у себя в комнате, он раскладывал полукольцом на полу пакетики с цветочными семенами. Дождь наотмашь хлестал по стеклам, рокотал в водосточных трубах. По комнате крался сумрак, но поминутно польхали зарницы, высвечивая веселую пестроту пакетиков на полу. Посреди этого будущего цветника бледнокожим исполинским лягушонком недвижимо раскорячился мальчик. Внезапно его взгляд насторожился. Дождь разом перестал. Тишина давила, как будто ливень перекрыли насильно. Мальчик оставался недвижим, только поводил глазами.

Тишину разъял отчетливый щелчок ключа в парадной двери. Уверенный, нарочито неспешный. Он вторгался в сознание и держал не отпуская, словно не движение руки вызвало его, а усилие воли. Мальчик вскочил и залез в чулан.

Шаги надвигались из передней. Нарочито неспешные, неровные — легкий, потом тяжелый, потом остановка, словно прищелец не то и сам прислушивался,

не то разглядывал что-нибудь. Вот взвизгнула дверь кухни. Шаги двинулись к холодильнику. Чулан примыкал к кухонной стене. Нортон стоял, припав к ней ухом. Вот холодильник открыли. И дальше надолго — ни звука.

Мальчик разулся, выбрался на цыпочках из чулана, переступил через пакетики с семенами. Посреди комнаты он запнулся и окаменел. В дверях, отрезая ему путь к бегству, стоял тощий мальчишка в промокшей черной пиджачной паре. Щеки втянуты, волосы прилипли к темени. Нахохлился, как ворона под дождем. Недобрый взгляд проткнул Нортон насквозь и пригвоздил его к месту. Потом этот взгляд обошел все, что было в комнате: незастеленную постель, несвежие занавески на большом единственном окне, кавардак на комоде и выступающую из него фотографию молодой женщины с широким лицом.

У мальчика вдруг развязался язык.

— Он тебя ждал, он тебе новый ботинок хочет подарить за то, что ты должен кормиться по помойкам, — тонко, как мышь, пропищал он.

Пришелец перевел на него стеклянный немигающий взгляд.

— Где желаю, там кормлюсь, — с расстановкой сказал он. — Желаю по помойкам, кормлюсь по помойкам. Понял?

Мальчик кивнул.

— И насчет ботинка, нужно будет, соображу сам. Понял?

Мальчик кивнул, замороженный.

Пришелец, хромя, вступил в комнату и опустился на кровать. Под спину подложил подушку, вытянул короткую ногу, и черный огромный башмак по-хозяйски улегся на белые складки простыни.

Взгляд Нортон зацепился за него и прилип намертво. Подошва какая толстенная, прямо кирпич.

Джонсон с усмешкой поворачивал ботинком.

— Дам разá кому надо вот этим, узнают, как ко мне соваться, — сказал он.

Мальчик кивнул.

— Сходи на кухню, — сказал Джонсон, — там у вас ветчина, черный хлеб, сделай мне бутерброд и принеси стакан молока.

Как заводная игрушка, когда ее подтолкнут в нужном направлении, Нортон двинулся на кухню. Он сделал большой бутерброд — жирная ветчина обвисла по краям — и налил стакан молока. Взял в одну руку молоко, в другую — бутерброд и вернулся в комнату.

Джонсон царственно полулежал на подушке.

— Мерси, официант, — сказал он, принимая бутерброд.

Нортон со стаканом в руке остался стоять у кровати.

Джонсон воизил зубы в хлеб с ветчиной и размеренно жевал, пока не съел все. Потом взял молоко. Он держал стакан двумя руками, как маленький, и когда опустил, переводя дух, вокруг рта остался молочный ободок. Он протянул Нортону пустой стакан.

— Официант, у вас там апельсины, сходите, подайте, — сказал он осипшим голосом.

Нортон пошел и принес из кухни апельсин. Джонсон отдирает ногтями корки и ронял на постель. Неторопливо ел, выплевывая косточки куда попало. Доел, вытер пальцы о простыню и смерил Нортон долгим взглядом. Похоже было, что он смягчился, довольный обслуживанием.

— Сразу видно, чей ты есть, — сказал он. — Та же бессмысленная рожа.

Мальчик стоял как истукан, будто и не слышал.

— Бестолочь он, — сипло и со смаком сказал Джонсон. — Не смыслит ни в чем ни бельмеса.

Мальчик отвел глаза и уставился в стену.

— Трещит, как сорока, — сказал Джонсон. — И хоть бы слово — по делу.

У мальчика дрогнула верхняя губа, но он и на это смолчал.

— Труха, — сказал Джонсон. — Звон один.

На лице мальчика опасно проступило воинственное выражение. Он слегка попятился, готовый тут же кинуться наутек.

— Он хороший, — пролепетал он. — Он всем помогает.

— Хороший! — с бешенством прошипел Джонсон. Он оторвал голову от подушки. — Чихать мне, хороший, нет, понял? Он неправильный человек!

Нортон ошарапленно вытаращил глаза.

На кухне хлопнула наружная дверь — кто-то вошел. Джонсон мгновенно спустил ногу с кровати.

— Он, что ли?

— Кухарка, — сказал Нортон. — Она на полдня приходит.

Джонсон соскочил на пол, проковылял в коридор, встал в дверях на кухню; Нортон как привязанный шел следом.

Кухарка, рослая молоденькая мулатка, стягивала с себя у стенного шкафа красный яркий дождевик. На светло-желтой коже рот ее был словно крупная роза, которая, привянув, потемнела. Многоярусная прическа сбилась на сторону и клонилась вниз наподобие Пизанской башни.

Джонсон со свистом втянул воздух сквозь зубы.

— Ишь, какая чернушечка, — сказал он.

Кухарка поносила на них пренебрежительно. Как будто они не люди, а сор под ногами.

— Айда, — сказал Джонсон, — глянем, что есть в этой хижине, помимо тети Тома.

В передней он открыл первую дверь направо и заглянул в уборную, выложенную розовой плиткой.

— Стульчак розовый, надо же!

Он обернулся к мальчику и скорчил насмешливую рожу.

— Это он здесь заседает?

— Это вообще для гостей, — сказал Нортон. — Но, бывает, и он ходит сюда.

— Башку бы ему сюда опорожнять, — сказал Джонсон.

В комнату рядом дверь стояла открытой. Здесь, с тех пор как умерла жена, спал Шепард. Спартанская железная кровать на голом полу. В углу стопка костюмов для детской бейсбольной команды. Широкое бюро с выдвижной крышкой завалено бумагами, их тут и там прижимают курительные трубки. Джонсон стоял, глядел, молчал. Наморщил нос.

— Угадай, кем пахнет? — сказал он.

Дверь в другую комнату была закрыта, но Джонсон ее отворил и сунул голову в полумрак за порогом. Шторы были спущены, в спертом воздухе застоялся еле слышный запах духов. Кроме широкой старинной кровати, здесь стоял необъятный туалет, его зеркало поблескивало в неясном свете. Джонсон щелкнул выключателем у двери, прошелся по комнате, оглядел себя в зеркале. На полотняной дорожке лежали щетка с гребенкой, оправленные в серебро. Джонсон взял гребенку и провел ею по волосам. Начесал их на лоб прямой челкой. Потом откинул наискось.

— Не тронь ее гребенку! — сказал мальчик. Он стоял возле двери бледный и тяжело дышал, как если бы при нем оскверняли святыню.

Джонсон положил гребенку, взял щетку и прилепнул волосы ко лбу.

— Она умерла, — сказал мальчик.

— А я не боюсь трогать, чего остается от покойников, — сказал Джонсон. Он выдвинул верхний ящик и запустил в него руку.

— Не смей хвать погаными лапами мамыны вещи! — придушеющим фальцетом сказал мальчик.

— Дыши носом, ягодка, — прожурчал Джонсон.

Он подцепил мятую красную блузку в горошек и уронил обратно. Вытянул зеленую шелковую косынку, раскрутил над головой и отпустил, косынка плавно поплыла на пол. Рука Джонсона опять зарылась в недрах ящика и вынырнула, сжимая застиранный пояс, на котором болтались четыре резинки с металлическими пряжками.

— Никак ее сбруя, — заметил он.

Он жеманно поднял пояс в воздух и встряхнул. Потом обернул вокруг бедер,

приладил на себе и подпрыгнул, так, что затанцевали подвязки. Вихляя задом, прищелкивая в такт пальцами, он стал подпевать:

— Дерну рок, эх и врежу в шаг, а ей, этой стерве, все не так.

Он двинулся по кругу, притопывая здоровой ногой, выбрасывая в сторону тяжелый башмак. В дверях миновал обомлевшего мальчика и, приплясывая, двинулся по коридору на кухню.

Через полчаса вернулся домой Шепард. Он скинул плащ в передней, бросил на стул, дошел до дверей гостиной и остановился. Лицо его вдруг преобразилось. Он расцвел. В кресле с высокой спинкой, четко чернея на фоне розовой обивки, сидел Джонсон. Позади него от пола до потолка рядами тянулись книги. Одну он читал. У Шепарда сузились глаза. Том Британской энциклопедии. Джонсон был поглощен чтением, он даже не поднял головы. Шепард затаил дыхание. Вот где место такому парню. Надо удержать его здесь. Надо что-то придумать.

— Руфус! — сказал он. — Как хорошо! Здравствуй! — Он протянул руку и устремился вперед.

Джонсон поднял к нему равнодушное лицо.

— А, здрасьте, — сказал он. Руку он не замечал, пока мог, но видя, что Шепард ее не опускает, нехотя пожал.

Шепард и не ждал ничего другого. По роли, взятой на себя Джонсоном, ни при каких обстоятельствах не полагалось обнаруживать бурные чувства.

— Ну, как дела? — сказал он. — Как ладите с дедом? — Он сел на край дивана.

— А он подох, — безучастно сказал Джонсон.

— Ты что, серьезно? — вскричал Шепард. Он поднялся и пересел поближе, на кофейный столик.

— Да нет, — сказал Джонсон. — Покамест нет. Я хотел сказать: чтоб он сдох.

— Где же он все-таки? — упавшим голосом спросил Шепард.

— Удалился на горы, — сказал Джонсон. — А с ним еще кое-кто. Схоронят в пещере священные книги, возьмут по паре всякого скота и прочее. Как Ной. Только в этот раз будет не потоп, а пожар.

Шепард недовольно поджал губы.

— Понятно, — сказал он. — Иными словами, старый дурень тебя бросил?

— Ничего он не дурень, — огрызнулся Джонсон.

— Бросил или нет? — нетерпеливо переспросил Шепард.

Джонсон пожал плечами.

— А инспектор твой где же?

— Я к нему в няньки не нанимался, — сказал Джонсон. — Это он у меня в няньках.

Шепард рассмеялся.

— Постой минутку, — сказал он.

Он встал, вышел в переднюю, взял со стула плащ, понес его вешать в шкаф. Хоть какая-то отсрочка, время сосредоточиться, подобрать такие слова, чтобы малый остался. Никакого нажима. Только добровольно. Джонсон разыгрывает неприязнь к нему. Просто боится уронить свое достоинство, и, значит, пригласить его нужно так, чтобы не нанести достоинству никакого урона. Он открыл стеной шкаф, снял вешалку. В шкафу до сих пор висело серое зимнее пальто его жены. Шепард хотел отодвинуть его, пальто не подавалось. Он рывком распахнул полы и передернулся, как будто, вскрыв кокон, увидел личинку. Внутри, зареванный, бледный, с одурманенным от горя лицом, стоял Нортон. Шепард секунду молча глядел на него. Внезапно его осенило.

— А ну вылезай, — сказал он.

Он крепко взял мальчика за плечо, ввел в гостиную и подтолкнул к розовому креслу, где, положив на колени энциклопедию, сидел Джонсон. Сейчас все разом решится.

— Руфус, я в трудном положении, — сказал он, — Мне не обойтись без твоей помощи.

Джонсон бросил на него подозрительный взгляд.

— Понимаешь, — сказал Шепард, — нам в доме необходим еще один мальчик. — Его голос звенел неподдельным отчаянием. — Нашему Нортону еще ни разу не приходилось хоть в чем-то себя ущемить. Он понятия не имеет, что значит делиться. И вот нужно, чтобы кто-то был рядом и его научил. Ты бы не выручил меня? Поживи немного у нас, а, Руфус? Без тебя мне не обойтись. — От волнения он пустил петуха.

Нортон вдруг вышел из оцепенения. Его лицо налилось яростью.

— Он влез к ней в комнату, он брал ее гребенку! — пронзительно выкрикнул он, дергая Шепарда за рукав. — Он надевал ее пояс и плясал с Леолой, он...

— Прекрати! — оборвал его Шепард. — Ты что, только ябедничать горазд? Тебя не просят докладывать, как Руфус вел себя. Тебя просят его принять по-человечески. Ясно тебе? Видишь, что творится? — сказал он, обращаясь к Джонсону.

Нортон злобно лягнул ножку розового кресла, норовя попасть по больной ноге Джонсона. Шепард дернул его назад.

— Он говорил, ты просто звонарь! — взвизгнул мальчик.

По лицу Джонсона воровато скользнуло удовлетворение.

Шепард и бровью не повел. Мальчишка задирается, это тоже защитный прием.

— Так как же, Руфус? — сказал он. — Поживешь ты у нас?

Джонсон, не отвечая, засмотрелся на что-то в отдалении. Должно быть, ему рисовалось впереди нечто приятное, во всяком случае он ухмыльнулся.

— А чего, — сказал он и перевернул страницу энциклопедии. — Хуже терпели.

— И отлично, — сказал Шепард. — И превосходно.

— Он говорил, ты ни в чем ни бельмеса не смыслишь, — сдавленно прошептал мальчик.

Наступило молчание.

Джонсон послунил палец и опять перевернул страницу.

— Вот что я вам скажу обоим, — внятно и ровно начал Шепард. Переводя глаза с одного на другого, он чеканил каждый слог, давая понять, что говорит раз и навсегда, а им надлежит молчать и слушать. — Если бы мне было важно, что Руфус обо мне думает, я вряд ли стал бы зазывать его к себе, — сказал он. — Руфус окажет услугу мне, я — ему, а мы с ним вдвоем окажем услугу тебе. Пусть Руфус думает обо мне что угодно, это не мешает мне сделать для него все, что в моих силах, иначе я был бы чистой воды эгоист. Если я чем-то могу помочь человеку, мне ничего другого не нужно. Личные счета меня не занимают, я выше этого.

Ни звука в ответ. Нортон устался на сиденье кресла. Джонсон водил носом по странице, разбирая мелкий шрифт. Шепарду были видны только две макушки. Он усмехнулся. Что ж, победа. Руфус остается. Он протянул руку, вздохнул волосы Нортону, хлопнул Джонсона по плечу.

— Ну, ребята, сидите пока, осваивайтесь, — весело сказал он, поворачиваясь к двери. — Я пойду взгляну, что там Леола оставила нам на ужин.

Когда он вышел, Джонсон поднял голову и посмотрел на Нортон. Мальчик ответил ему затравленным взглядом.

— Слушай, малявка, — надтреснуто сказал Джонсон, — как ты терпишь? — Его лицо напряглось от негодования. — Он же Иисуса Христа из себя корчит!

II

Чердак у Шепарда был просторный, неотделанный, с голыми балками и без электрического света. Телескоп установили на треножке в проеме слухового окна. Он был наведен сейчас на темный небосвод, где, добела высеребрив край облака, только что выставился ломтик луны, ломкий, как яичная скорлупа. Киро-

синовый фонарь, поставленный на сундук поодаль, отбрасывал вверх зыбкие людские тени, тасуя их в стыках стропил. За телескопом на пустом ящичке сидел Шепард, у него под боком, дожидаясь своей очереди, топтался Джонсон. Телескоп был приобретен по случаю два дня назад за пятнадцать долларов.

— Эй, сколько можно зажимать, — сказал Джонсон.

Шепард встал. Джонсон юркнул на его место и прилип к телескопу.

Шепард отошел в сторону и сел на стул. Он раздумялся от радости. Пока что его мечта сбывалась. Не прошло и недели, как его стараниями взор подростка устремился сквозь тонкую трубку ввысь, к звездам. Он смотрел на согнутую спину Джонсона с чувством полного удовлетворения. Малый был в клетчатой ковбойке, взятой у Нортон, в защитного цвета штанах, которые купил ему Шепард. А на той неделе подоспеет и новый башмак. На другой же день после того, как Джонсон объявился у них, Шепард свозил его в протезную мастерскую снять мерку. Джонсон оберегал свою ногу, как святые мощи. Он сидел чернее тучи, пока молодой протезист, сверкая розовой лысиной, обмерял ему ногу кощунственными перстами. Ничего, наденет ботинок — все переменится. Кто в его годы не чувствует себя именинником, надев даже на здоровые ноги новую обувь. Нортон вон как получит обновку, целыми днями не налюбуется.

Шепард оглянулся на сына. Тот сидел на полу, привалясь к сундуку, стреноженный — нашел веревку и обмотался ею от лодыжек до колен. Казалось, он где-то далеко, словно Шепард смотрел на него в телескоп не с того конца. Его пришлось разок выпороть после того, как у них поселился Джонсон. — правда, только раз, в первый вечер, когда мальчик догадался, что чужой уляжется спать на кровати его матери. Шепард в принципе не признавал порки, тем более под горячую руку. А тут и выпорол, и сгоряча, — и отлично подействовало. С тех пор с Нортонем никаких хлопот.

Нельзя сказать, чтобы мальчик проявил готовность всем делиться с Джонсоном, но, видно, принял его как неизбежное зло. С утра Шепард выдавал им денег на завтрак в кафетерии и выпроваживал в детский плавательный бассейн, напомнив, чтобы днем они приходили в парк смотреть, как тренируется его бейсбольная команда. Каждый день они брели к нему по парку вразвалку, молча, погруженные каждый в свои мысли, как бы не замечая присутствия друг друга. Спасибо хоть не затевали драк.

К телескопу Нортон не проявил никакого интереса.

— Вставай, Нортон, посмотри в телескоп, неужели не хочется? — сказал Шепард. Никаких признаков любознательности у мальчика, до чего это раздражает. — А то обставит тебя Руфус по всем статьям.

Нортон вяло приподнялся и перевел взгляд на спину Джонсона.

Тот обернулся. Он заметно пополнил. Впалые щеки округлились, и волчье, неистовое выражение отступило в тень глазниц, таясь от шепардовой доброты.

— Не трать попусту свое драгоценное время, старик, — сказал он. — Эка невидаль — Луна.

Забавны эти его неожиданные выверты. Стоит мальчишке заподозрить, что его намерены просвещать, как он становится на дыбы и разыгрывает полное безразличие, а самому до смерти интересно. Только Шепарда не так-то легко провести. Исполдволь Джонсон усваивает то, что ему хотят внушить: что его покровителя не задевают уколы и шпильки, ни одна стрела не пробьет брешь в броне доброты и долготерпения.

— А что, если когда-нибудь ты сам полетишь на Луну? — сказал Шепард. — Пройдет лет десять, и люди будут, вероятно, летать туда и обратно по твердому расписанию. Ведь вы, ребята, чего доброго, станете звездолетчиками. Первопроходцами космоса!

— Первопроходимцами, — сказал Джонсон.

— Проходцами или проходимцами, не знаю, — сказал Шепард, — а вот что ты, Руфус Джонсон, отправишься на Луну, это вполне вероятно.

Что-то шевельнулось на дне немигающих глаз. Сегодня Джонсон с утра был не в духе.

— Живьем до Луны не доберешься, — сказал он, — а помру, так отправлюсь в ад.

— До Луны, по крайней мере, добраться можно, — сказал Шепард. Лучшее в подобных случаях — беззлобная шутка. — Ее хоть видно. Известно, что она есть. Насчет того, есть ли ад, достоверных сведений пока не имеется.

— В Библии — имеются, — глухо сказал Джонсон. — Если после смерти туда попадешь, будешь гореть в вечном пламени.

Нортон подался вперед.

— Кто говорит, что ада нет, тот перечит слову Христа, — сказал Джонсон. — Мертвых судят, и грешников ждет проклятье. И будет плач и скрежет зубов в геенне огненной, — продолжал он, — и мрак тьмы навеки.

У мальчика открылся рот. Глаза словно сразу запали.

— И царствует там сатана, — сказал Джонсон.

Нортон кое-как поднялся на опутанные ноги и неловко шагнул к Шепарду.

— И она там? — громко сказал он. — И ее там жгут? — Он сбросил с ног веревку. — Она тоже в геенне огненной?

— Вот несчастье, — вырвалось у Шепарда. — Да нет же, — сказал он. — Ничего похожего, Руфус ошибается. Нигде твоей мамы нет. Никто ее не мучает. Ее просто нет больше.

Как облегчил бы он свою участь, сказав Нортону после смерти жены, что она вознеслась на небеса и когда-нибудь мальчик с ней свидится, но разве он смел растить сына, пичкая его ложью.

Лицо у Нортоня стало подергиваться. На подбородке вспух желвак.

— Послушай меня, — поспешно сказал Шепард и притянул мальчика к себе. — Дух твоей матери продолжает жить в других и в тебе тоже, только надо быть хорошим и добрым, как она.

В блеклом мальчишеском взгляде стыло неверие.

Жалость Шепарда как рукой сняло. Значит, лучше пусть будет в аду, лишь бы где-то была.

— Попробуй понять, — сказал он. — Ее не существует. — Он положил руку на плечо сына. — Это правда, — негромко, ожесточаясь уже, сказал он, — то единственное, что ты можешь от меня получить.

Но мальчик не заревел, он вывернулся из-под отцовской ладони и схватил Джонсона за рукав.

— Там она, Руфус? — сказал он. — Она там горит?

У Джонсона сверкнули глаза.

— Если она грешница, то да, — сказал он. — Была она, к примеру, блудницей?

— Никакой блудницей твоя мать не была, — отчеканил Шепард. У него появилось такое ощущение, будто он ведет машину без тормозов. — Ну, хватит ерунды. Итак, вернемся к Луне.

— В Иисуса Христа она верила? — спросил Джонсон.

Нортон смешался.

— Да, — сказал он не сразу, сообразив, по-видимому, какой требуется ответ. — Верила. Еще как.

— Неправда же, — негромко вставил Шепард.

— Нет, верила, — сказал Нортон. — Я сам слышал, она говорила. Еще как верила.

— Значит, ее ждет спасение, — сказал Джонсон.

Мальчика все еще что-то смущало.

— Где ждет? — сказал он. — Где она сейчас?

— В горних высях, — сказал Джонсон.

— Это где? — выдохнул Нортон.

— На небесах где-то, — сказал Джонсон. — Только туда не попасть иначе как после смерти. На космическом корабле не долетишь. — Из глаз его исходил сейчас хищный блеск, так луч прожектора мертвой хваткой держит свою мишень.

— Человек достигнет Луны, — с мрачным упорством сказал Шепард, — как

миллиарды и миллиарды лет назад выбрался на сушу первообитатель вод. У него не было земного скафандра. Ему пришлось выращивать нужные приспособления в самом себе. Так у него развились легкие.

— Я, когда умру, попаду в ад или туда, где она?— спросил Нортон.

— Умер бы сейчас, попал бы к ней, — сказал Джонсон, — а поживешь подольше, угодишь в ад.

Шепард решительно встал и взял фонарь.

— Руфус, закрывай окно, — сказал он. — Пора идти спать.

Спускаясь по чердачной лестнице, он слышал, как у него за спиной Джонсон сказал громким шепотом:

— Я тебе, старик, завтра все растолкую, дай только сам уберется из дома.

Назавтра, когда мальчики пришли в спортивный городок, Шепард наблюдал, как они появились из-за трибун и двинулись в обход по краю бейсбольного поля. Положив Нортону руку на плечо, Джонсон пригнулся к его уху, а тот слушал с выражением глубокого доверия, так, будто перед ним забрезжил свет. Шепард досадливо поморщился. Стало быть, Джонсон придумал новый способ его доимать. Но его не проймешь. Нортон особенно не пострадает, все равно умишком не вышел. Шепард взглянул на сосредоточенную и такую обыкновенную рожицу сына. Стоит ли тащить его к высотам? Рай и ад существуют для посредственных, а уж если кто посредственный, так это Нортон.

Мальчики поднялись на трибуну и сели чуть поодаль лицом к нему, не подавая виду, что заметили его. Он окинул взглядом через плечо бейсбольное поле, по которому рассыпались юные игроки. Потом направился к трибуне. При его приближении сиповатый, как змеиное шипенье, голос Джонсона смолк.

— Как провели день, ребята, что делали? — бодро спросил Шепард.

— Он тут мне рассказывал... — начал было Нортон.

Джонсон пихнул его локтем в бок.

— А ничего особенного, — сказал он. Из-под его напускного равнодушия так и выпирала наглость сообщника.

У Шепарда кровь прилила к щекам, но он промолчал. Один мальчонка в бейсбольном костюме притащился на трибуну следом за ним и нетерпеливо подталкивал его сзади клюшкой. Он повернулся и, обняв мальчонку за плечи, возвратился на поле.

Вечером он поднялся на чердак посмотреть, что делается у телескопа, и застал там одного Нортон. Мальчик скорчился на ящике, припав глазами к трубке. Джонсона не было.

— Где Руфус? — спросил Шепард. — Где Руфус, я спрашиваю? — повторил он громче.

— Куда-то ушел, — не оборачиваясь сказал мальчик.

— Куда же это? — спросил Шепард.

— Не знаю, сказал «ухожу» — и все. Он говорит, ему надоело пялиться на звезды.

— Так, — угрюмо сказал Шепард.

Он спустился с чердака и обошел весь дом. Джонсона нигде не было. Шепард сел в гостиной. Еще вчера он твердо верил, что с Джонсоном у него дело ладится. Сегодня приходилось признать, что в чем-то он, возможно, оплошал. Он слишком много спускал мальчишке, слишком заботился о том, чтобы расположить его к себе. Фу, как совестно. Какая разница, будет Джонсон к нему расположен или нет? Почему это должно его тревожить? Вот пожалуй с прогулки, надо будет в какие-то вопросы внести ясность. «Пока ты здесь, никаких самовольных отлучек по вечерам, понятно?» «А мне здесь быть необязательно. Очень мне надо здесь ошиваться».

«Ах, черт, — подумал Шепард. — Нельзя до этого доводить. Надо проявить твердость, но не раздувать из этого случая историю». Он взял вечернюю газету. Доброта и долготерпение — это само собой, но не было должной твердости. Шепард держал перед собой газету, не читая ее. Мальчишка первый не будет его

уважать, если он не проявит твердости. В дверь позвонили. Шепард пошел открывать. Открыл и с изменившимся, расстроенным лицом отступил назад.

На веранде, придерживая за локоть Джонсона, стоял большой, сурового вида полицейский. У тротуара ждала патрульная машина. Джонсон был очень бледен. Он выставил вперед подбородок, очевидно, подавляя дрожь.

— Вот заехали по дороге показать его вам, а то разошелся, не унять, — сказал полицейский. — Теперь отвезем в отделение, побеседуем.

— А что случилось? — выдавил из себя Шепард.

— В дом залез — здесь, как за угол завернешь, — сказал полицейский. — Настоящий погром: посуда перебита, черепки по всему полу, мебель опрокинута...

— Я-то при чем! — сказал Джонсон. — Иду по улице, никому не мешаю, а этот налетел, хватает...

Шепард смерил его уничтожающим взглядом. Сейчас он не пытался смягчить выражение своего лица.

Джонсон покраснел.

— Иду, никого не трогаю, — пробурчал он без прежней уверенности.

— Едем уж, артист, — сказал полицейский.

— Правда же вы не дадите меня забрать? — сказал Джонсон. — Вы-то мне верите, да?

Шепард еще не слышал у него такого жалобного голоса.

Сейчас или никогда. Пусть усвоит, что за него никто не будет заступаться, когда он виноват.

— Придется тебе ехать, Руфус, — сказал он.

— Я говорю, что ничего не сделал, а вы, значит, ему дадите меня забрать? — надрывно крикнул Джонсон.

Шепард крепче стиснул зубы, его разбирала обида. Мальчишка сорвался, не дотянув даже до того дня, когда ему наденут новый ботинок. Как раз завтра его получать. Почему-то ботинка ему вдруг стало особенно жаль, и досада на Джонсона стала вдвойне нестерпима.

— Сами прикидывались, что доверяете мне незнамо как, — процедил Джонсон.

— Я и доверял, — с каменным лицом сказал Шепард.

Джонсон повернулся вслед за полицейским, но прежде чем он тронулся с места, из провалов его глазниц Шепарда полоснуло лютой ненавистью.

Стоя в дверях, Шепард смотрел, как они влезли в машину, как отъехали. Он будил в себе сострадание. Нужно завтра навеститься в полицию, посмотреть, нельзя ли малого вызволить. А пока — ничего страшного, переночует в тюрьме, вперед будет знать, допустимо ли вести себя так с человеком, от которого видел только хорошее. Потом они отправятся за ботинком, и, может быть, после ночи, проведенной за решеткой, это событие только сильнее подействует на Джонсона.

В восемь утра позвонил сержант из полиции и сообщил, что Джонсона можно взять домой.

— Мы одного негра задержали по этому делу, — сказал он. — Ваш паренек тут не замешан.

Через десять минут Шепард, багровый от стыда, был уже в отделении. Джонсон сидел, нахोлясь, на скамейке в обшарпанной приемной и читал полицейский журнал. Больше никого не было. Шепард опустился рядом и заискивающе тронул его за плечо.

Джонсон глянул — у него гадливо выпятилась губа — и снова уткнулся в журнал.

Шепард изнывал. С гнетущей внезапной отчетливостью ему представилась вся гнусность содеянного. Он отвернулся от своего подопечного, и как раз тогда, когда его можно было круто и твердо повернуть на путь истины.

— Руфус, прости, — сказал он. — Я виноват, правда на твоей стороне. Я судил о тебе превратно.

Джонсон продолжал читать.

— Я приношу тебе извинения.

Джонсон послюнил палец и перевернул страницу.

Шепард собрался с духом.

— Я поступил как болван, Руфус,— сказал он.

Джонсон слегка скривил рот и, не отрываясь от журнала, пожал плечами.

— Забудь, ладно? — сказал Шепард. — Это первый и последний раз.

Джонсон поднял голову. Глаза его смотрели ясно и недобро.

— Я, так и быть, забуду,— сказал он,— вы-то попомните.

Он встал и прошествовал к двери. На полпути он обернулся к Шепарду, вскинул руку, и Шепард вскочил и последовал за ним, как будто мальчишка дернул невидимый поводок.

— Да, ботинок,— облегченно спохватился он,— сегодня срок забирать твой ботинок!

Господи, какое счастье, что есть ботинок!

Но когда они пришли в протезный кабинет, оказалось, что башмак на два номера мал, а новый могут сделать не раньше чем через десять дней. У Джонсона мгновенно поднялось настроение. Разумеется, ему неточно сняли мерку, но он утверждал, что это выросла нога. Он уходил довольный, словно нога его, раздавшись, действовала из собственных тайных побуждений. Лицо Шепарда изображало муку.

После этого случая он удвоил свои усилия. Джонсон утратил интерес к телескопу — для него был куплен микроскоп и коробка предметных стекол с готовыми препаратами. Если не удалось поразить его воображение безмерно великим, надо испробовать безмерно малое. Два вечера Джонсон не отходил от нового прибора, на третий разом остыл, зато ему не надоело просиживать вечера в гостиной, читая энциклопедию. Он пожирал энциклопедию, как пожирал свои обеды: размеренно и ненасытимо. Хватал все подряд, перемалывал и отбрасывал прочь. Для Шепарда не было большей отрады, чем видеть, как на диване молча склонился над книгой Джонсон. Несколько таких вечеров, и к Шепарду вернулись его мечты. Он вновь обрел уверенность. Он знал, что настанет день, когда он будет гордиться Джонсоном.

В четверг вечером Шепард был на заседании муниципального совета. Мальчиков он высадил у кино и забрал на обратном пути. Когда они подъехали к дому, у обочины стояла машина с одиноким красным глазком на крыше кабины. Шепард свернул к подъезду и осветил своими фарами два суровых лица внутри машины.

— Легавые! — сказал Джонсон. — Опять к кому-нибудь забрался негр, а явились за мной.

— Это мы посмотрим,— сказал сквозь зубы Шепард.

Он оставил машину у дверей и выключил свет.

— Вы, ребята, марш домой — и спать,— сказал он. — Этим займусь я.

Шепард вылез и твердо двинулся к патрульной машине. Он просунул голову в окошко. Полицейские глядели на него непроницаемо и многозначительно.

— Дом на углу Шелтона и Мельничной,— сказал тот, что сидел за баранкой. — Разворочено, словно танк прошел.

— Мальчик был в кино на другом конце города,— сказал Шепард. — И с ним мой сын. В тот раз он был ни при чем и в этот тоже ни при чем. Я отвечаю.

— Я бы на вашем месте не брался отвечать за такого отпетого шпаненка,— сказал полицейский, который сидел ближе к Шепарду.

— Я сказал, что отвечаю за него,— холодно повторил Шепард. — Один раз вы, голубчики, промахнулись. Кажется, хватит.

Полицейские переглянулись.

— Что ж, не наша печаль,— сказал первый и включил зажигание.

Шепард вошел в дом и сел в темной гостиной. Да, Джонсон чист, и боже упаси навести его на мысль, что его подозревают. Если он подумает, что опять возбудил подозрения, все пропало. Надо только удостовериться, насколько прочное у него алиби. Зайти разве к Нортону, спросить, не отлучался ли Джонсон из кинотеатра. Нет, это совсем не годится. Джонсон разгадает его уловку и взорвет

ся. Лучше спросить у него самого. Без обиняков. Шепард мысленно прикинул, как поведет речь, встал и подошел к двери Джонсона.

Дверь была открыта, словно его здесь ждали, хотя Джонсон уже лег в постель. При свете из передней можно было различить его очертания под простыней. Шепард вошел и стал в ногах кровати.

— Уехали, — сказал он. — Я им заявил, что ты тут не замешан и я беру это на свою ответственность.

С подушки донеслось неясное:

— Ага.

Шепард замялся.

— Руфус, ты, кстати, никуда не отлучался из кинотеатра?

— Сами прикидываетесь, что доверяете незнамо как, — немедленно крикнул оскорбленный голос, — а сами ни фиги не доверяете! Как не поверили в тот раз, так и теперь! — Незримый, этот голос с гораздо большей определенностью исходил из сокровенных недр Джонсонова существа, чем в те минуты, когда лицо его было видно. То был вопль укоризны с едва заметным оттенком презрения.

— Неправда, я тебе доверяю, — горячо сказал Шепард. — Совершенно доверяю. Я в тебя верю и полагаюсь на тебя целиком.

— А сами за мной шпионите все время, — угрюмо сказал голос. — Сначала ко мне подсыпались с вопросниками, а сейчас потопаете через переднюю, подсыпаетесь с вопросниками к Нортону.

— У меня и в мыслях не было расспрашивать Нортон, — ласково сказал Шепард. — Не было и нет. И я тебя вовсе не подозреваю. Да и мог ли ты за такое время добраться сюда с того конца города, залезть в чужой дом и опять вернуть-ся в кино.

— А, вот почему вы мне верите! — крикнул Джонсон. — Потому что я, по-вашему, все равно не успел бы обернуться.

— Да нет же! — сказал Шепард. — Я просто считаю, что у тебя достаточно ума и силы воли, чтобы не наделать новых глупостей. Я считаю, ты теперь основательно разобрался в себе и уяснил, что никаких причин куролесить у тебя нет. Я считаю, что при желании ты способен добиться чего угодно. Вот почему я тебе верю.

Джонсон сел в постели. В полосе неяркого света показался его лоб, лица по-прежнему не было видно.

— Между прочим, я бы и за такое время туда залез, если б захотел, — сказал он.

— Да, но этого не было, я знаю, — сказал Шепард. — И не сомневаюсь ни секунды.

Наступило молчание. Джонсон лег обратно. И тогда голос, глухой и сдавленный, как бы исторгнутый через силу, сказал:

— С какой стати человеку воровать и бузить, когда у него и так все есть чего надо.

У Шепарда перехватило горло. Ему же отдают должное! Ему говорят спасибо! В голосе парня слышна благодарность. Он стоял, глупо улыбаясь в темноте, стараясь продлить эту минуту. Невольно сделал шаг вперед, протянул руку к подушке Джонсона и коснулся его лба. Лоб был холоден и сухо-шершав, как ржавое железо.

— Я понимаю, сын. Спокойной ночи.

Он быстро повернулся и вышел. Закрыв за собой дверь, он остановился, пре-возмогая волнение.

Дверь напротив, в комнату Нортон, была открыта. Мальчик лежал на боку и глядел в освещенный коридор.

Теперь с Джонсоном все пойдет гладко.

Нортон сел и стал знаками подзывать Шепарда к себе.

Шепард увидел, но тут же заставил себя посмотреть мимо. Нельзя сейчас идти к Нортону разговаривать, этим он подорвет доверие Джонсона. Его кольнуло сомнение, но он не двинулся с места, притворяясь, будто ничего не замечает.

Завтра — день, когда им назначено прийти за ботинком. Вот что закрепит те нити, которые протянулись меж ними. Он круто повернулся и пошел к себе.

Мальчик посидел еще, глядя на то место, где только что был его отец. Потом смотреть стало не на что, и он снова лег.

Назавтра Джонсон был пасмурен и неразговорчив, видно, от стыда, что выдал себя. Глаза его были как бы прикрыты заслонками. Он замкнулся в себе — там, внутри, явно решалось для него сейчас нечто самое главное. Шепард дождался не мог той минуты, когда они окажутся в протезном кабинете. Нортон он оставил дома, ему не хотелось дробить свое внимание. Хотелось отключиться от всего постороннего и не пропустить того, что будет совершаться с Джонсоном. Внешне впечатление такое, что перспектива получить новый башмак не только не прельщает парня, а и вообще не трогает, но когда дойдет до дела, его наверняка проймет.

Протезная мастерская помещалась в небольшом бетонном складе, битком набитом оснащением для людского убожества. Пол был заставлен креслами на колесах и станками для начинающих ходить. Стены увешаны разнообразными костылями и бандажами. Полки завалены протезами: искусственные руки, ноги, пальцы, клешни и крючья, помочи и подпруги, невиданные приспособления для неведомых увечий. Посередине, где было свободней, выстроился ряд желтых стульев с сиденьями из пластика, перед ними стояла примерочная скамейка. Джонсон плюхнулся на первый попавшийся стул, поставил на скамейку ногу и уперся в нее мрачным взглядом. Спереди, где полагалось быть носку, опорок снова прохутился, и Джонсон залатал его брезентом; на другую заплату пошел, судя по всему, язык от того же опорка. Шнурком служил обрывок шпагата.

На лице Шепарда от возбуждения выступили пятна, сердце его колотилось.

Откуда-то из дальнего угла, держа под мышкой новый ботинок, вынырнул протезист.

— Теперь будет тютелька в тютельку, — сказал он.

Он оседлал скамью и поднял свое произведение, улыбаясь, как будто сотворил его чудом.

Черный гладкий бесформенный предмет отливал ядовитым глянцем. Он был похож на тупое, до блеска начищенное оружие.

Джонсон рассматривал его исподлобья.

— Шагнешь в такой обуви — ног под собой не почувствуешь, — сказал протезист. — Сама понесет.

Склонив сверкающую розовую лысину, он после некоторой заминки принялся распутывать шпагат. Он стянул старый ботинок опасливым движением, будто свежевал еще живого зверя. Было видно, что ему стоит труда сохранять на лице улыбку. Когда показалась расчехленная кувалда в грязном носке, Шепарду стало не по себе. Он отвел глаза. Новый ботинок был надет, протезист проворно зашнуровал его.

— А ну встань, пройдишь, — сказал он. — Удостоверься — полетишь, как на крыльях. — Он подмигнул Шепарду. — В таком ботинке он и думать забудет, что у него не в порядке нога.

Шепард просиял от удовольствия.

Джонсон встал и прошел несколько шагов. Он ступал негнушимися ногами, почти не припадая на бок. Остановился и несколько мгновений стоял как вкопанный спиной к ним.

— Отлично, — сказал Шепард. — Превосходно. — Взял, можно сказать, и подарил парню новый позвоночник.

Джонсон обернулся. Его губы сошлись в ледяную бескровную черту. Он вернулся на место и снял ботинок. Сунул ногу в старый и начал затягивать шпагат.

— Ты что, сначала хочешь дома попробовать поносить? — негромко спросил протезист.

— Нет, — сказал Джонсон. — Я его не стану носить совсем.

— Чем же он тебе плох? — повысив голос, спросил Шепард.

— Мне не требуется новый ботинок, — сказал Джонсон. — А будет надо, соображу сам. — Лицо его было непроницаемо, но глаза поблескивали торжеством.

— Э, брат, тут не нога,— сказал протезист.— Не с головкой ли у тебя нелады?

— Сам поди прополощи мозги,— сказал Джонсон.— Вон уж плешь подготавливает.

Помрачнев, но сохраняя достоинство, протезист встал, разочарованно поболтал висящим на шнурке ботинком и спросил у Шепарда, что с ним делать.

Лицо Шепарда пылало темным, гневным румянцем. Взгляд остановился на кожаном корсете с приделанной к нему искусственной рукой.

Протезист повторил вопрос.

— Заверните,— с трудом проговорил Шепард. Он перевел взгляд на Джонсона.— Значит, не дорос еще,— сказал он.— Я думал, он взрослее.

Подросток глумливо ощерился.

— Ошиблись, стало быть,— сказал он.— Вам это не впервой.

В этот вечер они, по обыкновению, сели читать в гостиной. Шепард мрачно укрылся за воскресным выпуском «Нью-Йорк таймс». Он силился вернуть себе хорошее расположение духа, но каждый раз при мысли об отвергнутом ботинке в нем с новой силой вскипало возмущение. Он не решался даже поднять глаза на своего подопечного. Понятно, впрочем, что Джонсон отверг ботинок лишь из-за неуверенности в себе. Его повергло в смятение собственное чувство благодарности. Он обнаружил в себе нечто новое и не знает, как с этим новым управляться. То, чем он был до сих пор, под угрозой, он сознает это, он впервые увидел себя и свои возможности в истинном свете. Он подвергает сомнению собственное «я». Через силу Шепард вернул себе долю прежнего сочувствия к подростку. Спустя немного он положил газету и посмотрел на него.

Джонсон сидел на диване и отрешенно глядел куда-то поверх энциклопедии. Можно было подумать, что он прислушивается к чему-то вдалеке. Шепард следил за ним пристально — в самом деле слушает, и головы не повернет. «Да он совсем растерян, горемыка,— думал Шепард.— Я-то хорош, сижу целый вечер как сыч, уткнул нос в газету и хоть бы слово проронил, чтобы разрядить обстановку».

— Руфус,— позвал он.

Джонсон сидел как изваяние и все прислушивался к чему-то.

— Руфус,— заговорил Шепард медлительным, властным голосом,— подумай, ты можешь стать кем угодно, кем только пожелаешь. Хочешь — ученым или архитектором, хочешь — инженером, выбирай любое, что по душе, и в той области, какую ты облюбуйешь, ты можешь стать лучшим из лучших.

Он представлял себе, как его голос сочится к Джонсону, в темные провалы его подсознания. Подросток наклонился вперед, но глядеть продолжал туда же, что и раньше. На улице хлопнули автомобильной дверцей. Снова все стихло. И неожиданно — залихватистый трезвон из прихожей.

Шепард вскочил, пошел к двери, открыл ее. Опять тот же полицейский. И опять патрульная машина у тротуара.

— Покажите, где тут ваш молодой человек,— сказал полицейский.

Шепард, нахмурясь, посторонился.

— Он весь вечер находился здесь,— сказал он.— Могу поручиться за это.

Полицейский прошел в гостиную. Джонсон, по всей видимости всецело захваченный чтением, поднял голову не сразу и раздраженно — ни дать ни взять важная персона, которую оторвали от трудов.

— Что это ты, друг, высматривал на Зимней улице минут тридцать назад через кухонное окошко? — спросил полицейский.

— Довольно травить мальчика! — сказал Шепард.— Я ручаюсь, что он находился здесь. Я сам был тут же.

— Слышали, чего вам говорят? — сказал Джонсон.— Сидел все время здесь.

— Не всякий оставит после себя эдакие следы,— сказал полицейский, красноречиво скосив глаза на ногу Джонсона.

— Не может быть, это не его следы,— свирепея, прорычал Шепард.— Он все время был здесь. Зря только тратите время — свое и наше.— Этим «наше» он

как бы скрепил свое единение с Джонсоном. — Надоело, в конце концов, — сказал он. — Обленились черт-те как, не могут взяться и выяснить, кто это безобразничает. Чуть что — сразу сюда.

Не обращая на него внимания, полицейский продолжал буравить взглядом Джонсона. Медвежьи глазки на мясистом его лице светились умно и живо. Наконец он повернулся к двери.

— Накроем рано или поздно, — сказал он, — тепленького — нос в окне, хвост наружу.

Шепард проводил его и с шумом захлопнул дверь. Он испытывал необычайный подъем. До чего это кстати — как раз то, что требовалось. С радостным, нетерпеливым лицом он возвратился в гостиную.

Джонсон встретил его взглядом, исполненным ехидства. Книга лежала закрытой.

— Спасибочки, — сказал он.

Шепард оцепенел. Эта воровская усмешка... Малый откровенно глумился над ним.

— А вы и сами не дурак сбрехнуть, — сказал Джонсон.

— Сбрехнуть? — еле выговорил Шепард.

Неужели Джонсон все-таки улизнул из дома и вернулся? У него потемнело в глазах. И тут же его подхватила и понесла волна гнева.

— Так ты уходил? — в бешенстве спросил он. — Я не видел, чтобы ты уходил.

Мальчишка только скалил зубы.

— Ты ведь поднимался на чердак к Нортону, — сказал Шепард.

— Вот еще, — сказал Джонсон, — этот малец совсем чокнутый. Не спит, не ест, все бы только глазел в свой паршивый телескоп...

— Меня интересует не Нортон, — оборвал его Шепард. — Ты где был?

— Я-то? Сидел на розовом стульчаке один-одинешенек, — сказал Джонсон. — Свидетелей не имеется.

Шепард достал платок и отер лоб. Ему удалось выжать из себя улыбку.

Джонсон закатил глаза.

— Не верите вы мне, — сказал он. Как в тот вечер, позавчера, в темной спальне, голос его звучал надтреснуто. — Сами прикидываетесь, что доверяете незнанию как, а сами ни фиги не доверяете. Все вы на один лад: почувете, что пахнет керосином, — и поминай как звали. — Надтреснутый голос стал деланным, дурашливым. В нем слышалась нескрываемая издевка. — Не верите мне. Не доверяете, — причитал он. — А между прочим, соображения в вас не больше, чем в том легавом. Насчет следов — это он ловил меня. Не было ведь следов. Там у черного хода все залито бетоном, а ноги у меня были сухие.

Непослушной рукой Шепард сунул платок в карман. Он осел на диван и опустил глаза на ковер. Увечная нога Джонсона оказалась в поле его зрения. Латаный опорок ощерился на него в наглой усмешке Джонсона. Шепард вцепился в край дивана так, что побелели костяшки пальцев. Его сотряс приступ ледящей ненависти. Он ненавидел ботинок, ненавидел эту ногу, ненавидел мальчишку. Он поблудил. Он задыхался от ненависти. Он не узнавал себя.

Он схватил Джонсона за плечо и яростно стиснул — так хватаются, чтобы не упасть.

— Слушай, — сказал он. — Ты заглядывал в окно мне назло. Это единственное, чего ты добивался. — поколебать мою решимость помочь тебе. Но мою решимость поколебать нельзя. Я сильнее тебя. Я тебя сильнее, и я все равно тебя спасу. Добро восторжествует.

— А если оно липовое, ваше добро? — сказал Джонсон. — Если оно неправильное?

— Моя решимость осталась неизменной, — повторил Шепард. — Я во что бы то ни стало спасу тебя.

Глаза Джонсона вновь загорелись ехидством.

— Ничего вы меня не спасете, — сказал он. — Вы еще погоните меня из

этого дома. Ведь те два дельца тоже сработал я — и в первый раз, и в тот раз, когда мне полагалось сидеть в кино.

— Нет, я не прогоню тебя, — сказал Шепард. Слова звучали стерто, заученно. — Я тебя спасу.

Джонсон выставил голову вперед.

— Себя спасайте, — прошипел он. — Меня спасет Христос, больше никто.

Шепард отрывисто засмеялся.

— Оставь, меня не проведешь, — сказал он. — Это я еще в колонии вымел у тебя из головы. От этого я, по крайней мере, тебя избавил.

Лицо Джонсона напряглось. Его исказило такое отвращение, что Шепард невольно отшатнулся. В глазах мальчишки, как в паре кривых зеркал, он увидел себя страшилищем, уродом.

— Ну, я вам покажу, — прошипел Джонсон.

Он сорвался с места и опрометью кинулся к двери, точно не желал провести с Шепардом лишнюю секунду, но то была дверь в коридор, а не в переднюю. Шепард повернулся на диване и посмотрел назад, куда только что скрылся Джонсон. Он услышал, как хлопнула дверь его комнаты. Значит, он не уходит. От прежнего упорства в глазах Шепарда не осталось и следа. Они смотрели тускло, безжизненно, как если бы слова подростка лишь сейчас дошли до глубин его потрясенной души и наступило откровение.

— Хоть бы он только ушел, — неслышно сказал он. — Хоть бы ушел теперь по собственной воле.

Утром Джонсон явился к завтраку в пиджачной паре с дедова плеча, которая была на нем, когда он пришел в первый раз. Шепард сделал вид, будто не замечает ничего необычного, хотя даже беглого взгляда было довольно, чтобы сказать ему то, что он знал и так, — что он попался, что отныне возможна лишь война на измор и победит в ней Джонсон. Зачем, зачем подвернулся ему на пути этот мальчишка. Сострадание изменило ему, он был опустошен. Он поспешил из дома и целый день с ужасом думал о той минуте, когда пора будет возвращаться. Правда, в нем теплилась надежда, что, может быть, к тому времени Джонсон исчезнет. Может быть, дедов костюм означал, что он собрался уходить. К вечеру надежда окрепла. С замирающим сердцем подходил он к своему дому, открывал дверь.

В передней Шепард остановился и бесшумно заглянул в гостиную. Его лицо вытянулось, разом постарело, под стать его седине. Мальчики сидели рядышком на диване и читали вместе какую-то книгу. Щека Нортоня прильнула к черному рукаву Джонсона. Джонсон водил пальцем по строчкам. Два брата — старший и младший. Долгую минуту Шепард одеревенело глядел на эту картину. Потом шагнул в комнату, снял пиджак и бросил его на стул. Его не заметили. Он прошел на кухню.

Вечером перед уходом Леола оставляла ужин на плите, на стол подавал его Шепард. У него ныла голова, нервы были натянуты. Он опустился на табуретку и поник в тягостном раздумье. Нельзя ли чем-нибудь привести Джонсона в такое бешенство, чтобы он ушел сам? Вчера, например, он рассвирепел, когда ущемили в правах Христа. Да, Джонсон, может быть, рассвирепеет, но самому-то гадко. Отчего бы прямо не попросить его уйти? Признать свое поражение. Тошно, как подумаешь о новом столкновении с Джонсоном. Мальчишка держится так, будто это он, Шепард, виновен, будто видит в нем нравственного урода. Он же вправе, не хвастаясь, считать себя хорошим человеком, ему себя не в чем упрекнуть. А ощущения, которые сейчас вызывает в нем Джонсон, они безотчетны. Разве он не хотел бы испытывать сострадание к этому подростку? Разве не хотел бы оказаться в силах ему помочь? Ах, наступило бы уж то время, когда в доме не останется никого, кроме него и Нортоня, когда справляться нужно будет лишь с бесхитростным себялюбием сына да с собственным одиночеством.

Он встал, снял с полки посуду и подошел к плите. Рассеянно накладывал на тарелки мясное рагу с овощами, стручковую фасоль. Когда все было на столе, он позвал мальчиков ужинать.

Книгу они взяли с собой. Нортон отодвинул свой прибор на другую сторону стола, к прибору Джонсона, и перенес свой стул к его стулу. Они сели рядом и положили книгу посередине. Книга была в черном переплете, с красным обрезом.

— Это вы что читаете? — спросил Шепард, садясь за стол.

— Священное писание, — сказал Джонсон.

«Господи, дай мне силы», — беззвучно выговорил Шепард.

— Мы ее свистнули в книжном киоске, — сказал Джонсон.

— Мы? — глухо переспросил Шепард.

Он грозно оглядел Нортон. Он увидел осмысленное выражение лица, возбужденно сияющие глаза. Только сейчас Шепард заметил, какая перемена совершилась с его сыном. Мальчик словно бы пробудился от спячки. Оттого ли, что на нем была синяя ковбойка, или по другой причине, но такой яркой голубизны в его глазах Шепард еще не видел. Внове было и это непривычное оживление, признаков новых, и недетских, пороков.

— Значит, теперь ты еще и воруешь? — гневно сказал он. — Щедрости так и не выучился, зато научился воровать.

— Да не он, — сказал Джонсон. — Это я ее свистнул. Он только сторожил. Ему нельзя брать грех на душу. Мне-то все едино, я так и так попаду в ад.

Шепард прикусил язык.

— Если, конечно, не покаюсь, — сказал Джонсон.

— Руфус, ты покайся, — просительно сказал Нортон, — Покайся, а? Зачем тебе в ад?

— Не болтай чепуху, — сказал Шепард, строго взглянув на сына.

— Уж если я покаюсь, я стану проповедником, — сказал Джонсон. — Делать, так до конца, наполовину смысла нет.

— А ты кем хочешь стать, Нортон? — срывающимся голосом спросил Шепард. — Тоже проповедником?

Глаза мальчика заблестели лихорадочно и восторженно.

— Космонавтом! — вскричал он.

— Замечательно, — сказал Шепард с горечью.

— Тут главное — верить в бога, без этого тебе от космических кораблей проку будет чуть, — сказал Джонсон. Он послунял палец и начал листать Библию. — Стой, я тебе почитаю, где об этом сказано.

Шепард нагнулся вперед и тихо, сдерживая ярость, сказал:

— Руфус, положи Библию и ешь.

Джонсон как ни в чем не бывало продолжал мусолить страницы.

— Сию минуту отложи Библию! — закричал Шепард.

Джонсон остановился и поднял глаза. Вид у него был оторопелый, но довольный.

— Ты нашел себе эту книгу, чтоб было за что прятаться, — сказал Шепард. — Она написана для малодушных, кому страшно стоять на собственных ногах, собственным умом разбираться что к чему.

У Джонсона вспыхнули глаза. Он слегка отодвинулся от стола.

— Вы в когтях сатанинских, — сказал он. — Не я один. Вы тоже.

Шепард потянулся через стол за Библией, но Джонсон успел схватить ее и положить себе на колени.

Шепард рассмеялся.

— Не веришь ты этой книжице, и сам знаешь, что не веришь!

— Нет верю! — сказал Джонсон. — Почем вы знаете, во что я верю, во что нет?

Шепард покачал головой.

— Не веришь. Чересчур хорошо у тебя варит голова.

— Ничего не чересчур, — буркнул Джонсон. — Много вы знаете про меня. Пусть бы я даже не верил, а там все равно правда.

— А ты и не веришь! — сказал Шепард. Лицо его поддразнивало, издевалось.

— Нет верю! — часто дыша, сказал Джонсон. — Глядите — вот как я верую!

Он раскрыл у себя на коленях Библию, вырвал страницу и закинул себе в рот. Не сводя с Шепарда глаз, он остервенело работал челюстями. Бумага шуршала у него на зубах.

— Перестань, — сказал Шепард чужим, неживым голосом. — Сейчас же прекрати.

Подросток высоко поднял Библию, зубами выдрал из нее еще страницу и с горящим взглядом принялся перемалывать ее во рту.

Шепард нагнулся через стол и вышиб книгу у него из рук.

— Выйди из-за стола, — холодно сказал он.

Джонсон проглотил то, что держал во рту. Глаза его широко раскрылись, словно им явилось сияние вечной славы.

— Съел! — задохнулся он. — Съел подобно Иезекиилю, и было в устах моих сладко, как мед!

— Вон из-за стола, — сказал Шепард. Его ладони по обе стороны тарелки сжались в кулаки.

— Съел! — воскликнул подросток. Сопричастность чуду преобразила его лицо. — Съел, как Иезекииль, и не надо мне после этого вашей пищи ни сейчас, ни во веки веков.

— Иди же тогда, — тихо сказал Шепард. — Уходи. Уходи.

Джонсон встал, взял Библию и направился с нею в переднюю. В дверях он остановился — черное тщедушное существо на пороге некоего ужасного прозрения.

— Вы в лапах дьявола, — возвестил он с ликованием в голосе и скрылся.

После ужина Шепард сидел один в гостиной. Джонсон покинул его дом, но ему не верилось, чтобы мальчишка ушел просто так. Первое чувство облегчения прошло. Им овладела вялость, его знобило — заболел, наверно, — в душу туманом вползал страх. Уйти, и только — нет, для такого, как Джонсон, подобная развязка была бы слишком пресной; он еще вернется, еще постарается что-то доказать. Возьмет да через неделю устроит им здесь пожар. С такого станет что угодно.

Шепард взял газету и попробовал читать. Секунду спустя он отшвырнул ее, встал, вышел в переднюю, прислушался. Не прячется ли Джонсон на чердаке? Шепард подошел к чердачной двери, открыл ее.

Фонарь горел, на ступеньки сеялся неясный свет. И ничего не было слышно.

— Нортон, это ты там наверху? — позвал Шепард.

Никто не откликнулся. Он поднялся по узкой лестнице.

Оплетенный лианами теней от фонаря, сидел, прикинув к телескопу, Нортон.

— Нортон, куда пошел Руфус, не знаешь? — сказал Шепард.

Мальчик сидел спиной к нему. Он сгорбился в напряженном внимании, большие уши топырились прямо у него на плечах. Неожиданно он замахал рукой, тесней подбираясь к телескопу, устремляясь как можно ближе к тому, что он там видел.

— Нортон! — громче повторил Шепард.

Мальчик не шевелился.

— Нортон! — гаркнул Шепард.

Нортон вздрогнул и обернулся. Горячно сияли его глаза. Мгновение — и он опомнился, узнав Шепарда.

— Я ее нашел! — сказал он, прерывисто дыша.

— Кого нашел? — сказал Шепард.

— Мамочку!

Шепард бессильно прислонился к косяку. Вокруг мальчика гуще сплелись ползучие тени.

— Поди посмотри! — воскликнул Нортон. Он вытер взмокшее лицо полкой ковбойки и опять припал к телескопу. Его спина застыла в напряженной неподвижности. Внезапно он снова замахал рукой.

— Нортон,— сказал Шепард.— То, что ты видишь в телескопе, это скопления звезд, больше ничего. И хватит с тебя на сегодня. Иди-ка ты спать. Где Руфус, случайно, не знаешь?

— Да вон же она! — крикнул мальчик, не отрываясь от телескопа.— Она мне помахала!

— Чтоб через пятнадцать минут ты был в постели,— сказал Шепард. И чуть выждав, прибавил: — Слышишь, Нортон?

Мальчик изо всех сил замахал рукой.

— Я не шучу,— сказал Шепард.— Через пятнадцать минут я зайду проверю, в постели ты или нет.

Он спустился по лестнице и вернулся в гостиную. Потом пошел, открыл парадную дверь и выглянул наружу. Небо усеяно звездами — еще недавно он, глупец, мечтал, что их достигнет Джонсон. Где-то за домом, в рощице, гулко квакнула лягушка. Шепард пошел обратно к своему креслу, посидел немного. Нет, все-таки лучше пойти лечь. Он положил ладони на ручки кресла, и тут как первый вестник беды возник визгливый вой полицейской сирены, он медленно нарастал, приближаясь, пока не захлебнулся со всхлипом возле самого дома.

Холодная тяжесть легла на плечи Шепарду, словно кто-то окутал их ледяным плащом. Он вышел в переднюю и открыл дверь.

По дорожке к дому шли два полицейских, между ними, пристегнутый к каждому наручниками,— злобно ощетинившийся Джонсон. Рядом трусил репортер, в патрульной машине ждал еще один полицейский.

— Вот он, ваш молодой человек,— сказал тот, суровый.— Говорил я вам, что мы его накроем?

Джонсон бешено дернул к себе руку.

— Я вас дождался нарочно! — сказал он.— Вам бы меня не накрыть, если б я сам не захотел попасться. Это у меня было так задумано.— Слова его были обращены к полицейскому, глумливая усмешка — к Шепарду.

Шепард глядел на него отчужденно.

— Почему же ты хотел попасться? — спросил репортер, забегая вперед, поближе к Джонсону.— Зачем ты подстроил так, чтобы тебя поймали?

То ли этот вопрос, то ли присутствие Шепарда повергли Джонсона в лютую ярость.

— Вот этому показать, Иисусу самозваному! — прошипел он и лягнул ногой в сторону Шепарда.— Корчит из себя господу бога. Чем быть в его доме, пускай я лучше буду в колонии, пускай хоть в тюрьме! Он в лапах дьявола. Он ни бельмеса ни в чем не смыслит, в сыночке его чокнутым и то разумения больше! — Он перевел дух и выметнул то невероятное, что приборег напоследок: — Он ко мне приставал!

Шепард побелел и ухватился за край двери.

— Приставал? — жадно подхватил репортер.— Как именно?

— Грязно приставал! — сказал Джонсон.— А вы думали как? Да не на такого напал, я в бога верую, я...

Лицо Шепарда свело, как от боли.

— Он знает, что это неправда.— с усилием сказал он.— Он знает, что лжет. Я делал для него все, что только можно придумать. Делал для него больше, чем для родного сына. Я надеялся его спасти и не сумел, но это — поражение в честном бою. Мне себя не в чем упрекнуть. И я никогда его не совращал.

— Ты не припомнишь, как он к тебе приставал? — спросил репортер.— Ну, какие он тебе говорил слова?

— Он, гад,— безбожник,— сказал Джонсон.— Он говорил, что ада нету.

— Ну, нагладелись друг на друга, и будет,— с привычным вздохом сказал один из полицейских.— Поехали.

— Погодите,— сказал Шепард.

Он сошел на ступеньку ниже и впился глазами в зрачки Джонсона в последней отчаянной попытке обрести спасение.

— Скажи правду, Руфус,— сказал он.— Зачем тебе это вранье? Ты не зло-

дей, у тебя просто невероятная путаница в голове. Тебе нет надобности ополчаться на весь свет из-за своей ноги, нет надобности...

Джонсон рванулся вперед.

— Вы только послушайте его! — надсадно крикнул он. — Мне нравится врать и воровать, у меня это здорово выходит! Нога тут совсем ни при чем! В царствие небесное хромые внидут первыми! Увечных созовут на пир. Когда приспееет срок моего спасения, меня спасет Христос, а не этот нехристь, подонок, трепло, этот...

— Все, высказался, — сказал полицейский и дернул его назад. — Мы только хотели вам показать, что он попался, — сказал он Шепарду, конвоиры повернулись кругом и поволокли Джонсона прочь, а он, полуобернувшись, все выкрикивал что-то Шепарду.

— Хромые восхитят добычу! — надрывался он, но его голос уже поглотили стенки машины.

Репортер забрался в кабину к водителю, захлопнул дверцу, сирена жалобно взвыла и понеслась в темноту.

Шепард стоял на прежнем месте чуть согнувшись, как стоит подстреленный, пока его держат за ноги. Минуту спустя он повернулся, вошел в дом и опять сел в кресло. Он закрыл глаза, отгоняя навязчивую картину: полицейское отделение, Джонсон в кругу репортеров плетет новые небылицы.

— Мне не в чем себя упрекнуть, — прошептал он.

В каждом своем поступке он был самоотвержен, он ставил себе единую цель — спасти Джонсона для какого-нибудь достойного поприща, он не щадил себя, он пожертвовал своим добрым именем, он сделал для Джонсона больше, чем для родного сына. Скверна обволакивала его подобно зловонию, плотно, как если бы исходила от его же дыхания.

— Мне не в чем себя упрекнуть, — повторил он. Хрипло, безжизненно звучал его голос. — Я делал для него больше, чем для родного сына.

Безумная тревога внезапно обуяла его. Он услышал ликующий голос Джонсона: «Ты в когтях сатанинских».

— Мне не в чем себя упрекнуть, — начал он снова. — Я делал для него больше, чем для собственного ребенка. — Он услышал свой голос как бы из уст своего обвинителя. Он повторил эти слова про себя.

Медленно с его лица схлынула краска. Оно стало почти серым под нимбом седых волос. Слова проносились в его сознании, и каждый слог отдавался тупою болью. Рот его искривился, он закрыл глаза, пронзенный откровением. Перед ним возникло лицо Нортонa, потерянное, несчастное, один глаз чуть приметно тяготел к виску как бы не в силах прямо взглянуть в лицо горю. Сердце Шепарда стеснилось омерзением к себе, таким страстным и отчетливым, что ему стало нечем дышать. Он прожорливо набрасывался на добрые дела, тщаься начинить ими свою пустоту. Он забросил родное дитя ради того, чтобы тешить свое тщеславие. Провидец дьявол, искуситель сердец, глумливо следил за ним глазами Джонсона. Собственный образ, созданный им в воображении, съежился и истаял, оставив после себя черную тьму. Шепард сидел в оцепенении, скованный ужасом.

Он увидел Нортонa у телескопа — спина и уши, больше ничего, увидел, как взлетает его рука, машет изо всех сил. Прилив нестерпимой любви к сыну захлестнул его, как новый прилив жизни. Преображенное, ему явилось лицо мальчика, образ его спасения, осиянный светом. Шепард застонал от радости. Он ему все возместит. Никогда больше не даст ему страдать. Будет ему и отцом и матерью. Он вскочил и кинулся в комнату сына — поцеловать, сказать, что любит, что никогда больше не предаст его.

В комнате Нортонa горел свет, но кровать стояла пустая. Шепард повернулся, взбежал по чердачной лестнице и на верхней ступеньке отпрянул назад, словно от края пропасти. Треножник был опрокинут, телескоп валялся на полу. Над ним в дремучем переплетении теней висел мальчик, чуть пониже балки, с которой он отправился в свой космический полет.

Хорошего человека найти нелегко

Старушка не хотела ехать во Флориду. Ей хотелось навестить кое-кого из родственников на востоке Теннесси, и она не упускала случая навязывать Бейли свой план. Бейли был ее единственный сын, у него она и жила. Бейли сидел у стола на краешке стула, уткнувшись в оранжевую спортивную страницу «Джорнэла».

— Нет, ты только погляди сюда, Бейли,— сказала старушка,— вот возьми, почитай.— И, упершись одной рукой в худое бедро, она другой тряхнула газету над лысиной сына.— Тот преступник, что себя Изгоем называет, убежал из федеральной тюрьмы и держит путь во Флориду. Нет, ты почитай, что тут пишут, как он с этими людьми расправился. Ты только почитай. Когда такой преступник гуляет на свободе, я бы сидела дома, а не везла детей туда, где он рыщет, меня б потом совесть замучила.

Ей не удалось оторвать Бейли от газеты, и она повернулась к нему спиной и принялась за невестку, молодую женщину с круглым, безмятежным, как капуста, лицом, в брюках и зеленом платке, торчавшем на макушке заячьими ушами. Невестка сидела на диване и кормила младенца абрикосами из банки.

— Во Флориде дети уже были,— говорила старушка,— и теперь их надо повезти куда-нибудь еще — пусть повидают свет, расширят свой кругозор. А в Теннесси они никогда не были.

Невестка, видно, пропустила ее слова мимо ушей, но Джон Весли, восьмилетний крепыш в очках, сказал:

— Не хочешь во Флориду, оставайся дома.

Он сидел на полу со своей сестренкой Джун Стар и читал комиксы.

— Да она ни денечка дома не останется, хоть ты ее озолоти,— сказала Джун Стар, не поднимая белесой головы.

— Ладно, ладно, но интересно, что вы будете делать, когда попадете Изгою в руки,— сказала бабушка.

— Я ему как врежу,— сказал Джон Весли.

— Да она ни денечка дома не останется, хоть ты ей мильон дай,— сказала Джун Стар.— Все боится, как бы чего не упустить. Куда мы, туда и она, без нее нигде не обойдется.

— Вот и отлично, мисс,— сказала бабушка,— только смотри, как бы не пришлось пожалеть, когда в другой раз попросишь меня волосы тебе завить.

Но Джун Стар сказала, что у нее волосы сами вьются.

Назавтра бабушка встала раньше всех и первой села в машину. Свой громоздкий черный саквояж она пристроила в углу, откуда он торчал, как голова гиппопотама, а под него спрятала корзинку с котом Питти Сингом. Она не намерена оставлять кота одного: за три дня кот без нее изведется, да и потом, он может невзначай задеть кран у плиты и отравиться газом. Бейли, ее сын, не разрешал брать кота в мотели.

Бабушка села сзади, по бокам ее устроились Джон Весли и Джун Стар. Бейли, невестка и младенец разместились впереди; они выехали из Атланты в восемь сорок пять, и спидометр показывал пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто миль. Бабушка списала показания: когда они вернутся домой, всем захочется узнать, сколько миль они проехали, и тут-то она им и скажет. Через двадцать минут они очутились за городом.

Старушка уселась поудобнее, стянула белые нитяные перчатки и положила их вместе с ридикюлем к заднему стеклу. На невестке были те же самые брюки и зеленый платок, что и накануне, но бабушка нарядилась в темно-синюю соломенную шляпку с пучком белых фиалок и темно-синее же платье в белую крапинку. Воротничок и манжеты из белого органди заканчивались кружевными оборочками, а у выреза она приколотла надушенный букет матерчатых фиалок. Так что случись с ними авария, кто бы ни нашел ее труп на шоссе, тут же поймет, что перед ним дама.

Бабушка сказала, что, по ее мнению, день для поездки будет удачный — не слишком жаркий, не слишком холодный, — и напомнила Бейли, что предельная скорость пятьдесят пять миль в час и что за рекламными щитами и в кустах прячутся полицейские: ты не успеешь еще сбросить скорость, как за тобой уже погонятся. Она призывала их посмотреть, едва показывалось что-нибудь, по ее мнению, интересное: Стон-Маунтин¹, голубые громады гранита, вдруг встававшие по обеим сторонам дороги, рыжие глинистые склоны, кое-где прорезанные багровыми прожилками, всходы, рядами зеленых кружев поднимавшиеся на полях. Деревья купались в серебряно-белом солнечном свете, и даже самые невзрачные светились. Дети читали свои комиксы, а невестка уснула.

— Давай побыстрее проедем Джорджию, глаза б мои на нее не глядели, — сказал Джон Весли.

— Если б я была мальчиком, — сказала бабушка, — я не позволила бы себе так говорить о своем родном штате. Теннесси славен горами, а Джорджия — холмами.

— Теннесси — вонючая деревня, — сказал Джон Весли, — да и Джорджия — паршивый штат.

— Точно, — сказала Джун Стар.

— В мое время, — сказала бабушка, сплетая тонкие узловатые пальцы, — дети больше уважали и свой штат, и родителей, да и вообще все. Тогда люди жили как полагается. Нет, вы только поглядите, какой хорошенький! — И она показала на негрятенка, стоящего на пороге хижины. — Прямо хоть картинку с него пиши, верно? — сказала она, и все обернулись и поглядели через заднее стекло на мальчика.

Он помахал им рукой.

— А на нем нет штанишек, — сказала Джун Стар.

— У него, наверно, вообще нет штанишек, — объяснила бабушка, — у деревенских негрят есть далеко не все, что есть у нас. Умей я рисовать, я б его нарисовала, — сказала она.

Дети обменялись комиксами.

Бабушка предложила невестке подержать ребенка, и та передала его через спинку сиденья. Бабушка качала ребенка на коленях и рассказывала ему про все, что они проезжали. Она закатывала глаза, вытягивала губы трубочкой и тыкалась худым морщинистым лицом в его беззаботную атласную мордашку. Иногда он одарял ее отрешенной улыбкой. Они проехали большое хлопковое поле, посреди которого островком выделялось пять или шесть могил, обнесенных оградой.

— Глядите, — сказала бабушка и показала на кладбище, — тут в прежние времена хоронили семью плантатора. При каждой плантации было свое фамильное кладбище.

— А где сама плантация? — спросил Джон Весли.

— Все «унесено ветром», ха-ха! — сострила бабушка.

Дети прикончили комиксы, вынули коробку с завтраком и принялись за еду. Бабушка съела бутерброд с арахисовым маслом и оливку и не разрешила детям выкинуть коробку и бумажные салфетки на дорогу. Больше делать было нечего, и дети затеяли игру: один выбирает себе облако, а другой угадывает, на что оно похоже. Джон Весли выбрал облако, похожее на корову, и Джун Стар отгадала, но Джон Весли сказал — нет, это автомобиль, а Джун Стар сказала — так не играют, и они подрались, обмениваясь тумачами перед бабушкиным носом.

Бабушка сказала: если они будут сидеть смирно, она им расскажет интересную историю. Рассказывая, она закатывала глаза, качала головой и представляла всех в лицах. Когда она еще была барышней на выданье, рассказывала бабушка, за ней ухаживал мистер Лоренс Оливер Пай из Джаспера, в Джорджии. Он был хорош собой, настоящий джентльмен, и каждую субботу преподносил ей арбуз и вырезал на нем ножом: Л. О. ПАЙ. Ну так вот, как-то в субботу мистер Пай привез ей арбуз, но никого дома не застал, положил арбуз на крыльцо, сел

¹ Памятник южанам — участникам гражданской войны 1861 — 1865 годов, высеченный в скале Стон-Маунтин.

в свой шарабан и уехал к себе в Джаспер, но арбуз ей так и не достался, рассказывала бабушка, потому что один негр увидел надпись «ЛОПАЙ» и слопал арбуз. Джона Весли рассказ насмешил, и он хохотал до упаду. Но Джун Стар сочла, что ничего смешного тут нет. Она сказала, что никогда б не пошла за человека, который только и дарит что арбузы по субботам. И напрасно, сказала бабушка, потому что мистер Пай был настоящий джентльмен, и к тому же он купил акции кока-колы, едва их выпустили на рынок, и умер несколько лет назад богачом.

Они остановились у «Башни» полакомиться поджаренными сандвичами. «Башня», частью оштукатуренное, частью дощатое строение, где помещались бензоколонка и танцевальный зал, стояла на прогалине, сразу по выезде из Тимоти. Хозяинничал в ней толстяк по прозвищу Рыжий Сэмми Баттс, и само здание и шоссе на много миль по обе его стороны пестрели плакатами: «Приезжайте отведать прославленной кухни Рыжего Сэмми», «Толстому Сэмми-весельчаку нет равных», «Сэмми — ветеран», «Наведайтесь к Рыжему Сэму — не пожалееете».

Когда они подъехали к «Башне», Рыжий Сэм лежал под грузовиком прямо на земле, а неподалеку от него верещала серая обезьянка не выше фута ростом, прикованная цепью к мыльному дереву. Дети выскочили из машины и рванулись к обезьянке, но она мигом прыгнула на дерево и взлетела на верхнюю ветку.

Войдя в «Башню», они оказались в длинном темном зале — в одном его конце располагалась стойка, в другом — столы, а посредине еще оставалось место для танцев. Они уселись за дощатый стол поближе к музыкальному автомату, и жена Рыжего Сэма, долговязая и до того загорелая, что глаза и волосы ее были светлее кожи, тут же приняла у них заказ. Невестка опустила монетку, автомат заиграл «Теннесийский вальс», и бабушка сказала: едва услышу этот вальс, и у меня ноги так и просятся танцевать. Она спросила Бейли, не хочется ли ему танцевать, но Бейли только пронзил ее взглядом. Он не унаследовал ее беспечного и жизнерадостного характера и в поездках всегда нервничал. Карие глаза бабушки блестели. Она мотала головой из стороны в сторону и делала вид, будто танцует не вставая со стула. Джун Стар сказала:

— Сыграйте такую музыку, под которую можно отбить чечетку.

Невестка опустила еще одну монету в автомат, он заиграл что-то быстрое, и Джун Стар вышла из-за стола и отбила чечетку.

— Какая милашка, — сказала жена Рыжего Сэма, ложась грудью на стойку. — Пойдешь ко мне в дочки?

— Еще чего! — сказала Джун Стар. — Да я и за миллион в такой развалюхе жить не стану. — И побежала на свое место.

— Какая милашка, — повторила женщина, натянуто улыбаясь.

— И тебе не стыдно? — прошипела бабушка.

Тут вошел Рыжий Сэм и сказал жене, что хватит прохлаждаться, пора выполнять заказ. Брюки цвета хаки держались у него на бедрах, а под рубашкой, как куль с мукой, колыхалось брюхо. Он подошел к ним, уселся за ближний столик и испустил глубокий переливчатый вздох.

— Как ни крутись, все равно в дураках останешься, — сказал он и утер распаренное красное лицо грязным платком. — Такие времена пошли, никому верить нельзя, — сказал он, — что, не правду я говорю?

— Да, вы правы, в прежние времена люди были куда приличнее, — сказала бабушка.

— Вот на прошлой неделе заявили ко мне два парня, подкатили на «крейсере». Машина старая, побитая, но дорогая, ну, я им и поверил. Они сказали, что работают на лесопилке, и хотите верьте, и хотите нет, а я отпустил им бензину в долг. Вот вы мне объясните, почему?

— Потому что вы хороший человек, — не задумываясь ответила бабушка.

— Да, мэм, не иначе как поэтому, — сказал Рыжий Сэм, будто пораженный бабушкиным ответом.

Тут в зал вошла его жена, она несла пять тарелок без подноса разом — по две в каждой руке и одну на согнутом локте.

— На всем белом свете никому нельзя верить, — сказала она. — Ни одной живой душе, ну ни единой, — повторила она и метнула взгляд на Рыжего Сэма.

— А вы читали про этого преступника, про Изгоя, который убежал из тюрьмы? — спросила бабушка.

— Он к нам как пить дать пожалует. Прослышит про нас — и пожалует, — сказала жена Сэма. — Прослышит, где хоть два цента в кассе есть, и как пить дать...

— Хватит, — сказал Рыжий Сэм, — иди принеси гостям кока-колу.

И женщина ушла.

— Хорошего человека найти нелегко, — сказал Рыжий Сэм. — Жизнь пошла хуже некуда. А ведь я еще помню времена, когда можно было уйти из дому и даже дверь не запирасть. Не то что теперь.

Рыжий Сэм и бабушка потолковали о прежних временах. Старушка сказала, что, по ее мнению, во всем виновата Европа: в Европе, наверное, думают, у нас денег куры не клюют. Рыжий Сэм сказал: что верно, то верно. Дети выбежали из «Башни» на белый слепящий солнечный свет и стали смотреть на обезьянку, затаившуюся в кружеве мыльного дерева. Обезьянка сосредоточенно вылавливала блох и каждую аккуратно раскусывала, словно деликатес.

Палящим полднем они снова двинулись в путь. Бабушка клевала носом и чуть не каждую минуту просыпалась от собственного храпа. По-настоящему она проснулась уже за Тумсборо и вдруг вспомнила, что здесь по соседству есть старая плантация, куда она приезжала как-то раз еще до своего замужества. Она сказала, что по фасаду дома шли шесть белых колонн, и вела к нему дубовая аллея, и по бокам ее стояли две увитые плющом беседки, где можно было отдохнуть, когда нагуляешься по саду с кавалером. Она ясно помнила, куда надо свернуть, чтобы проехать к плантации. Она знала, что Бейли будет жалко тратить время на какой-то старый дом, но чем больше она говорила про дом, тем больше ей хотелось снова увидеть его и проверить, сохранились ли те беседки.

— И еще там есть тайник, — схитрила бабушка: она лгала, но ей очень хотелось, чтобы это была правда. — Я слышала, что когда здесь проходила армия Шермана, фамильное серебро спрятали в тайник, а потом так и не отыскали...

— Ой-ой, — закричал Джон Весли, — поедем туда, поглядим! Найдем клад! Простучим все доски и обязательно найдем! Кто там живет? Куда надо сворачивать? Эй, пап, можно, мы туда свернем?

— Мы в жизни не видели дома с тайником, — вмешалась Джун Стар. — Поедем к этому дому, посмотрим на него! Эй, пап, можно посмотреть на этот дом?

— Он отсюда недалеко, — сказала бабушка, — минут двадцать езды, не больше.

Бейли смотрел прямо перед собой. Челюсть у него выступила вперед подковой.

— Нет, — отрезал он.

Дети вопили и визжали: вынь да положь им дом с тайником. Джон Весли лягал ногами переднее сиденье, а Джун Стар повисла над матерью и надсадно ныла ей в ухо, что ничего хорошего они никогда не видят даже на каникулах и ничего никогда не бывает по-ихнему. Тут разревелся младенец, и Джон Весли так лягнул сиденье, что удар отозвался у отца в почках.

— Ладно! — крикнул Бейли, свернул к обочине и остановил машину. — Замолчите вы или нет? Если вы не помолчите хоть минуту, мы вообще никуда не поедем.

— Такая поездка будет очень полезной для их развития, — вставила бабушка.

— Ладно, — сказал Бейли, — но учтите, я делаю крюк один раз. И это будет первый и последний раз.

— Та грунтовая дорога, на которую надо свернуть, примерно в миле отсюда, — объяснила бабушка. — Я заметила, когда мы проезжали.

— Грунтовая! — простонал Бейли.

Пока они разворачивались и ехали назад, бабушка успела припомнить еще

много интересного про дом — оказывается, там было красивое цветное окно над входом и в зале люстра на много свечей. Джон Весли сказал, что тайник наверняка в камине.

— В дом войти нельзя, — сказал Бейли, — неизвестно, кто там живет.

— Вы останетесь на пороге — заговаривать зубы хозяевам, а я обегу дом и влзу в окно, — нашелся Джон Весли.

— Никто не выйдет из машины, — сказала его мать.

Они свернули, и машина, вздымая клубы красной пыли, запрыгала по грунтовой дороге. Бабушка вспомнила, как в прежние времена, когда мощных дорог еще не было, за день еле-еле проезжали тридцать миль. Дорога шла по бугристой местности, на ней то и дело попадались водомоины, а на крутых насыпях она внезапно поворачивала. Они то взлетали на бугор — и на много миль под ними простирались голубые верхушки деревьев, то сверзались в красную котловину — и пропыленные деревья возвышались над ними.

— Если усадьба сейчас не покажется, — сказал Бейли, — я поворачиваю.

Видно было, что по дороге давным-давно никто не ездит.

— Тут уже близко, — сказала бабушка, и не успела она закончить фразу, как ее пронзила страшная мысль. Мысль эта ее так ошарашила, что кровь хлынула старушке в лицо, глаза расширились, а ноги, непроизвольно подскочив, толкнули саквояж. Саквояж упал, газета, прикрывавшая корзинку, с рыком поднялась, и кот Питти Синг взлетел к Бейли на плечо.

Детей бросило на пол, невестку, прижимавшую к груди младенца, через дверцу выбросило на землю, бабушку швырнуло на переднее сиденье. Машина перевернулась и рухнула под откос. Бейли усидел на месте, а шею ему гусеницей обвил кот — серый, с круглой белой мордой и оранжевым носом.

Едва дети убедились, что руки-ноги у них целы, как они выскочили из машины с воплем:

— Авария! У нас авария!

Бабушка, скрючившаяся под приборным щитком, мечтала оказаться раненой: тогда Бейли не сможет обрушить на нее свой гнев. А страшная мысль, что пришла ей в голову перед аварией, была вот такая: дом, который она так живо помнила, находился не в Джорджии, а в Теннесси.

Бейли обеими руками оторвал от себя кота и шваркнул его о дерево. Потом вылез из машины и поискал глазами жену. Она сидела, привалившись спиной к склону красного, вымытого дождями овражка, и прижимала к груди разрывающегося от крика младенца. Плечо у нее было сломано, по лицу тянулся глубокий порез, но в остальном все было в порядке.

— А у нас авария! — захлебывались от восторга дети.

— Только никого не убило, — разочарованно протянула Джун Стар, когда увидела, как бабушка выкарабкалась из автомобиля и, прихрамывая, отошла от него. Шляпку удержала на ее голове булавка, но поломанные поля встали дыбом и букетик фиалок повис над ухом. Бейли и бабушка тоже опустились в овражек — посидеть, прийти в себя. Всех била дрожь.

— Может, кто-нибудь проедет мимо, — хрипло сказала невестка.

— Я чувствую, я себе что-то повредила, — сказала бабушка, прижимая рукой бок, но никто не отозвался.

У Бейли стучали зубы. Он был в желтой рубашке навывпуск, по которой прыгали ядовито-синие попугаи, и лицо его было едва ли не желтее рубашки. Бабушка решила не говорить им, что тот дом в Теннесси.

Дорога шла футах в десяти над ними, так что они видели лишь верхушки деревьев по ту ее сторону. Прямо за овражком тоже стоял лес, черный, высокий, непроглядный. Через несколько минут на дальнем холме показался автомобиль, он приближался так медленно, словно те, кто в нем сидел, разглядывали их. Бабушка встала и отчаянно замахала руками, чтобы привлечь к себе внимание. Машина так же медленно скрылась за поворотом, показалась снова и еще медленнее поднялась на холм, с которого они свалились. Машина была черная, выдавая виды и напоминала катафалк. В ней сидели трое мужчин.

Машина затормозила прямо у них над головой, водитель уперся в них твердым непроницаемым взглядом и молча смотрел так несколько минут. Потом обернулся к своим спутникам, сказал что-то вполголоса, и те вылезли из машины. Первым вылез жирный парень в черных брюках и красной футболке, по груди которой скакал серебряный жеребец. Парень зашел справа и остановился, распустив рот в глуповатой ухмылке. Второй был в армейских штанах и синем полосатом пиджаке, надвинутая на лоб серая шляпа закрывала его лицо. Он не спеша зашел слева. Оба молчали.

Водитель вылез из машины и остановился, по-прежнему не сводя с них глаз. Этот был постарше. Волосы его уже тронула седина, очки в серебряной оправе придавали ему ученый вид. Его длинное лицо прорезали глубокие морщины, и ни рубашки, ни майки на нем не было. Он был одет в тесные джинсы и в руках держал черную шляпу и револьвер. Парни тоже были вооружены.

— А у нас авария! — заорали дети.

Бабушку не покидало странное ощущение, что она знает человека в очках. Лицо его казалось ей таким знакомым, будто она знала его всю жизнь, только не могла припомнить, кто он. Он отошел от машины и стал спускаться под откос, осторожно ступая, чтобы не оскользнуться. Обут он был в коричневые с белым туфли, из которых торчали тощие красные лодыжки, и носков на нем не было.

— Добрый день, — сказал он. — Вижу, вы перевернулись.

— Целых два раза! — сказала бабушка.

— Разок, — поправил он, — мы видали. Загляни в машину, Хайрам, погляди, исправная она или нет, — сказал он тихо парню в серой шляпе.

— Зачем вам револьвер? — спросил Джон Весли. — Что вы с ним будете делать?

— Дамочка, — сказал старший невестке, — поκληчьте ребятишек, велите им рядышком с вами сесть. А то они мне на психику действуют. Все, все рядком — вот там, где и сидите.

— Чего это вы там указываете, что нам делать? — спросила Джун Стар.

За их спиной черной пастью зияли леса.

— Подите сюда, — сказала невестка.

— Послушайте, — вдруг сказал Бейли. — С нами случилась беда. С нами...

И тут бабушка вскрикнула. Она вскочила и вперилась в старшего взглядом.

— Вы Изгой, — сказала она, — я вас сразу узнала.

— Да, мамаша, — сказал старший, чуть улыбаясь: видно было, что известность, невзирая ни на что, радует его. — Только лучше вам было б не узнавать меня, для вас для всех же лучше.

Бейли резко обернулся и так обругал старушку, что даже дети смутились. Она расплакалась, а Изгой покраснел.

— Мамаша, — сказал он, — не горюйте. С мужчинами бывает: иной раз они сказанут такое, чего и не думают. Он небошь не хотел вас так обзывать.

— Вы ведь не станете убивать даму, правда? — сказала бабушка, вытащила из-за манжеты чистый платочек и промакнула глаза.

Изгой уперся носком в землю, выковырял ямку, потом засыпал ее.

— Не хотелось бы.

— Послушайте, — чуть не кричала бабушка, — я знаю, вы хороший человек, сразу видно, что вы не из простых! Я знаю, вы из приличной семьи.

— Да, — сказал он, — приличней не бывает. — И оскалил в улыбке крепкие белые зубы. — Лучше моей матери не рождалось на свет женщины, а уж отец и вовсе золотой был человек, — сказал он.

Парень в красной футболке встал у них за спиной и прижал револьвер к бедру. Изгой присел на корточки.

— Пригляди за ребятишками, Бобби Ли, — сказал он, — ты же знаешь, они мне на психику действуют. — И обвел взглядом сбившуюся в кучу шестерку. На лице его было написано смущение, словно он растерялся и не знает, что бы им сказать. — Небо-то какое — ни облачка, — заметил он, поднимая глаза. — Солнце, правда, спряталось, зато и облаков не видать.

— Да, прекрасная погода!— сказала бабушка.— Послушайте,— сказала она.— Вы себя напрасно Изгоем назвали, потому что в душе вы хороший человек. Я как вас увидела, так сразу поняла.

— Тише!— гаркнул Бейли.— Всем молчать и не вмешиваться.— Он сидел на корточках, как бегун перед стартом, но не двигался с места.

— Спасибо на добром слове, мамаша,— сказал Изгой и рукояткой револьвера нарисовал на земле кружок.

— Я их телегу за полчаса в порядок приведу,— сказал Хайрам из-за поднятого капота.

— Вот и ладно, только сперва вы с Бобби Ли возьмете его и парнишку ихнего,— сказал Изгой, указывая на Бейли и Джона Весли,— и сведете в тот лесок. У ребят просьба к вам,— сказал он Бейли.— Не откажите прогуляться с ними в лесок, а?

— Послушайте,— сказал Бейли.— Мы попали в беду. И никто этого не понимает.— Голос его сорвался. Глаза у него были такими же пронзительно-синими, как попугай на рубашке, и он не трогался с места.

Бабушка поднесла руку к шляпе — опустить поля, будто собралась на прогулку с сыном, но соломка осталась у нее в руке. Она минуту смотрела на нее, потом уронила на землю, Хайрам поддержал Бейли за локоть, казалось, он помогает подняться немощному старику. Джон Весли ухватил отца за руку. Бобби Ли замыкал шествие. Так они дошли до темной опушки, и тут Бейли обернулся, вцепился в голый серый ствол сосны и крикнул:

— Мама, я сейчас вернусь! Жди меня!

— Возвращайся сию минуту!— крикнула бабушка, но мужчины уже скрылись в лесу.— Бейли, сынок,— скорбно позвала его бабушка, но при этом она не отрываясь смотрела на Изгоя: тот по-прежнему сидел перед ней на корточках.— Я чувствую, что вы хороший человек,— сказала она чуть не плача.— Вы не из простых.

— Нет, мамаша, не хороший я человек,— повременив, будто он обдумывал ее слова, ответил Изгой,— но и хуже меня люди бывают. Отец мой говорил: ты, видно, другого помета, чем твои братья и сестры. А разница та, говорил отец, что одни всю жизнь проживут и не подумают зачем, а другим все непременно надо знать что да почему, и малец этот из таковских. Он всюду встречать будет.— Изгой надел черную шляпу, поднял на бабушку глаза, потом отвел их в глубь леса, словно его снова что-то смутило.— Извините, что я при вас без рубашки, дамочки,— сказал он, чуть ссутулясь,— только мы одежду, в которой удрали-то, зарыли, ну и пробавляемся, пока чего получше не подберем. Эту вот, что на нас, у встречных заняли,— объяснил он.

— Не беспокойтесь,— сказала бабушка.— У Бейли должна быть запасная рубашка.

— Там разберемся,— сказал Изгой.

— Куда они его повели?— закричала невестка.

— Отец мой тоже был парень не промах,— сказал Изгой.— Но с властями умел ладить, у него все было шито-крыто.

— И вы бы могли стать честным человеком, если б только постарались,— сказала бабушка.— Вы только подумайте, как хорошо остепениться, зажить спокойно, не бояться, что за тобой гонятся по пятам.

Изгой все ковырял землю рукояткой револьвера; казалось, он обдумывает бабушкины слова.

— Да, это вы точно сказали, мамаша. Уж кто-нибудь да обязательно за тобой гонится,— тихо сказал он.

И тут бабушка — она смотрела на него сверху — заметила, какие тощие у него лопатки.

— Вы когда-нибудь молитесь?— спросила она.

Он покачал головой. Но бабушка увидела только, как заколыхалась черная шляпа над лопатками.

— Нет, мамаша,— сказал он.

В лесу раздался выстрел, за ним второй. И снова наступила тишина. Старушка судорожно обернулась. Было слышно, как по верхушкам деревьев долгим довольным вздохом прошелестел ветер.

— Бейли, сынок! — позвала она.

— Я ведь когда-то по дорогам ходил, псалмы распевал, — говорил Изгой, — чего только я не перепробовал в жизни. В армии служил, на суше и на море, здесь и за границей, женат был два раза, и в похоронном бюро и на железной дороге работал, матушку землю пахал, как-то в смерч попал, раз видел, как человека живьем сожгли. — И он поглядел на невестку и девочку: они прижались друг к другу, лица у них были белые, а глаза остекленели. — А разок видал даже, как женщину засекли насмерть, — сказал он.

— Молитесь и молитесь, — начала бабушка, — молитесь и молитесь.

— Плохим я в детстве не был, не помню такого, — продолжал Изгой чуть не баюкающим голосом, — но разок я оступился, и засадили меня в тюрьму и похоронили заживо. — Он поднял глаза и уставился на бабушку, не давая ей отвести взгляд.

— Вот вы бы тогда и начали молиться, — сказала она. — За что вы в первый раз попали в тюрьму?

— Направо взгляни — перед тобой стена, — сказал Изгой и снова поднял глаза к безоблачному небу. — Налево взгляни — тоже стена. Наверх взгляни — потолок, вниз взгляни — пол. Забыл я уже, мамаша, что я сделал. Я уж там сидел-сидел, вспоминал-вспоминал, что я сделал, и так до сих пор и не вспомнил. Иной раз померещится — вот-вот вспомню, да нет, куда там.

— А может быть, вас по ошибке посадили, — нерешительно сказала бабушка.

— Нет, мамаша, — сказал Изгой, — не могло тут быть ошибки. У них бумага на меня была.

— Вы, наверное, что-нибудь украли, — сказала бабушка.

Изгой криво ухмыльнулся.

— Ни у кого не было такого, на что б я позарился, — сказал он. — Мне доктор, какой психов дечит, говорил, будто меня за то посадили, что я отца убил, только врал он. Отец мой еще в девятьсот девятнадцатом помер от испанки, и я к тому касательства не имел. И схоронили его в Маунт-Хэвеле, на кладбище баптистском, можете туда поехать своими глазами на могилку поглядеть.

— Если б вы молились, — сказала старушка, — Иисус бы вас спас.

— Так-то оно так, — сказал Изгой.

— Тогда почему же вы не молитесь? — спросила бабушка, и ее вдруг заколотила дрожь восторга.

— А меня спасать нечего, — сказал он, — только я сам себя спасти могу.

Бобби Ли и Хайрам вышли из лесу и побрели к ним. Бобби Ли волочил за собой желтую рубашку в ядовито-синих попугаях.

— Кинь мне рубашку эту, Бобби Ли, — сказал Изгой.

Рубашка взлетела, опустилась ему на плечо, и он натянул ее. Бабушка не смогла бы объяснить, что напоминает ей эта рубашка.

— Нет, мамаша, — сказал Изгой, застегивая рубаху, — я так понимаю, что не в злодействе суть. Чего ни сделаешь — убьешь ли человека, колесо ли с машины снимешь — все равно забудешь потом, что ты сделал, и наказание так и так понесешь.

Невестка широко открывала рот, словно ей не хватало воздуха.

— Дамочка, — попросил Изгой, — пройдите в лесок с девочочкой вашей, а? Бобби Ли и Хайрам вас к мужу проводят.

— Спасибо, — сказала невестка еле слышно. Левая рука ее висела плетью, и уснувшего младенца она держала правой.

— Подсоби дамочке подняться, Хайрам, — сказал Изгой, видя, с каким трудом невестка поднимается по откосу. — А ты, Бобби Ли, возьми за руку девочочку.

— Вот еще, не хочу я держаться с ним за руки,— сказала Джун Стар,— он на свинью похож.

Толстый парень побагровел, засмеялся, схватил Джун Стар за руку и потащил вслед за Хайрамом и невесткой в лес.

Оставшись с Изгоем наедине, бабушка обнаружила, что ей отказал голос. В небе не было ни облачка, но и солнца не было.

Вокруг чернел лес. Бабушка хотела сказать Изгой, чтоб он молился. Она открывала и закрывала рот, но не могла произнести ни звука. И наконец: «Господи Иисусе, господи Иисусе»,— услышала она свой голос; она хотела сказать: «Господи Иисусе, спаси его», но произнесла это так, будто поминала имя божье всуе.

— Да, мамаша,— сказал Изгой, словно соглашаясь с ней.— Иисус все перевернул вверх тормашками. Прямо как я. Разница только, что он зла не делал, а я делал, это они доказали, потому как у них бумага на меня была, хотя бумагу ту,— сказал он,— мне и не показывали. Так что теперь я везде подписую свою ставлю. Я тогда еще решил: завести подпись и все, что ни сделал, записывать и делам своим учет вести. Чтoб знать, что ты сделал, и сравнить злодейство свое с наказанием, тебе назначенным, и посмотреть, по злодейству ли наказание. Тогда на Страшном суде доказать можно, что обошлись с тобой несправедливо. Я себя Изгоем потому прозвал,— сказал он,— что совсем один остался и так и не пойму, по справедливости я от людей терпел или нет.

Из лесу послышался отчаянный вопль, за ним выстрел.

— А вы как считаете, мамаша, по справедливости это, когда одного наказывают — меры не знают, а другого вовсе не наказывают?

— Господи Иисусе!— закричала бабушка.— Вы же из хорошей семьи. Я знаю, у вас рука не поднимется на даму. Я знаю, вы не из простых! Молитесь! Господи, не станете же вы стрелять в даму! Я отдам вам все деньги!

— Мамаша,— сказал Изгой, глядя мимо нее в лес,— слыханное ли дело, чтоб покойник давал на чай гробовщику?

Раздалось еще два выстрела, и бабушка вытянула шею, как индюшка, которая томится жаждой, и закричала: «Бейли, сынок!» — так, словно у нее разрывалось сердце.

— Только Иисус мог воскрешать мертвых,— продолжал Изгой,— да и он зря это затеял. Он все перевернул вверх тормашками. Если так было, как он говорит, тогда ничего не остается, как все бросить и идти за ним, а если не так, тогда те считанные часы, что тебе жить предназначено, надо лучше провести — убивать, дома жечь или другие паскудства делать. Слаще паскудства ничего нет,— почти прорычал он.— Только и есть счастья в жизни.

— А может быть, он и не воскрешал мертвых.— Старушка сама не сознавала, что говорит, голова у нее закружилась, колени подогнулись, она села наземь.

— Меня там не было, когда он людей воскрешал, так что зря говорить не стану,— сказал Изгой,— а хотелось бы мне там быть,— сказал он и стукнул кулаком по земле.— По справедливости должен был я там быть, уж тогда б я знал наверняка, воскрешал он мертвых или нет. Слышь, мамаша,— чуть не визжал он,— будь я там, я б все вызнал наверняка и, может, совсем другим человеком бы стал!

Казалось, голос его вот-вот сорвется, и тут бабушку озарило. Она увидела его перекошенное лицо рядом со своим, и ей показалось, что он сейчас заплачет.

— Ты ведь мне сын,— забормотала бабушка.— Ты один из детей моих.

Она протянула к нему руку и коснулась его плеча. Изгой отскочил, словно его ужалила змея, и всадил бабушке в грудь три пули. Потом положил револьвер на землю, снял очки и стал протирать стекла.

Хайрам и Бобби Ли вернулись из лесу и остановились на краю овражка поглядеть на бабушку — она не то сидела, не то лежала в луже крови, по-детски поджав ноги и улыбаясь безоблачному небу.

Без очков глаза Изгоя, воспаленные и водянистые, казались беззащитными.

— Забери ее и брось туда же, куда и других,— сказал он и подхватил на руки кота, который терся об его ногу.

— Болтливая старуха была,— сказал Бобби Ли и с гиком прыгнул в овражек.

— Хорошая женщина была б, если б в нее каждый день стрелять,— сказал Изгой.

— Тоже мне удовольствие,— сказал Бобби Ли.

— Заткнись, Бобби Ли,— сказал Изгой.— Нет в жизни счастья.

Перевела Л. БЕСПАЛОВА.

Судный день

Тэннер берегал силы для возвращения домой. Он решил идти куда сможет и надеялся, что потом ему поможет всевышний. Сегодня утром, так же как и вчера, он позволил дочери себя одеть — и вот сберег еще немного сил. Сейчас он сидел в кресле у окна — синяя рубаха застегнута доверху, шляпа на голове, пальто на спинке кресла, — поджидая, когда дочь отправится за покупками. Он не мог скрыться, пока она здесь. Окно выходило в узкий проулок, утонувший в смрадном нью-йоркском воздухе, а напротив взгляд упирался в кирпичную стену. За окном лениво кружились снежинки, такие мелкие и редкие, что он их не замечал — слишком плохо видели его слабеющие глаза.

Дочь мыла на кухне посуду. Она все делала не спеша, с прохладцей, и постоянно сама с собой разговаривала. В первые дни после приезда к дочери Тэннер пытался поддерживать разговор, но оказалось, что собеседник ей вовсе не нужен. Дочь только раздраженно взглядывала на него — дескать, даже такой старый дурень, как он, мог бы догадаться, что не надо встречать, когда женщина разговаривает сама с собой. Она задавала какой-нибудь вопрос, а потом, изменив голос, сама же и отвечала. Вчера утром, разрешив дочери себя одеть, он сберег силы, чтоб написать записку, и для сохранности пришил ее в кармане булавкой. «Если умру переслать меня срочным багажом за счет получателя Коулмена Паррума в город Коринт штат Джорджия». И приписал: «Коулмен продай мое имущество и заплати в транспортную и похоронную контору. Все что останется можешь взять себе. Всегда твой Т. С. Тэннер. P. S. Коулмен живи где живешь. Не поддавайся их уговорам. Не приезжай в эту дыру». Он трудился над запиской почти полчаса — буквы заваливались, налезали друг на дружку, но при желании разобрать текст было можно. Он придерживал правую руку левой. Но когда он справился наконец с запиской, дочь уже вернулась из магазина.

Зато сегодня все было готово. Только встать и заставить ноги двигаться — чтобы дойти до двери и спуститься по лестнице. Спустился — выбирайся из их квартала. Выбрался — нанимай первое такси и поезжай до железнодорожной товарной станции. Доехал — залезай в товарный вагон, найдется какой-нибудь бродяга, поможет. Залез — все: ложись и отдыхай. Ночью состав отправится на Юг, и к завтрашнему дню или послезавтрашнему утру, живой или мертвый, он придет домой. Живой или мертвый. Главное — добраться, а уж живым или мертвым — это как бог даст.

Будь он поумней, он вернулся бы домой на следующий же день после того, как приехал. А если бы он с самого начала не умничал, так он бы и вовсе сюда не приехал. Но по-настоящему он отчаялся два дня назад, когда услышал разговор дочери с зятем. Зять уезжал в трехдневный рейс — он был шофером мебельного фургона. Они прощались, стоя в прихожей, и дочь, наверно, протягивала ему кожаную кепку, потому что она сказала:

— Купил бы ты шляпу.

— И уселся бы у окна,— подхватил зять,— как этот. А что ему? Сидит себе весь день в своей шляпе. Напялит свою треклятую черную шляпу и сидит. Это в доме-то!

— А ты и шляпой не обзавелся,— сказала она.— Знай себе ходишь в этой кепчонке с ушками. Самостоятельные люди все носят шляпы. А так, кое-какие, бегают в кожаных кепчонках.

— Самостоятельные люди?— выкрикнул зять.— Самостоятельные? Ну, уморила! Ей-богу, уморила!— У зятя было жесткое и бессмысленное лицо, да еще и голос гундосый, как у всех этих янки.

— Папа здесь живет и будет здесь жить,— сказала дочь.— Да ведь долго он не протянет. Зато он всю жизнь был самостоятельным человеком — пока был человеком, а не дряхлым стариком. Уж он-то никогда ни на кого не работал, а вот другие — другие на него работали.

— Тоже мне, другие,— сказал зять.— Ниггеры! Ниггеры-то и на меня, случилось, работали.

— На тебя? Да это срамota была, а не ниггеры,— сказала дочь, вдруг понизив голос, так что Тэннер стал с трудом различать слова и подался вперед.— Вот именно — срамota! А для того чтобы командовать настоящим ниггером, нужны мозги. Нужно уметь с ним управиться.

— А у меня, значит; уж и мозгов нету,— сказал зять.

Внезапно — а это с ним очень редко случалось — Тэннера захлестнуло теплое чувство к дочери. Временами она начинала разговаривать так, что могла, пожалуй, даже и неглупой показаться: в ее голове хоть и под спудом, но все же теплился здоровый смысл.

— Есть,— сказала она,— но ты не всегда ими шевелишь.

— Его хватил удар, когда он увидел на лестнице ниггера,— сказал зять,— а она мне тут толкует...

— Тише ты, не ори,— сказала она.— А удар его хватил вовсе не поэтому. Немного помолчав, зять сменил тему:

— Где ты собираешься его похоронить?

— Кого похоронить?

— Ну этого. Твоего.

— Да прямо здесь, в Нью-Йорке,— сказала она.— А ты думал где? Мы ведь купили место. Не тащиться же мне снова одной в Коринт.

— Конечно,— сказал он.— Это я так, к слову.

Когда она вошла в комнату, Тэннер сидел в кресле, яростно вцепившись руками в подлокотники. Он уставился на нее, словно оживший от злости труп.

— Ты обещала похоронить меня там,— прохрипел он.— Обещала, врунья! Обещала, врунья! Обещала, врунья! Обещала, врунья,— невнятно бормотал он пресекающимся голосом. Его трясло: тряслась голова, тряслись ноги, руки.— Так хорони меня здесь и будь навеки проклята!— выкрикнул он и откинулся на спинку кресла.

Дочь глянула на него, оторвавшись от своих мыслей.

— Да ведь ты еще живой.— Она тяжело вздохнула.— Рано об этом думать.

Отвернувшись, она стала собирать листы газеты, разбросанные на полу рядом с его креслом. У дочери были седые до плеч волосы и круглое, немного отяжелевшее лицо.

— Я в лепешку для тебя расшибаюсь,— пробормотала она,— и вот твоя благодарность.— Она сунула газету под мышку и добавила:— И не пугай ты меня проклятьями. Я в них не верю. И ни в какие баптистские бредни не верю.— С этими словами она ушла на кухню.

Он напрягся и оскалился, стиснув искусственные зубы и придерживая языком пластмассовое небо. И все равно по щекам у него полились слезы, и он стал украдкой вытирать их о плечи.

Теперь, на кухне, она заговорила в полный голос.

— Ведь хуже ребенка, честное слово. То он хотел сюда ехать. То ему здесь не нравится.

Не хотел он сюда ехать.

— Делал вид, что не хочет, ну да я-то видела. Не хочешь, говорю, не езди, заставляй не собираюсь. Не хочешь жить, как живут приличные люди, оставайся здесь, что я могу сделать.

— Вот я, например, — вступил второй ее голос, — не буду я привередничать в свой смертный час. Пусть меня схоронят на ближайшем кладбище. Когда мне придет время перебираться на тот свет, я не захочу портить нервы живым. Потому что думаю не только о себе.

— Вы-то конечно, — отозвался первый ее голос. — Да вы никогда и не были эгоисткой. Вы ведь всегда заботитесь о людях.

— Стараюсь, по крайней мере, — подтвердил второй ее голос.

На мгновение он прижал голову к спинке кресла, так что шляпа съехала ему на глаза. Он вырастил троих парней и ее. Парней уже нет (двоих унесла война, третий куда-то сгинул), и осталась только она — замужняя и бездетная цаца из Нью-Йорка, и она сразу решила увезти его с собой, когда приехала и увидела, как он живет. Она просунула голову в дверь лачуги и с секунду бесстрастно глядела внутрь. Потом вдруг взвизгнула и отскочила назад.

— Что там на полу?

— Коулмен, — сказал он.

Старый негр, свернувшись на соломенном тюфяке, спал у изножья Тэннеровой кровати — вонючий кожистый мешок с костями, по форме отдаленно напоминающий человека. В молодости Коулмен был похож на медведя; состарившись, он стал походить на обезьяну. С Тэннером все получилось наоборот: в молодости он был похож на обезьяну, а состарившись, стал походить на медведя.

Дочь отступила подальше от двери. К стене лачуги, сколоченной из горбылей, были прислонены сиденья от двух стульев, но дочь не остановилась, не захотела присесть. Она спустилась с крыльца и отошла шагов на десять — как будто ближе она задышалась от вони. И только после этого дочь сказала свое слово:

— Если у тебя нет гордости, она есть у меня, я знаю свой долг — меня так воспитали — и я его выполню. Меня мама так воспитала. Она была хоть из простых, да не поселилась бы вместе с ниггером.

В этот момент старый негр проснулся и выскользнул за дверь — Тэннер едва его заметил: скрюченная тень, исчезающая вдали.

Дочь его опозорила. Поэтому он крикнул — так, чтобы негру тоже было слышно:

— А кто мне, по-твоему, готовит еду? Кто рубит дрова и все здесь вычищает? Он у меня вроде как на поруках, понимаешь? Этот висельник сам предался мне в руки — тридцать лет назад. Но вообще-то он ничего.

Дочь не обратила на его слова внимания.

— Чья это хоть лачуга? Твоя или его?

— Он да я, мы ее сами построили. А ты отправляйся откуда приехала. Да я и за миллион с тобой не поехал бы! Да ни за какие коврижки!

— Оно и видно, что сами, — сказала она. — А на чьей земле?

— Хозяева во Флориде, — сказал Тэннер уклончиво.

Земля продавалась, и он давно об этом слышал, но надеялся, что никто ее, такую тощую, не купит. В тот же вечер он узнал, что не тут-то было. Узнал как раз вовремя, чтоб согласиться уехать. Узнай он об этом хоть на день позже, может быть, он и сейчас бы жил там, дома, правда на птичьих правах, потому что землю-то купили.

Едва увидев эту бесплечую фигуру, уверенно плывущую в зарослях сорняков — точь-в-точь буро-коричневая морская свинья, — он сразу все понял без всяких объяснений. Если бы этот ниггер владел всем миром, кроме клочка городского поля, на котором они с Коулменом построили хибару, а теперь купил и его, он шел бы именно так: по-хозяйски раздвигая заросли сорняков, набычив толстую шею и выставив вперед брюхо — трон для золотых часов и цепки. Доктор Фоули. Цветной. Но не чистокровный негр. В нем перемешались и белые, и черные, и индейцы.

Для негров чуть ли не бог — целитель и гробовщик, советник по всем делам и хозяин земли, — он мог даже сглазить или избавить от сглаза. Ну, подумал Тэннер, теперь не зевай, хоть чего-нибудь с него да урви, даром что он ниггер. Не зевай, ведь у тебя против него что? — только белая шкура, в которой ты родился; так тебе от нее проку — как от слинявшей змеиной кожи. А попрешь против властей — пожалуй, спустят и шкуру.

Он сидел возле двери на сиденье от стула, наклонно прислоненном к стене хибары.

— Добрый день, Фоули, — сказал он и кивнул, когда негр, приблизившись, внезапно остановился, будто только сейчас вдруг заметил Тэннера, хотя было ясно, что он давно его увидел.

— Осматриваю свое хозяйство, — сказал негр. — Добрый день. — Он произносил слова фальцетной скороговоркой.

Без году неделю оно твое, подумал Тэннер.

— А я смотрю, кто-то идет, — сказал он.

— Я как раз на днях все это купил, — сказал негр, и, не глядя больше на Тэннера, ушел за хибару. Но сразу же вернулся и остановился прямо перед ним. Потом шагнул к двери и нахально заглянул внутрь. Коулмен и в этот раз спал на своем тюфяке. Через секунду доктор обернулся к Тэннеру.

— Знаю я этого черного, — сказал он. — Коулмен Паррум. Когда он встанет? Сколько ему надо, чтобы проспать после пойки, которое вы тут гоните? Тэннер изо всех сил вцепился в сиденье стула.

— А этот дом, между прочим, мой, тут только земля не моя. Просто наклад-ка вышла, — сказал он.

На мгновенье негр вынул изо рта сигару.

— Да, накладно выходит, — сказал он и ухмыльнулся.

Тэннер все сидел, глядя прямо перед собой.

— Только вот в накладе-то не я, — сказал негр.

— А я вечно оставался в накладе, — пробормотал Тэннер.

— А так всегда, — сказал негр, — один в накладе, другой в выгоде. — Он стоял перед Тэннером, слегка ухмыляясь и оглядывая его с головы до ног. Потом опять зашел за хибару — с другой стороны. Наступила тишина. Доктор искал самогонный аппарат.

Тут бы его и убить. Ружье стояло в хижине, и Тэннер запросто мог пристрелить этого ниггера, но он еще ни разу на такое не отважился, потому что боялся угодить в ад. За всю свою жизнь он не убил ни одного, он знал, как с ними управляться и без этого: ему вполне хватало его уменья и везенья. Ведь управляться с ними — особое искусство. Чтобы управиться с ниггером, надо дать ему почувствовать, что его мозги — никуда против твоих, и тогда он навеки у тебя в руках, тогда он враз поймет: с тобой не пропадешь. Вот и Коулмен сам предался ему в руки, это случилось тридцать лет назад...

Впервые они встретились, Тэннер и Коулмен, когда у Тэннера под началом было шестеро ниггеров: они работали на лесопилке в глухоманном бору — сам черт ногу сломит, пока туда доберется. Бригадка подобралась — надо б хуже, да некуда, к понедельнику его работники проспать не успевали. Ниггеры уже в то время что-то учуяли. Подступали выборы, и они надеялись, что скоро появится новый Линкольн, который вообще всякую работу отменит. Тэннеру удавалось держать их в узде с помощью острого перочинного ножа. У него уже и тогда было неладно с почками, и чтобы ниггеры не заметили его трясущихся рук, он все время строгал кусок коры или щепку. Да и сам он не желал замечать эту дрожь, а считаться со своими хворями и подавно не собирался. Нож кромсал древесину непрерывно, яростно, и время от времени грубо выструганные уродцы, на которых он сам никогда не смотрел, а посмотрев, не понял бы, что они такое, падали на землю. Негры подбирали их и уносили домой: между этими людьми и их древними предками, жившими когда-то в Африке, разницы почти не было. Нож непрерывно поблескивал у него в руках, и частенько, вплотную подойдя к негру, который лежал, облокотившись на пень, и вплотную следил за при-

ближающим хозяином, Тэннер говорил мимоходом: «Ниггер! Этот нож пока что у меня в руке, но если ты будешь разбазаривать мое время, он окажется у тебя в кишках. Понял?» — и негр начинал нехотя подыматься, нехотя, но раньше, чем он заканчивал фразу.

Вокруг лесопилки повадился слоняться здоровенный, совершенно черный, с ленивой силой в движениях негр ростом чуть ли не вдвое больше самого Тэннера; иногда он наблюдал, как другие работают, а иногда просто дрых у всех на виду, напоминая чудовищий от черного медведя.

— Это кто? — спросил Тэннер. — Если он хочет работать, пусть подойдет, а нет — пусть проваливает. Бездельники у меня тут слоняться не будут.

Они не знали, кто он. Они знали одно: работать этот шатун явно не хочет. Ничего другого они и знать не желали — ни откуда он, ни зачем болтается по лесу, хотя, возможно, он приходится кому-то из них братом, а может, он им всем был двоюродным дядей. В первый день Тэннер не обращал на него внимания — один тощий, пожелтевший от болезни белый с трясущимися руками против шестерых черных. Он не хотел торопить беду, но и ждать без конца не мог. На следующий день чужак пришел снова. Его шестерка все поглядывала на пришлого бездельника, а когда до обеда осталось полных тридцать минут, они бросили работу и принялись жрать. Он не решился их одернуть. Он понял, что надо вырвать корень беды.

Чужак стоял на опушке, привалившись к дереву, наблюдая за Тэннером из-под полупушенных век. Сквозь наглость в его лице проглядывала настороженность. Весь его вид, казалось, говорил, что, мол, этот белый — человечиска не ахти, но почему он здесь за главного и что у него на уме?

Он думал сказать: «Ниггер! Этот нож пока у меня в руке, но если ты не уберешься...» — да, подойдя ближе, раздумал. У негра были красные заплывшие глазки, и если он носил с собой нож, то наверняка не для забавы. Перочинный ножик Тэннера непрерывно двигался, но он орудовал им бессознательно: действовали только руки. Однако когда он вплотную подошел к негру, в куске коры, который он строгал, были проделаны две дырки каждая величиной с пятидесятицентовую монету.

Негр глянул на его руки — и застыл, разинув рот. Казалось, он не может отвести взгляда от ножа, яростно кромсающего кусочек коры. Он смотрел так, будто увидел незримую силу, которая направляла руки Тэннера.

Тогда Тэннер сам опустил глаза — и удивился не меньше негра: он держал в руках оправу для очков.

— Так ты, парень, плоховато видишь? — спросил он и стал разгребать землю носком ботинка. Потом нагнулся, поднял обломок проволоки, нашел другой, чуть покорооче, поднял и его, а потом начал спокойно прилаживать их к оправе. Теперь, зная, что делать, он не спешил. Когда очки были готовы, он протянул их негру. — Надень-ка эту штуку, парень, — сказал он. — Не нравится мне, когда кто-нибудь плохо видит.

Какое-то мгновение негр колебался: он мог вырвать очки и просто раздавить их, мог выхватить нож и ткнуть ему под ребро. Тэннер ясно уловил эту мгновенную нерешительность, когда в мутных, воспаленных с перепоею глазах негра читалось яростное желание выпустить белому кишки, борющееся с чем-то другим, он так и не понял с чем.

Все же негр потянулся за очками. Он аккуратно приладил дужки к ушам и глянул сквозь дырки — в одну сторону, в другую — с необычайной торжественностью. А потом посмотрел на Тэннера не то ухмыльнувшись, не то оскалившись — Тэннер не понял смысла его гримасы, но вдруг ощутил, всего лишь на секунду, что перед ним его двойник, только в черном варианте, будто шутство и рабство были их общей долей. Но ощущение сразу развеялось, и он не успел его осмыслить.

— Преподобный, — сказал он, — ты зачем тут околачиваешься? — Он снова поднял кусочек коры и стал не глядя кромсать его ножом. — Ведь сегодня не воскресенье.

— Не воскресенье?— сказал негр.

— Пятница,— сказал он.— Так оно с вами, преподобными, и получается: глядишь, за пьянством воскресенье и проморгали. Ну, а в очки тебе что теперь видать?

— Человека видать.

— Какого человека?

— Человека, чьи очки.

— Он белый или черный?

— Белый!— закричал негр, словно он только что прозрел и все вдруг увидел.— Во-во, сэр, он белый!

— Ну так и почитай его, как если он белый,— сказал Тэннер.— Как тебя зовут?

— Коулмен зовут,— сказал негр.

И вот тридцать лет, до самого отъезда к дочери, Тэннер не мог сбыть Коулмена с рук: тот предался ему навеки, шут гороховый. Надо только сделать из ниггера шута — и он сам навеки предастся тебе в руки, но зато уж если он делает шута из тебя, тогда или убей его, или смывайся. А он не хотел угодить в лапы к дьяволу за убийство ниггера. Он услышал, как за хибарой доктор пнул ведро. Он сидел и ждал.

Через секунду доктор появился опять—пробрался сквозь сорняки с другой стороны хижины, сшибая тростью метелки дикого проса. Он остановился шагах в десяти от крыльца, примерно на том же месте, где утром стояла дочь.

— Кое-кто живет здесь на птичьих правах,— сказал доктор,— и его можно притянуть к ответу.

Тэннер не отвечая, не шевелясь смотрел в поле.

— Так где самогонный аппарат?— спросил доктор.

— Если он тут и есть, так все равно он не мой,— сказал Тэннер и умолк, намертво закрыв рот.

Доктор негромко рассмеялся.

— А времена-то, я смотрю, изменились,— пробормотал он.— Помнится, у нас было вроде немного землицы по-за речкой, да теперь, видать, сплыло, а?

Тэннер все так же не отрываясь глядел в поле.

— Если кто согласен гнать для меня самогон,— сказал доктор,— тогда оно другое, конечно, дело. А нет, так можно и вещички собирать.

— Я не обязан работать на цветных,— сказал он.— Пока еще власти до такого не докатились, чтобы заставлять белых работать на цветных.

Доктор потер пальцем камень на своем перстне.

— Власти, они и мне не по нутру,— сказал он.— Ну да власти там, не власти, а деваться-то нам некуда. Можно, конечно, в город поехать жить, в Гранател, и снять там люкс.

Тэннер молчал.

— Да ведь он уже на подходе. Этот день,— сказал доктор,— когда белые станут работать на цветных, а кому-то всегда надо вперед других начинать.

— Для меня не на подходе,— отрезал Тэннер.

— Ну, значит, у же настал,— сказал доктор.— А для всех других пока еще не настал.

Взгляд Тэннера скользил вдоль синей кромки лесов, отчеркнувших выцветшее послеполуденное небо.

— У меня есть дочь на Севере,— сказал он.— Мне не придется работать на цветных.

Доктор вынул из кармана часы, посмотрел на них и сунул обратно в карман. Потом секунду глядел на свои ногти. Казалось, у него было точно подсчитано, сколько надо времени, чтобы все переиначилось.

— А дочке, ей старый папаша ни к чему, что бы она об этом ни толковала,— сказал он.— Ей даже богатый папаша ни к чему. У дочек, у них свои собственные расчеты. Другой бы черный на моем месте вызверился,— сказал он,— ну да я-то свое уже нажил. И я никогда ни на кого не накидывался. Могу подождать.—

Он опять взглянул на Тэннера. — Я приду через неделю. И если самогонный аппарат будет работать — значит, мы обо всем договорились, — сказал он.

Стоя перед Тэннером и слегка покачиваясь на пятках, негр немного подождал ответа, потом повернулся и пошел прочь, продираясь сквозь разросшуюся на тропинке траву...

Тэннер безжизненно смотрел вперед, как будто пустое выцветшее небо всосало в себя вместе с его пристальным взглядом и его жизнь, оставив лишь мертвую оболочку. Если бы сейчас ему предложили решить: сидеть день-деньской у окна в этой дыре или — на выбор — гнать самогон для ниггера, он бы согласился гнать самогон для ниггера. Он бы не задумываясь стал белым ниггером у ниггера. Дочь вернулась в комнату. У него забилося сердце, но через секунду он услышал, как она плюхнулась на диван. Значит, она еще не собирается уходить. Он не обернулся, не посмотрел на нее.

Некоторое время она сидела молча. Потом начала.

— Вся беда твоя в том, — сказала она, — что ты как уставишься спозаранку в окошко, так до ночи и сидишь. А на что там смотреть? Тебе нужно отвлечься, набраться впечатлений. Давай я поверну твое кресло к телевизору, чтоб ты хоть на минуту забыл эту мертвечину — смерть, адские муки, божье возмездие... О господи!

— День божьего суда близится, — пробормотал он. — Агнцы будут отделены от козлиц. Те, кто выполнял обещания, — от отступников. Те, кто не оскудевал в благих деяниях, — от грешников. Те, кто почитал отца своего и мать, — от тех, кто злословил их. Те...

Она вздохнула — так тяжело и громко, что почти заглушила его бормотанье.

— С тобой толковать — только слова зря тратить, — сказала она, ушла на кухню и стала с остервенением греметь кастрюлями.

Ну и важная же птица — просто деваться некуда! Там, у себя, он хоть и жил в хибаре, так зато мог дышать. И мог ходить по земле. А она здесь даже и живет-то не в доме. Понатыкали в небо голубятен и живут, куда ни сунешься — чужак на чужаке, и каждый несет свою тарабарскую околесину. Нормальному человеку в такой дыре не выжить. Он понял это в первые же пятнадцать минут, когда она повела его осматривать город — на следующее утро после приезда. И с тех пор он больше уж не выходил из квартиры. Все эти лифты до тридцать пятых этажей, самодвижущиеся лестницы, подземные железные дороги — ему даже думать о них было тошно. В тот раз, благополучно добравшись до дому, он представил себе, что привез сюда Коулмена и вот они отправились осматривать город. Конечно же, ему пришлось бы непрерывно оглядываться — ведь Коулмен мог в любую минуту отстать. Держись-ка поближе к домам, говорил он, а то эти люди враз тебя затопчут, держись-ка поближе ко мне, говорил он, а то потеряешься, да чертов же идиот, да не сдергивай ты все время шляпу, говорил он, а Коулмен, скрючившись, плелся сзади, одышливо бормоча:

— Ну на кой мы здесь ходим? Какого черта мы сюда притащились?

— Я хочу, чтобы ты сам увидел эту дыру. Чтобы ты знал, как хорошо ты жил там, где жил.

— Я-то знал, — бормотал Коулмен. — Это ты не знал.

Через неделю он получил от Коулмена открытку, написанную Хутеном с железнодорожной станции. Она была написана зелеными чернилами, и в ней говорилось: «Отписывает Коулмен X как ты там хозяин». Ниже Хутен прибавил от себя: «Ты, висельник, возвращайся домой, хватит околачиваться по злачным местам, всегда твой У. Т. Хутен». Он отправил в ответ открытку «Хутену для Коулмена», в которой говорилось: «Это место ничего — кому такие нравятся. Всегда твой Т. С. Тэннер». Открытку он отдал дочери и поэтому не написал, что собирается вернуться, как только очередной раз получит пенсию. Он решил, что не будет с ней ничего обсуждать, а просто, уходя, оставит записку. Получив пенсию, он выйдет на улицу, наймет первое попавшееся такси, доберется до автобусной станции — и в путь. Если бы он уехал, было бы лучше им обоим. Ее раздражало его всегдашнее угрюмство, а свой дочерний долг она несла как тяжкий

крест. Сумей он улизнуть, она обрадовалась бы вдвойне: ведь ей было бы не в чем себя упрекнуть, а он еще и неблагодарным бы оказался.

Ну, а он — он возвратился бы восвояси, чтобы жить хоть и на птичьих правах, да дома. Он стал бы работать на черного доктора, насквозь провонявшего дешевыми сигарами. И плевать ему, на кого работать, — лишь бы дома. Но его чуть не угробил ниггер-актер, а вернее, ниггер, назвавший себя актером. Тэннер-то ему, разумеется, не поверил.

В том огромном курятнике, где поселилась его дочь, было по две квартиры на каждом этаже. И вот когда он прожил у дочери три недели, жильцы из соседней квартиры уехали. Он видел, как грузчики выносили мебель, а назавтра в квартиру уже въезжали другие. Площадка была темная и очень узкая, но он стоял в сторонке, чтобы не мешаться под ногами, и только изредка давал грузчикам советы, которые могли бы здорово им помочь, если б они не пропускали его слова мимо ушей. Мебель была новая и довольно неприхотливая, поэтому он решил, что новые жильцы скорее всего окажутся молодоженами, и вот он тихонько подождет их на лестнице, а когда они придут, пожелает им счастья. Вскоре на лестнице показался негр — здоровый детина в голубом костюме, — он размашисто шагал через несколько ступенек, держа в руках два матерчатых чемодана и от натуги вытянув вперед шею. За ним шла молодая медноволосая женщина со светлой золотисто-коричневой кожей. Остановившись перед дверью соседней квартиры, негр брякнул чемоданы на пол.

— Милый, будь, пожалуйста, поаккуратней, — сказала женщина, — там моя косметика.

И тут Тэннер понял, что происходит.

Негр улыбнулся и шлепнул женщину по заду.

— Перестань, — сказала она, — вон старичок на нас смотрит.

Они оба оглянулись на Тэннера.

— Привет, — сказал он и легонько кивнул. Потом быстро повернулся и пошел к своей двери.

Дочь была на кухне.

— Знаешь, кто снял соседнюю квартиру? — спросил ее Тэннер с сияющим лицом.

— Кто? — отозвалась она, подозрительно на него глянув.

— Ниггер, — ответил он ликующим голосом. — Из Южной Алабамы, если я что-нибудь понимаю. И с ним рыжеволосая фря, только из светлых, и они поселились рядом с тобой. Чтоб мне провалиться! — Он хлопнул себя по колену. — Так-то вот, дорогуша, — сказал он и засмеялся в первый раз с тех пор, как уехал из дому.

Ее чуть оплывшее лицо вдруг стало жестким.

— Выговорился? — спросила она. — Теперь послушай меня. Ни в коем случае не пытайся с ними заигрывать, а лучше вообще держись от них подальше. Потому что здесь они совсем не такие, и я не хочу вляпаться в беду с ниггерами. Раз уж приходится жить рядом с ниггерами, не лезь к ним — тогда и они к тебе не полезут. Да ведь ладно жить только так и можно. Не лезь к другим — будешь ладно жить. Живи сам и другим не мешай. — Она стала по-кроличьи подергивать носом — ее обычная дурацкая гримаса. — Здесь у нас никто не лезет к другим, — сказала она, — и все живут ладно. И от тебя ничего другого не требуется.

— А я ладил с ниггерами, — сказал он дочери, — когда тебя и на свете еще не было.

Он ушел на площадку и принялся ждать. Он-то мог чем угодно поручиться, что ниггеру захочется потолковать с человеком, который по-настоящему его понимает. Дождаясь, он от волнения два раза забылся и сплюнул табачную жвачку на плинтус. Минут через двадцать дверь отворилась, и негр снова появился на площадке. Он был при галстукe, в роговых очках, и тут Тэннер впервые заметил его бородку — маленькую, едва заметную, клинышком. Ну и ферт! Негр шел мимо и, казалось, не видел, что на лестнице стоит кто-то еще.

— Привет, Джонни,— сказал Тэннер и кивнул, но негр не обратил на его слова внимания и, стуча каблучками, устремился вниз.

«Глухонемой, что ли?» — подумал Тэннер. Он вернулся в квартиру и сел у окна, но, услышав на лестнице чьи-нибудь шаги, вставал, шел в прихожую и высовывался за дверь — посмотреть, не возвращается ли их новый сосед. Один раз, под вечер, он выглянул на площадку, когда негр показался из-за поворота лестницы, но не успел он рта раскрыть, как негр скрылся в квартире и захлопнул дверь. Тэннер никогда не видел, чтобы люди так бегали, если им не надо было спастись от полиции.

На следующее утро он уже стоял на посту, когда женщина — одна — вышла из квартиры, постукивая высокими золотистыми каблучками. Он хотел с ней поздороваться или просто кивнуть, но чутье подсказало ему, что стоит поостеречься. Он не встречал таких женщин ни среди белых, ни среди черных и сейчас, растерянный, даже напуганный, стоял, изо всех сил прижимаясь к стене и делая вид, что его тут нет.

Женщина равнодушно скользнула по нему взглядом, отвернулась и обошла его как можно дальше, словно незакрытое помойное ведро. Он перевел дух, только когда она скрылась. А потом стал терпеливо дожидаться мужчину. Негр появился часов в восемь.

На этот раз Тэннер заступил ему дорогу.

— А-а, преподобный,— сказал он.— Привет.— Он по опыту знал, что если негр не в духе, то такое обращение всегда его смягчает.

Негр резко остановился.

— Недавно здесь? — спросил его Тэннер.— Я и сам нездешний. А что, небось хочется к себе в Алабаму?

Негр не шелохнулся, ничего не ответил. Он принялся в упор рассматривать Тэннера. Его взгляд уперся в черную шляпу, двинулся вниз, к синей рубашке без ворота, аккуратно застегнутой на верхнюю пуговку, царапнул вылинявшие бесцветные подтяжки, спустился ниже — к серым брюкам, к сапогам, и снова очень медленно, начал подыматься, мерцая лютой ледяной ненавистью, от которой негр весь подобрался и как бы даже осунулся.

— А я ведь, преподобный, что подумал,— сказал Тэннер,— может, мы где ни то сыщем здесь купель? — К концу фразы его голос порядком осип, и тем не менее в нем все еще слышалась надежда.

Изо рта негра вырвалось пронзительное шипенье. Потом он сказал, задыхаясь от злости:

— Я не из Южной Алабамы. Я из Нью-Йорка. И я никакой не преподобный. Я актер!

Тэннер хихикнул.

— Ясное дело,— сказал он и подмигнул.— Все вы артисты, уж оно не без этого. А в свободное время — преподобные проповедники.

— Никакой я не проповедник! — заорал негр. Он промчался мимо Тэннера, словно спасаясь от ос, невесть откуда появившихся на лестнице, ринулся вниз и мгновенно исчез.

Тэннер остался на площадке один. Немного погодя он ушел в квартиру и весь день молча просидел у окна, обдумывая, стоит ли попробовать еще раз или уж окончательно махнуть рукой на это знакомство. Но услышав на лестнице чьи-нибудь шаги, он выглядывал за дверь. Негра все не было. А вечером, когда негр наконец возвратился, Тэннер уже поджидал его на площадке.

— Добрый вечер, преподобный,— сказал он негру, забыв, что тот назвал себя актером.

Негр остановился и вцепился в перила. По его телу прокатилась мгновенная судорога. А потом он медленно двинулся вперед. Подойдя ближе, он рванул к Тэннеру и ухватил его за плечи.

— Ты что ж, белая гнида,— прошипел он,— думаешь, я дам дерьмить себе мозги такому старому сучьему отродью, как ты?

На миг он замолчал и перевел дыхание. А потом в выхлесте злобы его голос сорвался и задрезжал, как хриплый истеричный хохот. Он звучал пронзительно, сипло и бессильно.

— И никакой я не преподобный. Я даже не христианин. Я не верю во все это божье дерьмо. Нету никакого господя, нету Христа!

Сердце старика вдруг тяжело одеревенело.

— И ты не черный, — сказал он, — а я не белый.

Негр с размаху ударил Тэннера об стенку. Дернул вниз его шляпу — она нагнулась Тэннеру на глаза. Потом, схватив его за застежку рубахи, поволок к открытой двери и пхнул в квартиру. Из кухни дочь видела, как отец влетел в прихожую, ударился о косяк и уже в комнате рухнул на пол.

Долгие дни его язык, словно застыв, не двигался. А когда он смог им наконец шевелить и попытался разговаривать, дочь ничего не поняла — язык так распух, что Тэннер едва им ворочал. Он хотел спросить, получила ли она его пенсию, потому что собирался купить билет на автобус и уехать домой. Через несколько дней она поняла, чего он хочет.

— Получить-то получила. — сказала она, — но ее хватит, чтобы заплатить доктору только за первые две недели, да и скажи ты мне, пожалуйста, куда ты поедешь, если ты не можешь ни ходить, ни говорить, ни соображать, а один глаз у тебя все еще косит. Ну куда ты такой поедешь?

И вот постепенно до него дошло, в каком он теперь оказался положении. Тогда он постарался убедить дочь в том, что хотя бы схоронить его надо дома. Ведь они могут отправить его в вагоне-холодильнике, и он в нормальном виде будет доставлен до места. Молодчики из здешних похоронных контор его не заполучат — на это он не согласен. Просто его надо будет сразу отправить, и он прибудет домой на утреннем поезде, и надо послать телеграмму Хутену, чтобы тот нашел Коулмена, и Коулмен все сделает; ей даже не придется ехать туда самой. После долгих споров он вырвал у нее обещание. Она сказала, что отправит его в Коринт.

Он стал получше спать и немного пришел в себя. Во сне он ощущал миссисипский ветерок, подувающий в щели соснового ящика. Ему виделся красноглазый старина Коулмен, стоящий на платформе, а рядом — Хутен с зеленым козырьком и в черных нарукавниках. Если бы старый дурень остался дома, думает, наверно, Хутен, где он прожил всю жизнь, ему бы не пришлось сейчас ехать в ящике. А Коулмен уже, наверно, развернул фургон — интересно, у кого он выписал мула? — чтобы вдвинуть в него ящик прямо с перрона. Все готово, утренний — 6.03 — уже прошел, и вот они молча наклоняются над гробом и начинают осторожно сдвигать его в фургон. А Тэннер принимает скрести ногтями по крышке. Они отскакивают от гроба, как будто тот вспыхнул.

Они глядят друг на друга, потом на ящик.

— Это он, — говорит Коулмен.

— Да нет, — говорит Хутен, — должно, крыса забралась в гроб.

— Это он. Это он штуку такую удумал.

— А если это крыса, так пусть там и сидит.

— Это он. Надо ломик.

Хутен, ворча, уходит за ломиком, возвращается и подсовывает его под крышку. Передний край крышки чуть-чуть приподымается, а Коулмен уже начинает что-то выкрикивать, припрыгивая на месте и задыхаясь от волнения. Тэннер снизу упирается в крышку, она отскакивает — и вот он появляется из ящика.

— Судный день! — кричит он. — Настал Судный день! А вы, два олуха, ничего и не знаете!

И вот теперь он узнал цену ее обещаниям. Уж лучше положиться на свою записку и на любого чужака, который найдет его мертвым — на улице, в товарном вагоне или где он там умрет. А она все сделает, как ей заблагорассудится, — ничего другого от нее не дождешься. Она снова на минутку вошла в комнату, неся шляпу, пальто и резиновые сапоги.

— Мне надо в магазин, — сказала она. — А ты не пытайся тут без меня

вставать яли, не дай бог, ходить, слышишь? В уборной ты был — тебе незачем вставать. А то вернусь и увижу тебя на полу — только этого мне и не хватало.

«А ты меня и вовсе не увидишь», — подумал он. Последний раз он смотрел на ее лицо — плоское, глупое. Но ему было совестно. Она ведь всегда относилась к нему по-доброму, а он — он всегда ей только досаждал.

— Хочешь, я принесу тебе стакан молока? — спросила она.

— Да нет, — сказал он. Потом вздохнул и сказал: — А у тебя здесь славно. Да и вокруг тут славно. И мне очень жаль, что ты волновалась, когда я приболел. Я ведь сам виноват — не надо было мне заигрывать с этим ниггером.

«А я враль треклятый», — сказал он себе, чтоб уничтожить прогорклый прикус унижения, оставшийся у него во рту после этих слов.

Она вытаращилась, как будто он окончательно рехнулся. Но потом, видно, решила, что он просто поумнел.

— Понял наконец, что сказать приятное другому, хотя бы только изредка, и самому бывает приятно? — сказала она и уселась на диван.

Ему казалось, что его ноги сейчас уйдут без него. «Да не чешись же ты, — молил он ее мысленно. — Уходи!»

— Я так рада, что ты здесь, — сказала она. — Да где тебе и быть-то — родному отцу? — Она одарила его широкой улыбкой и принялась натягивать резиновый сапог. — Ну и погодка! — сказала она. — Хороший хозяин собаку не выпустит. Да ведь мне-то все равно надо идти за покупками. Будем надеяться, что я не поскользнусь и не сломаю себе шею. А ты тут не вставай. — Она притопнула по полу обутой ногой и энергично ухватила за второй сапог.

Он скосил глаза и глянул в окно. Снег налипал на карниз и замерзал. Когда он снова посмотрел на дочь, она уже стояла в пальто и шляпе, напоминая большую неуклюжую куклу. Потом она надела вязаные перчатки.

— Так я ушла, — сказала она. — Тебе и правда ничего не нужно?

— Да нет, спасибо, — сказал он. — Ступай.

— Тогда пока, — сказала она.

На прощание он немного приподнял шляпу, обнажив бледный, в коричневых крапинах череп. Дочь захлопнула входную дверь. От возбуждения Тэннер начал дрожать. Он потянулся к спинке кресла и стащил пальто на колени. Надев его, немного переждал, отдышался и потом, опираясь о подлокотники, поднялся. Ему почудилось, что он превратился в колокол, бесшумно сотрясаемый раскачивающимся билом. Поднявшись, он немного постоял на месте; его шатало, но постепенно он утвердился на ногах. И тут его снова охватило отчаяние. Он не сможет. Не доберется. Ни живым, ни мертвым. Он заставил левую ногу сдвинуться с места — и не упал; уверенность вернулась к нему.

— Господь — пастырь мой, — пробормотал он, — я ни в чем не буду нуждаться.

Он двинулся к дивану — на него можно будет опереться. И дошел до него! Путешествие началось.

В конце концов он доберется и до входной двери, а за это время дочь уже спустится по лестнице — четыре марша — и выйдет на улицу. Он проковылял мимо дивана и потащился вдоль стены, для устойчивости придерживаясь за нее рукой. Теперь им не удастся схоронить его здесь. Он был твердо в этом уверен — словно родные леса начинались у подъезда. Он добрался до двери, ведущей на лестницу, открыл ее и настороженно оглядел площадку — впервые с тех пор, как негр чуть его не убил. Его встретила затхлая сырость и тишина. Тонкая лента полунствешшего линолеума протянулась к двери соседней квартиры.

— Тоже мне актер! — пробормотал он.

До ступенек было десять или двенадцать футов, и он строго приказал себе двигаться напрямик, а не обходить всю площадку, придерживаясь за стену. Расставив руки в стороны, он побрел прямо к лестнице. Он одолел уже почти половину пути, как вдруг у него напрочь отнялись ноги — ему показалось, что их просто не стало. Он глянул вниз и страшно удивился, потому что ноги были на месте. Он покачнулся и, падая, ухватился за перила. Повиснув на руках, он гля-

дел вниз, на крутую, плохо освещенную лестницу — никогда он так долго ни на что не смотрел. — потом, закрыв глаза, судорожно дернулся вперед. Он грохнулся — головой вниз — в середине лестничного марша.

Теперь он чувствовал, как наклоняется ящик: его спускали из вагона в багажную тележку. Но время еще не настало, и Тэннер вел себя тихо. Состав громыхнул буферами и уехал. Потом задребезжали колеса тележки — Тэннера везли к зданию станции. Он услышал топот ног — все ближе, ближе... и понял, что вокруг ящика собирается народ. «Подождите, сейчас вы увидите», — подумал он.

— Это он, — сказал Коулмен. — Штуку удумал.

— Да нет, там крыса, чтоб ее. — сказал Хутен.

— Это он. Надо ломик.

Зеленоватый отсвет скользнул по его лицу. Он резко приподнялся — отблеск пропал — и еле слышно выкрикнул:

— Судный день! Судный день! Судный день настал! Что, олухи, не знали?.. Коулмен? — прощептал он.

У наклонившегося над ним негра были мрачные глаза и мясистые, угрюмо сжатые губы.

— Нет здесь никаких Коулменов, старик, — сказал негр.

«Видно, это другая станция, — подумал Тэннер. — Эти олухи сгрузили меня раньше времени. Что это за ниггер? Тут вон и день еще не зачинался».

Потом он увидел другое лицо — бледное, с копной ярко-рыжих волос, — искривившееся в брезгливой гримасе.

— Вон оно что, — прошептал Тэннер.

Актер нагнулся и ухватил его за рубашку.

— Судный день, говоришь, настал? — спросил он с издевкой. — Не настал, старик. Хотя для тебя-то — пожалуй.

Тэннер потянулся к стойке перил — он хотел приподняться, — но ухватил только воздух. Два лица — черное и рядом с ним светлое — дрожали и расплывались.

Он напряг все силы — лица прояснились — и, протянув вверх почти бесплотную руку, сказал негру как можно естественней:

— Помоги-ка мне, преподобный. Я еду домой.

Дочь увидела его, возвращаясь из магазина. Шляпа была насунута ему на глаза, голова и руки — почти до локтей — заклинились между двумя стойками перил, а ноги, как у человека, забитого в колодки, свисали за перила. Она отчаянно дернула его за плечи, ничего не смогла сделать и бросилась в полицию. Полицейские вытащили его, распилив стойки, и сказали, что он умер примерно час назад.

Она похоронила его в Нью-Йорке, но после этого у нее началась бессонница. Ночь за ночью она беспорочно металась в кровати, и на ее лице явственно обозначились морщины. Тогда она обратилась в психоронную контору, Тэннера выкопали и отправили в Коринт. Теперь она спокойно спит по ночам и выглядит почти так же мило, как прежде.

Перевел АНДРЕЙ КИСТЯКОВСКИЙ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Много лет назад я прочла том юмористических рассказов Эдгара Аллана По и, кажется, впервые задумалась о писательском занятии... Уверена тоже, что на меня повлиял Гоголь... Из американских писателей мне ближе всех Готорн... Я, как и он, пишу «сказанья», надеюсь только, что не такие иносказательные», — сказала Фланнери О'Коннор в одном интервью.

Фланнери О'Коннор (1925—1964) родилась и выросла в маленьком городке южно-о штата Джорджия, в католической семье. Она окончила женский колледж (диплом был по социологии) и два года занималась на писательских курсах университета штата

Айова, на Среднем Западе. Первый рассказ опубликовала в 1946 году, первый роман — в 1952-м, первый сборник рассказов «Хорошего человека найти нелегко» — в 1955-м. Роман прошел в общем потоке «жестокой прозы» с Юга США: в нем походя усмотрели что-то фолкнеровское, не то кодуэлловское. В сборнике рассказов явно не было ни того, ни другого, и его направили на отзыв именитому единоверцу О'Коннор, писателю Ивлину Во, чтоб тот разобрался по-католически. Единоведец-англичанин отозвался: «Если рассказы в самом деле написала юная леди, то это весьма достопримечательно». Как раз за «достопримечательность» рассказов журнал «Тайм» окрестил их автора «люттой Фланнери», удивляясь ее талантливой, но излишней свирепости и совету слегка образумиться. «Многообещающая молодая писательница-южанка» от свирепости, однако, не отступилась и опубликовала за последние десять лет жизни еще роман и дюжину рассказов. В каком-то из некрологов ее на прощанье назвали «бешеной католичкой, ведьмой с пером».

Прощались, впрочем, скорее грустно — умерла рано, написала немного, развернуться не успела, — и лишь постепенно выяснилось, что и этого вполне достаточно, чтобы с полным правом считаться «малым классиком» американской прозы XX века. Сейчас ее книги переведены на десяток языков (на русский тоже: издательство «Прогресс» выпускает сборник ее рассказов под редакцией Е. Д. Калашниковой и М. Ф. Лорие, из которого и взяты эти три), о ней написано добрых два десятка монографий (только в 1972 году их вышло пять) и сотни статей; начал издаваться посвященный ей журнал.

Последние тринадцать лет жизни Фланнери О'Коннор была тяжело и неизлечимо больна кожным туберкулезом, почти безвыездно жила в родном доме или лежала в больнице. Этим пробовали объяснять надсадность ее прозы: обиженная, дескать, судьбой женщина изливает свой гнев и горечь. Объяснение убогое, потому что, во-первых, никакого перелома в духе и манере письма после заболевания не наблюдается (роман, написанный до болезни, пожалуй, куда «свирепее» многих позднейших рассказов); во-вторых, потому что какие бы то ни было «излияния» отнюдь не в манере О'Коннор, то смесливо-наивной, то холоднозато-изысканной, всегда отчужденной, «ясной, как смертный приговор», по выражению одного из критиков; наконец, потому что Фланнери О'Коннор чувствовала себя не страдальцей, а писательницей, и свидетельств тому предостаточно. В чем же определяющий смысл ее прозы и зачем так оглушать, так «нервировать» читателя?

Именно затем, чтоб не оставлять его в покое, мешать его нравственному благоустройству, напоминать ему о том, что происходит на самом деле, а не в телепередачах, где ужасов побольше, чем у нее, но все они уютные и нестрашные: не ужасы, а сенсации. О'Коннор говорила, что средний умственный возраст американского читателя — тринадцать лет, но к нему-то она и адресуется: «Глухим надо кричать, а для подслеповатых рисовать крупные и броские фигуры».

Итак, надо писать правду и достучаться с нею до читателя, ибо «на уровне событий, на драматическом уровне правду распознают все».

Слово «правда», частое в статьях и высказываниях О'Коннор, соседствует у нее со словом «гротеск», то есть чудовищная несуразность. «Читатели-северяне любую литературу с Юга называют гротескной, но вот если она и в самом деле будет гротескной, тогда ее назовут фотографическим реализмом».

Сама она сочетала фотографичность и гротеск. Исходные описания ее почти дотошно отчетливы, но при этом чуть причудливы и иронически-зловещи. Ситуация берется самая заурядная, и читатель доверчиво, а то и посмеиваясь становится ее эмоциональным соучастником. Но ситуация постепенно раздвигается и преобразуется, приобретает некую дополнительную и жуткую объемность — и незначущие слова начинают звучать приговором или заклинанием, простые жесты становятся дерготней паяцев, а случайные поступки ведут к непоправимым и неотвратимым последствиям. «Сатана приходит в Джорджию» — называлась рецензия на ее первый сборник: действительно, является Некто — и начинается «дьяволяда».

Сатана не приходит, это сказано неверно: он лишь обнаруживает свое присутствие, ибо на самом деле ужас и издевка скрыты в самой американской повседневности и Некто лишь делает их очевидными. В рассказе «Хорошего человека найти нелегко»

осатанелый убийца Изгой упомянут задолго до своего появления, но поначалу кажется телевизионным ужасом: кажется, что реальен не мир, а мирок, где верховодит бестолковая, самодовольная и жалкая старуха. Точно так же смертельная и неотступная скорбь ребенка по покойной матери («Хромые виднут первыми») прорывается в первой же сцене; о будущем «избавителе» — озлобленно-религиозном беспризорнике — речь заходит сразу же, но самоуверенному, деловому и праведному отцу до поры до времени кажется, будто его мирок, подпертый энциклопедией и оцетинившийся подозрительной трубой, куда существеннее религиозных измышлений и детского горя и одиночества.

Взбалмошная бабка сама уговаривает сына свернуть на проселочную дорогу навстречу Изгою. Шепард сам поселяет у себя в доме облюбованного беспризорника. Дьявол не столько приходит, сколько его приглашают, и при его содействии гротескным, несуразным оказывается «нормальное» и обыденное. «Полагаю, что именно дьявол чаще всего дает нам уроки самопознания», — замечала писательница.

Уроки страшные, и отмахнуться от них О'Коннор не дает: жизнь надо ощутить под угрозой жуткой непоправимости. Все же обоих героев ждет последнее просветление: Шепард как за спасением кидается искать сына и находит его на веревке; бабка прозревает в оголтелом выродке искалеченную душу — и не нужно забывать, что, по мнению верующей католички Фланнери О'Коннор, она умирает как нельзя лучше, умирает, нравственно возвысившись над злом.

Пробуждение к действительности, очная ставка с другим человеком происходит и в рассказе «Судный день», последней вещи О'Коннор. Старик Тэннер тоже получает то, чего просил и что возвещал: суд над собой и над своим привычным, южным отношением к неграм. Другое дело, что в этом столкновении эмоциональная правота на стороне Тэннера: он ведь просто хотел почувствовать себя как на родине, как на Юге. Но здесь эта правота несостоятельна: заигрывания белого старика кажутся (и не без оснований) негру-северянину посягательством на его личность. Вина Тэннера трагическая, это скорее вина общества, и старик не остается без посмертного вознаграждения: тело его перевозят на желанный Юг.

Фланнери О'Коннор без промаха бьет по двум целям: по самодовольному праведничеству (в том числе и религиозному) и по чувствительности, подменяющей чувства. Резкое, насильственное, горько-насмешливое отрешение от сентиментальности и трезвая самооценка — таковы у нее залог и преддверие прояснения человека в свете высшего и общего смысла человеческой жизни.

Она не сочиняет ни притч, ни мифов, ни аллегорий, а лишь снова и снова показывает на материале американской действительности, что жизнь обывателя куда более реальна, чем ему самому кажется, и реальность эта гротескная, смешная до жути. Америка Фланнери О'Коннор так же явственна и так же комически невероятна, как гоголевская Россия, царство мертвых душ, где поневоле смешно, что бедняга прокурор, «пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого умер».

В. С. Муравьев.



НА ЗЕМЛЕ АЛТАЙСКОЙ

БОГАТЕЙШИЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ... Так назвал его Владимир Ильич Ленин. Край некогда вьючных троп, неизведанных природных сокровищ, бескрайних непаханных степей. Ныне это один из крупнейших индустриальных и культурных районов страны, щедрая житница, давшая стране только за годы нынешней пятилетки миллионы пудов хлеба.

Прошлое и настоящее края, сибирский характер хлеборобов, рабочих, интеллигенции — людей трудолюбивых, отважных, беззаветно любящих родину, издавна привлекают внимание писателей. Здесь в Дни советской литературы на Алтае побывала большая группа литераторов во главе с первым секретарем Союза писателей Г. М. Марковым. Многочисленные встречи с сибиряками в Горном Алтае, в совхозах и колхозах целинных земель дали богатый материал для творчества прозаиков, поэтов, очеркистов.

Поездки по городам и селам страны стали традицией нашего журнала, помогая ему укреплять связи с читателем. Напомним о групповой поездке писателей на берег Тихого океана в рыболовецкий колхоз «Новый мир», повторенной затем еще раз, о многочисленных встречах писателей с рабочими, инженерами, партийными работниками крупнейшей стройки — Камского автомобильного завода, в результате которых на страницах журнала появились очерки, стихи, публицистические статьи.

Недавно на Алтае побывала бригада писателей и журналистов журнала «Новый мир» — В. Ф. Елисеева, Е. К. Лопатина, О. П. Смирнов. Активное участие в ее работе приняли местные литераторы. Стихи алтайских поэтов публикуются в этом номере. Побывавший здесь ранее поэт Роберт Рождественский также представил для подборки материалов об Алтае свои стихи.

Итак, «в богатейшем Алтайском крае...».

А. ГЕОРГИЕВ,

*первый секретарь Алтайского крайкома КПСС,
Герой Социалистического Труда*

★

ДВАДЦАТЫЙ ХЛЕБ АЛТАЯ

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР

Если вести счет с того дня, когда в Кулундинской степи был вспахан первый гектар целинных земель, 1973 год — юбилейный. Родине сдан двадцатый хлеб Алтая.

Много воды утекло за минувшие годы. Немало принесли радости первые щедрые урожаи, их сменили горестные периоды недородов, были победы и утраты, поиски и находки и через все годы — труд, неустанный и напряженный, поистине самозабвенный героический труд, принесший в прошлых и нынешних годах победу весомую, зримую: миллионы тонн алтайского хлеба.

Поучительно оглянуться на пройденное. В веренице лет минувших особое место занимают мартовский (1965) Пленум ЦК КПСС и XXIV съезд — исторические вехи, без которых немисливо было бы дальнейшее столь стремительное, успешное развитие социалистического сельского хозяйства.

В речи при вручении Казахской ССР ордена Дружбы народов товарищ Леонид Ильич Брежнев отнес освоение целины к выдающимся подвигам советско-

го народа. Он говорил о людях, которые по воле партии, по призыву комсомола, по велению собственного сердца прибыли на целину, чтобы поднять ее к новой жизни, на годы связав с ней свою судьбу. «Они помнят,— говорил Леонид Ильич,— какие трудности приходилось тогда преодолевать; не было жилья, не хватало техники, все приходилось создавать заново. Но те, кто поднимал целину, живет и трудится на ней,— это люди героического склада».

Сердечный отклик и благодарность вызвала в каждом из нас эта правдивая и высокая оценка труда целинников.

Нелегким было для алтайского хлебороба прошедшее двадцатилетие. И может быть, именно в эти годы, сложные и многотрудные, с наибольшей полнотой раскрылся во всей своей силе и цельности сибирский характер. Понятие это емкое, многомерное. Объемлет оно не только терпение и настойчивость, мужество и доброту. Не только оптимизм и любовь к своему краю, родной земле. Но и агрономические знания, государственное мышление, техническую образованность плюс удивительную крестьянскую смекалку.

Характер сложный. Мужал и креп он в трудные годы становления советской власти, колхозного строительства, в борьбе с вражескими силами, в суровых схватках со стихией.

Для меня само понятие «сибирский характер» — отнюдь не абстракция. Это живые люди, поднимавшие целину, создававшие в Сибири индустрию, люди, которых на протяжении многих лет знаю я по совместной работе. В их поступках, повседневном труде, нравственном облике и проявляется все то значительное и дорогое, что таит в себе понятие «сибирский характер»: трудолюбие и чувство долга перед родиной, скромность и совесть, высокая принципиальность и дух коллективизма...

Дело писателей показать духовный облик нынешнего хлебороба правдиво и объемно, не прибегая, как делают иные литераторы, к стереотипам, рисуя тип крестьянина времен давно минувших. Но это к слову сказать. Мне же хочется прежде, чем ввести читателя в наш край и познакомить с его прошлым и настоящим, сделать одну оговорку. Не с нуля начинали мы двадцать лет назад борьбу за большой алтайский хлеб. Огромное воздействие на успех дела оказали научно-техническая революция, те великие преобразования, что пришли в колхозно-совхозную деревню за последние годы. Они стали главными, решающими факторами, позволившими в короткий срок по-новому организовать работу на земле, привлечь широкие массы тружеников села к активному творчеству.

Закономерно, что в наш век технического прогресса главной фигурой уборки по праву считается комбайнер — хлебороб во всеоружии технических знаний. Но начинал такой хлебороб с малого. У истоков нынешних побед стоит земледелец, не владевший ни современной техникой, ни современными знаниями. Забывать об этих людях, о подвиге, совершенном ими, было бы неблагодарно, несправедливо. Да и не в традициях алтайских хлеборобов такое забвение. Уважением и почетом окружены у нас деды и отцы, зачинавшие алтайский хлеб, они стоят во главе славных династий сибирских хлеборобов. В этой связи уместно вспомнить инициатора мощного движения в стране за высокие урожаи — нашего земляка звеньевца М. Е. Ефремова. У керосиновой лампы, вручную отбирал он со своим звеном самые жизнестойкие зерна для будущих посевов. Первым собрал он в 30-е годы небывало высокий урожай яровой пшеницы — 60 центнеров с гектара. Его последователь И. Е. Чуманов установил в то время мировой рекорд — 86 центнеров пшеницы с гектара. А в прошлом году династию Ефремова прославил внук его, намолотивший свыше 10 тысяч центнеров зерна.

Эти люди, как и тысячи других тружеников колхозной деревни, готовили почву для будущих алтайских миллионов.

Хорошо помню те первые тревожные годы, когда я молодым агрономом-комсомольцем приехал с Украины осваивать Кулундинские степи. Дед Васин доставил нас с товарищем на паре вороных в Степную МТС Михайловского района. Преезжали села Туголуковку, Шаталовку, Беспаловку... Их теперь и в помине

нет. Из моря единоличных хозяйств рождались в ту пору первые коллективы — ТОЗы, а потом сельхозартели.

Вспоминаются незабываемые боевые комсомольские дни, когда молодежная хватка и задор помогали идти наперекор всем трудностям!

Весна 1932 года — первые механизаторы на тракторах «Фордзон» и «Интер 10/20» осваивают технику.

Митинг на площади — 15 первых ХТЗ! Первый десяток комбайнов «Коммунар» взамен жатки-лобогрейки и такой популярной молотилки на селе марки СО и БДО.

Сбывалась мечта Ильича — техника шла на смену вековечному ручному труду. Теперь дети тех первопроходцев водят мощные тракторы «К-700», комбайны «Сибиряк», «КРАЗЫ» и «МАЗЫ».

А урожай тех лет! Пять пудов сеяли на десятину, не больше и получали.

Вся жизнь представляла перед каждым из нас как нетронутое поле, требующее дерзаний, эксперимента. Партия воспитывала, формировала на новой основе — основе коллективного труда — замечательные черты советского человека.

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

А теперь немного истории. Алтай в переводе на русский язык — золотые горы. Край удивительный по разнообразию и живописности природы. От бескрайних плодородных равнин протянулся он через реки, озера, вековые леса до горных хребтов и альпийских пастбищ.

Край поистине необъятных просторов и больших природных контрастов: расстояние от западной до восточной части его составляет более 1000 километров, территория — 262 тысячи квадратных километров.

Здесь, пересекая плодородные степи, начинает свой путь могучая Обь. Прекрасен Алтай с его несравненным по красоте Телецким озером и зарослями могучего кедра. Здесь и дремучая тайга Присалаирья. Но особенно хороша Кулундинская степь с ее от горизонта до горизонта золотыми хлебными разливами.

Богаты полезными ископаемыми недра алтайской земли, породившие высокое искусство алтайских умельцев, изделия которых из серебра, золота нередко попадали в Китай, Туркестан и Европу. Из первого алтайского серебра в 50-х годах XVIII века сделана гробница Александра Невского — выдающееся произведение искусства, хранящееся ныне в Эрмитаже.

Краем выючных троп называли Алтай в былые годы. Первые русские поселения появились здесь в конце XV — начале XVI веков. Бедные крепостные крестьяне, раскольники и мастеровые думали найти здесь приют от царского гнета, беспощадной эксплуатации. Сюда же в чаянии легкой наживы стекались промышленники, торговцы. Начало развития горнорудной промышленности на Алтае положил Акинфий Демидов. В 1725 году он поставил здесь первую сереброплавильную печь и медеплавильный завод. Занимая огромную территорию России, Алтай производил всего лишь 0,08 процента промышленной продукции, перерабатывая сельскохозяйственное сырье и древесину. Не было машиностроения, отрасли металлообработки представляли собой несколько полукустарных мастерских на 10—15 рабочих.

В деревне на 27 хозяйств приходилась одна сеялка, на 6 — жнейка, на 13 дворов — одна конная молотилка. Лукошко да деревянный плуг — вся вооруженность крестьянина.

Порой кажется, века отделяют наше сегодня от тех времен. Но живы, работают, все помнят сибиряки, шагнувшие из века минувшего в век нынешний. Иногда эпизод, рассказанный таким живым свидетелем, многого стоит.

Знатный чабан края Герой Социалистического Труда Иван Балюк вспоминает: «За долгие годы батрачества купил я наконец лошаденку. Смотреть ее собрался со всего поселка. Кулаки ширяли мою клячу в бока, до упаду смеялись, а на второй день она сдохла. Вместе с ней схоронил я последнюю надежду выбиться из проклятой кулацкой кабалы».

На вымирание обречен был народ нынешней Горно-Алтайской автономной области, входящей сейчас в состав края. Вытописатель дореволюционной России Николай Наумов в очерке об Алтае говорил: «Гибнет край! Вымирает одаренный, честный, трудолюбивый народ». Советская власть возродила его. Горно-Алтайская область теперь одна из равных дочерей нашей родины. Алтайцы, как и представители всех 70 национальностей и народностей, проживающих в нашем крае, познали радость новой жизни.

Важнейший вывод, сделанный на XXIV съезде нашей партии, о том, что в результате глубоких и всесторонних социально-политических изменений, происшедших за пятидесятилетие, утвердилась новая историческая общность людей — советский народ, находит подтверждение в любой республике, любом уголке нашей страны. Ярчайшим примером этого служит и история становления и развития нашего многонационального края. Сегодня Алтай — край современной индустрии. Он дает стране мощные энергетические котлы, тракторы, станки, вагоны, шины, сельскохозяйственные машины и многое другое. В нем 575 промышленных предприятий с годовым объемом производства более трех миллиардов рублей. Их изделия поставляются в 42 страны мира, валовой выпуск продукции к концу пятилетки достигнет 4,3—4,5 миллиарда рублей.

Алтай — край большого машиностроения и химии. Здесь ордена Ленина тракторный завод имени М. И. Калинина, крупнейший моторный, Кучукский сульфатный комбинат, Барнаульский комбинат химического волокна, шинный завод.

Нам дорого, что у истоков химической промышленности края стоял Ленин. Владимир Ильич подписал в 1921 году декрет Совета Труда и Обороне о строительстве на Алтае первенца химии — Петуховского содового завода. Сейчас у нас созданы крупнейшие предприятия по производству искусственного и синтетического волокна, капрона, штапеля, целлофана, автокорда, полуактивной и активной сажи, резино-технических и асбестовых изделий, пластмасс, сернистого натрия, соды.

Свыше 80 процентов всех плугов России выпускает Алтайсельмаш. Многие выдающиеся изобретения, новые марки тракторов, моторов, механических пресов и магистральных вагонов, различных приборов и аппаратуры рождены здесь.

Невозможно в журнальной статье охватить все стороны жизни края. Остановлюсь подробнее на одной из них, едва ли не самой главной.

ШЛИ ОТ ИЛЬИЧЕВА ПОЛЯ

Алтай — крупный производитель зерна на востоке страны. Общая посевная площадь превышает шесть миллионов гектаров, из них зерновых 4,9 миллиона га. Наш край дает более 10 процентов высокосортной пшеницы в РСФСР и почти половину в Западной Сибири.

Есть у хлеборобов края особенно заветное место — Ильичево поле. На нем более полувека назад в коммуне «Свобода» Родинского района вспахал первую борозду трактор, посланный коммунарам Владимиром Ильичем Лениным. На этом поле сибиряки начали ломать единоличные межи. С этого поля они идут по ленинскому пути вот уже более полувека.

История хлебного поля Алтая — славная и трудная история. Я говорил уже о добром почине М. Е. Ефремова — могучем движении алтайцев за хлеб. Оно наглядно показало, какие силы таятся в земле сибирской. Ощутимой стала эта сила во время Великой Отечественной войны. В первые послевоенные годы ефремовскую эстафету приняли талантливые хлеборобы Г. А. Фромов, Ф. М. Гринько, И. Я. Шумаков и другие. Далее ее понесли десятки мастеров урожая.

Замечателен подвиг на хлебной ниве директора совхоза «Алтайский» Героя Социалистического Труда Г. А. Фромова. В партии — пятьдесят лет, возраст — семьдесят три. В этом году уходит на пенсию. Вся его жизнь связана с борьбой за хлеб.

Высокие урожаи получали уже не отдельные звенья, а бригады и целые хозяйства.

Битва за алтайский хлеб началась с освоения целинных и залежных земель двадцать лет назад. Но с особой силой развернулась она после того, когда на селе была заложена мощная экономическая база, новая высокопроизводительная техника, проведены химизация и мелиорация.

Кулундинская степь... На 48 тысяч квадратных километров раскинулась она. На этих-то просторах и шла битва, в которой сибирский характер выдержал одно из серьезнейших испытаний.

Зона рискованного земледелия — Кулунда. Покорно подчинившаяся на первых порах земледельцу, в последующие годы она проявила свой строптивый нрав с необыкновенной силой. А что такое Кулунда для края, скажут такие цифры: сельскохозяйственные угодья этой зоны занимают 3,5 миллиона гектаров, в том числе пашни — 2,4 миллиона. В 1953—1956 годах здесь было поднято более миллиона гектаров целинных и залежных земель. А всего в крае более 3 миллионов гектаров, что позволило увеличить посевные площади в 1,7 раза.

Я говорил уже: в первые годы целина порадовала высокими урожаями. Сказались не только благоприятные погодные условия, но и нерастратенное плодородие земли. В безлюдной степи выросло 78 крупных совхозов и 77 колхозов. 440 тысяч человек — 16 процентов от всего населения края — работали в этих хозяйствах.

Беда, что обрушилась на нашу целину в 1963—1965 годах, носит название ветровая эрозия. Что это такое? Трудно описать песчаные бури, поднимающие и несущие за сотни верст тонны плодородной земли. Это надо видеть, чтобы представить масштабы разрушительной силы стихии.

Необязательно — ветер ураганной силы. Пыльные бури возникали и при умеренном кулундинском ветре. И тогда тоже можно было наблюдать, как «уходит земля», ее плодородный пахотный слой, подхваченный легкими воздушными волнами.

Большую часть пашен здесь занимают легкие почвы. При неблагоприятном ветровом режиме и классической европейской системе обработки почвы они — опасный очаг эрозии, пыльных бурь.

Изменчив климат Кулундинской степи с ее погодными капризами, ветрами, засухой. В среднем на десять лет приходится один — три года сильно сухих, четыре-пять лет засушливых.

Десятки лет хлебороб в засушливой степи пахал землю отвальным плугом, поглубже заделывая стерню. Черная, как вороново крыло, пашня была мечтой, эталоном. С этим традиционным представлением и приступили к обработке целины, требовавшей иного подхода, коренной ломки сложившихся приемов земледелия. Жизнь показала несостоятельность внедрявшейся в крае классической системы земледелия, перенесенной из европейской части страны. Особенно непригодной оказалась отвальная обработка на легких почвах Кулундинской степи.

Около 500 тысяч гектаров пашни было выведено из строя. Директор совхоза «Кулундинский» А. Игнатович, не терявший веры в Кулунду и в самые тяжелые годы, вспоминает:

«В нынешние урожайные годы трудно поверить, что в тот горестный период иные немало повидавшие на своем веку хлеборобы-специалисты не верили в будущее степи, предлагали вообще «закрыть» Кулунду для земледелия, залужить ее поля, засеять травами, превратить в пастбища и выгоны... Идея в те годы многим не казалась такой уж дикой. Ведь обстановка действительно была сложной. Чрезвычайно сложной. Без малого две трети пашни совхоза были похоронены под слоем пыли в печально памятном 1963 году. Совхоз не собрал даже семян...»

Игнатович ничего не преувеличивает. После эрозийных бурь прямые убытки от списания погибших посевов достигли в совхозе свыше миллиона рублей. За 1963—1965 годы из хозяйства уволилось более 400 человек.

Особенно сильной была засуха в Кулунде в 1963 году, три месяца не было дождей...

И вот: та же Кулунда, которую, по мнению любителей поспешных выводов, следовало отнести к «бросовым землям», дает теперь не первый год урожай, неவி-

данные для засушливой, малоплодородной земли — до 20 центнеров с гектара, а на иных участках — до 30.

Что же: бог взял, бог дал? Иными словами — дары неуправляемой, капризной Кулунды?

Нет. Не так. То, что сделали за пятилетие алтайские хлеборобы, специалисты, механизаторы, руководимые партией, ее Центральным Комитетом, действительно чудо, но чудо, созданное руками тружеников земли. Климат подчинился советскому человеку.

Перед партийной организацией края со всей остротой встал тогда вопрос: какими путями идти, как дальше вести земледелие, как быстрее приостановить ветровую эрозию, сохранить и приумножить плодородные почвы?

Трудно переоценить силу воздействия на преобразование земледелия в Алтае постановления ЦК КПСС и Совета Министров «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии», принятого в 1967 году. В хозяйствах разработали и осуществили при огромной помощи государства комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий, основанных на современном уровне науки и достижении передовой практики.

На огромных просторах Кулундинской и Рубцовско-Алейской степей сегодня новая система земледелия!

Прежде всего из борозды пришлось выкинуть привычный, классический, такой надежный и, казалось, незаменимый плуг, обычную борону, каток, дисковый луцильник. Не просто было землепашцу отказаться от них и взять на вооружение невиданный доселе плоскорез, стерневую сеялку, борону «Биг-3», позволяющие оставлять на поверхности стерню. Опять совершенно непривычное дело! Стерня, оставленная на вспаханной земле! Такое, как говорил мне один колхозник, только в дурном сне могло ему присниться. Но в условиях Кулундинской степи она оказалась буквально спасительницей. Ее применение было исключительно важным в борьбе с ветровой эрозией и с засухой. Она прочно сохраняла плодородный слой, кроме того, поле, покрытое стерней, задерживало снега в два раза больше, чем разрыхленное, вспаханное отвальными плугами.

Но замена плуга плоскорезами — лишь часть огромного комплекса нового для Алтая земледелия. Основу ее составили: пахота без оборота пласта — плоскорезами, с сохранением стерни, севообороты с короткой ротацией, полосное размещение посевов и кулисного пара в сочетании с системой полезащитных лесных полос.

Шесть лет шла настойчивая борьба между старым и новым. Нам пришлось учиться и учить других, ломать психологический барьер, созданный десятками лет. Короче говоря, к большому алтайскому хлебу шли мы путем очень трудным.

Вернемся к тому же совхозу «Кулундинский». Еще несколько лет назад его поля были открыты, как говорится, семи ветрам. А там земли — 50 тысяч гектаров. Сейчас не узнать этих мест. За пятилетку в хозяйстве посажено 2 тысячи гектаров полезащитных лесополос. Через каждые 300 метров пашню рассекают трехрядные лесные полосы. Между ними тянутся двадцатиметровые буферные посевы многолетних трав. Изменился ландшафт пашни: если раньше почву взрыхляли после жатвы, оставляя ее на потребу ветрам и суховеям, то теперь осенью она оцетинивается стерней. Кулундинцы защитили землю от ветровой эрозии, повысили ее плодородие, увеличили урожайность.

Закономерно, что именно здесь, в совхозе «Кулундинский», родилась краевая школа по изучению передового опыта.

На базе этого совхоза проводились республиканские, зональные, краевые семинары и совещания специалистов по защите почв от ветровой эрозии.

За парту сели все, кто имел отношение к земле. Показателем эффективности учебы служило вначале то, какое количество противоэрозионных машин стали заказывать хозяйства в отделениях Сельхозтехники, как механизаторы овладевают этой техникой. Если заказывали мало, это означало: занятия еще не достигли своей цели, не изменили отношения слушателей к новой системе обработки полей.

Голые же заверения отдельных руководителей в том, что они признают современную технологию, не принимались в расчет до тех пор, пока необходимые машины не оказывались в парке колхоза или совхоза.

За последние годы хозяйства Кулундинской степи приобрели десятки тысяч глубоких борозд, плоскорезов, противоэрозийных и штанговых культиваторов, специальных сеялок. С такой техникой уже можно было противостоять суховеям и пыльным бурям.

Всюду закладывались опытные участки. Новую технологию предстояло всесторонне опробовать, выверить в местных условиях. Люди воочию убедились в эффективности передовых приемов обработки полей.

Учились и партийные работники. Первые секретари райкомов партии не однажды за пятилетку побывали во Всесоюзном научно-исследовательском институте зернового хозяйства, где изучали проблемы степного земледелия.

Сделано немало. Были внесены существенные поправки в стратегию и тактику сибирского земледелия. Теперь почти вся площадь пашни защищена осенью и зимой стерней, весной — гофрированной поверхностью, которая образуется после работы сеялок «СЗС-9», а летом — зеленой растительностью. На полях применяется весь комплекс агротехнических, противоэрозийных мер.

Уже в 1971 году в крае с помощью безотвальной пахоты мы заготовили около трех миллионов гектаров пашни. В Кулундинской степи, например, свыше одного миллиона хлеборобы засеяли противоэрозийными сеялками. Почти миллион гектаров посевов обработан гербицидами. 200 тысяч гектаров сильно эрозированных земель залужено.

Приостановлена эрозия, степь преобразовывается в лесостепь.

В прошедшей пятилетке лесоводы края создали 43 тысячи гектаров защитных лесополос, две государственные лесные полосы протяженностью 527 километров, площадью 10 тысяч гектаров.

Изыскания ученых и накопленный в колхозах и совхозах опыт показали, что передовые приемы способны дать значительную прибавку урожая. Кулундинская группа районов уже в 1972 году засыпала в государственные закрома зерна на 6,3 миллиона пудов больше, чем в прошлые годы.

А за двадцать лет мы сдали государству 3,5 миллиарда пудов зерна; за последнее время засыпали ежегодно по 250 миллионов — в четыре раза больше, чем до освоения целины.

В 1972 году хлеборобы края сумели вырастить самый высокий урожай в истории земледелия Алтая, получив в среднем с каждого гектара по 20 центнеров зерна. Это дало возможность засыпать в закрома родины 5 миллионов 250 тысяч тонн, или 321 миллион пудов хлеба, сдать сверх плана один миллион 250 тысяч тонн. В том числе хозяйства степи — 3 миллиона тонн.

И какого хлеба!

Ведь хлеб хлебу рознь. Хорошо известно, что из английской пшеницы не испечешь каравай, из итальянской не получишь макарон спагетти. Это можно сделать, только добавив нашу русскую муку.

Не случайно алтайское зерно сейчас поставляется во многие республики, области и на экспорт. Хлеб из алтайского зерна отличается особой пышностью, высоким подъемом, пористостью. Называется наша мука — улучшатель. Из нее пекут крестьяне, как говорят украинцы, «паляницю на пив брички».

Два миллиона 700 тысяч гектаров занимают у нас сорта сильных пшениц. В 1973 году многие хозяйства Кулунды дали государству зерно пшеницы с клейковиной 26—30 процентов. Это золото! Если учесть, что лучшие южные сорта дают 20—24 процента.

Венец работы хлебороба — уборка урожая. Природа Сибири отводит на уборку всего десять — пятнадцать погожих дней. В это время одних только грузов с поля надо перевезти около 26 миллионов тонн.

Не из легких была уборка в 1971—1973 годах. Она войдет славной страницей в величественную хлебную летопись Алтая. Незабываемы для каждого из нас,

для всей стопятидесятитысячной краевой партийной организации дни и бессонные ночи завершающей битвы за большой алтайский хлеб.

Новые герои совершили трудовой подвиг. Двадцать пять звездочек украсили комбайн коммуниста Ильи Александровича Максименко из совхоза «Путиловский» Ключевского района. Он намолотил 25 тысяч центнеров зерна. Это самый высокий показатель в республике.

707 механизаторов края намолотили каждый свыше 10 тысяч центнеров зерна. В горячие дни страды на полях Алтая работало 484 «семейных» агрегата.

Подтвердила свой высокий класс на уборке и механизатор Александра Моевеевна Кибкало — 15 697 центнеров.

Назвав одну фамилию женщины-механизатора, я готов без усталы перечислять всех наших алтайских героинь, наравне с мужчинами участвующих в битве за урожай.

Накануне минувшей страды мы провели слет передовых женщин-механизаторов. Свыше 600 комбайнеров, трактористок съехались на него — от старейшины Варвары Бахолдиной, вместе с Пашей Ангелиной первой севшей на трактор, до самых молодых, только что взявшихся за штурвал комбайна. Участницы слета представляли собой передовой отряд шеститысячной армии женщин-механизаторов на Алтае.

Памятной страницей в летописи партийной организации и всего края останется пленум Алтайского крайкома партии 27 августа 1972 года, в котором принял участие и выступил с большой речью Леонид Ильич Брежнев. Он говорил: «С сибиряками-алтайцами я знаком давно, с момента фронтовой жизни. Знаю их как мужественных, смелых и боевых товарищей, беспредельно преданных нашей Родине — такими они остаются передо мной и до сегодняшнего дня. Такими знаю сибиряков не только я, а вся наша партия».

Теплые, проникнутые глубоким уважением к сибирякам-алтайцам слова вселили в нас новые силы и уверенность. Особенно выделил Леонид Ильич в своем выступлении роль секретарей сельских райкомов партии и первичных партийных организаций — боевых вожаков масс.

По заслугам — хвала им! Под их непосредственным руководством вырос в крае отряд прославленных хлеборобов.

Я начал свою статью осанной сибирскому характеру. Убежден, что прекрасными прототипами для героев современных рассказов, повестей, романов, стихов, поэм и песен могут послужить многие алтайские богатыри-хлеборобы.

В Кулундинском районе живет знатный комбайнер страны Герой Социалистического Труда Семен Ефимович Пятница. Трудовой стаж его прославленной династии на хлебной ниве в общей сложности достигает двухсот лет.

Сотни земледельцев борются во время уборки за премию его имени. Примечательно, что ему пришлось вручать ее на краевом празднике урожая сыну Василию.

Четверть века водил комбайны Семен Ефимович. Его степной корабль сделал более двух космических витков, убрав свыше 60 тысяч гектаров.

Степан, Петр, Иван, Вера, Шура, Валя... Сыновья и дочери Семена Пятницы. В каждом из них узнаешь отца. Сумел показать Семен Ефимович своим трудом, всей жизнью своей путь детям к земле.

А вот другая династия — Данилы Никитича Абрашкина. Шестеро из его семьи — сам он и пятеро сыновей — хлеборобы совхоза «Луговской» Бийского района. Пять совхозных тракторов и четыре комбайна — на руках у этой прославленной семьи.

Людей хороших, сильных духом много, всех не перечислишь. Да разве список передовиков, каким бы он ни был объемным, может дать представление об облике современного хлебороба, его мужественном характере и добром сердце! Тут нужен собирательный образ, чтобы вобрал он лучшие черты и Пятницы, и Абрашкина, и Бахолдиной, и сотен других. Создать такой образ нового человека, воспитанного партией, новатора, творца — дело писателя.

СПЕЦИАЛИСТЫ НА СЕЛЕ

Научно-техническая революция по-новому поставила вопрос о месте руководителя и специалиста в производстве.

Мне хотелось бы в связи с этим обратить внимание читателя на председателя колхоза, директора совхоза, стоящих, как мне думается, несколько особняком от других. Руководитель подобного типа должен обладать энергией организатора крупного производства, холодной головой экономиста, талантом земледельца и животновода, увлеченностью педагога, вниманием рачительного финансиста и многим другим. Его девиз — думать и учиться. Ему присуще всегда чувство нового.

Вспоминаются слова председателя колхоза имени Энгельса Михайловского района Адаменко. Он говорил, что председатель был раньше, как горох возле дороги — кто проходит, тот и скубнет его. «Председатель колхоза — горячий цех без огня. Будешь сладкий — проглотят, будешь горький — выплюнут». Но это в прошлом.

В наши дни с новой силой подтверждена принципиальная установка XXIV съезда партии: эффективно вести крупное производство сегодня может тот, кто имеет глубокие знания и широко эрудирован в своей области, хорошо разбирается в экономике, умеет предвидеть результаты того или иного хозяйственного мероприятия, чуток ко всему новому, прогрессивному, что дает наука и передовая практика.

Программным документом явилось для нас постановление ЦК КПСС «О работе Алтайского крайкома КПСС по повышению роли специалистов в развитии колхозного и совхозного производства». В нем говорится, что значительный успех в развитии сельского хозяйства во многом предопределяется тем, что в крае постоянное внимание уделяется работе с кадрами специалистов, проявляется забота о повышении их роли в развитии совхозного и колхозного производства.

За последние годы у нас пришло к руководству хозяйствами много молодых, талантливых специалистов. Подавляющее большинство руководителей хозяйств, секретарей партийных организаций — это преданные делу организаторы колхозного и совхозного производства, влюбленные в сельское хозяйство. Люди свято берегут и приумножают традиции алтайской земли.

В среднем на один совхоз сейчас приходится 28 и на колхоз — 15 специалистов. 95 процентов директоров совхозов и председателей колхозов имеют высшее и специальное образование.

Многие из них сроднились с землей, на которой работают, полюбили ее, отдаются делу со всей революционной страстностью. Только на такое отношение земля откликается добром. Колхоз или совхоз не вокзал, где можно, посидев часок-другой на чемодане, отбыть, что называется, не оглянувшись. К сожалению, немало оказалось среди молодых специалистов «легких на ногу» кочевников, страдающих охотой к перемене мест.

Справедливости ради надо сказать и о вине тех руководителей, которые, окрыленные первыми победами в борьбе за большой хлеб, ослабили внимание к науке.

Но у коммунистов есть правило: хочешь двигаться вперед — не тешь себя успехами.

Далеко не везде о специалистах проявляется необходимая забота. Подчас их отвлекают на выполнение не свойственных им функций — на канцелярскую работу, составление разных сводок. Иной ретивый администратор твердо убежден, что его директивные «указивки» вполне могут заменить любого специалиста. Правду говорят: попади такой деятель на операционный стол, он и тут незамедлительно распорядится, как надлежит его оперировать.

Множество традиционных крестьянских профессий ушло теперь в далекое прошлое. Появились такие термины: механизатор широкого профиля, мастер машинного доения, оператор-свинарка, мастер-наладчик. В жизнь села вошли чисто «городские» профессии: телемеханик, электрик, мастер по диагностике машинного парка и другие.

Огромный подъем, вызванный решениями XXIV съезда КПСС, дал мощный трудовой толчок в развитии социалистического соревнования, творческой инициативы, поисков новых совершенных форм руководства. Магистральным путем явилось ускорение научно-технического прогресса.

Коммунисты Алтая возглавили движение передовиков за повышение производительности труда, активно поддерживая все новое, прогрессивное. Созданные партией условия для полного проявления творческих возможностей, смелого новаторства, эксперимента позволили колхозному агроному Демину, неустанному опытнику, добиться на песчаных почвах своего хозяйства высоких урожаев; главному агроному совхоза «Советская Сибирь» Фомину — положить начало возделыванию на Алтае пшеницы сорта «мироновская-808», дающей высокие урожаи; главному зоотехнику колхоза «Страна Советов» Вовченко вместе с другими товарищами — вывести алтайскую тонкорунную породу овец, занявшую первое место среди колхозов и совхозов Российской Федерации¹; комбайнеру колхоза «Победа» Ребрихинского района Морозову — придумать и успешно применить приспособление, которое позволяет быстро и без потерь убирать полегшие хлеба. А надо ли говорить, какое огромное значение имеет «придумка» Морозова!

Понимание роли специалистов в современных условиях ведения земледелия и животноводства, внимание к ним, забота о них характерны для большинства партийных руководителей районов, директоров совхозов и председателей колхозов Алтая.

Сейчас у нас работают 20 тысяч специалистов сельского хозяйства. Большая сила! Нам нужно все сделать для того, чтобы еще больше поднять это высокое звание.

Какой бы стороны работы мы ни коснулись — закрепления ли кадров молодежи на селе, повышения производительности труда, подготовки специалистов, — все, буквально все связано с одним, главным — социалистическим соревнованием. Если оно поставлено хорошо — не формы ради, не для галочек и отчетов, а для дела, — успех обеспечен.

Мне хочется познакомить читателей журнала еще с одним человеком, сделавшим много доброго для молодых механизаторов на Алтае.

Это тракторист — машинист первого класса, Герой Социалистического Труда Михаил Федорович Голиков. Он инициатор шефского движения, которое так и называется — голиковское.

Коммунист Голиков вот уже пятнадцать лет водит трактор в совхозе «Чумышский». Он отличный механизатор с широким техническим кругозором. Но самое дорогое в нем — чувство ответственности за молодых, чувство долга.

В совхозы и колхозы ежегодно приходят сотни молодых механизаторов. Не помочь им на первых порах — убить в них веру в себя, потерять будущих хороших комбайнеров, трактористов. Голиков помогает им сам, не жалея ни сил, ни времени, и зажег своим примером других. Шефство над молодыми стало неотъемлемым условием соревнования.

При этом ценно, что мысль Голикова — не сводить наставничество только к выработке чисто профессиональных навыков, но заботиться и о нравственном воспитании подшефных — нашла полное понимание и поддержку в партийной организации совхоза, а затем инициатива тракториста широко распространилась в крае.

Десятки подобных начинаний, слившись воедино, и образовали тот мощный поток соревнования, что принес нам победу в хлебоуборке.

За три года девятой пятилетки Алтай дал родине 727 миллионов пудов зерна, или около 12 миллионов тонн. Все это позволяет нам 1975 год сделать годом сверхплановой сдачи зерна государству. За это борется краевая партийная организация.

¹ В колхозе «Страна Советов» Рубцовского района получен в 1973 году самый высокий настриг шерсти — свыше 9 кг на овцу.

Впереди у нас задачи поистине масштабные. Они вытекают из решений XXIV съезда КПСС. В девятой пятилетке предстоит решить ряд крупных проблем, направленных на укрепление материально-технической базы и химизации сельского хозяйства края, обводнения и орошения Кулундинской степи, создания лесозащитных полос, электрификации сельских районов. Районы востока предгорные и притаежные надо превратить в зону устойчивых высоких урожаев; широко двинуть в производство новые сорта зерновых культур. Предстоит улучшить средства связи и телевидения, построить автомобильные и железные дороги, жилища, культурно-бытовые учреждения, предприятия мясной и молочной промышленности, перевести животноводство на промышленную основу.

Будем настойчиво работать над созданием в каждом хозяйстве своих кадров специалистов и механизаторов. Делать все для закрепления молодежи на селе.

Пятилетка — это и стройка Кулундинского магистрального канала протяженностью 280 километров, и освоение Новотроицкого и Златополинского опытных производственных участков площадью по 10 тысяч гектаров каждый, создание культурных пастбищ, водоводы для степной Кулунды...

В прошлом году мы начали сооружение крупного Гилевского водохранилища в верховьях реки Алей. Оно позволит оросить 80 тысяч гектаров и в основном решить проблему обеспечения водой города Рубцовска и других населенных пунктов Алейской степи.

Как и прежде, важнейшая задача — закрепить успехи прошлых лет по производству зерна, добиться ежегодного стабильного сбора зерна, обеспечить увеличение заготовок.

Колхозы и совхозы получают 25 тысяч тракторов, 17 тысяч зерновых комбайнов, 12 тысяч грузовых автомобилей и много другой техники. Это значительно больше, чем за годы восьмой пятилетки.

Общий объем государственных вложений по колхозам края возрастает в 1,7 раза по сравнению с минувшей пятилеткой и составит один миллиард рублей. Намечено построить 64 крупных комплекса по производству мяса, молока, яиц.

* * *

Победы на хлебном фронте не даются легко. Трудным путем шли мы к ним. У земледельцев края есть все основания говорить о втором рождении целины. В самоотверженном труде тысяч людей, в содружестве науки и практики, нерушимой дружбе крестьянства с рабочим классом выковывались эти победы.

Вот уже около тридцати лет над нашей страной — чистое, ясное, мирное небо. Грандиозная Программа мира последовательно проводится в жизнь партией.

Показательно, что на Всемирный конгресс миролюбивых сил 144 страны направили своих делегатов и он вылился в самый представительный форум во всей истории общественного движения за мир. С его трибуны обратился к разуму всего человечества товарищ Леонид Ильич Брежнев, выразив в своей речи сокровенные думы и чаяния советских людей, надежды тружеников всей планеты.

Под мирным небом хорошо трудиться.

Многое нам дается, но и многое требуется от каждого из нас.

Мы верим в свои силы — порукой тому путь пройденный. Верим, что «в богатейшем Алтайском крае», как назвал его некогда Ленин, труд человека во сто крат умножит богатства природные.

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

★

МЫ ПРИВЫКЛИ

Мы привыкли.
Видеть нам не странно
На страницах утренних газет:
Рядом
 с президентом иностранным
Комбайнера знатного портрет.
И вопрос
 погоды на Алтае
Не пустой для москвича вопрос...
Слышим мы
 колосьев бормотанье.
Радует гулу
 дальних гроз.
Волжские метеосводки помним.
Мы привыкли.
Мозг не устает.
Град идет
 над казахстанским полем.—
Этот град
По нашим спинам бьет.
Жизнь и окрыляет и печалит.
Вся страна внимает новостям...
Мы привыкли:
 ордена вручают
Людам,
Городам
И областям.

БОРИС УКАЧИН

★

МАЛЫЕ НАРОДЫ

С алтайского

У малых народов и нынче на свете
есть кое-какие заботы свои.
Звучит наш язык, улыбаются дети —
так как же забыть нам заботы свои?

Охотники мы, пастухи, скотоводы,
привычен костров нам клубящийся дым.
Но только ли в этом призванье народа?
Но только ли этим себя утвердим?

Не только! У нас — и врачи, и поэты,
ученые — люди крылатой мечты.
Но главные песни еще не пропеты!
Но главные кручи еще не взяты!

Раскрыть предстоит нам и ярче, и шире
большую и светлую душу свою,
шагая в сложнейшем сегодняшнем мире
с большими народами в общем строю.

Есть в каждом народе волшебная жилка:
родился ж когда-то в метельной пыли
по имени Тыко, по прозвищу Вылка
художник средь ненцев, у края земли!

Был Гуркин — алтаец...
Пронесятся годы,
и верю я, целя в грядущее взгляд:
не раз еще малые наши народы
сынами великими мир удивят!

Светла наша доля под небом Союза,
а если глобальные взвесим дела —
мы шару земному отнюдь не обуза:
без нас бы планета беднее была.

Когда она вся от разрывов дрожала
и стлался удушливый дым по стране,
от общей беды, от большого пожара
и малый народ не стоял в стороне.

Ты в малом народе, товарищ, родился,
живи же, людскому подвластный суду,
так, чтобы народ твой тобою гордился:
ведь в малом народе мы все на виду.

Легко и свободно шагай по планете,
но помни повсюду родимый свой край
и в буйном, порывистом ветре столетья
алтайскую шапку свою не теряй!

Перевел ИЛЬЯ ФОНЯКОВ.

Горно Алтайск.

* * *

Нагрянул ветер с ледников
Неугомонный и шумливый,
Как водопад, из облаков
Упал на землю первый ливень.

И показалось мне:
Не дождь
К земле протягивает нити,
А в бункера струится рожь
Алтайских пашен знаменитых.

Барнаул.

ОЛЕГ СМИРНОВ

★

ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

НАЧАЛО БИОГРАФИИ

— **Р**одился я двенадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать пятого года в селе Большая Михайловка, что в семи километрах от Караганды было. Сейчас села уже нет, его поглотил разросшийся город, а тогда это было немалое для Казахстана поселение — недаром назвали Большой Михайловкой. Ну, что дальше? Гонял с пацанами, подросток — поступил в школу, пионер, затем комсомолец. В сорок третьем, в январе, из десятого класса взяли в армию. Вот тут-то, считаю, и началась моя биография. Или, как у нас выражаются, сознательная жизнь...

Да, биографию у Василия Тимофеевича Христенко, как и у его сверстников, можно отсчитывать со дня, когда призвали на военную службу и, следовательно, настал черед воевать. Кончилась юность, не успев наступить как следует. Пришла зрелость — в семнадцать с половиной лет. Зрелость, по праву и долгу которой надо было с оружием в руках защищать родину. Годы-то малые, особенно по нынешним меркам, но понималось все отлично: надо прикрыть родину грудью, ты мужчина, твое место в мужском, в солдатском строю. И он рвался на фронт всеми силами, хотя так же ясно сознавал: где стреляют, там ранят и даже убивают.

Он и в юности был сдержан, немногословен и не произносил в военкомате обещающих слов, предпочитая им выполненные дела. Но военком, взглянув на него, подумал: «Этот не подведет». Потом забыл о крепком, невысокого роста пареньке — сотни таких прошло перед ним, — а Христенко долго помнил военкома. И не потому, что тот сказал ему что-то доброе, а потому, что сказал это доброе человек, уже побывавший на войне, на которой Василию Христенко побывать еще только предстояло.

В те времена он часто спрашивал себя: что будет, если вдруг почему-то я не попаду на фронт и война закончится без меня, как смогу после этого жить на земле, отвоеванной другими? И отвечал: нет, непременно должен сам повоевать, не хоронясь за чужие спины, иначе победа будет не моя, мне будет трудно жить.

Об этом он думал и тогда, когда январским днем сорок третьего года отец и мать провожали его — с дорожной сумкой за спиной — на станцию, и тогда, когда он приехал в Семипалатинск, в Тамбовское военно-пехотное училище, и начал постигать премудрости армейской службы. Впрочем, все премудрости он не постиг в училище, доучиваться пришлось на фронте. Но теперь-то он знал: война не пройдет без него. И сделался очень спокойным, перестав мучиться вопросом: что будет, если не попадет на фронт?

Зря мучился, как оказалось. Войны для него еще было припасено вдоволь. И то, что иных, более старших однополчан порой тревожило, его успокаивало: есть еще время показать, на что ты способен ради общего дела. Наверное, это тот

самый юношеский максимализм, который не всегда сохраняется в зрелом возрасте. У Василия Тимофеевича Христенко он, к счастью, сохранился.

Но вернемся к военным годам. Как и большинству воевавших, фронт вспоминается по освобожденным и взятым городам, форсированным рекам да по ранениям. Их, ранений, было немало, по крайней мере больше, чем поведал Христенко, ссылаясь на память: «Сколько лет позади, прошлое видится, как в вечернем тумане». Ну что ж, и я перескажу лишь те истории, что счел уместным припомнить Василий Тимофеевич.

В Семипалатинске он пробыл до августа, когда недоучившихся курсантов срочно погрузили в эшелоны — первую партию, затем вторую. Будущих лейтенантов посылали рядовыми: фронту позарез нужны были подкрепления. Христенко приехал с себе подобными юнцами под Воронеж. Марш. Первые, не очень серьезные бои в качестве пехотинца. А после — серьезное, тяжелое: началась битва на Днепре.

В ней Христенко участвовал уже станковым пулеметчиком. Своим «максимумом» он прикрывал высадившихся на правом берегу десантников. А чего стоило форсирование! Вспышки выстрелов и разрывов кромсали ночную темноту, лучи прожекторов шарили по реке, кипевшей от пуль и осколков. Отчалили под снарядами и плыли под снарядами. На лодках, плотах, бочках. Луна в тучах, немцы бросают с самолетов осветительные, на парашютиках, ракеты, в их свете видно: там вражеский снаряд попал в плоскодонку, там в плот — взлетают снопы огня, доски, тела. Василия окатило водой от близкого разрыва, а вода уже осенняя, ледяная. Не мешкая спрыгнули в нее у берега, песчаного, в лозняке. Вперед и вверх, где на гребне высотки — немецкие окопы. И в цепях атакующей пехоты — расчет Василия.

В ночном бою сбили немцев, пошли на запад. Немцы контратаковали, пытались сбросить с плацдарма в реку. Ломая сопротивление, советские части продвигались. И тут на марше у развилки дорог под одним из холмов разорвался снаряд и два осколка — Василия: в голову и в руку. Словно кто стегнул плетью по голове и руке — больно, а уж потом увидел: кровь течет. Никого не звал на помощь, но откуда ни возьмись подбежал ротный санинструктор, стал вскрывать индивидуальный пакет, приговаривая: «Потерпи, потерпи». «Я терплю», — сказал Христенко. Перевязать себя он дал, а вот эвакуироваться наотрез отказался: «Остаюсь в строю». Санинструктор отчего-то разобиделся, раскричался. Христенко улыбнулся: «Утихомирься, помощник смерти». И санинструктор, в иное время шибко обидевшийся бы за это ходячее в армии определение, сейчас вдруг улыбнулся, махнул рукой: «Черт с тобой, воюй, коль такой шустрый».

Километров тридцать прошли на запад, а затем гитлеровцы, подтянув танки, устроили веселую жизнь, будь она проклята, эта веселая жизнь. Упорнейшие, кровопролитнейшие бои, в ходе которых нас здорово потеснили. То есть что значит потеснили? Оттопали вспять почти те же тридцать километров. И выхода не было: или немцы сбросят в реку, или мы удержим плацдарм любой ценой.

Велика оказалась эта цена. Сколько полегло на приднепровских берегах южнее Кременчуга тех хлопцев, что были с Христенко в Семипалатинске, в Тамбовском военно-пехотном! Сильные, красивые, восемнадцатилетние. Ныне там разлилось искусственное море, и Христенко нет-нет и подумает: где бесчисленные могилы его сверстников — ушли под воду либо перенесены выше? Много их, много на днепровских холмах братских могил и одиночных, зачастую безымянных.

Нет, не по одним форсированным рекам да своим ранениям вспоминают фронтовики боевое прошлое. И по смертям товарищей, по их могильным бугоркам с фанерной пирамидкой и жестяной пятиконечной звездой тоже. И еще неизвестно, какое воспоминание острее. Но собственные раны помнятся, конечно.

Вторично его ранило на третий день боев за плацдарм. Под вечер, когда гитлеровцы поднялись в очередную атаку, позади Христенко в траншее грохнуло, как обвал. В спину будто ударило чем-то железным. Впоследствии он удивлялся этому чувству в первый миг, оно было безошибочно: ведь действительно его ударил крупный осколок тяжелого снаряда. Осколок угодил в диск автомата, висев-

шего у Василия за спиной. Диск был пробит, однако убойная сила осколка была уже ослаблена, и это спасло от гибели. Теряя сознание и падая, Христенко успел подумать: «Ранен, не убит».

На сей раз его перевезли обратно на левый берег и дальше, в тыл. Очутился в Харькове, в госпитале, и там оперировали, извлекая осколок из позвоночника. Делавший операцию хирург поражался: «Повезло тебе, солдат, удачно отделался. Жить и ходить будешь!» — «И воевать, товарищ подполковник?» — «Само собой, Не бойся, до списания по чистой далеко, навоюешься, удачливый...» Валяясь в госпитале, Христенко узнал из газет: Киев освобожден!

Из харьковского госпиталя он попал в запасной полк. Агитировали его остаться в полку, готовить маршевые роты на фронт. Здравсьте! Он сам хотел снова попасть на фронт! Командование, однако, не отпускало, и пришлось дисциплинированному, не терпевшему нарушений уставов Христенко пойти на нарушение: пристроился к походной колонне. Успокаивал свою совесть: не в тыл же уходит самовольно, а на фронт, не к теще на блины, а в бой.

Так он сделался разведчиком-гвардейцем: 62-я гвардейская дивизия, 64-я отдельная разведрота. Наступили будни пехотной разведки, и ничто пока не предвещало, что он еще повоюет в танковой разведке. Разведка боем, поиски, захват языка, более глубокие рейды во вражеский тыл.

В тот раз они пробыли в тылу три дня. Углубившись за передний край обороны на пять километров, шестеро разведчиков во главе с Василием Христенко (ему уже присвоили звание сержанта) следили за передвижением войск и техники на тракте и по радиации сообщали командованию сведения о противнике. Все шло нормально, и пора было возвращаться к себе. Ночью подошли к лесу и сквозь гнилой весенний туман засекли: возле опушки на подтаявшем снегу — три танка и несколько автомашин. Как бывает ранней весной, в ночь посыпал снежок и припорошил танки и автомобили. Казалось, брошено все это. Или немцы сидят внутри, спят? Разведчики осторожно приблизились. Николай Новиков принялся открывать дверцу автомобиля, и в этот момент из кабины бросили гранату прямо в Новикова, почти в упор. Она разорвалась, будто лопнула, Новиков упал, раненый. Таща его на себе, разведчики стали отходить. Метров через пятьсот из танка вдолгону стеганули пулеметными очередями.

Христенко вскрикнул, закусил губу. «Товарищ сержант, что с вами? Ранены?» — «Да, зацепило. В ногу...» Невольно застонал не столько от боли, сколько от бессильной досады: все так хорошо складывалось — и нате вам под конец, Колю Новикова ранило, теперь вот и меня придется тащить. А до этого, точно, обходилось: наталкивались на немцев, были получасовые перестрелки, «толкались», как говорят разведчики, и расходились в разные стороны. Разведгруппа выполнила задание, можно было возвращаться, переходить нейтральную полосу. Ослабевший от потери крови, поддерживаемый товарищами, Христенко ковылял по просеке, по снежной каше, в сапогах хлюпало — кровь натекла. Но думал не о своей ране, а о Колиной: и паренек не поостерегся, и мы его плохо подстраховали, я как командир чего-то не предусмотрел. Хотя, по совести, на войне разве все предусмотреть, на войне часто правит случай, счастливый или несчастливый...

Вот было с Василием. Стояли в обороне. Лето. Жара. Жажда. Он привязал четыре фляжки к ремню и пополз к колодцу с журавлем — за траншеей, на ничейной земле. Наполнил фляги, одну протянул лейтенанту, тот тоже пробрался к колодцу напиться. И тут в колодезный сруб ударила мина, лейтенанту осколком буквально отрубило голову, а у стоявшего рядом Христенко ни царапины.

Судьба! Он не то чтобы верил в нее, но разумел: на фронте далеко не загадывай. День прошел, ты уцелел — и хорошо, считай, тебе повезло. А вообще-то он воевал как работал. Надо — и делал положенное, не помышляя ни о каких наградах. Наверное, очень многие воспринимали войну как тяжелый и необходимый труд.

Обычно размышлялось на досуге, а досуг у фронтовика самый солидный — когда отлеживаешься по госпиталям. Времецко свободное есть, думай на здоро-

вье! Разные по ночам являлись мысли. В том числе и такая, повторявшаяся: «Вот ты хотел воевать и воюешь. К опасностям и ранениям относишься как к должному. И считаешь: все так обязаны относиться. А не упрощаешь ли людей, не меришь ли на свой аршин?» И эта мысль рождала другую: «Ты крепче, тверже многих, так будь же к своим людям мягче, добрей, твоя доброта им пригодится». А обе мысли рождали чувство, будто раны, кровь, страдания товарищей важней, чем твои собственные раны и страдания...

После того, в ногу, ранения — в разведке — Христенко отлеживался в Бельцах, в Молдавии. Здесь в госпитальной палате его койка стояла вплотную к койке Михаила Лихачева, землячка-казахстанца, из Усть-Каменогорска. Они познакомились, подружились. Христенко был ранен в левую ногу, Лихачев в правую. В госпитале сапоги Христенко потерялись, и поэтому земляки на прогулку надевали лихачевские сапоги: один — левый, другой — правый, на двоих хватало пары!

Михаил-то, служивший в танковой разведке, и уговорил Василия: айда к нам. Условились: идем в танковую разведку. Выписавшись из госпиталя, уже в Румынии, где-то в районе Ясс, добрались до расположения 80-го отдельного разведывательного батальона, приданного 5-му гвардейскому танковому корпусу (впоследствии и разведбат стал гвардейским и получил номер — 15-й).

В этой части Христенко воевал до победы. Заканчивал войну в Венгрии, в Австрии, в Чехословакии. В воздухе пахло не только весной, но и победой. Странно: Василий почему-то был уверен, что война должна завершиться именно весной, при цветущих садах. Что может быть прекрасней облепленных белыми и розовыми лепестками яблонь, груш, вишен?

В Венгрии было. Командир разведбата послал в городок узнать, нет ли там немцев. Поехали ночью на бронетранспортере. Экипаж у Христенко интернациональный: украинец Слободянюк, татарин Салахов, казах Исаков, таджик Махмудов. Кто сам по национальности? Христенко считает — русский, хотя юрни украинские, когда-то деды переехали в Казахстан и обрусели. «Отчасти оказались», — добавляет Христенко.

Городок спал тревожным сном, а может, просто затаился в тревоге: мрак, ни огонька, окна завешены. Бронетранспортер въехал на центральную улочку — она же шоссе, — остановился. Христенко скомандовал Слободянюку: «Иван, иди разведай». Тот вылез из машины, осмотрелся, заметил, как блеснуло что-то в темноте. С чего-то ему показалось: свои, братья славяне. Но фигуры уходят. Он им кричит: «Стой!» А из кювета вдруг: «Хенде хох!» Иван от неожиданности вздрогнул, как чесанет из автомата по кювету — и ходу к бронетранспортеру. Еле отдышался: «Товарищ сержант, куда-то попали... Кругом немцы!» Христенко приказал водителю Салахову разворачиваться, а остальным — они автоматчики — готовиться к бою.

Салахов принялся сдавать, и задние колеса съехали в кювет. Туда, сюда — буксует, ни с места. Гитлеровцы палат из автоматов, разведчики отвечают тем же. «Гранаты к бою!» — крикнул Христенко. Разведчики начали бросать трофейные венгерские гранаты — они нанизаны на стержень, и наши бойцы называли их «шашлычком». Но очень удобно: снял две-три «шашлычины» и швыряй в противника.

Гитлеровцы не выдержали перестрелки, отступили. Утром разведчики обнаружили на месте огневого боя пятнадцать вражеских трупов, а бронетранспортер потому, оказывается, забуксовал, что наехал на труп. Выяснилось также, что немцы готовили здесь засаду, хотели встретить наши танки фауст-патронами, разведчики сорвали эту засаду. А то, что блеснуло перед Иваном Слободянюком, было алюминиевой флягой, высунувшейся из чехла. Вообще же немцы, при всей своей дисциплинированности, уснули в кювете, потому-то наш бронетранспортер и заехал в самую их гущу.

В Венгрии его, правда, не ранило. В Австрии ранило. Бывало, что Христенко ездил в разведку на броневичке — вдвоем с водителем, которым неизменно был Салахов. Ехали они как-то и видят: по перпендикулярной дороге движутся

колонной немецкие танки. Мгновенно сосчитав их — двенадцать! — Христенко погнал броневичок в укрытие к домику лесника: авось танки не заметят броневичок. Но танки заметили и, развернувшись в линию, полем поползли к домику. Метрах в пятистах замерли и ждут.

Что делать? Бить из пулемета по танкам? Бессмысленно. Вырваться на виду? Мало шансов. Христенко и Салахов вылезли из машины, заняли какие-то окопы — и вовремя: танки открыли оружейный огонь по домику. Он загорелся. Загорелся и лес вокруг. Пламя, смрад, дым. Разведчики прикладывали к лицу комья сырой земли, чтобы спастись от нестерпимого жара. Но выдержать такое долго нельзя: лопается кожа, тлеет одежда, нечем дышать.

Христенко решает под завесой дыма вырваться, проскочить под носом. Расчет подкреплялся еще и тем, что немцы не ожидают вылазки, уверенные в гибели разведчиков. Броневичок взревел двигателем и вылетел на дорогу — действительно под носом у противника. Некоторые танки били вдогон, но было поздно.

Василий Христенко примчался в деревню, где дислоцировался разведывательный батальон, к дому, возле которого маячил единственный танк разведбата. Экипаж в это время обедал. Сперва Христенко не поверили, предложили лучше выпить водочки. Он разозлился, помянул трибунал. Командир танка допил чарку, вытер губы и сказал: «Судом не пугай. Потому едем, что я тебе поверил, с танками-то...»

Наш танк подошел к немецким — они еще стояли в линию, задом к нему — и с ходу начал расстреливать их сзади. Поджег четыре машины, восемь удрали. За это командир танка получил орден Ленина. Христенко потом добродушно над ним подшучивал: «А не хотел идти, артачился...»

И опять они с Салаховым на броневичке едут в австрийскую деревню. Христенко едет и про себя удивляется: зачем комбату потребовалось вновь посылать его в эту деревню, когда он только что был там, видел немцев своими глазами и доложил о том майору? Но майор повторил приказание, просительно добавил: «Съезди еще разок, посмотри». — «Да оттуда же я...» — «Съезди». Лишь назавтра узнал Христенко причину такой настойчивости комбата: тот уже доложил в корпус, что деревня свободна, а тут появился Христенко с совсем другими данными...

С майором Устюжаниным у Христенко были особые отношения. Однажды немецкие танки с автоматчиками внезапно атаковали хутор, где размещался разведбат. Устюжанину пришлось уходить задом, а за ним гнались автоматчики на мотоциклах. В самый критический момент подвернулся Христенко на броневичке, спас. С тех пор комбат как бы приблизил его к себе, на пустяковые задания не посылал, берег для важных. Но разве это важное задание — идти в деревню, где только что побывал? Зачем это? Повторяю: лишь назавтра узнал Христенко, почему майор Устюжанин вторично посылал его в разведку...

Салахов завел мотор, и они поехали. Не доезжая до деревни, Христенко вылез из машины, пополз по кювету вдоль дороги, ведущей в деревню. Прополз метров семьдесят, чуть приподнялся. Увидел: меж домами автомашины, мотоциклы, автоматчики — то же, что видел в первый раз. Можно было уходить.

Но уйти спокойно не дали. На взгорке немцы устанавливали минометы и обнаружили приподнявшегося, а затем поползшего назад разведчика. Средний миномет положил несколько мин в кювет. Работая руками и ногами, радуясь («Жив-здоров!»), Христенко выбрался из кювета, сгоряча не замечая, что ранен. Когда же попробовал встать и бежать к броневичку, то едва не свалился — в ступне больно и по руке стекает кровь. Перебарывая боль и слабость, побежал-поковылял к машине, слыша за спиной топот кованых сапог. Понял: преследуют немецкие автоматчики. Не стреляют. Хотят захватить живым?

Подковылял к броневичку. Салахов с полуслова сообразил что к чему. Финкой разрезал сапог, забинтовал ступню. Начал бинтовать руку и не закончил: немцы — вот они, и Христенко крикнул: «Заводи!» Водитель кинулся к машине.

А у Христенко нет сил лезть в башню, да и срезать могут автоматчики. Он лег на капот: «Салахов, жми!» А мотор, как на грех, не заводится, чихает, кашляет, фыркает. Немцы все ближе: топочут, кричат что-то.

Наконец броневичок дернулся, рванул вперед. Христенко вжался в капот, чтоб не сорваться. Он лежал на животе, перед глазами отбегала вспять брусчатка, и вдруг видит: бинт на руке размотался и белой лентой расстилается по дороге, а немцы, не стреляя, бегут за ним, вот-вот схватят или наступят. Мелькнула мысль: схватят за конец разматывающегося бинта и сдернут его наземь. Тогда Христенко стал подтягивать бинт, конец его уходил от немцев, и они открыли огонь по машине. Но разведчики ушли.

В госпитале Христенко не долечился, вернулся в разведбат: надо было непременно дозвонить до звонка, победу встретить в боевом строю.

Победа наступила неожиданно, хотя ее ждали со дня на день. Разведбат был на марше километрах в двенадцати от Праги, когда рано утром с самолета сбросили листовки: 9 мая — день победы! Какая же это была радость! Стреляли вверх, салютуя, пускали ракеты, обнимались, целовались, пели песни, плакали. Плакал и Вася Христенко. Пожилой, морщинистый солдат, сморкаясь и вытирая мокрые седые усы, сказал ему: «Ты-то чего плачешь, старший сержант? У тебя, у молодого, вся жизнь впереди. Это нам, старикам, надо поплакать...» Старый солдат говорил правду, но не всю. Ведь Христенко плакал потому, что радость отдавала горечью: вспомнил о тех, кто шел рядом с ним и не дошел до победы, — среди них были и старые и молодые, и женатые и холостые, бездетные и отцы семейства, всякие были.

А после Дня Победы были еще бои, но теперь Василий был уверен: не имеют права убить или ранить, он почти что бессмертен! Других же ранило и убивало и 10 мая и 11-го, и он горестно поражался этому. Война для Христенко окончилась 12 мая. Накануне ночью разведчики ехали на «виллисе»-амфибии. Машина отказала, ее оставили на дороге, сняв ручной пулемет, пристроились в кювете. Дежурили по очереди. Под утро дежурить досталось Христенко. Было свежо, росно, в горах курилась туман. За этими горами — Прага, куда пробивались советские войска. По пути разведчики завернули в крестьянский дом, и хозяева сказали им: пражане по радио обратились к советскому командованию с просьбой спасти Злату Прагу. А они, разведчики, вынуждены куковать здесь из-за поломки «виллиса». Неплохая, в общем, машина — и так подвела.

В предутреннем морозе Христенко увидел крадущиеся по кукурузному полю фигуры. Тихонько разбудил товарищей. Изготовились к стрельбе. Фигуры подошли ближе. Немцы, человек сто. Ясно, уходят к американцам, будут прорываться несмотря ни на что. Немцы трижды атаковали разведчиков и трижды откатывались. В четвертый раз не атаковали, ушли назад. Это были последние выстрелы, последняя кровь, последние смерти — уже после Победы.

«ТЕПЕРЬ ТЫ ПАРТЕЙНЫЙ...»

— Так сказал мне райкомовский возница, крепкий и бойкий старик алтаец. Он имел в виду то, что меня избрали зональным секретарем райкома партии. Было это на Алтае, в Топчихе, в пятьдесят третьем году, после сентябрьского Пленума ЦК. А партийным человеком я стал еще на фронте, в апреле сорок пятого...

За всю войну Василий Христенко ни разу не побывал в отпуске, хотя таковые и полагались ему по ранению. Не побывал, потому что исповедовал, как веру: пока идет война, его место на фронте. Но когда война закончилась, домой потянуло с неудержимой, пугающей силой. Еле дождался демобилизации. И поехал с войны в таком же воинском эшелоне, в каком ехал когда-то на войну. Два года назад. Тогда ему шел девятнадцатый, теперь — двадцать первый.

Если перенестись в сегодняшний день, то невольно думаешь, что старшему сыну Василия Тимофеевича, Владимиру, двадцать первый. Студент, закончил два курса Алтайского политехнического института. А у отца в его годы за спиной

была Великая Отечественная... Ну, а младшему сыну, Юрию, восемнадцатый — как и отцу, когда он уходил в армию, затем на фронт. Да, такие вот параллели...

Василий Христенко приехал в Большую Михайловку повидаться с отцом-матерью. Повидался: объятия, поцелуи, радость. И — упреки, сперва удивившие Василия. Упрекал отец, Тимофей Васильевич, медицинский фельдшер, человек доброй, отзывчивой души. «Ты помнишь, Васья, какие ты письма писал нам с фронта?» — «Какие? Обыкновенные». — «Нет! Залихватские! В таком духе: живы будем — не помрем, а вообще на смерть наплевать...» — «Неужто так писал?» — «Именно так, глупо писал». Василий согласился — не очень умно, тонимая, что отцу, всю жизнь имевшему дело с болезнями и смертями, чуждо панибратство с человеческими страданиями, с гибелью. А Василий по молодости это допускал.

Вот таких прозрений, вызванных первыми же шагами в послевоенной, мирной жизни, было немало. Одно из них состояло в том, что уяснил: после войны мужество нужно так же, как и на войне, — вывод, который и поныне не утратил для Христенко своей значимости.

Пожив у родителей, он начал вдруг томиться. Все чаще являлась мысль: он теряет драгоценное время, надо торопиться приступать к чему-то существенному, важному, к делу приступать. И это сознание, что ему надо спешить, послало Христенко в Свердловск. Был у него фронтовой дружок, приглашал после войны в этот уральский город, где много вузов. А ему, Василию Христенко, надо было учиться.

Перед фронтовиком, у которого на груди три ордена Славы, раскрывал дверь любой институт. Куда идти, Христенко не знал: не было определенных интересов. Была скорее некоторая растерянность: выбирался институт, который поворачивал жизнь на долгие годы, до конца. Куда ж все-таки поступать? По примеру фронтового дружка двинул в Политехнический институт, на факультет энергетики. Проучился малость и понял: не то, не по мне. И еще: стипендия маленькая, голодно, холодно. В послевоенное время жилось трудновато, и эти трудности как-то расстроили Христенко. Все ж таки действительность после победы представлялась другой, более праздничной, менее суровой. И — история прошлая — подрастерялся Василий, сник. Надумал бросить учебу, вернуться восвояси, поработать несколько лет, а потом уж снова в вуз...

Но райком партии не позволил Христенко сняться с учета, и он до сих пор с благодарностью вспоминает об этом. В райкоме ему сказали: ты фронтовик, дорогой товарищ, и не пасуй перед сложностями, учись, но если этот профиль не по нутру, другой подберем, нам нужны разные специалисты, к тому же ты еще и коммунист, дорогой товарищ.

Райком партии рекомендовал Христенко в двухгодичную юридическую школу. Уже с первых занятий стало ясно: то, что нужно! Ибо профессия юриста предполагает работу с людьми, а это, как впоследствии все больше и больше убеждался Христенко, ему очень по душе. Именно люди, их жизнь, их судьбы влекли к себе, что ж, ничего тут необычного нет. И вообще это было для Христенко удачей, что окончил юридическую школу, потому что последующая его работа — уже на партийном посту — тоже ведь предполагала прежде всего общение с живыми людьми.

Окончив школу, Василий Христенко в качестве народного следователя получил направление на Алтай — с этим краем отныне жизнь связала его прочно, навсегда. Приехал молодой следователь в Тойчихинский район, приступил, как говорится, к исполнению служебных обязанностей. Днем допрашивал арестованных, ночью спал в этом же кабинете на продавленном диване. Честно говоря, ночами не особенно спалось: в камере предварительного заключения сидели пятнадцать человек, их надо было или выпускать, или оформлять в суд — сроки подпирали.

Их, сроки, упустил прежний следователь, по профессии бухгалтер, не имеющий юридического образования: в те времена квалифицированных юристов не

хватало. Пришлось Василию Христенко впрягаться, тащить, недосыпать. Вот почему ночевал он в служебном кабинете, а не только потому, что квартиры сразу не дали. Он вставал, пил крепкий чай, садился за обшарпанный письменный стол; подвигал к себе дела подследственных, оформленные небрежно, зачастую без привлечения вещественных доказательств.

Потом мотался по району — собирал где еще можно было вещественные доказательства. Словом, выложился он до предела. Видик: осунулся, почернел, скулы торчат, на брючном ремне уже дырочек недостает. А как не выкладываться, когда надо было решать судьбу пятнадцати живых людей.

У Христенко нет полной уверенности, что судьбу всех пятнадцати он решил безошибочно: зелен был, без практики, просто старался поступить по совести, по справедливости. Иначе и быть не могло: он же народный следователь. Правда, судьбу их в конечном счете решал суд, но материалы и выводы следствия, как известно, на суде играют немаловажную роль...

Дни и ночи следователя — напряженнейший труд во имя порядка и законности, во имя интересов человека. Именно ради человека трудился следователь Христенко, выводил на чистую воду преступников. На фронте думалось: с победой люди враз перемянутся к лучшему, исчезнут зло и преступления. Но реальность опять оказалась сложней. И нынче он как бы продолжал воевать — иными средствами и против иных врагов. А грабители, убийцы, насильники — это враги общества и, следовательно, его как гражданина, это он твердо осознавал.

На колхозном току убили сторожа. За что, почему? Христенко установил: убили, чтоб не помешал украсть зерно. Нашли убийц, нашли и шофера, который увозил пшеницу, обильно политую трудовым потом колхозников. И когда преступников судили в Топчихе — и осудили, — Христенко испытывал удовлетворенность.

Или дело председателя одного из колхозов — Блинова. Убийств тут никаких не было, но был тот же наглый грабеж колхоза, государства. Махинации, подлоги, растраты, взятки. Сколько просидел следователь над бухгалтерскими документами, сколько свидетелей допросил, прежде чем вырисовалась картина: Блинов — преступник.

Следовательская работа подчас связана с риском различной степени. У Христенко был такой случай. Вел он следствие по обвинению в уличном грабеже. Оно заканчивалось, истина, в общем-то, была выяснена. И вдруг следователь стал получать анонимные письма с угрозами, угрожали и телефонные звонки: прекрати следствие, замни, иначе тебе худо будет. А однажды поздним вечером на пустынной, заметенной сугробами улице из метельной темноты навстречу Христенко вышел мужчина. Тропка узкая, кругом сугробы, не разойтись. Что-то в мужчине, державшем руку в кармане полушубка, в его напряженности и решительности показалось Христенко подозрительным. Но не отступать же вчерашнему фронтовику! Он достал пистолет, сунул за пазуху и зашагал вперед. И когда между ними оставалось шага три, в руке неизвестного блеснул нож. Следователь выстрелил вверх, и тот отскочил с тропинки в сторону, исчез за сугробами, в метели. Как выяснилось, это был брат подследственного, приехавший в Топчиху издалека. Угрозы — тоже его работенка. На что он рассчитывал, готовясь убить следователя? Столь же нелепо, сколь и беспочвенно: ведь суть-то не в следователе, а в объективной истине. Установленную истину уже ничем не отменить.

Набирался практического опыта следователь Христенко и одновременно учился во Всесоюзном заочном юридическом институте. Потому что ничего не любил делать не на высшем уровне, как он говорит шутливо. Высший же уровень здесь включал и высшее образование. Христенко закончил этот институт. Да только с юриспруденцией распрощался: взяли в аппарат райкома партии. В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК КПСС, а в октябре Василий Христенко был избран секретарем Топчихинского райкома партии по зоне МТС. «Теперь ты партийный...» Если вдуматься, то райкомовский возница, видимо, вкладывал в эти слова особый смысл: теперь ты секретарь.

Старикан этот повозил-покатал вновь испеченного секретаря по самым отда-

ленным бригадам, по самым глухим деревушкам. В осеннюю распутицу, в зимние бураны, в дожди и сугру. По шестьдесят километров в день. В райкоме тогда была одна автомашина, и, понятно, попользоваться ею зональному секретарю не светило. Даже лошадка не всегда была под рукой, а просить у директора МТС транспорт Христенко не позволяла гордость, да и опасался попасть в зависимость, связать себе свободу действий. И Василий Тимофеевич, бывало, топал пешочком — бездорожно, по грязищи, по сугробам.

Ох и бездорожье было в начале пятидесятых! Председатели колхозов добирались в Топчиху на совещание или на заседание с великими муками. Вспоминается забавное: один предколхоза вызывал трактор с санями, свою легковушку загонял на сани. Трактор пробивался сквозь распутицу, а председатель восседал в кабине, ехал, так сказать, в автомобиле. Бюро шло тогда весь день и ночь, заканчивалось к рассвету — любили позаседать. Под утро осоловелые председатели, получив очередную головомойку, разбредались по домам.

А Христенко к себе вызывал редко, он сам ехал к людям или же топал на своих двоих. Точила мысль: «Я ж ничего не знаю о своих колхозах». Колхоз — это колхозники, а колхозники — это каждый в отдельности, со своей судьбой и характером, это в итоге личность. Вот и надо было узнавать людей, знакомиться с ними там, где они живут и работают. На месте и дела виделись лучше, предметней, чем на расстоянии. Василий Тимофеевич неделями ездил по станам, неделями не снимал сапог и брезентового плаща. Встречался с народом на проселках, в поле, в бригадах. Скольких же людей, их сильные и слабые стороны познал он не из втиранных рук! Были, конечно, слабости, но в принципе люди отличные, только умей опираться на них.

Однажды райкому партии потребовался список из пятнадцати колхозников артели имени «1 Мая», представляемых к наградам. И вот заходит председатель колхоза Владимир Ильич Потанин, тридцатитысячник из Москвы, и разворачивает целый свиток, от стола до стола. «Что это?» — «Список членов колхоза». — «Так мы ж просили на пятнадцать человек!» — «Всех надо наградить за то, что трудятся в суровых условиях Алтая». — «Да мы серьезно...» — «Ну если серьезно...» Перестав улыбаться, достает из нагрудного кармана бумажку с пятнадцатью фамилиями.

Это шуточный эпизод, но за ним встает уважение к труженикам, которых не пугают ни алтайский климат, ни отдаленность, ни бездорожье. Христенко понимал: таких людей от председателя до рядового колхозника нужно и уважать и не давать в обиду, оберегать, поддерживать.

Еще вроде бы шутейная, а в действительности серьезная, поучительная история — с тем же Владимиром Ильичом Потаниным.

Как-то хоронили колхозного ветерана, отдавшего артельному хозяйству не один десяток лет. Как почетному человеку Потанину поднесли стаканчик, другой. Отказаться было нельзя... Но когда на похоронах старухи затянули церковное песнопение, председатель вдруг как рванул басом, подпевая! Уже забыл, что некогда учился в духовной семинарии, а тут звыграло былое! В райкоме были склонны оформить персональное дело, влить бывшему воспитаннику духовной семинарии партийный выговор. Но Христенко придерживался иной позиции: зачем раздувать, хороший же работник, он и так прочувствовал свою вину. На том и закончили, поговорив с Потаниным, крепко предупредив, чтоб не ронял свой председательский авторитет...

Кадры, люди — главное. Но была и другая грань секретарской работы — производственная, сельскохозяйственная. Чтобы руководить колхозами и МТС, чтобы заниматься вопросами сельскохозяйственного производства, нужно было доскональное знание деревни, сельского хозяйства. Практика, конечно, была богатая. Однако ее мало, и Христенко поступает заочником в Славгородский сельхозтехникум. И заканчивает. Это-то при его секретарской замотанности!

Потом Василий Тимофеевич работал вторым секретарем Топчихинского райкома партии, а с апреля 1964 года — первым секретарем Шипуновского райкома.

БУДНИ

— Десятый год я в Шипунове. Много это или мало? Однозначно не ответишь. Где-то я читал, что в одном районе первый секретарь проработал бессменно тридцать лет. С одной стороны, это хорошо: человек знает людей и условия вдоль и поперек. С другой стороны, есть опасность слишком привыкнуть, приглядеться, перестать замечать новое. А если хотите, все зависит от данного, конкретного человека. Не может быть рецептов на все случаи жизни. Больше того: эти рецепты вредны...

«Волга» катит по грунтовке, клубит пыль. Ее клубит и ветер: в шипуновских местах так уж устроено — с утра и весь день задувает, к вечеру стихает, листик не шелохнется. И закат тихий, ясный, не предвещающий назавтра ветра. А ветер будет!

Василий Тимофеевич Христенко любит вечерком, при свете умиротворенной алеющей зари, покопаться в своем садике, повозиться с цветами. Но чтобы вечер был свободен у секретаря райкома партии? Бывает, хотя это и нетипично. Для работы Христенко прихватывает и вечера. К тому же следует учесть, что 80 процентов рабочего времени он проводит в колхозах и совхозах. Недаром жену Василия Тимофеевича Ангелину Дмитриевну, преподавательницу математики, товарищи по школе шутя прозвали солдаткой. И она и он, понимающие толк в шутке, соглашаются: солдатка и есть. И добавляют: зато нам ругаться некогда.

А ветер Василию Тимофеевичу по душе, когда выйдешь из машины и он вольно бьет тебе в лицо, наполняет легкие свежестью и силой. Пока же секретарь — в дорожном костюме, в кепке — сидит рядом с шофером и привычно прикидывает, уточняя, что сделать там, куда надо пробежать. Слово «пробежать», употребляемое вместо «съездить», в ходу у Христенко. Наверное, потому, что пробежать приходится едва ли не каждый день. Иногда поездка растягивается на несколько суток, иногда она на день, иногда на полдня. Пробегает и сто километров и все пятьсот.

Не надо, однако, думать, что Василий Тимофеевич недоценивает кабинетные дела, заседания, совещания, собрания в районном центре. Нет, он отдаст должное этой работе, но все-таки считает основной свою работу на местах, с людьми переднего края, как говорит он по старой армейской привычке.

За спиной остались окраины Шипунова, строительная площадка, на которой возводится сельский строительный комбинат, по обочинам — неоглядные поля, разгороженные лесополосами на огромные прямоугольники. Хлеба доспевают, желтыми волнами ходят под жарким степным ветром. Покачиваясь на сиденье, Василий Тимофеевич думает: «Дня через два-три начнем косить. В нынешнем году хлеба созрели раньше дней на десять, хорошо, что нажали с ремонтом комбайнов... А сколько возьмем? В среднем по району можно взять по пятнадцать—шестнадцать центнеров с гектара. Главное — не допустить потерь, отметить двадцатую целинную жатву достойно... Народ готов к страде...»

Христенко остановил машину, вышел в поле, осмотрел его, сорвал несколько колосков. Да, скоро будем косить! И опять подумал, что район к юбилейной жатве готов. Секретарь райкома глядел на пшеничное поле так же, как глядят на это поле те, кто его возделывает — механизаторы, бригадиры, агрономы, — с любовью и уважением к будущему алтайскому караваю, с желанием убрать до колоска с в о й урожай. Наступала самая праздничная и самая ответственная для земледельца пора. Пахали, сеяли, выхаживали ради того, чтобы убрать!

Он велел шоферу ехать на центральную усадьбу совхоза «Шипуновский», откинулся на спинку, и мысли внезапно как бы повернули вспять — к строительной площадке, что осталась позади. Три дня назад Христенко был там, разбирался с положением. Как будто оно начинает выправляться. Этот строительный комбинат — первенец сельской строительной индустрии в крае, райком уделяет ему много внимания. Да это и понятно: сметная стоимость комбината — около 30 миллионов рублей, годовая мощность — 70 тысяч кубометров сборного железобетона, 80 тысяч аглопорита, 25 тысяч аглопоритных блоков, 25 тысяч трехслойных фиб-

ролитобетонных панелей, 15 тысяч фибролита, 100 тысяч квадратных метров столярных изделий и 5 тысяч половой рейки. Христенко выучил эти цифры наизусть! Первая очередь комбината должна вступить в строй в текущем году — на 50 тысяч кубометров железобетона, это столько, сколько требуется сейчас всем межколхозным строительным организациям Алтая. Но их запросы будут расти. Василий Тимофеевич знает, что значат для села вопросы строительства. А вот получилось так, что плановые сроки сдачи основных объектов прошли в апреле, в мае, в июне. Сказалась нехватка людей, слабая организация работ и самое главное — скверное обеспечение материалами, железобетонными изделиями и оборудованием. Бракованный кирпич поступает с Егорьевского кирпичного завода, иной раз брак присылает и Михайловский завод железобетонных изделий. Шипуновский полигон до последнего времени тоже выдавал продукции и мало и низкого качества, хотя нынче полигон пополнился бетонщиками, арматурщиками, крановщиками, улучшилась организация и дисциплина труда, и план июля был перевыполнен. Райком добился, что работу наладили в две смены, а с привыканием студенческого отряда — в три.

Вспомнив о студенческом отряде, он мимолетно вспомнил и о старшем сыне — Владимир тоже сейчас со студенческим отрядом Политехнического института в Шипуновском районе, в колхозе «Родина», строит животноводческие помещения. Младший же, Юрий, сдает экзамены в Алтайский государственный университет, открывшийся в этом году... Да, а ход строительства комбината надо будет снова — и обязательно комплексно — обсудить на заседании бюро райкома. Но чтобы не подменять хозяйственников, строителей. Потребовать с них, помочь — иной разговор.

Василий Тимофеевич ехал, запоминал, где хлеба созрели и где дозревают, и запоминал другое: там-то и там-то после дождей проселок разбило машинами, нужно позвонить районным дорожникам, чтобы прислали технику, разровняли дороги, на переезде через речку мост нуждается в ремонте, также напомнить дорожникам. А хлеба во всех, буквально во всех хозяйствах района он должен оценить своими глазами. Не потому, что не доверяет информации. Но лучше, однако, самому взглянуть. Вообще с годами у него укрепилось это правило — самому побывать там, где предстоит принимать решение, будь оно большое или малое. Вот, скажем, большое, ответственное решение — когда и как приступить к косовице. Директора совхозов и председатели колхозов, агрономы, бригадиры сами, разумеется, с усами, и секретарь райкома не собирается решать за них. Но проверить их решение, составить себе представление по отдельным хозяйствам и в целом по району — обязан. И поэтому пылит на «Волге» накануне жатвы, зимой пробивается на «газике», на тракторе к фермам, где зимует скот. И жалеет при этом, что еще нет у райкома вертолета, да что у райкома — у крайкома нет. А при алтайских пространствах и путях-дорожках эта машинка пригодилась бы. Конечно, уже не то бездорожье, что было прежде, но до идеала ох как далеко! Хорошо бы, думает Василий Тимофеевич, в крупные районы дать вертолеты. А что тут нереального? Село насыщается всевозможной техникой, будут когда-нибудь и вертолеты...

А дороги? Что ж дороги. О них Василий Тимофеевич размышлял много. Наверное, для села это вопрос вопросов. Будут современные, удобные, надежные дороги — будут и люди прочно оседать в деревне, ныне в зимнюю или осеннюю непогоду, по сути, отрезанной от большого полнокровного мира. На Кубани как? В субботу, в воскресенье колхозники едут на автобусах в город — в театр, на концерты, в кино, за покупками. А на Алтае? До города сотня километров, переметенных сугробами с дом... Так что вертолет вертолетом, но настанет черед, когда наша экономика позволит масштабно взяться за дороги. Это будет колоссально, если учесть наши пространства. Но проблема, как считает Христенко, коренная, проблема социальная, от которой никуда не уйдешь...

Пока «Волга» ехала по центральной усадьбе, Василий Тимофеевич приглядывался к улицам, домам, садочкам, к новостройкам. Потом они с директором совхоза «Шипуновский» Степаном Семеновичем Пятницей детально обсуждали

план уборки, ходили по усадьбе, и секретарь райкома знакомился с благоустройством поселка: возводят школу, несколько каменных домиков, сооружают тротуары.

— Маловато тротуаров,— сказал он директору.— Дома добротные, а как подойти к ним? Утонешь в пыли или грязи — в зависимости от времени года. Для тротуаров можно использовать не только асфальт, а и кирпич, тем паче с кирпичом у нас полегче... Да, Степан Семенович: а отчего цветами пренебрегаешь?

— Я не пренебрегаю, Василий Тимофеевич.— Директор пожал плечами.— Просто руки до всего не доходят.

— Надо, чтоб доходили!

Директор вздохнул: знал о цветочных увлечениях секретаря. По его почину, при его напоре в районном центре разбили клумбы — от табаков до гладиолусов,— цветы секретарь продвигает и в колхозные, в совхозные поселки, и не без успеха: в Шипунове ежегодно устраиваются районные выставки цветоводства, победителям раздают призы, а на стендах тех сельсоветов, что почему-либо не прислали своих экспонатов, ретивые комсомольцы водружали пучки репья и полыни; рассерженные председатели звонили Христенко, жаловались, он отвечал, посмеиваясь: «На следующий год привезете цветы — и букетов полыни не будет».

— Учту, Василий Тимофеевич. Цветы, точно, украшают жизнь.

— Правильные ноты прорезались,— улынулся Христенко.

Поехали в поля. Оценивали участки, сьезнова, теперь уже на местности, определяли, как пустить комбайны. Друг другу тыкали, старые знакомцы, тертые и перекрученные районщики, сверстники, фронтовики. Но на людях, но на заседаниях и совещаниях говорят друг другу «вы».

Вот так же величая Пятницу на «вы», снимал с него стружку на бюро райкома первый секретарь. Все приятельство было отброшено, обсуждение шло строгое и нелицеприятное. Василий Тимофеевич обвинял Степана Семеновича в недисциплинированности, неуважении к партийной организации, зазнайстве. И подытожил: «Живете заслугами отца, эксплуатируете его имя». Это было больней всего для Степана Пятницы, сына знаменитого на всю страну алтайского комбайнера Семена Пятницы, ныне пенсионера. А еще больней — по предложению Христенко ему объявили выговор. Пережил, передумал, перечувствовал Степан Пятница. Переломил себя: прав райком, прав Христенко, надо исправляться. И исправился, делами ответил на критику. Василий Тимофеевич скупое его похвалил: «Я в сыновей Пятницы верю» (у Семена Пятницы три сына, и все «вышли в люди», трудятся в сельском хозяйстве на руководящих должностях).

Мягкий, тактичный в обращении, Василий Тимофеевич становится суровым, непреклонным, если заходит речь о нечестном работнике, о лодыре, о пьянице. Тут на поблажку не рассчитывай. Прежний начальник райсельхозуправления, когда его снимали за пьянство, отозвался о первом секретаре: «Мягко стелет, да жестко спат». А уж с ним ли не возился Василий Тимофеевич! Но водка оказалась сильнее этих усилий. Когда секретарь был в Шипунове, начальник еще держался, но стоило Христенко уехать в колхоз, и тот пил прямо на работе. Управление забуксовало всеми своими колесами, человек распустился, не желал ни за что отвечать, в том числе и за себя. Не мог же первый секретарь быть нянькой, он, который большую часть времени проводит вне районного центра, и Василий Тимофеевич сказал как отрезал: «Хватит!»

Христенко не злопамятен, но и не так уж отходчив: проштрафившийся работник должен доказать не раз и не два, что он действительно исправился.

Сняли главного зоотехника совхоза «Войковский» за пьянку, перевели на менее ответственную должность. А спустя два месяца директор и партком ходатайствуют о возвращении его на прежний пост. Так быстро исправился? Вновь себя, по слову Василия Тимофеевича, раскошегарил, то есть стал работать с полной отдачей? Секретарь сдержан, не спешит с выводами.

Вот освободилась должность председателя райисполкома. Многие ожидали, что Христенко порекомендует на этот пост кого-то из районных, из опытных руководителей, но председателем райисполкома был выдвинут Петр Иванович Бес-тужев.

Кто такой Бестужев? Местный, шипуновский, работал в родном колхозе скотником, заочно окончил сельскохозяйственный институт, затем инструктор РК КПСС, затем секретарь парткома колхоза. Иные недоумевали: Василий Тимофеевич предпочел испытанному районщику малоопытного, молодого — ведь Бестужеву всего тридцать три! У Василия Тимофеевича взгляд на это определенный: «Корифеи корифеями, а мне не мешают и молодые подпорки». Уточняя его слова, скажу, что корифеями он с явным неодобрением кличет работников опытных, но самоуспокоенных, не дерзающих, а молодые подпорки — это молодые кадры, которые он усиленно выдвигает. И они его не подводят. И в районном звене, как, допустим, начальник сельхозуправления Юрий Иванович Скворцов, тот же Петр Иванович Бестужев, и в колхозно-совхозном, как, например, директор совхоза «Октябрьский» Александр Васильевич Козликин, на поля которого, кстати, направляется секретарь райкома, расставшись с Пятницей.

— Ну, успехов тебе, Степан Семенович. Пока!

— Будь здоров, Василий Тимофеевич!

Короткое, но крепкое рукопожатие. Хлопает дверца, шофер «газует», и над проселком повисает пыльная пелена, сквозь которую солнце садится словно в мареве. Василий Тимофеевич, наглотавшийся полевого воздуха, не замечает набивающейся в машину пыли, чувствует, что его мускулистое, литое тело требует действий. Побаловаться бы пилой, топориком — дома он сам пилит и колет дровишки, — а вместо этого сиди сиднем. Уж такая у него должность — много сидеть. На совещаниях, заседаниях, собраниях, слетах, семинарах и на чем еще? В машине тоже немало насыживает километро-часов. Ну, а в общем, силенки еще есть, еще сколько-то поскрипит. Что молодежь к руководству двигает — правильно. И себе надо смену готовить исподволь. Не дай бог дожить до того, что приключилось с его коллегой, первым секретарем одного из алтайских райкомов Н — вым: стал дремать на заседаниях бюро! Пришлось провожать сонливого на покой, хотя до пенсионного возраста оставался год. Дни и ночи первого секретаря райкома партии — тяжкая ноша, и не всякий ее вынесет. Может быть, есть смысл не держать районных секретарей до пенсии, а по мере усталости и износа переводить на менее напряженные участки? По крайней мере, он, Христенко Василий свет Тимофеевич, сам попросит об этом, когда ощутит: устал, братцы, сдаю.

С директором «Октябрьского» Александром Васильевичем Козликиным Христенко созвонился заранее, и тот уже поджидал секретаря около совхозного отделения в селе Эстония (большинство жителей — выходцы из Эстонии). Совместно осматривали хлеба, Василий Тимофеевич интересовался, как Козликин расценивает перспективы пшеницы, завезенной из ГДР и посеянной в порядке эксперимента, Александр Васильевич подробно отвечал. А потом они, как будто забыв о расстилающихся окрест хлебах, золотых, шелестящих, кажется — звенящих на ветру, заспорили о сеялках. Секретарь хвалил сеялки «СЗС-9» и «СЗС-2,1»: противозероизийные, операции совмещают, влагу сохраняют, что, не так? Директор, горячась, торопливо глотая слова, выкладывал: применяя такие сеялки, теряем полтора-два центнера зерна на гектар, слишком широки «ворота» между рядками, целых двадцать два сантиметра, площадь питания зря пропадает и валок в эти «ворота» проваливается — поди-ка подбери его!

— Теряете? А кто ныче ни одну такую сеялку на посевную не выпустил? Не Козликин ли Александр Васильевич? — Христенко говорит посмеиваясь, явно подначивая собеседника.

— Я, Василий Тимофеевич, я! — Директор горячится еще больше. — Все до единой на приколе стояли! И мы вам докажем...

— Докажите, черти полосатые!

— Докажем!

Секретарю нравятся горячность, непосредственность, убежденность Козликина, секретарь знает его как толкового, думающего агронома, рачительного хозяина, влюбленного в землю. Знает он и то, что с Козликиным полезно поспорить, проверить свое мнение, укрепить его или поколебать... Пока же Христенко верит в эти сеялки... А Козликин гнет свое.

— Есть превосходные сеялки! Какие? Пожалуйста! «СЗП-3,6». Между рядье — пятнадцать сантиметром. Противозерозийные условия соблюдают не хуже «СЗС-9»... Еще плюс: металла на них идет меньше, для государства это прямая выгода, о государстве тоже надо думать!

— Правильно, — кивает Василий Тимофеевич. — Иногда мы за сугубо колхозными и совхозными интересами забываем интересы государственные: было б нам хорошо. А государству?

— Бывает так.

С полей Христенко и Козликин едут на центральную усадьбу. Секретарь знакомится с мозаикой, которой украшают совхозный Дом культуры ленинградские художники супруги Захаровы, мягко, деликатно высказывает свои соображения, художники соглашаются. Затем осматривает место, где будет сооружен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сейчас в селах Шипуновского района встретишь строгие, впечатляющие памятники-мемориалы, и можно прочесть сверкающие золотом на граните бессмертные имена павших односельчан. В совхозе «Октябрьский» с этим поотстали, только-только начали планировать. Козликин краснеет, выслушивая замечание секретаря.

Ближе к вечеру Василий Тимофеевич присутствует на совхозном партсобрании. Ему каждый тут знаком в лицо, он здоровается, расспрашивает, шутит. Обсуждаются текущие дела, собрание идет нормально, в норме, по определению секретаря райкома. В прениях выступать не стал: выступал прошлый раз, и негоже так часто произносить речи, можно их и обесценить, свои речи. А посидеть, помолчать, послушать, мотая на ус, всегда полезно.

В Шипуново Василий Тимофеевич возвращается около полуночи. Лучи фар вырывают из тьмы проселок со слежавшейся пылью, нивы, нивы, понтонный мост через реку Чарыш, плотную черную воду. Поматывает на выбоинах, из радиоприемника тихо, сонно течет музыка. Раньше, в молодую пору, Василий Тимофеевич задремал бы, намаявшись. А теперь, с годами, в дороге ко сну не клонит. Думается о сделанном за день, о предстоящем назавтра. Проезжая Чарыш, przypomинает: еще когда ехал утром к Степану Пятнице, увидел в прибрежных кустах обрывки газет, консервные банки, битые бутылки, обломанные ветки, следы костров — из райцентра приезжают отдыхать, и разные попадают отдыхующие. Думает: как бы оградить берега Чарыша, как усилить заботу о прекрасной реке? Комсомольцев, молодежь надо мобилизовать на это...

Вчера Василий Тимофеевич день провел в Шипунове. Обычно он приходит в райком за час до начала работы, читает почту, подписывает документы. Вчера после этого у него были заведующие отделами райкома, председатель райисполкома, секретарь райкома партии по идеологии, начальник райсельхозуправления и другие работники, разговаривал по телефону с крайкомом партии, с колхозами и совхозами. Днем вручал новые партбилеты, затем присутствовал на пятом районном слете женщин-механизаторов, выступал там с речью. Вечером дома после ужина набрасывал тезисы своего выступления на предстоящем краевом партийном активе, посвященном уборке урожая. Целый день в райцентре — это что-то значит, следовательно, завтра он опять сможет пробежать.

По пути в колхоз «Родина» Василий Тимофеевич останавливается возле бу-дущих искусственных прудов. Их в районе создается двенадцать — для рыбоводства и для орошения. На землях колхоза «Родина» пруд будет площадью в сто восемьдесят гектаров. На строительстве трудится мелиоративный отряд районной Сельхозтехники — бульдозеры, скреперы, трактора. Плотина уже готова, расчищается ложе водоема. Василий Тимофеевич говорит, что необходимо вырубить кустарник, вон тот, он ведь наверняка уйдет под воду, а этого допустить нельзя, ложе должно быть чистым, нужно также завезти песок — на берегу пруда будет и пляж для колхозников, и в особенности для ребятни из пионерского лагерь. Секретарь райкома беседует с мелиораторами, и он и они одинаково производят — плотина...

«Волга» въезжает в село Родино, где помещается правление колхоза «Роди-

на». Вдоль дороги — старолетние деревья, их покушались срубить по нарядам в холодные и голодные военные годы, да председатель колхоза Федор Митрофанович Гринько не дал. Крутая, властная натура, он погнал потрясавших нарядами: «Плевал я на ваши бумажки! Не позволю!» И сейчас деревья стоят, как бы напоминая своей жизнью о председателе, которого уже нет в живых. И многое в колхозе напоминает о знаменитом председателе. Но об этом я скажу ниже.

Нынешнего председателя колхоза Петра Степановича Войтюка в селе не оказалось: укатил в Барнаул получать автомашину. Василий Тимофеевич отыскал секретаря парткома Александра Тимофеевича Головина, бывшего второго секретаря Шипуновского райкома партии, приехавшего сюда на усиление. С ним колесили по полям. Христенко присматривался не только к пшенице, но и к свекле — уродилась она отменная, но кое-где изобильно сорняков. Свекла — культура трудоемкая, ручного труда тут еще много, однако она сполна отплачивает урожайностью, прибыльностью, и она очень нужна государству. Поэтому в районе не жалеют удобрений для свеклы, хотя их, к сожалению, еще мало.

Вообще химизация, интенсификация сельского хозяйства занимают помыслы секретаря райкома. Ибо он давно понял, что это верный путь. Основная отрасль земледелия в Шипуновском районе, как и во всем крае, — выращивание зерновых. В ней, основной отрасли, и надо прежде всего искать средства к интенсификации производства. Химия химией, но вот в колхозах, например, возродилось (при действенной поддержке райкома партии, разумеется) ефремовское движение. Кто из людей старших поколений не помнит прославившегося на весь Советский Союз в 1936—1938 годах Михаила Ерофеевича Ефремова, звеньевое колхоза «Искра», инициатора движения за получение высоких урожаев на больших площадях! Василий Тимофеевич интересуется, как дела в звене Приходько. Ему отвечают:

— Неплохо.

Он говорит:

— В прошлом году звено Приходько получило у вас по тридцать три и шесть десятых центнера зерна с гектара на площади двести пятьдесят четыре гектара. Раскочегарили, молодцы!

Головин кивает, а Христенко думает: «В остальных ефремовских звеньях по району урожайность на два — восемь центнеров выше, чем в хозяйствах. Как сложится нынче?» В одном он уверен — правильно поступили, возродив ефремовские звенья. Как и в тридцатые — сороковые годы, цель их — доказать и, главное, показать, что земля может дать обильные урожаи, если к ней относиться по-крестьянски уважительно, любовно. Конечно, движение это не повторение прошлого, иная у звеньев научная и техническая основа, да и участки, которые они обрабатывают, значительно больше. Ратуя за ефремовские звенья, Василий Тимофеевич не позволяет создавать им особые, тепличные условия, и техника у них та же, что и у остальных механизаторов. Но все-таки они первопроходцы технического прогресса на полях района, и поэтому, естественно, их в первую очередь обеспечивают удобрениями. Так секретарь возвратился на круги своя — к химизации. Не все с ней гладко. И прежде всего — зачастую снабжают не теми удобрениями, что потребны зерновым. Завалили аммиачной селитрой, которая большинству зерновых не требуется. Зато обделили суперфосфатом.

Василий Тимофеевич и Александр Тимофеевич едут в колхозный сад. Секретарь райкома сидит на заднем сиденье, рядом с Головиным, так удобнее разговаривать: в лесополосах нужно постепенно менять клен на березу и тополь, потому что от клена мало проку. В большом, раскидистом саду (во всех хозяйствах района есть такие сады и ягодники — и для нужд колхозников, рабочих совхозов, и для продажи на рынок) на одном из участков за теплицами ведутся различные опыты, назначение которых — дать колхозу обоснованные рекомендации. Василий Тимофеевич беседует с агрономом-садоводом Марией Михайловной Пашкевич. О катране — капустно-брюквенном гибриде, о борщевке — растении на силос. Обе культуры представляются секретарю райкома перспективными, и он следит за ними.

Возвращаются в село. Василий Тимофеевич осматривает строящиеся дома колхозников — добротные, каменные, Дворец культуры — как идет ремонт, место в парке перед Дворцом культуры, где намечено поставить бюст Федора Митрофановича Гринько, обсуждает план строительства новой гостиницы, переключается на качество лекций и художественной самодеятельности — как поднять их доходчивость и действенность, и чего еще не делает секретарь райкома в селе Родино! И всякий раз проявляет доскональное знание предмета, обоснованно, доказательно судит о нем. Но что характерно: говорит в простой, скромной манере, не давит своим авторитетом, внимательно выслушивает собеседника.

В кабинете Головина Василий Тимофеевич читает протокол прошлого партсобрания, план работы парткома, советует внести в план кое-какие коррективы, а затем присутствует на заседании парткома. Обсуждается (точнее, осуждается) поведение некоторых руководителей колхоза, позволяющих себе халатно относиться к партийной учебе. Александр Тимофеевич изъясняется в резких тонах, Василий Тимофеевич — помягче, но суть схожа: такое отношение коммунистов-руководителей к идейной учебе недопустимо, никакие ссылки на загруженность работой не принимаются.

Поздний вечер. Гудит мотор. Прожит еще один день. За спиной — огни Родина, впереди — огни Шипунова. И мысли Василия Тимофеевича дwoятся, в одно и то же время он думает о предстоящем бюро райкома и о том, что увиделось в колхозе «Родина». Да, судьба этого колхоза волнует секретаря.

Еще бы! Колхоз крепкий, прославленный, и у кого ж повернется язык оспорить заслуги его бессменного, с 1933 года, председателя Федора Митрофановича Гринько? Талантливый организатор, расчетливый, дальновидный хозяин, умеющий держать в руках и хозяйство и людей. Авторитет его был непререкаем. Федора Митрофановича избрали депутатом Верховного Совета СССР, ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Уверенно, даже властно вершил колхозные дела председатель Гринько. Но вот он отметил свое семидесятилетие и, словно дождавись этой круглой даты, умер. Его любили и уважали, в него верили, и колхоз как бы осиротел. Кто будет преемником?

У райкома партии были кандидатуры, но колхозники категорически их отвергли одну за другой: пришлых не хотим, председатель должен быть только из своих! Василий Тимофеевич заколебался, а поколебавшись, решил: мнение людей надо уважать, пусть будет свой. Кто? Колхозники назвали: Бабарыкин Николай Никитович, главный агроном. Ну что ж, сподвижник Гринько, отличный специалист, великий трудяга. Но — после решительного, крутого Гринько? Сам Николай Никитович отбивался: «Не потяну, я даже на жену не могу повысить голоса, увольте!» Не уволили. Крепя сердце принял Бабарыкин бразды правления, старался, свал себе жилы, но характера действительно не было. Уступчивость, мягкотелость на председательском посту, увy, противопоказаны. Тогда-то райком и послал на усиление: председателем — Петра Степановича Войтюка, начальника райсельхозуправления, секретарем парткома — Александра Тимофеевича Головина. Христенко пошел на то, чтобы на какое-то время ослабить районное звено, зато упрочить колхоз.

Так было и раньше. Когда в другом колхозе встал вопрос о замене председателя, Василий Тимофеевич не уставал убеждать колхозников в своей правоте. В колхозе вот что получалось. Во главе его оказалась Нина Ивановна З — ва. Энергичная, боевая, женщин надо выдвигать — и выдвинули. Но затем Нина Ивановна повернулась иными своими гранями — дисциплина заскрипела, как старая телега, колхоз затемпературило, и чем дальше, тем больше брала его хворь. Христенко признался: промазал райком с выдвижением З — вой.

Колхозная демократия не пустой звук, и навязывать председателя недопустимо. В памяти держится история. Представитель райкома добился, что его кандидатуру приняли. Под нажимом. Колхозники противились: «Слышали, угощается данный товарищ стенолазом». Представитель хмурился: «Оставьте шуточки! Что это еще за стенолаз?» — «Водочка. Напьются — и на стену лезут». — «Бросьте! Товарищ непьющий». А месяц спустя непьющий предколхоза надрался до

бесчувствия, обморозился, ступни отняли. Представителю райкома до того стыдно было, что он объезжал это село. Да, навязывать негоже, пусть и неплохую кандидатуру. Но и мириться с тем, как пропивается председателем и его приближенными колхозное добро — это тоже противоречило бы демократии. Что печально — часть коммунистов, из тех, кому нравилась расхлябанность, грудью стояла за Нину Ивановну. Все-таки Василий Тимофеевич убедил коммунистов, а затем и колхозное собрание в необходимости освободить З—ву. Освободили. И сами же колхозники благодарили впоследствии секретаря райкома: при новом, толковом председателе колхоз пошел в гору. А что такое председатель для судьбы колхоза или директор для судьбы совхоза, растолковывать Василию Тимофеевичу излишне.

Так же, как для судьбы района кое-что значит фигура первого секретаря райкома партии. Внес свою лепту в успехи Шипуновского района и Герой Социалистического Труда Василий Тимофеевич Христенко. Уборка урожая, вспашка зяби, подготовка животноводческих помещений к зиме, зимовка скота, снегозадержание, вывозка удобрений, весенний сев, уход за посевами, сенокос, стрижка овец, ремонт уборочной техники и снова жатва — этот годичный цикл как бы основа жизни секретаря сельского райкома партии, его напряженные трудовые будни.

В заключение этой главки хотелось бы привести некоторые сравнительные данные. К таким данным («По сравнению с 1913 годом...») существует подчас ироническое отношение. Труднообъяснимая ирония, ибо цифры нередко бывают убедительнее слов. Оставим в покое 1913 год и приведем сравнительные данные по Шипуновскому району: 1924 год — год образования района — и год 1972.

В 1924 году посевная площадь составляла 37 300 десятин. Первый трактор поступил в район в 1925 году — в коммуну «Новый свет» (колхоз «Родина»). Ныне район — крупнейший поставщик зерна, сахарной свеклы, мяса, молока и шерсти. В районе 8 совхозов и 11 колхозов, посевная площадь — 236 тысяч гектаров. Тракторов — 1284, комбайнов — 1037, автомобилей — 1077, тракторных плугов — 821, сеялок — 1257.

В 1924 году в районе имелось 18 ветряных мельниц. Сейчас — элеватор емкостью в 47 тысяч тонн, 56 механизированных токов, 3 механизированных маслозавода, 6 сепараторных отделений. Колхозы и совхозы имеют крупного рогатого скота 40 тысяч голов, в том числе коров — 13 500. Овец — 110 тысяч.

В 24-м году в 11 школах обучалось 1727 учащихся. 60 процентов детей школьного возраста не учились. 87 процентов населения было неграмотным. Теперь в районе 62 школы, в них обучается 9627 человек. 50 процентов взрослого населения — с высшим, средним и незаконченным средним образованием. В 1972 году на нужды народного образования израсходовано два с лишним миллиона рублей. Район полностью электрифицирован за счет подключения к государственной энергосистеме. За последние десять лет построено 25 школ на 1840 мест. Летом дети отдыхают в двух стационарных пионерских лагерях; дошколята воспитываются в детских садах и яслях. В 72-м году на здравоохранение отпущено 958 900 рублей. В том же году пенсионеры получили от государства пособий на сумму 2 783 200 рублей.

В 24-м году в районе было 9 изб-читален и 2 красных уголка. В них числилось 2915 книг. Клубов и киноустановок не было. Район получал 5238 экземпляров газет и журналов. Индивидуальных подписчиков насчитывалось 103 человека. Теперь — 65 клубов и Домов культуры, 57 библиотек (в которых 375 265 книг), 73 киноустановки, 10 152 радиоточки. В 73-м году население получает 43 150 экземпляров газет и журналов. С 1966 года в районе действует телевизионный ретранслятор, трудящиеся приобрели 1500 телевизоров...

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Был Василий Тимофеевич в составе делегации алтайских партработников в Подмоскowie, в Пензенской и Тамбовской областях. Знакомились с опытом возведения животноводческих комплексов. Везде этот опыт разный: под Москвой —

огромные масштабы, в Пензенской области — комплексы межрайонные, на Тамбовщине — в пределах районов. Но Алтаю все это подходило бы с поправкой на суровые здешние условия. Плохо еще учитываются различия в климатических условиях: одно, скажем, центральные области, другое — Сибирь, мало о ней думают, обижают ее. Василий Тимофеевич высказал это в ответственном разговоре. Ему моргали — дескать, возьми нотой ниже, — но он не сбавил тона, покамест не закончил мысль.

А когда ехали по подмосковным полям и разговорились о практике партийной работы, Василий Тимофеевич сказал:

— По-моему, партийные органы на всех ступенях часто перегружаются хозяйственными заботами. Не спорю, нужно заниматься хозяйством, сам люблю это. Но мы подчас работаем за советские и хозяйственные органы. И должно больше оставаться времени для идеологической, политической деятельности, для работы с людьми.

Это тоже было сказано в ответственном кругу. Прямота — одно из главных качеств Василия Тимофеевича.

* * *

Василий Тимофеевич сидел дома, в кабинете, чертил на бумаге и так и эдак. Зашел Володя попрощаться на ночь. Но прежде чем сказать: «Спокойной ночи», сын заглянул в лист, спросил, что это.

— Да, понимаешь, планирую аллею шипуновцев — Героев Советского Союза. Однако не знаю, можно ли ставить их бюсты. Полагается дважды Героям. Может, лучше маслом написать портреты?

Володя со свойственной юности категоричностью сказал:

— Лучше бюсты.

— И я так думаю, но они ж не дважды Герои.

— Ну и что? Ведь все они погибли в боях. А на пограничных заставах везде стоят такие бюсты, сам читал.

Василий Тимофеевич тоже читал. Посоветовался в крайкоме. Там ответили:

— Решай под свою ответственность.

Так появилась аллея Героев-шипуновцев, Вечный огонь, у которого всегда букетики живых цветов, обелиск Победы (на нем высечено: «Победа! Какой ценой завоевана ты! Люди, помните это!»), а в подножие замурованы списки с именами 3434 воинов — уроженцев Шипуновского района, погибших в Великую Отечественную войну. Вокруг мемориала разбили цветники, площадь залили асфальтом. Теперь у мемориала ребят принимают в пионеры, сюда приходят новобранцы. А Василий Тимофеевич уже претворяет в жизнь другую идею: разбить мемориальный парк в честь тружеников деревни, где будет аллея с бюстами шипуновцев — Героев Социалистического Труда.

Идя утрами на работу в райком, Василий Тимофеевич сворачивает к обелиску Победы, к аллее Героев, стройный, подтянутый, но с поседевшими висками и морщинами у глаз и рта.

* * *

У него правило — вступаться за незаслуженно обижаемых людей, кто бы они ни были. В одном колхозе, богатом, знаменитом, живет Алексей Васильевич Матвеев, Герой Советского Союза. Ушел на войну малограмотным и вернулся малограмотным, хотя и с золотой звездочкой. Пораненный, больной, не до учебы. Да и работать в колхозе с полной нагрузкой здоровье не позволяло. Пенсия — сорок рублей, маловато.

Просить к председателю ни о чем не пошел: гордый. И у того, Героя Социалистического Труда, гордость разыграла: не идешь ко мне, гнушаешься — живи как хочешь. Открытой вражды не было, но скрытая неприязнь была. Хуже того — председатель стал позволять себе пренебрежительные высказывания в адрес Матвеева. Об этом узнал Василий Тимофеевич. Пристыдил председателя:

— Вы же опытный, умудренный жизнью, уважаемый человек. Неужели не

видите, что трудно живет заслуженный воин, Герой Советского Союза. Это ж слава колхоза, всего района. Много ли Героев по стране? Если хотите, будь моя воля, я бы каждому Герою Советского Союза выплачивал пособие. Ежемесячно. По двести рублей. Да, не меньше. Эти люди заслужили и не такое. А вы... Помогите ему! Это моя личная просьба...

К чести председателя, он переломил себя и помог Матвееву.

* * *

Василий Тимофеевич любит бывать на людях, беседовать в бригадах, на фермах запросто, без официальщины. Никогда не уклоняется от острых разговоров. Был недавно случай. Приехал секретарь в отдаленную бригаду, поговорили о работе, о житье-бытье, довольны ли едой, не опаздывают ли газеты, как с кинопередвижкой и концертами самодеятельности. Какие будут вопросы? Поднимается старик, и по его ехидно поджатым губам Василий Тимофеевич сообразил: заковыристый будет вопрос.

— Товарищ секретарь, я желаю задать вопросик! Можно?

— Я сказал всем: задавайте вопросы. Пожалуйста, слушаю вас.

— Товарищ секретарь, оно, конечно, кино у нас крутят и самодеятельные артисты поют да пляшут. Только я, извините за выражение, желаю спросить: сколько вы зарабатываете в месяц?

— Двести пятьдесят рублей.

— От! А я семьдесят! Почему так?

На старика зашикали, стали дергать его за полу, чтоб сел. Василий Тимофеевич движением руки успокоил шум и заговорил:

— Потому так, что в нашей стране действует принцип: от каждого по способностям, каждому по труду. Я партийный руководитель района, работа и ответственность у меня немалые...

Василия Тимофеевича перебили возгласы:

— А то мы не знаем!

— Ты, дядька Андрон, что делаешь? Вилами ковыряешь — вот и вся твоя работка!

— Секретарь, Василий Тимофеевич, по правде говорит, нельзя же всех уравнивать!

— Точно! У нас вон сколь передовики зарабатывают! Трудись честно — и будет заработок!

Переждав, пока возгласы стихнут, Василий Тимофеевич продолжал:

— Перед тем как стать партийным работником, я много учился, работал следователем. В нашей стране партийными руководителями не рождаются, не становятся по наследству, их выдвигает народ. Партийные руководители в прошлом — кто учитель, кто колхозник, кто инженер, кто агроном, кто рабочий, кто журналист... И меня тоже выдвинули... А теперь ответьте, — обратился он к старику, — и вы на мой вопрос. Есть у вас дети?

— А как же! Четверо.

— Учились они?

— А как же! В школе, в институтах разных.

— Кто ж они нынче?

Выясняется, что один сын у старика моряк, капитан, второй — подполковник, третий — хозяйственник, дочь — в торговой системе. Выясняется также, что каждый из них имеет заработную плату не меньшую, чем первый секретарь райкома партии. Опять раздается шиканье, возгласы, и старик садится, бурый от конфуза.

— Ну вот, — говорит Василий Тимофеевич, — значит, в вашем вопросе разобрались сообща.

Есть у него особенность — жадное стремление как можно больше, всесторонней знать о людях. Сам их расспрашивает, узнает от других, кто как живет, как со здоровьем, кто женился, кто разошелся, кто с кем дружит, кто с кем поссорился и прочее и прочее. Это отнюдь не праздное любопытство. Это позволяет

секретарю точнее взвешивать качества человека, влиять на его судьбу и, если потребуется, помочь в нелегкую минуту.

* * *

В Шипунове Василий Тимофеевич квартирует в домике с садом. При сади-ке — грядки с овощами, цветочные клумбы. Василий Тимофеевич «вкалывает» с лопатой или ножовкой, когда выдается свободный час. Это для души. Но не только: на своем участке Василий Тимофеевич экспериментирует с овощами, иногда ему удается кое-что подсказать дельное колхозным овощеводам. О том он рассказывает бегло, между прочим, а про забавный эпизод — подробно и с улыбкой.

Привез как-то из Болгарии первый секретарь Алтайского крайкома партии Александр Васильевич Георгиев семена ратунды — гибрида перца и помидора. Сколь-ко-то семян подарил Василию Тимофеевичу:

— Посади, Тимофейч. Вырастет — попробуешь на вкус. И вообще погляди, что это такое. Может, и нам подойдет.

Вошли ростки, появилась завязь. Но вот овощ почему-то стал чернеть. Василий Тимофеевич закручинился — гниют, не вышло у меня ничего — и начал было вырывать с корнем. Да опять встретился с Александром Васильевичем Георгиевым.

— Ну, как там ратунда?

— Гниет. Почернела вся. Вырву к чертям.

— Вырвешь? Гниет? — Александр Васильевич сперва рассердился, потом захохотал. — Ах ты, мичуринец! Да ведь ратунда спеет именно так — чернеет, а после уж краснеет! У тебя все идет нормально...

Василий Тимофеевич вспоминает об этом эпизоде, откровенно посмеиваясь над собой. Затем задумчиво говорит:

— Раньше в саду и на огороде помогали сыновья, но нынче на них не рассчитывать...

* * *

О Василии Тимофеевиче в газетах написано довольно много, но газет этих он не сохраняет. Зато бережно хранит фотографию: делегаты XXIV партсъезда от Алтайского края вместе с руководителями партии и правительства. На снимке и он, Василий Тимофеевич Христенко. О том, что он награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и «Знак почета», узнаю совершенно случайно и не от него.

В Шипунове создали районный краеведческий музей на общественных началах, при активном участии первого секретаря райкома. Неплохой музей, дающий предметное представление об истории района, о его людях, о переменах в жизни шипуновцев. Есть зал, посвященный Великой Отечественной войне, есть стенд, посвященный шипуновцам — кавалерам ордена Славы всех трех степеней: две фотографии. Третьей — Христенко — нет. На вопрос почему, Василий Тимофеевич отшучивается:

— Уйду на пенсию, тогда повесим!

А директор музея, преподаватель истории в местной школе, поведал мне:

— Как увидел Василий Тимофеевич свой портрет, насунился и кратко сказал: «Снимите». Ну, мы сняли.

ЕЩЕ ШТРИХИ

— Бытует определение: первый секретарь райкома партии — хозяин района. Убежден, глубоко неверно это. Конечно, нет нужды преуменьшать роль первого секретаря, но и преувеличивать ее нет нужды. Потому что в конечном счете не отдельные личности, а народ все решает. Хотя народ, в свою очередь, состоит из отдельных личностей, не устаю это повторять. Ибо от того, насколько мы научимся уважать человека, его личность, его своеобразие, многое зависит в наших сегодняшних свершениях. А еще больше в будущих.

* * *

— Чем дальше от войны, тем реже сны снятся. И сны уже какие-то размытые, с незнакомыми лицами. Но год от года, когда просыпаюсь, тоска становится сильнее. Потому что уверен: приснившиеся лица — это лица погибших однополчан и тех, кого вообще не знал, но кто жил когда-то на земле. Ах, какие это были ребята! Молодые, сильные, чистые... Лежат в братских могилах, и косточки их истлели... После таких снов не по себе, мучаешься: так ли живешь ты, уцелевший, верен ли памяти погибших? Спрашиваешь со своей совести и чувствуешь: в неплатон ты долгу перед павшими. Наверное, это чувство есть у любого бывшего фронтовика. И наверное, каждый фронтовик понимает, что значит мир на земле. Наша партия, Леонид Ильич Брежнев не жалеют сил, чтобы укрепить его. В сущности, и мы в годы Великой Отечественной войны воевали за нынешний мир...

* * *

— Грамотностью никого не удивишь. Большинство с семилеткой, с десятилетней. А с высшим образованием? И таких на селе найдешь. В особенности грамотный народ механизаторы, курсы всевозможные кончают... Кино в селе, телевизор, концерты самодеятельности, библиотеки... Люди много знают, много читают — с этим повседневно сталкиваешься и вроде уже по привычке. Но нет-нет и вспомнится мне рассказ одной немолодой колхозницы. Не буду называть ее фамилии, скажу лишь, что она у нас знатный комбайнер, женщина уважаемая, достойная. Однажды она на току и пересказала мне тот случай... В военный год надо было трактористам сдавать экзамены. Ну, она взяла билет — и заплакала. Что стряслось? Плача, объяснила: неграмотная, не могу прочитать. Тогда ей прочли билет, и она прекрасно ответила, потому что была прекрасной трактористкой, на практике выросла... Ну, с того военного года воды в нашем Чарыше утекло — не считать, и эта женщина давно грамотой овладела. Про давний случай рассказывала стыдливо, улыбаясь смущенно. А отчего смущаться? Что было, то было...

* * *

— Нравится, когда со мной спорят. В споре проверяю свое мнение. Это очень важно: прежде чем принять решение, послушай других. И очень опасюсь тех, кто подлаживается под твоё мнение, заранее согласен с тобой во всем. А может, ты не прав?

* * *

— Не по нутру спокойные. Не говоря уж о равнодушных. Ну, с равнодушными все понятно. А со спокойными? Часто спокойствие оборачивается равнодушием. Люблю, когда человек горит на работе, болеет за дело. Пусть горячится, пусть ошибается — поправить можно. А как спокойного поправишь? Придаться не к чему: он делает положенное ему. Положенное — и ничуть не больше. Нет, к спокойным не лежит душа... Сам спокойный? Ну уж нет, просто в узде себя держу, первый секретарь все же, а внутри частенько кипит...

* * *

— Помните, как Сатин говорит у Горького? Он говорит: «Сделай так, чтоб работа была мне приятна...» Применительно к нашей сегодняшней жизни можно сказать: чтоб люди работали с охотой, с огоньком, нужно из сельскохозяйственных работ максимально изъять элементы тяжелого ручного труда, нужно сельскохозяйственные работы максимально механизировать. Ведь на машинах все работают с удовольствием! А «На дне» — пьеса правда хорошая?

* * *

— Село нынче живет сытно, зажиточно. Материальный вопрос снят с повестки дня. Но улучшение быта и культуры — тут работы непочатый край. Судите: в городской квартире все удобства, а в сельской? Ведь горячая вода, паровое отопление, ванная, теплая уборная — вещи элементарные в смысле удобств чело-

веческих. Сельский житель в большинстве своем пока лишен их. А театр, профессиональный концерт? На селе это нечасто, в основном обходимся самодеятельностью. И надо, чтобы все в наших клубах и Домах культуры было квалифицированным, не дилетантским. Отошла пора, когда за околицей верещали частушки под балалайку. В то же время и заезжие гастролеры-халтурщики уже «не проходят». А главная в деревне проблема, на мой взгляд, это воспитание человека, формирование его духовного облика, его эстетических вкусов. Мы же порой жмем на одно: работай, работай. А воспитание личности, подчеркиваю — личности, упускаем.

* * *

— Вот поругиваем мы современную молодежь за то и за это. Иногда подделом, а иногда за сущие пустяки: брюки расклешенные, эстрадой увлекаются, на гитаре бренчат. Ну и что? В этом ли суть? До войны мои сверстники тоже носили широченные брюки — дань моде. И гитарные струны пощипывали... А как воевали, когда родина позвала! Мне думается, нужно видеть в молодых поколениях не поверхностное, а глубинное. Опыт меня учит: глубинные качества молодежи отличные: преданность родине, честность, трудолюбие, готовность к подвигу во имя наших идеалов. Да, идеалы у нас общие, и я верю, что наследники окажутся не хуже нас. Добавлю и покруче: возможно, они будут лучше нас... да не возможно, а наверняка!

* * *

— Сколько писали, что водка — страшное зло, и еще больше говорили! А толку? Мало толку, и потому с особой обостренностью понимаешь: страшное это зло, нешибко поддающееся заклинаниям. Как секретарю райкома приходится лоб в лоб сталкиваться с фактами пьянства. Сколько же исковерканных судеб, разбитых семей, загубленного здоровья... Не ханжа я, не святоша, понимаю: если вино пить в меру и, так сказать, по поводу, а не каждый божий день, беды бы не было. Но пить-то не умеют, пьют по-черному. Пускай меня обвинят в загибе, но я так считаю: агитировать против водки и алкоголиков можно, вреда не будет, но мера, которая в состоянии, по моему разумению, решить проблему, — совсем запретить продажу водки. Сухой закон, сторонников коего высмеивали кому не лень? Да, сухой закон, и я готов к насмешкам. Но, вероятно, не столь уж это смешно, когда перед тобой проходит череда несчастий, принесенных водкой, будь она проклята! Мы летаем в космос, проникаем в тайны материи, неужели же мы не одолеем водку?

* * *

— Из всех поэтов мне наиболее близок Некрасов. Помню, прочитал в школе его стихи о крестьянских детях. Что-то перевернулось в душе. Подросток — перечитал Некрасова от корки до корки и с тех пор в свободную минуту перечитываю. Крепко люблю детей. Своих ли, чужих ли. Свои уже вымахали, детишками не назовешь. А вот глянешь где-нибудь на сельской улочке на ребятенка — и теплей становится на сердце. Славная будет жизнь у этих хлопчиков. И у нас жизнь неплохая, грех обижаться, но у них будет лучше. Да, собственно, разве то, что мы вершим, не ради них, не ради детей? И опять вернусь к Некрасову. Именно его стихи пробуждают в человеке любовь к детям — качество, необходимое любому...

* * *

— Для книг, для толстых журналов урываю часть сна. Ну, и на курорте отгрываюсь... Литература для меня — подлинная школа жизни, литература учит благородству, честности, порядочности, непримиримости к злу, в какие бы обличья оно ни рядилось. Мне интересны и классики и современные советские писатели. Не приемлю облегченные произведения, где с первой страницы понятно что к чему. Мое читательское мнение: литература должна быть правдивой, не обходить больных тем и сложных проблем, но она должна быть идейно ясной. Не надо

истину преподносить на блюде с голубой каемкой, но пусть истина, за которую ратует писатель, светит внутренним светом, и светом согревающим, а не холодным. По-моему, сейчас лучшие книги советских писателей посвящены предвоенному времени, Великой Отечественной, первым послевоенным годам. К сожалению, настоящих, высокоталантливых романов и повестей о современном колхозном крестьянстве, о современном рабочем классе мало, очень мало. В чем причина? Ну, откуда же мне знать? Я просто не берусь судить. Это видней самим писателям.

* * *

— Следил за дискуссией об опере, была она как-то в нашей прессе. Рассуждали, устарел ли этот жанр, и ни к чему не пришли. Мне лично ближе мнение, что опера — жанр чрезвычайно условный, не каждый сюжет ляжет в оперу, в либретто. Именно поэтому нет выдающихся современных опер. Знаю оперы Хренникова, Прокофьева, Шостаковича, Шапорина, но предпочтение отдаю классике. Наверное, жанру оперы трудно в условиях, когда в искусстве и литературе у нас все больше развиваются реалистические тенденции. Не считайте это моим открытием, просто я разделяю такую точку зрения.

* * *

— Знаете, не люблю тишины, не люблю покоя. Вот говорят, что я человек выдержанный. Со стороны виднее. Но сам я охоч до людей напористых, шумных, горячих. Пусть шумят, спорят, поют, пусть музыка играет, радио говорит, паровоз гукает, самолет гудит! Тихо бывает лишь на кладбище... Знаю, знаю про децибелы, про вредность шумов. Ну, на Алтае децибелы еще рано подсчитывать! А всерьез: я уже считаю себя коренным алтайцем.

В Барнауле, когда я вернулся из Шипуновского района, расспрашивали: как там Василий Тимофеевич? И здесь, как и в районе, его называли по имени-отчеству, уважительно. Как Василий Тимофеевич? Да в норме, выражаясь его языком,

А над Алтаем — и при солнце и при тучах — небо высокое-высокое. Хорошо жить и работать под таким небом.

Август — сентябрь 1973 г.

МАРК ЮДАЛЕВИЧ



ДОЖДЬ

Идут дожди веселые
над городами, селами,
над улицей — случайные,
над полем — урожайные.
... Сошлись земли хозяева
из Кулунды, из Баева,
из хлебного далекого
селенья Краснощеково,
со всей степи-красавицы,
где колос наливается.
Сидят они с медалями,
что за успехи дали им,
сидят они
со звездами,
что за победы розданы.
То тишина рабочая,
то громкий спор грохочет там.
И вдруг дождя шуршание
по гулкой крыше здания.
И по такому случаю
все замолчали, слушая,
как будто дождь заранее
брал слово на собрании.
И вот он льется ведрами
веселыми и бодрыми.
По крыше бьет без
памяти,
нарушив все регламенты,
и, растекаясь лужами,
блестит до ослепления.
И все признали нужными
такие выступления.
Идут дожди веселые
над городами, селами,
над улицей — случайные,
над полем — урожайные.

Барнаул.

НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ

★

ПАНФИЛОВО

У водоема тихого
Открыто и светло
Стоит мое Панфилово —
Родимое село.
Ничем не знаменитое,
Лишь бор да суходол.
В глуши, но не забытое
Среди подобных сел.
Я с гордостью, не с гонором,
Скажу не добоясь —
С любым российским городом
Оно имеет связь.
Лежат ребята здешние,
Покинув отчий дом,
Под Ельней и под Стрешневым,
Под Курском и Орлом.
Живет село заботами,
Без скидок на удел,
Без усталости работает
По части хлебных дел.
Рождает, любит, учится,
Толкует о луне —
Довольно этой участью
Село мое вполне.
Скажу не ради красного
Словца, а так, как есть:
Любителям сенсации
Не поживиться здесь.
И лишь душою чистые,
Лишь те, чья жизнь честна,
Заметить смогут истину
Простую, вот она:
Здесь, помня долю трудную,
живут из века в век
любовью обоюдную
земля и человек.

Барнаул.

ЭРКЕМЕН ПАЛКИН



РАЗДУМЬЯ

С алтайского

В эту смирную, затаенно примолкнувшую ночь
Я на поле сижу один.

Вокруг тишина, тишина.

Дум о времени и о жизни моя голова полна

В молчаливо-задумчивую эту ночь...

Далеко, далеко на востоке полуночном где-то

Молний вспышки сухие, голубые отсветы.

Говорят, у нас на Алтае

хорошо поспекает пшеница,

Если тихая, добрая молния

так по ночам резвится...

Так прекрасна жизнь на земле,

на этом зреющем поле,

Что душа моя полнится

сладкой какой-то болью...

В небесах необъятных,

на вселенских дорогах

Вахту белые звезды

несут величаво и строго.

Время ж мчится и мчится без остановок вперед.

Гулко в сердце моем отдается бег его и полет.

И в родимую землю,

в жизнь сегодняшнюю влюблено,

Захлебнуться от счастья оно готово,

мчится с временем заодно.

Время, славное время,

как стремительно ты!

В будущее увлекаешь

все надежды мои и мечты,

Думы мои горячие,

желанья, еще не исполненные,

Вспыхивают в душе,

как резвые эти молнии...

Перевел А. СМЕРДОВ.

КРИЧИТ САРЫ¹

Рассвет. Очерчен круг земли.

Поля белым-белы.

Прощаясь, кружат журавли:

Курлы, курлы, курлы.

Вздыхает старых кедров ряд,

Прохладой осенен.

¹ Сары — птица из семейства беркутов.

Они в столетиях стоят.
Им слышен ход времен.

Шумит под сапогом трава:
Шилыр, шилыр, шилыр.
Цветы мертвы, листва мертва,
Я лето пережил.

Кострами желтый лес горит.
Тропа сошла с горы.
Как жеребенок, здесь навзрыд
Кричит, кричит сары.

Далеко в поле конь заржал.
Прошла по телу дрожь.
И бубенец задрезжал:
Куда зовешь, зовешь?..

Года пройдут... Глухой поры
Прозрачный час, прощай!
В моей душе кричит сары:
Алтай,
 Алтай,
 Алтай!..

Перевел МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ.

Горно-Алтайск.

ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА

★

ЭСТАФЕТА

ВАРВАРА МАКСИМОВНА

Она никогда не болела. Вернее сказать, не позволяла себе болеть. Было — заводной рукояткой трактора руку ломала. Было — на ремонте палец почти напрочь оторвала. Было — вместе с лошадей и кошевкой на весенней реке под лед провалилась. Было — в ледяную воду прыгнула вслед за тонущим трактором. Всякое было — жизнь-то долгая, а характер лихой, отчаянный...

Лечилась, конечно, как не лечиться? То банным парком да березовым веничком простуду из себя выгонит, то в сельский медпункт по пути забежит — укол сделать или переменить гипсовую повязку. Но такого, чтобы в постели, под приглядом врачей валяться, недуг свой лелеять да нежить — такого не было никогда.

И в чужую хворь тоже, признаться, не очень верила. То есть понимала, что она есть, но твердо была убеждена: хворь эту при желании можно превозмочь. Должно преодолеть и забыть — ради Дела, во имя Долга.

Но вот пришел и для нее этот день, когда она не смогла, не сумела отмахнуться от своего недомогания. Болезнь схватила ее так, что, казалось, никакая сознательность, никакое чувство долга не заставят ее подняться. Нет, так только казалось. Она все равно старалась подниматься, пыталась действовать, несмотря на советы врачей, вопреки их осторожным предостережениям и намекам. «Я как-нибудь... Там совершенно неотложные дела», — говорила она и шла — то к себе в контору разобраться в претензиях колхозов, то в клуб проверить готовность избирательного участка. Шла, привычно превозмогая себя, надеясь, что и на сей раз пройдет, обойдется. Но ей становилось все хуже и хуже. И как-то, после того как она внезапно и надолго потеряла сознание, ее лечащий врач — милейший, деликатнейший человек — вдруг заговорил с нею непривычно резко, даже грубо.

— Ну вот что, дорогая Варвара Максимовна, — сказал он, постукивая костяшками пальцев по столу и твердо глядя ей в глаза, — не в моих это правилах — бить наотмашь, но с вами, я вижу, иначе нельзя. Так вот, поймите вы: это — звонок. Скажем еще определеннее: это — третий звонок. Последнее предупреждение. Нельзя вам больше работать! Никак нельзя!.. Теперь вам ясно?

Теперь ей это было совершенно ясно. И так же, как раньше, Долг заставлял ее работать на пределе сил, работать на износ, так теперь этот же самый Долг повелел ей сказать вышестоящим товарищам:

— Не могу. Не потяну больше. Передайте дело молодому, здоровому, энергичному.

Пока подбирали, пока утверждали преемника, она, набив карманы сильнодействующими лекарствами, еще выходила на работу на час-другой, решала самые сложные конфликты, подписывала самые важные бумаги. И еще — следила, чтобы правильно и самыми лучшими сортами засадили яблоневую аллею во дворе, под окнами ее теперь уже бывшего кабинета. Когда-то, когда она принимала эту МТС, преобразованную впоследствии в МТМ, а затем в Сельхозтехнику, здесь ни вокруг административных и производственных зданий, ни в поселке не было ни

деревца, ни кусточка. Все эти высоченные стены из тополя, что шумят и зеленеют окрест, прикрывая территорию от пыльных бурь и снежных заносов, — все это посажено и выращено по ее инициативе, при ее непосредственном участии. И большой плодовый сад на окраине поселка — тоже ее детище. А теперь она решила посадить еще эту аллею, оставить по себе, как она думала, последнюю добрую память.

Но вот и управляющий появился. Можно бы подписать приемо-сдаточный акт, передать из рук в руки печать и ключи от сейфа, пожелать молодому человеку успеха в работе и уйти, теперь уже на полный покой. Но человек был слишком молод и при всех своих инженерных познаниях, при всей очевидной хватке не мог сразу после колхозной ремонтной мастерской осознать и представить себе новый объем работы. Нет, по молодому своему самолюбию он не просил о помощи. Но она понимала: помощь необходима. И не боясь, что кто-то, может быть, превратно истолкует ее поведение, оставалась рядом с ним еще почти две недели (надо ли подчеркивать, что без всякой оплаты?). Варвара Максимовна (как молодой человек ныне благодарен ей за это!) досконально, до последней «детальшки» показала его новое «хозяйство», посвятила во все «тонкости» и «секреты» их системы, познакомила со всеми людьми — не только с теми, кем предстоит руководить, с кем придется сталкиваться в районе, но и — заочно — с краевыми работниками: у кого какой должностной и реальный «вес», к кому в каких случаях предпочтительней обращаться, кто действительно поможет, а кто горазд лишь на улыбки и обещания. В этом тоже она видела свой Долг. И перед молодым преемником. И перед делом, которому отдала всю жизнь.

После всего этого перед прежним своим коллективом у нее оставался один, последний долг: уйти с достоинством, не показав и виду, как разрывается от тоски сердце, как страшит ее будущее прозябание — пусть заслуженной, пусть персональной, но все же пенсионерки.

В ту пору она не могла и думать, что «прозябания» не выйдет, что судьба готовит ей новый, еще более высокий взлет. Не знала и того, что связь с родным коллективом не прервется, не нарушится, что и новый управляющий не раз прибежит к ее авторитету, воспользуется ее многолетними деловыми связями — то леса достать для Сельхозтехники, то кирпича, то запчастей из заводской некондиции, да и сослуживцы не оставят ее вниманием.

В тот момент в ней звучала только одна мысль, как одна навязчивая грустная мелодия: «Вот и конец! Вот и укатили сивку крутые горки!» Эта мысль, эта мелодия заглушала все торжественные речи на проводах, все сердечные телеграммы — от бывших соратников, разбросанных по всем районам Алтая, от краевых организаций, из Москвы. Нагло ставшись лекарств, оглушив, одурманив себя ими, она хорошо продержалась всю церемонию, даже, как представлялось ей, улыбалась, даже — почти без запинки — произнесла благодарственную речь. Но я видела фотоснимок президиума прощального собрания и Варвару Максимовну на нем — с таким лицом сидят только на похоронах...

Все! Со всеми долгами отныне покончено. Теперь, как настаивают врачи, можно заняться своими болячками, понежиться в постели, попринимать лечебные процедуры. И, главное, оставшись наедине с собой, можно отдаться своим мыслям...

Однако позвонил сын, Володя: «Мама, пожалуйста, прошу тебя, выручи. У меня на носу защита, а жена расхворалась, и дочка беспризорная». Невестка и в самом деле была больна, внучка и в самом деле нуждалась в уходе, сыну действительно надо было заканчивать дипломный проект в заочном вузе. Но никогда до сих пор, ни в каких сложнейших ситуациях он не обременял старших своими просьбами, всегда скрывал свои затруднения, с малых лет действовал по принципу «я — сам!». Он тоже был Бахолдин, и он, видимо, догадался: больница — не место для его матери, больничная обстановка убьет ее, подорвет в ней силы сопротивления. Да, конечно же, ее прямой, открытый, бесхитростный мальчик на сей раз хитрил: он хотел вырвать мать из дома, отвлечь от горьких раздумий, заполнить ее существование новыми заботами, вернуть ей ее «жизненный

стержень» — ее Долг. Варвара Максимовна оценила это, и была признательна сыну, и радостно поспешила в Барнаул.

Вернулась домой, и тут дать волю своим горестям не пришлось: безропотная, безотказная мать вдруг «взбунтовалась», заявила, что она устала тянуть дом, что из-за сумасшедшей Вариной работы, из-за вечной ее занятости она никогда толком не отдыхала, не имела возможности полечить свои больные ноги, и — милая ты моя, родная дипломатка! — потребовала немедленно отправить ее в санаторий. На Варвару Максимовну вдруг свалилось все — сад, огород, уборка, стирка. Да еще штопку откуда-то выкопала мать, должно быть, за много лет, — хоть и не очень нужное, а все вроде занятие...

Но и материнскому «бунту» пришел конец, и она, подлечившись, вернулась к своим хозяйским обязанностям. И как теперь ни старалась Варвара Максимовна помогать ей и отцу в домашних делах, досуг все-таки оставался. И тогда нахлынули воспоминания. Уже без отчаяния, без надрыва. Спокойное осмысление пройденного пути. Трезвая оценка прожитой жизни.

С чего же все началось? Откуда у нее эта полная самоотдача в работе, это обостренное чувство Долга? Мать, Анна Севастьяновна, считает: от отца. Для того тоже «общество», «общественные дела» всегда были на первом плане, дома-то хоть трава не расти, хоть гори все огнем, дома-то его, считай, и не видели. Как с «германской» вернулся — давай с большевиками в своем селе, в Саввушках, «революцию делать», советскую власть устанавливать. А тут Колчак нагрязнул — отец, само собой, в партизаны подался, и ей, матери, тоже пришлось с детшками в лесу на занемке прятаться. Коммунист с 1919 года, Бахолдин и ТОЗ организовывал, и коммуну создавал, и был первым ее председателем. Он же первый трактор в Саввушки пригнал и несколько лет был единственным в селе трактористом.

В тот год, когда появился в Саввушках первый «Фордзон», босоногая Варюха в коммуне гусей пасла. Стала чуть старше — поставили конюхом. Еще повзрослела — назначили дояркой. Каждое новое назначение — такая тогда была атмосфера! — воспринималось как высокое доверие, как великая честь. «Не на себя работаешь — коммуне служишь», — не уставал внушать ей отец. Доверие она ценила и всеми силами старалась оправдать, но всякую свободную минуту бежала к отцу — то в поле прокатиться на тракторе, то на бригадный стан или в мехмастерскую. Ремонтируя машину, ухаживая за ней, Максим Иванович охотно рассказывал дочери что к чему и зачем, разрешал мыть в керосине и протирать ветошью разные детали.

Когда Варя пошла на курсы трактористов — там тоже преподавал отец, — вся эта премудрость оказалась для нее «проще пареной репы», и было странно, что кто-то чего-то не может понять. С годами в МТС поступали все новые, уже отечественные, и более совершенные машины, она работала на тракторах всех без исключения марок, и все они давались ей так же легко, она как бы видела их навсквозь.

— У вас типично инженерное мышление, — скажет ей позже профессор Тимирязевки, — с вашими способностями к технике быть вам бо-ольшим инженером!

Но это будет много позже — и седенький профессор, и храм сельскохозяйственных наук, и Москва. А пока ничего этого не предвидя и ни о чем подобном не размышляя, Варя была счастлива тем, что впервые вывела свой «Фордзон» в поле. Это была громоздкая и сложная машина, заводилась она трудно, часто капризничала, выходила из строя. «Дурила» она и у мужчин-трактористов, но Варины простои почему-то больше бросались людям в глаза, над ней смеялись, ее осуждали. Но чем больше смеялись, чем громче осуждали, тем крепче она сжимала зубы: «Докажу! Не брошу!» И тем чаще звучал настойчивый голос отца: «На тебя теперь весь район смотрит, ты не имеешь права отступать!»

И — не отступила! И — доказала! Свой первый сезон — это был год 1931 — Варя закончила не хуже мужчин. В следующем году она уже вдвое перевыполняла норму. А еще через год ей доверили целую бригаду, первую женскую тракторную бригаду Алтая. Ах, какие дивные девочки в

ней собрались, одна лучше другой, все боевые, отчаянные. Помнится, на пахоту с эмтээсовского двора выезжали со смехом, с песнями, как на свадьбу. И вдруг... Председатель колхоза у кромки поля стоит, руками размахивает: «Не дам землю портить! Вы колхоз без урожая оставите»...

Да, всякое было — и недоверие, и насмешки, и прямое сопротивление. Через многое пришлось пройти, прежде чем бригада Баходдиной загремела на весь Алтай, на всю Западную Сибирь. Трудно было, как и всем, кто новое начинает, кто в любом деле прокладывает первые борозды. Но, если по справедливости разобратся, трудней других, пожалуй, пришлось Паше Ангелиной — самой первой из первых. На нее кулаки клевету, напраслину грязную возводили и в спину ей из обреза стреляли; старухи богомолки, видя «бесстыдницу» Пашу на тракторе, плевались и призывали проклясть на ее голову; взбудораженные вздорными слухами бабы не пускали ее трактор в поле, грозились избить ее и косы повыдергать... Паша, Паша, как много ей досталось и как много тяжкого, горького ждет ее впереди, в военные годы!

Впрочем, до войны тоже пока далеко, идет зима 1934/35 года. В жизни Варвары Максимовны немало будет и наград, и радостей, и памятных дней, но таких безоблачно-ярких, таких насыщенных, как в эту зиму, не будет уже никогда. В эту зиму земляки послали ее на краевой съезд Советов. В эту зиму она была избрана делегатом XVI Всероссийского съезда Советов. В эту зиму она, двадцатилетняя комсомолка, стала членом ВЦИК. И в эту же зиму ей выпало счастье побывать на Втором всесоюзном съезде колхозников-ударников, выступать с его высокой трибуны.

Там-то они и познакомились с Пашей Ангелиной, там и подружились и дружбу пронесли через всю жизнь. Встречались и позднее, на сессиях Верховного Совета, и на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, где обе получили большие золотые медали. Но особенно сблизились за годы учебы в Тимирязевке — их комнаты в общежитии оказались почти что рядом, а занимались обычно вместе, прихватывая частенько и ночи — подготовка-то была не ахти какая, а отставать им и здесь не хотелось, не имели они права на отставание, слишком высоко вознесла их страна, слишком на виду они были, теперь уже у всего народа.

...Нет, не сбылась заветная Варина мечта, не исполнились предсказания добряка профессора, не успела Варя стать инженером — помешала война.

Осенью сорок первого она еще дежурила на московских крышах, сбрасывала прочь зажигалки, тушила пожары. Но в октябре пришлось, как и всем «тимирязевцам», выехать домой. То есть домой-то, в Змеиногорск, к отцу и матери, к двухгодовалому Володе, она как раз и не попала: крайком партии предложил ей принять отстающую МТС в степном районе.

Как сейчас помнит: прямо из крайкома, не заезжая к родным, прибыла на новое место работы — медлить, сказали, нельзя, МТС «обезглавлена», директор уже воюет. Но и ей, по правде сказать, досталось вроде как на передовой, только что не стреляли и не рвались бомбы. В МТС-то на ходу оказались только два трактора, остальные — в бригадах, разбитые, неремонтированные. А ремонтировать где? Вместо мастерской холодная сараюшка. А ремонтировать с кем? Трактористы тоже на фронте. А новых набрать куда? Ни свободных домов, ни общежития. Ходила по избам, просила солдаток потесниться, принять будущих курсантов. Уговаривала поработать «сколь хватит сил» престарелых механизаторов. Умоляла вернуться в строй еще не окрепших после госпиталя инвалидов. Агитировала сесть на трактор многодетных матерей и голенастых тонкоруких девушек. Вечерами прямо в мастерской, дую на коченеющие руки, проводила с ними «наглядно-теоретические» занятия. Днем ремонтировали тракторы — сама, если нужно, становилась к токарному или фрезерному станку, поднимала самые тяжелые детали (сил-то, казалось, невпроворот). И по выезде в поле тоже была неизменно с ними рядом, ее потрепанная «эмка» день и ночь металась по полям — и в пахоту, и в сев, и в уборку. Не выдерживала, выходила из строя «эмка» — пересаживалась на коня...

Да, и в ту пору и позже — всю жизнь не щадила она себя на работе. Но,

если по совести сказать, не щадила и других — Дело есть Дело. Нерадивых «гоняла», нечестным «давала чертей». Но никогда — ни-когда! — не уврачивала справедливости. Как-то, еще в эмтээсовские времена, поддавшись наветам председателя колхоза, погорячилась и освободила от работы пожилого механизатора. А когда остыла, разобралась и увидела, что не права, помчалась к нему в дом, извинилась, предложила работу в любом другом хозяйстве, на выбор.

И вот что еще важно: когда-то отец прививал ей чувство долга перед коллективом, перед народом, перед страной. Когда-то мать исподволь, незаметно приучала ее любить каждого в отдельности человека, быть внимательной к тем, кто рядом. Собственная семья Бахолдиных насчитывала тринадцать человек, а помимо своих за обеденный стол садились обычно и тетушки, и двоюродные сестры, и внучатые племянники, и просто те, кому нечего было есть. И Варя — так уж в доме было заведено — с бригадирских своих заработков, из столичных своих поездок привозила «гостинцы» тюками — кому отрез или «юнгштурмовку», кому хромовые сапоги или шелковый полушалок, — никто не оставал обиженным.

Так и теперь, призывая людей к подвигу, показывая им личный пример самоотверженности, «разнося» и «гоняя», она по-матерински — а ей ведь не было и тридцати лет! — заботилась о своем коллективе. Мучают заносы? — давайте сажать деревья, да, да, устроим воскресники, я тоже буду с вами копать! Плохо с едой? — договорюсь о земле, разобьем коллективные огороды! Трудно с кормами? — сообща будем косить, потом поделим между нуждающимися! Туго с жильем? — поможем лесхозу выполнить план, заработаем стройматериалы...

Нелегко, ох нелегко досталась ей война, раньше срока изморозь седины припорошила ей голову. Но не считала она свою судьбу какой-то особой, исключительной — как все, так и я. Вот Паша Ангелина — другое дело, Паше и в войну пришлось испытать трудностей и страданий сверх меры.

В октябре, когда Варя еще расправлялась с «зажигалками», Паша всей своей бригадой уже двигалась с Украины на восток. Двигались в полном составе, своим ходом — с тракторами, горючезовозкой и вагончиком-мастерской, в прицепах — старики, женщины, дети. Двигались, как на параде, — со всеми переходящими знаменами во главе колонны, прикрепив к груди трудовые ордена и медали. А в дневном небе кружили над ними «мессершмитты», а по ночам догоняло их зарево пожаров, а на переправах ожидали их свирепые бомбежки...

В тяжкие военные годы, до возвращения Паши на освобожденный Донбасс, находились они так недалеко друг от друга — если б только знать, пригласила бы их к себе в район, чтобы вместе бороться за урожай. Но ангелинцы воевали за этот урожай в казахстанских степях и сумели на скудных казахстанских землях вырастить вдвое больше того, что получали до них, в мирное время. И потом, воротясь на израненную врагом землю, собрав «пахотные средства» частями, то из старых-престарых тракторов, то из подбитых немецких танков, соорудив из хлама плуги и культиваторы, уже в сорок пятом году на полях недавних сражений они сумели вырастить почти по 22 центнера с гектара. И даже в страшном сорок шестом году, в небывалую даже для Украины засуху, получили около 20 центнеров.

Вот каким человеком была Паша, вот как она умела работать! Звание Героя Социалистического Труда, звание лауреата Государственной премии были ей достойной наградой. Варвара Максимовна радостно и восхищенно поздравила с ними подругу.

Но и у нее в МТС дела шли неплохо, и ее станция, как когда-то тракторная бригада, гремела на весь Алтай. В 1950 году посетила их район делегация чешских крестьян, и вот какую запись сделали они в своем дневнике, изданном позже в Праге: «Самое интересное, что мы сегодня видели, — это женщина-директор... Эта бывшая трактористка товарищ Бахолдина, пока была еще трактористкой, добивалась непревзойденных результатов, она вспахивала за один год 5100 га земли. И став, как лучшая из лучших, руководительницей машинно-тракторной станции, тов. Бахолдина не забыла, что сама была когда-то трактористкой; она чрезвычайно скромна и является лучшим другом всех служащих станции. Всюду она

умеет подать совет, всюду умеет помочь и вообще на 100 процентов на своем месте».

На своем месте она была и позже, в Сельхозтехнике, пока болезнь не скрутила ее, не одолела, не выбила из седла. И вот нет уже привычной спешки и гонки, привычных тревог и забот, «разгонов» и «накачек», ничего нет, остались одни лишь воспоминания. Вечерами, управившись вместе с отцом и матерью по хозяйству, они сидят за большим, теперь уже опустевшим (все выросли, все разъехались) столом, перебирают какие-то случаи из прошлого, рассматривают старые дипломы, грамоты, удостоверения, приглашения, вглядываются в потускневшие фотографии прежних лет: вот юная Варя на трибуне съезда колхозников-ударников, вот вместе с Пашей в Тимирязевской академии, вот с членами Политбюро на одной из сессий Верховного Совета, вот со всесоюзным старостой при вручении первого ордена Ленина в 1942 году, вот в доме земляка-сибиряка Молокова рассматривают модель самолета, на котором он спасал челюскинцев...

Все — было... Все — в прошлом...

И вдруг — звонок из крайкома: Варвара Максимовна, не хватит ли отдыхать? И — возродившая, омолодившая душу радость: значит, еще не забыли! Значит, еще нужна! И — начатая как бы заново, как бы на втором дыхании жизнь.

Сегодня Варвара Максимовна — заслуженный механизатор РСФСР, Герой Социалистического Труда — работает инспектором Госсельтехнадзора, добивается наилучшего использования техники в колхозах и совхозах. Но главная ее обязанность, ее Долг, который она добровольно приняла на себя, — шефство над женщинами-механизаторами, повседневная помощь женским механизированным отрядам. Добиться, чтобы трактористкам и комбайнеркам в первую очередь дали новые машины, чтобы их в первую очередь обеспечили запчастями, чтобы по их заявкам выслали лучшие промтовары, по первому требованию снабжали их стройматериалами, газовыми баллонами и даже хлебом в горячую страдную пору, чтобы для них создавали в хозяйствах профилактории, чтобы путевки в санатории они получали ежегодно и обязательно — обязательно! — использовали их, — да мало ли о чем надо позаботиться, чтобы росла и крепла их женская механизаторская армия.

И еще есть у Варвары Максимовны обязанность: открывать краевые съезды женщин-механизаторов и на ежегодных праздниках Урожай вручать лучшим из них краевую премию своего имени. Приятная, почетная, волнующая, но в чем-то и горькая обязанность! Вручая эту премию, каждый раз с болью думала Варвара Максимовна о том, что нет такой же союзной премии имени Паши Ангелиной. А ведь когда-то на весь Союз гремела ее слава, когда-то девушки всех советских республик откликались на ее призыв: «Подруги — на трактор!»

Свято чтя память своей славной, до времени износившейся, как бы испепелившей себя подруги, горевала Варвара Максимовна, но больше ей не придется горевать: совсем недавно установлено 30 ежегодных Всесоюзных призов трудовой славы для женщин-механизаторов, достигших лучших результатов в использовании техники, сумевших своим примером привлечь девушек и женщин к работе на тракторах, комбайнах и машинах. 30 призов имени дважды Героя Социалистического Труда П. Н. Ангелиной.

Поистине: никто не забыт и ничто не забыто.

Эстафета продолжается.

КОЛОСКИ

Мы сидим в большом, недавно отстроенном, ультрасовременном и очень уютном театре. Зрительный зал сдержанно гудит, наполняясь нарядными, оживленными женщинами, в большинстве — при орденах и медалях. Лица уже поблекшие, но с печатью значительности, лица еще молодые, но уже исполненные достоинства, совсем юные мордашки с выражением любопытства и восторга; головы седые, с «узелком», по-деревенски покрытые платочками, головы с короткой стрижкой «под Ангелину», головы с замысловато уложенными прическами, две-три даже

по-столичному — в париках; строгие черные костюмы с золотыми колосками в петлицах, непритязательные грубошерстные сарафаны, яркие вязаные кофточки, светлые выходные платья из модных тканей и модных фасонов, несколько, правда несмелых, брючных пар. Все поколения женщин-механизаторов: и те, что сели на трактор вслед за Бахолдиной в тридцатые годы, и те, что заменили братьев, мужей и отцов в годы Отечественной войны, и те, что в войну лишь появились на свет, и те, кому нет еще двадцати, кто только берет в руки руль трактора, штурвал комбайна, у кого все впереди — и рекорды, и звания, и награды.

Через несколько минут Варвара Максимовна выйдет на огромную безлюдную сцену, обопрется кончиками пальцев о большой, покрытый красным сукном стол и, чуть запинаясь от волнения, объявит третий слет женщин-механизаторов края открытым. Через несколько минут в президиуме займут свои места знатнейшие из знатных, и среди них — комбайнерки Александра Моисеевна Кибкало и Анна Васильевна Ильичева.

Люди иного поколения, по возрасту — дочери Ангелиной или Бахолдиной. Как же сложились их судьбы? Чем они отличаются от тех, первых? И что в них общего, какие черты предшественниц несут они в себе?

...Местные журналисты поведали мне о Кибкало некую, так сказать, предысторию ее трудового подвига. Будто бы в лихую военную годину, подбирая вместе с другими ребятишками утерянные в поле колоски, голодная Шура не удержалась, набрала полную пригоршню душистых зерен и медленно, смакуя, сжевала их вместо давным-давно исчезнувшего пшеничного хлеба. А потом унаснулась: я же отняла у какого-то солдата его дневную «пайку»! Память об этом проступке, желание возместить тот давний долг и привели Шуру в конце концов на хлебную ниву, за штурвал комбайна, говорили мне барнаульские коллеги.

Ну какого пишущего человека не «зацепит» такая деталь? Я, конечно, тоже занесла ее в свой блокнот, да еще обвела написанное жирной красной чертой: не забыть бы!

Наш разговор с Александрой Моисеевной состоялся в гостинице, в канун слета женщин-механизаторов. Собеседница только что прилетела из своего Родинского района, ей надо было еще встретить задержавшихся подруг, вместе с ними получить в Доме моделей форменную одежду, пробежаться по магазинам за подарками для детей. В общем, было ей совсем не до разговора, отвечала она коротко и с рассеянным видом, словно откуда-то издалека. И лишь слово «колоски», дважды повторенное мною, привлекло ее внимание, ярко-васильковые глаза ожились, а затем в изумлении округлились.

— Колоски?! — воскликнула она. — Пайка?! Боже ж мий, люди добрые, да что ж это такое? Я ж родилась тилька в тридцать девятом році!..

Но, как выяснилось, колоски в ее детстве все-таки были. Их принесла в дом старшая сестра Таня. Отец воевал на фронте, мать лежала безнадежно больная, двое младшеньких — трехлетняя Шура и полуторагодовалый братик совсем обесилели на лебедь да крапиве. И девушка — она ведь в тот момент была как бы главой семьи — решила: набрала на стерне 2—3 килограмма лежалых, начинающих прорастать колосков. Только она в дом — и участковый следом. Таня растерялась, мешочек тут же на стену повесила, шубейкой рваной прикрыла. А слушающая Шура синими своими глазами то на Таню зыркнет, то на шубейку, то на милиционера. По этим сигналящим «фонарям» не мог участковый не догадаться, в чем дело, да, видно, сердечный и совестливый то был человек. Погладил он Шуру по головке заскорузлой рукой, откашлялся, сказал хрипловато: «Ну, так вы мне смотрите!» — и вышел, громко хлопнув дверь.

И у Ани, Анны Васильевны Ильичевой, комбайнерки из соседнего Завьяловского района, были в жизни свои «колоски». Только завершилась та история совсем по-иному. В ту же военную пору Анин отец, бригадир тракторной бригады, должен был выехать из своей деревни в райцентр получить новый трактор. Запряг колхозную лошаденку, взял для нее на колхозном складе мешок овса с отходами и заскочил домой перекусить на дорогу. А тут неожиданно машина попутная под окном просигналила, он шапку в охапку да и укатил. Лошаденку

домашние на хоздвор отогнали, а про мешок с овсом то ли забыли, то ли до возвращения хозяина оставили — дескать, сам брал, сам и вернет. Аня теперь уж не помнит, как все произошло, помнит только ужас свой, когда в тот же вечер по чьему-то доносу в дом с обыском пришли и мешок тот злосчастный без всякого труда в сених обнаружили. Отца своего она больше так и не видела...

Странное совпадение? А чего же странного, чему тут, собственно, удивляться? Обе они — дети своего времени, сурового времени, что и говорить, и слова из песни не выкинешь, да и надо ли выкидывать? Не зная, через что люди прошли, не оценишь того, чем они стали.

И дальше судьба их во многом сходится. У Шуры Кибкало мать во время войны умерла и отец, вернувшись, женился на другой. Аня Ильичева еще до войны мать потеряла, тоже с мачехой жила. Правда, и та и другая женщины, не в пример мачехам из сказок, оказались порядочными, на сиротское горе отзывчивыми. Анина до конца войны ждала сгинувшего мужа, до конца войны как могла смотрела за неродными дочерьми. Шура про свою тоже говорит с благодарностью: «Теперь-то я понимаю, она меня к труду приспособила, всему, что для хозяйни и матери нужно, научила». Но недаром народная мудрость гласит: «Не дай бог быть мачехой, не приведи господь сиротой остаться».

Четырнадцатый год шел Шуре Кибкало, когда она, обидевшись то ли на мачеху за неласковое слово, то ли на отца за то, что он взял сторону жены, покинула родной дом. «Смотрю сейчас на своего хлопчика — ему как раз столько, сколько мне тогда было, — боже ж мий, он у меня совсем малой, он ни за что бы не смог обойтись без батька, без матери!» А она — смогла. Смогла, между прочим, не только благодаря своему характеру, упорному да стойкому, но и в значительной мере благодаря тому же времени, в которое живем. Суровое-то оно суровое, но в основе своей на доброте замешано и добру служит. Выделил Шуре совхоз отдельную комнатку в общежитии, обеспечил ее дровами, ну и, разумеется, работой по силам: с весны до осени воду трактористам да комбайнерам возила, зимой зерно очищала в клунях. Врать нечего — роскошно не жила, но на обновки себе худо-бедно зарабатывала.

Шура, развеселая душа, свои отроческие годы и раннюю свою юность вспоминает легко, со смешком, даже с некоторой бравадой. А Аня, рассказывая о былом, не может удержаться от слез. Ну, ей, конечно, поболее досталось. Ее первые шаги в самостоятельной жизни совпали с самыми тяжкими военными годами. Но не голод она теперь вспоминает, хотя и поголодать пришлось вдоволь, не труд, хотя и его было невпроворот. Нет, в памяти ее от войны остались прежде всего холода. От постоянного недоедания да от одежды «на рыбьем меху» они в ту пору казались особенно лютыми. Зимой Аня обычно в бригаде жила, километрах в десяти от села, вместе с другими девчатами за колхозным скотом ухаживала. С утра до ночи в снегопад, метель и трескучий мороз на медлительных волах то воду от проруби возила да по колодам разливала, то корм от стогов тягала да по кормушкам раскладывала. Вспомнишь, как, бывало, не только руки-ноги — вся душа насквозь леденела, так и теперь дрожь охватывает.

Ну, а как же они стали комбайнерками?

— Как? — Аня обескураженно пожимает плечами. — Да очень просто, без всякого героизма, можно сказать, случайно.

Война кончилась, от отца не было ни слуху ни духу, мачеха взяла в дом другого мужа. Нет, Аню и в этот раз не обездолили, отгородили ей отдельную комнатку с сенцами, но все равно больно ей было смотреть, как на родном дворе ходит, разговаривает, смеется чужой мужчина, отцовским топором дрова рубит, отцовскую одежку донашивает. Махнула она рукой на тот дом и в тракторную бригаду, в ту самую, где раньше отец работал, насовсем переселилась — там, казалось ей, легче сохранить о нем память. И впрямь были там люди, которые его хорошо знали и добром помнили, — одна из таких Аню к себе в прицепицы пригласила, другой позже учетчицей выдвинул. Там же, в бригаде, Аня и счастье свое нашла. Как-то осенью затанули они сев озимых, и к ним на помощь прислали трактористов из другого отряда. С ними был и Василий — красавец па-

рень, весельчак и балагур. Все девчата враз из-за него голову потеряли. А он на худенькой скромной учетчице свой выбор остановил. И когда поженились, не разрешил ей на этой должности, среди мужчин, оставаться — «много их там, глазастых да рукастых». Так она с ним прицепщицей и работала, пока его на дизели не перевели. А когда курсы окончила и комбайн получила, Василий на автомашину попросился, чтоб от нее зерно принимать. Ревновал, что ли? Да нет, такого чуда вроде не было, ни слова, ни полслова об этом прямо не говорил, только посмеивался: «Береженого бог бережет».

А Шура Кибкало? Ну, Шура на случай никогда не полагалась, она свою судьбу сама, как глину, лепила. Ее суженый киномехаником работал, по селу ходил неизменно чистенький, отутюженный, при галстучке. Ей и нравился его интеллигентный, городской вид, и в то же время вроде неудобно было перед селянами: все мужики как мужики, чуть свет на работу идут, а ее Венечка после выездного сеанса отсыпается; вечером мужики усталые, пахнущие машиной и потом, возвращаются к своим семьям, а Веня — шляпу набекрень да в очередной клуб «крутить картину». А то и на несколько дней укатывал. Какой жене это понравится? Тем более вне дома-то ему, глядишь, и «поднесут» и еще добавят... Так что, принимая предложение, Шура потребовала от будущего мужа: кончай со своей кинофикацией! И он — чего ради любви не сделаешь! — согласился, перешел в совхоз сантехником, а на время уборочной на комбайн садился (Шура, само собой, подле него штурвальной, пока сама на комбайнера не выучилась).

Скоро ли наши подружки в герои вышли? О-о, нет, такое с ходу с лета не дается! Комбайн — машина сложная, условия уборки на Алтае — того сложнее, каждая страда преподносит какие-то «сюрпризы», к ним надо приспособиться. Да к тому же в прежние годы и урожай случался самое лучшее «через раз», а при редких стебельках да тощем колосе много ли намолотишь?

А когда Шура впервые должна была проводить самостоятельную уборку, в их районе и совсем ничего не уродилось. Страшнейшая засуха выжгла поля, страшнейшие пыльные бури присыпали их, словно пеплом. И все же в тот год Шура выдержала свой первый комбайнерский экзамен. Послали родинских механизаторов в предгорные районы края — там все же хоть кое-что можно было убрать. Послали своим ходом почти за шестьсот километров. Впереди — трудные крутые подъемы, резкие повороты, бурные реки, узкие мосты. Кто-то из руководителей района предложил Шуре: «Вы женщина, можете остаться». Да разве это тот характер? Разве она отступит? И поехала! И намолотила больше любого из мужиков в их отряде! Так она впервые получила признание.

Но первой вырвалась вперед Ильичева. В 1971 году она намолотила более 11 тысяч центнеров, достигнув самого высокого результата среди женщин Алтая. Каким образом ей это удалось? Послушаешь ее, так все вроде бы легко и просто: хлеба богатые уродились, комбайн был новый и мало ломался, Василий со своей «полторкой» быстро оборачивался, не позволял и минуты простаивать в ожидании разгрузки. Ну, конечно, и сама старалась.

В тот год она стала лауреатом премии имени Бахходдиной. А Шура — та, как говорят, в затылок ей дышала, отстав всего на какую-то тысячу центнеров.

В тот памятный год Ильичева и Кибкало, следившие одна за другой по газетам, впервые познакомились лично и — такие непохожие, но с такой сходной судьбой — понравились друг дружке. Большая группа передовиков сельского хозяйства края выезжала на ВДНХ. Ильичева и Кибкало ехали в одном купе, в Москве поселились в одном номере гостиницы, сообща осматривали достопримечательности столицы.

«До глубокой ночи не смолкали в их комнате «мужские» разговоры о технике да о том, как что регулировать и исправлять надо, об итогах минувшей уборки», — написал о тех днях один из алтайских очеркистов.

Правильно, были разговоры и об этом, была щедрая, без всякой утайки, передача опыта. Но, честное слово, больше всего говорилось о другом — о чисто женском, о давно наболевшем не только их личном, но и всех подруг, и, должно быть, не только в их крае.

более того. «Ой, что вы, затаскали меня этой славой, перед мужем неловко, перед земляками совестно!» — искренне, от всего сердца воскликнула одна. «Слава сегодня есть, завтра нет ее, а работа — она каждый день, и всегда в радость», — подумав, ответила другая.

Вот, оказывается, что: радость труда! Любого труда, лишь бы для всех и вместе со всеми. Они же, и Кибкало и Ильичева, не только в страдную пору, не только на комбайне работают — круглый год, зиму, весну, лето, исключая время отпуска, находят себе дело по душе: то сеяльщиком-заправщиком, то на окоте овец или их стрижке, то на уходе за ягнятами, то на дойке коров, то на прорывке, прополке или уборке свеклы.

Всякий труд — в радость, но этот, на комбайне, ни с каким трудом несравним. Вы можете себе представить, какое это необыкновенное чувство — власть над машиной, над такой машиной! Ведешь ее, тарахтящую громадину, и во всем этом шуме, лязге и грохоте различаешь каждый звук, голос каждой детали, будто они, детали, — продолжение твоего собственного «я»; и машина тоже словно бы понимает тебя, подчиняется каждому твоему движению. Сидишь на своей верхотуре — огромное поле перед тобой, как сказочный богатырский стол под золотой скатертью, ни конца ему, ни края, и ты в этот момент всему голова, хозяин... А какой азарт в работе комбайнера, какая возможность выложиться до конца, показать, на что ты, человечина, способна! Уже, кажется, устала до предела, уже вроде и сил никаких нет, но надо использовать редкий погожий денек, а то и немногие солнечные часы средь ненастья — и ты намертво вцепляешься в штурвал: еще круг! Еще! Еще!.. А сколько красоты в этом труде! Особенно ночью, когда поле — как море, а комбайны, как корабли, плывут, разворачиваются, огнями светят, и пыль уже улеглась, воздух по-морскому чистый и свежий, и над головой — звезды, звезды, звезды...

Итак: радость механизированного труда, его эстетика и романтика. Но и это еще не все. Еще и высокое чувство долга. «Ты знаешь, сколько людей нам в уборку не хватает? — спрашивает обычно Александра Моисеевна Кибкало. — Тысяч пятнадцать, если считать по всему Алтаю. Со всех концов страны к нам на подмогу едут. Прикинь-ка, во что это обходится! А если все мы, алтайские бабы, все колхозницы и работницы совхозов, кому позволяет возраст и здоровье, овладеем техникой да оседлаем комбайны, — чувствуешь, что тогда будет?» «Потому и стараемся, чтоб всех вокруг убедить: не боги горшки обжигают», — добавляет Анна Васильевна Ильичева. Убеждают, агитируют результатами своего труда, своим достатком, своими наградами, а Шура Кибкало — вот уж озорница! — еще и подаренной легковушкой. Едучи в райцентр по делам или на совещание, разнарядится, «як царица», и непременно сделает на своем «Запорожце» «круг почета» по родному селу: глядите, бабоньки, глядите, и вы так-то можете! Пилите, пилите ваших мужиков, пусть отпускают вас в механизаторы!

Таковыми открылись они мне при кратком знакомстве — две подружки, две соперницы в соревновании, две последовательницы Паши Ангединой и Варвары Бахолдиной — добрые колоски, возросшие на доброй ниве.

Алтайский край,
август 1973 года.

АРЖАН АДАРОВ

★

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ

С алтайского

Мой старый партийный билет!
Нас вместе ветра обжигали,
мы вместе с тобой прошагали
немало стремительных лет.

Со мной ты, партийный билет,
дорогами отчего края
шел, сердце мое согревая,
и сердцем ответно согрет.

Весь опыт борьбы и побед,
что в сердце глубоко хранится,—
в твои он впитался страницы,
мой старый партийный билет!

Прощай же!
Особенный свет
сегодняшний день излучает:
сегодня в горькоме вручают
мне
новый партийный билет!

Сегодня идут в кабинет
один за другим коммунисты:
прорабы, врачи, трактористы,
учитель, чабан и поэт.

Ученый — за токарем след...
Известный охотник Алтая...
Ткачиха идет молодая
и Ленина видевший дед...

Мой новый партийный билет!
Знакомые снова приметы:
девиз коммунистов планеты
и ленинский четкий портрет.

И слышу я отзвук бесед:
то в сейфе, в тиши кабинета
сейчас говорят партбилеты,
с соседом толкует сосед.

Им вспомнились пройденных лет
свершенья,
пути,
новостройки

на западе
и на востоке,
где в море родится рассвет...

Прощайте!
Нам отдыха нет,
об отдыхе мы не мечтали:
нам — дальше, сквозь времени дали,
дорогой трудов и побед.

Грядущего слышим привет!
И всюду по-прежнему с нами
великого Ленина знамя,
бессмертный немеркнущий свет...

Перевел ИЛЬЯ ФОНЯКОВ.

Горно-Алтайск.

АЛЕКСАНДР ТЕПУКОВ



ЖАВОРОНОК

С алтайского

Бьет пыль в глаза.
И время, понукая,
Торопит нас:
«Скорей кончайте сев!..»
Все не беда —
Звучал бы, не смолкая,
Твой, жаворонок,
Трепетный напев.

Ревет мой трактор
Густо, неустанно,
Он раскален
За долгий летний день.
Ползет по склону
Древнего кургана
Его кабины
Скошенная тень.

Мы пропотели.
Что ж, рубахи скинем —
И снова в путь,
К стальным штурвалам сев.
Все не беда —
Звучал бы в небе синем
Твой, жаворонок,
Радостный напев!

Нависнет ли
Усталости громада —
Чтоб снова руки
Силу обрели,
Мне лишь на миг
Тебя увидеть надо,
Глазами оторвавшись
От земли.

Ты плещешься
В небесном синем кубке,
Умешь
Поддержать и ободрить,
А сам ведь меньше,
Чем головка трубки,
Которую мне некогда
Куришь.

Ты не смолкаешь.
Мой товарищ милый,
Соратник
Человеческой судьбе.
О, сколько доброты,

●, сколько силы,
О, сколько песни,
Маленький,
В тебе.

Мы трудимся:
Я — на земле,
Ты — в небе.
Я насыщаю борозды зерном,
Но, за работой думая о хлебе,
Я не о хлебе думаю одним.

И неба глубь,
И вся краса земная
Нам, людям,
Как насыщенный хлеб нужны...
Звени, греми,
Усталости не зная,
Певец крылатый,
Труженик весны!

Перевел ИЛЯ ФОНЯКОВ.

Горно-Алтайск.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Двухлетие со дня принятия постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» отмечается Всесоюзным совещанием критиков в Москве. Нет сомнения, что в центр его внимания встанут актуальные идейно-творческие вопросы, выдвинутые современным литературным процессом, повседневной критической практикой и, в частности, практикой нашей журнальной периодики. Свою долю в освещение ряда насущных творческих проблем внесли за последнее время и авторы «Нового мира». Они писали о необходимости для критиков подлинной социологической и философской вооруженности (Ю. Кузьменко), о критике как о науке, одном из разделов марксистско-ленинского литературоведения (А. Мясников), об испытании критических сил литературой о рабочем классе в век научно-технической революции (А. Янов) и тех конкретных проблемах, которые выдвигает перед литературоведческой теорией современная публицистика (В. Канторович); были напечатаны статьи «Судьбы деревни в прозе и критике» (Ф. Кузнецов) и «Литературная критика и современная повесть» (Л. Якименко); те или иные аспекты критического процесса затрагивались на страницах журнала в конкретном разговоре о новых книгах — сборниках «Единство», «Национальное и интернациональное в советской литературе», «Изображение человека», о критических работах, принадлежащих перу Ю. Барабаша, Г. Куницына, А. Макарова, Б. Мейлаха, В. Огнева, Л. Озерова, В. Панкова, Ю. Суровцева, Л. Теракопьяна и других.

На наш взгляд, представляют определенный интерес — в плане постановки вопроса как возможные темы для обсуждения — и публикуемые ниже работы Ф. Кузнецова и В. Ковского, первая из которых касается вопросов методологии, идейно-эстетической позиции в критике, другая — степени участия нашей критики в исследовании истории советской литературы.

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ



ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ: МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Полемические заметки

Сколько лет прошло, а до сих пор помню слова и вкрадчивость интонаций, с которыми отец Серафим, современный интеллигентный батюшка в кинофильме «Все остается людям», спрашивал обреченного на смерть академика Дронова (его играл Черкасов):

— Америку догонять собираетесь?.. Не сомневаюсь, перегоните! Плоть людскую ублажите... А с духом как же?.. Как сделаете, чтобы сын не предавал отца, а ученик не предавал учителя? Чтобы животный страх смерти не превращал человека в тру-

са поганого? Чтобы святое было за душой? Без бога как сделаете?..

Помню пронзительную тишину зала, ожидание, каким же — достойным ли, насколько убедительным — будет ответ.

Вопрос этот затрагивал для многих еще не осознанный в ту пору, но уже чрезвычайно важный нерв времени. И прозвучал в фильме с такой резкостью, возможно, еще и потому, что это ведь, собственно, не авторов фильма вопрос. Это вопрос Федора Михайловича Достоевского.

Помните? Ежели бога нет, значит, и рай

нет, а ежели рая нет, значит, и ада нет.. Значит — все дозволено!.. Взял топор и убил старуху.

Я намеренно огрубляю, сокращаю ход мысли Достоевского, дабы обнажить этот центральный, мучительный для него вопрос, проблему Ивана Карамазова, главный пункт обвинения им современных ему революционеров, социалистов и материалистов. Гигантский вопрос, который он адресовал себе, своему — а объективно и нашему! — времени. Вопрос, в силу которого Достоевский и выступает сегодня как наш могущественнейший оппонент. А впрочем, так ли уж точно — наш?..

Да, Достоевский развивался в непрекращающейся полемике с современными ему утопическими социалистами, революционерами и атеистами. Он был убежден, что вне идеи бога, бессмертия души нет ответа на вопрос о смысле жизни, о духовных и нравственных ценностях человека и общества, что безбожие равнозначно бездуховности и безнравственности. Это убеждение как раз и определяло его неприятие социализма.

Однако социализм Достоевский понимал довольно своеобразно.

— Я буду знать все открытия точных наук и через них приобрету бездну комфортных вещей,— размышляет один из героев его романа «Подросток»,— теперь сижу на драпе, а тогда все будем сидеть на бархате, ну и что же из этого?.. При всем этом комфорте и бархате для чего, собственно, жить?..

Аргумент, как видите, впрямую из нынешних споров о научно-технической революции и ее значении для человека и общества. Только по сути своей адресован он не обществу социализма, а так называемому обществу «потребления» — с буржуазным обществом, с его бездуховностью и бесчеловечностью в конечном счете и вел Достоевский свой мучительный спор.

А теперь это бездуховное общество вооружилось сомнениями и вопросами Достоевского, чтобы адресовать их не себе — нам. Как-то мне в руки попала книга, называющаяся «Решение проблемы жизни». Издана она в Брюсселе, в издательстве «Жизнь с богом», автор ее — иеромонах Леллот. На лакированном супере — Альпы, провода высокого напряжения, молодой человек с лыжами в ультрамодном костюме задумчиво смотрит вдаль — этакий христианский бестселлер, католический боевик.

Автор его предлагает читателю в ответ на вопрос, что такое духовные ценности, совершить одно простейшее арифметическое действие. Он предлагает перемножить среднее количество лет человеческой жизни на число дней в году. Скажем, 365 на 70 — получается 25 550, всего двадцать пять с половиной тысяч дней отпущено человеку в среднем для пребывания на этой земле. А если вычтешь отсюда время сна и ветхую старость, да неразумное младенчество, да годы, которые уже позади? Что останется?! Так зачем ты?! Зачем ты на этой земле? Вот вопрос, который ставит перед своим читателем иеромонах Леллот, и ставит так, что поневоле вздрагиваешь. И задумываешься.

Но когда дочитываешь книгу до конца — убеждаешься, что ответ ее плоский, как доска: смысл жизни человека и главная духовная ценность ее — в постижении бога. Атеизм, материализм, социализм безнравственны, потому что они будто бы снимают самую постановку вопроса о духовных ценностях. Сегодня это утверждение — пропись для всех, кто ведет идеологический спор с нами.

Юрий Бондарев рассказывал как-то об одной литературной дискуссии в Вене, где французский теоретик так называемого «нового романа» Ален Роб-Грийе заявил, будто современная советская литература сплошь занята проблемами сугубо утилитарными, как то: выполнение рабочими производственного плана, получение квартиры и т. д. К нему присоединился и другой французский писатель — Жан-Блок Мишель.

Голословные утверждения о бездуховности советской литературы столь далеки от истины, что заставляют вспомнить знаменитую побасенку о медведях, разгуливающих по улицам Москвы.

В действительности отличительной чертой советской литературы, особенно литературы последних лет, является как раз последовательный и пристальный интерес к проблемам развития и утверждения духовных ценностей, к тому, что именуется философией человеческой личности.

И если говорить в целом, то одной из характернейших черт современного литературного процесса является углубление нравственно-философских исканий советской литературы, все более острая и масштабная постановка вопроса о духовных и нравственных: ценностях человека и общества, все

более смелое вмешательство в кардинальный гуманистический спор эпохи. А это, безусловно, спор о человеке, о его ценностях, как они проявляют себя в нашу эпоху, эпоху научно-технической революции и воистину тектонических социальных сдвигов, небывало ускорившегося научного и социального прогресса. Лидер американских коммунистов товарищ Гэс Холл в своем приветствии XXIV съезду КПСС сказал об этом споре следующее: «Сейчас на чашу весов брошена вся качественная сторона жизни. Уровень материального достатка при этом играет очень важную роль, но масштабы измерения стали сейчас гораздо шире. Они включают весь спектр человеческих ценностей, их сравнительную значимость, которая определяется внутренними законами каждой системы. Они включают концепции морали, культуры и философии, присущие этим системам. Многие из этих новых компонентов, которые влияют на качественную сторону жизни, не измеришь никакими цифровыми показателями».

Концепция человека и его ценностей, утверждаемая советской литературой, вырабатываемая социализмом, качественно отлична, а во многом и полярно противоположна буржуазным толкованиям человеческой личности. Этого не могут отрицать и наши противники. Так, западногерманский социолог В. фон Кноринген говорит: «Той областью, где находится основное противоречие, которое нельзя разрешить и которое разъединяет оба мира, является сущность человека, его внутреннее существо. Здесь находится поле битвы, на котором должно быть принято решение о дальнейшем пути человека».

Я цитирую высказывания наших зарубежных друзей, а также противников и оппонентов для того, чтобы подчеркнуть, сколь ответственна та нравственно-философская проблематика, которая все в большей степени занимает сегодня умы наших прозаиков и критиков, становится центральной в ряде произведений.

За последние годы в нашей прозе, к примеру, появился и в самом деле ряд произведений, в которых на разном жизненном материале, с разной степенью убедительности и каждый раз по-своему, по-новому ставится на общественное обсуждение вопрос о значении для человека духовных и нравственных ценностей, об опасности для человека и для общества духовного и нравственного вакуума. Напомню об исканиях

последнего времени, которые ведет Ч. Айтматов в таких произведениях, как «Белый пароход» и (вместе с К. Мухамеджановым) «Восхождение на Фудзияму», — я подробно писал об этих произведениях в статье «Как человеку человеком быть» («Юность», 1973, № 5). Вспомним еще одну повесть последнего времени — «Сотников» Быкова, повесть, как всегда у Быкова, посвященную войне. Что отличает Сотникова от предателя Рыбака, почему один выстоял на ветру жесточайшего конечного жизненного испытания, а другой нет? А отличает одного от другого заряд внутренней одухотворенности, масштаб личности. Тот самый масштаб, который определяется нашими духовными, идейными, человеческими ценностями. Благодаря им и без бога животный страх смерти не превращает человека в труса поганого, — Великая Отечественная война дала отцу Серафиму достойный ответ.

В этом же общем ряду стоят, на мой взгляд, и «Большая руда» и роман «Три минуты молчания» Г. Владимова, и повести «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание» Ю. Трифонова; «Апостольская командировка» В. Тендрякова, «Последний срок» В. Распутина и, да не покажется это утверждение странным, даже такие произведения последнего времени, как «Южно-американский вариант» С. Залыгина, «Сладкая женщина» И. Велембовской, «Пустошь» С. Крутилина (о них я подробно писал в статье «Человек «естественный» и общественный» в журнале «Литературное обозрение», 1973, № 6), где исследуется все тот же бездуховный срез жизни интеллигентного, или полунинтеллигентного, или вовсе неинтеллигентного мещанина, что и в повестях Ю. Трифонова.

Я потому упоминаю собственные статьи, что в данном случае для меня важна общая постановка вопроса, а в тех случаях, когда есть возможность опереться на лучше или хуже, но уже осуществленный подробный анализ произведений, отсылаю читателя к нему. Уже простое перечисление ряда произведений последнего времени свидетельствует о напряженности интереса текущей нашей словесности к тому, что философы называют духовными и нравственными ценностями. При этом я брал намеренно лишь книги, содержащие постановку вопроса, а не ответ (исключение составляет в известном смысле «Сотников»). Решение же этого круга вопросов, утверждение духовных и нравственных ценностей социализ-

ма позитивно осуществляет, по существу, вся современная советская литература в целом — скажем, историко-революционная, «военная» проза или проза о нашем современнике. Но это уже тема особого разговора. Сегодня трудно назвать и даже представить произведение, если оно принадлежит подлинной литературе, свободное от этой кардинальной для нашего времени заботы.

Углубленное внимание советской литературы к проблеме духовных и нравственных ценностей — своего рода примета времени, причем глубоко знаменательная. Она выражает глубинные закономерности развития социалистического общества. XXIV съезд КПСС со всей очевидностью засвидетельствовал, что время в его поступательном движении к коммунистическому будущему в качестве коренной проблемы сегодняшнего и завтрашнего дня ставит именно проблему человека и его ценностей. Дialeктика жизни такова, что чем полнее и эффективнее будет решаться в нашем обществе вопрос о хлебе насущном, тем острее будет вставать перед людьми весь непростой комплекс вопросов, связанных с хлебом духовным. Литература наша чутко откликается на эту общественную потребность.

Ответственная задача критики, подчеркнутая и в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», — осмысливать новые процессы в жизни и литературе во всем их масштабе и значении, служить своего рода самосознанием литературы на ее неизведанном, трудном пути. «Долг критики, — говорится в постановлении, — глубоко анализировать явления, тенденции и закономерности современного художественного процесса, всемерно содействовать укреплению ленинских принципов партийности и народности, бороться за высокий идейно-эстетический уровень советского искусства, последовательно выступать против буржуазной идеологии. Литературно-художественная критика призвана способствовать расширению идейного кругозора художника и совершенствованию его мастерства». Все это выполнимо при условии точности методологии и тонкости литературно-критического инструментария, знания предмета и ясности исходных позиций, постижения того, что литературная критика сегодня, как и в прошлом, является не только «движущейся эстетикой» (Белинский), но одновременно и социологией и философией.

Постановление ЦК КПСС как раз и помогает нашей критике в движении к новому,

современному уровню ее эстетического и социального мышления. Судя по многим работам последнего времени, это движение реально и ощутимо. Однако в наших полемических заметках речь пойдет не о том, что уже сделано, сколько о том, что не сделано. Дальнейшее движение нашей критики к современному социальному мышлению по-прежнему возможно только в споре, дискуссии, преодолении различного рода асоциальной эклектики, мешающей глубокому и точному научному анализу коренных тенденций и закономерностей современного художественного процесса.

Реальный Человек и «импрессионизм» в критике

Нельзя сказать, что литературная критика прошла мимо этого знаменания времени — резкого повышения внимания как писателей, так и читателей к духовным, нравственным началам нашей жизни. Напротив, она в значительной степени способствовала пробуждению этого интереса, шла вровень, а порой и опережала литературу в постановке этого круга проблем. И когда критик В. Воронов в статье «Заклинания духов», споря с некоторыми тенденциями в «деревенской» прозе и критике, ненароком чуть не вышлеснул вместе с водой и ребенка, в какой-то мере поставив под сомнение правомочность критики обсуждать сами духовные проблемы, волновавшие как читателей, так и литературу, статья его в этом отношении встретила самые решительные возражения.

Последнее десятилетие в нашей критике проблема личности и ее духовных и нравственных ценностей была, пожалуй, в центре внимания, в эпицентре литературно-критических дискуссий и споров. Ведь, в конечном счете, и споры о народном и национальном, и споры вокруг «деревенской» прозы и патриархальной деревни, вокруг «истоков» и «интеллектуализма» были именно об этом. Перечитайте статью «Неизбежность» В. Чалмаева или статью «Просвещенное мещанство» М. Лобанова, публиковавшиеся в свое время в «Молодой гвардии», — и вы убедитесь, что, помимо внешнего хода рассуждений, их авторы в качестве сверхзадачи стремились поставить на обсуждение и предложить свои, правда во многом ложные, на наш взгляд, решения все той же проблемы духовных ценностей.

Более того: слова, производные от корня «дух» («духовность», «бездуховность» и т. д.), в нашей критике за последние годы стали модой. Сегодня уже трудно встретить литературно-критическую статью, где бы не фигурировали эти понятия, где бы не мелькали эти новомодные слова. Слова, в которые различными критиками подчас вкладывается самое разное, иногда — довольно неожиданное содержание. Нигде не рождалось в последнее время у нас такого количества мифологем, как в литературно-критической трактовке проблемы личности и ее духовных и нравственных ценностей. И нельзя закрывать глаза на то, что поиск ответа на этот напряженнейший вопрос эпохи идет в нашей литературе — прозе, поэзии и особенно в критике — в разных, не всегда результативных направлениях. Этот поиск идет, как я уже говорил, динамично, напряженно, и литература наша вносит немалый вклад в позитивное решение проблемы духовных ценностей, дает критике немалую пищу для размышлений. Современная критика много сделала для верного и глубокого осмысления и утверждения нашей литературой социалистических духовных ценностей. Однако осмысляя эту проблематику, иные литераторы обращались подчас и к ретроспективным решениям, искали духовные ценности времени там, где их, по существу, нет.

Последние годы в нашей периодике, как известно, шел самый серьезный спор с внеисторическими, внесоциальными иллюзиями в отношении прошлого, когда в качестве истока духовных ценностей современного социалистического общества утверждалось, скажем, патриархальное крестьянство, а также абстрактно понимаемый «национальный дух».

С различного рода эклектикой мы встречаемся в статьях, посвященных не только прошлому, но и настоящему. И, в частности, в выступлениях некоторых критиков, активно осуждающих проблему личности и ее ценностей. С интересом и вниманием я читаю, к примеру, статьи Льва Аннинского, критика талантливого, яркого, ищущего, остро ощущающего современность и значительность проблематики, так или иначе связанной с философией человека, человеческой личности. И вместе с тем у меня давно зрела внутренняя необходимость товарищеского спора с ним, спора, который поможет, надеюсь, проникнуть сквозь фиоритурные его своеобразного литературно-критического

стиля в существо предлагаемых им решений некоторых проблем.

Замечу, что в постановке этого круга современных проблем расхождений у нас с Л. Аннинским нет. «Поиски духовности» — в этом Л. Аннинский видит главное направление развития современного искусства и литературы. «Мы идем к осознанию этих (нравственных.—Ф. К.) норм,— утверждает он,— к субъективному пониманию их смысла, к системе моральных категорий, прямо выявляющих духовный смысл человеческого существования».

Но что, собственно, считать «духовным смыслом человеческого существования»?

Обратимся к статье Л. Аннинского «Номинал и обеспечение» (сборник «Жить страстями и идеями времени», издательство «Молодая гвардия»). Статья эта направлена против И. Виноградова. Но это на первый взгляд. Хотел того Л. Аннинский или нет, но его оппонентами оказываются здесь все те, кто, лучше или хуже, сегодня пытается продолжать традиции «реальной критики». Ибо Л. Аннинский, по его собственному свидетельству, ведет спор с той тенденцией в современной критике, за которой (цитирую) — «осознанное следование определенной этической традиции русской литературы. Еще больше — это развитие определенной философской концепции». Что это за традиция, что за концепция, спросите вы. «Вековая традиция российского разночинского восхождения», — дабы не было недомолвок, тут же отвечает на этот возможный вопрос Л. Аннинский.

Почему же ему так не нравятся «этическая традиция» и «философская концепция», связанные с «вековой традицией российского разночинского восхождения», с традициями «реальной критики»? Быть может, потому, что демократы не вышли в своих работах в подходе к человеку за пределы революционного просветительства? В таком случае спора у нас с Л. Аннинским не было бы.

Однако достаточно внимательно прочитать статью «Номинал и обеспечение» и поставить ее в контекст других выступлений критика, чтобы стало очевидным, что существо спора в другом.

Полемический пафос статьи «Номинал и обеспечение» направлен против, как пишет Л. Аннинский, «Реального Человека» в критике, прежде всего — в работах И. Виноградова. Однако, как известно, «реаль-

ный» взгляд на человека характерен отнюдь не для одного И. Виноградова. Л. Аннинского не устраивает в первую очередь то обстоятельство, что концепция Реального Человека проходит будто бы мимо «просветления души», выявления «смысла бытия» — эти слова для Реального Человека «или случайны, или вовсе отсутствуют», — что из души Реального Человека «выпало милосердие, ушло сострадание, исчезло сочувствие. Остался лишь четкий вектор, от которого все остальные люди отсчитываются как обстоятельства». Таков Реальный Человек — социологическая схема, лишенная души, чувств, духовных и нравственных начал. Точнее, таким он мнится Л. Аннинскому. Зрелище не из приятных, не правда ли?

Приведя слова И. Виноградова: «Свобода человеческого выбора — это отнюдь еще не свобода выбора между «добром» и «злом»...», Л. Аннинский комментирует их следующим образом: «Увы, в сознании Реального Человека это, к сожалению, так. Нет ни добра, ни зла (!) — это все «мыльные пузыри», идеальничанье. Есть только борьба за... за... за свободу от того, что мешает». Исходя из бесспорной историко-материалистической предпосылки И. Виноградова, Л. Аннинский приходит к тому импрессионистскому выводу, будто для Реального Человека не существует ни добра, ни зла, иными словами, что он не только бездуховен, но и наделен полным нравственным релятивизмом и нигилизмом.

«Чувствует ли Реальный Человек этот вакуум? — спрашивает Л. Аннинский. — Еще как!.. Отсюда — навязчивая идея: заполнить вакуум. Ощупать этот самый «идеал» руками... Реальный Человек, как и всякий человек, ощущает в своем духовном составе предрасположение и к идеальному чувствованию. Но эту сферу он заполняет земными обстоятельствами, то есть теми самыми обстоятельствами, с которыми он так яростно боролся во имя... свободы от них. Только теперь эти препятствия преодолены, эти обстоятельства переорганизованы, эта земная материя перелопачена. Теперь эта материя уже доверху заполняет купол сознания личности».

Итак, Реальный Человек, по убеждению Л. Аннинского, бездуховен, потому что в своем стремлении к идеальному чувствованию» заполняет свой внутренний духовный вакуум не тем, чем нужно. Не высшими, но «земными обстоятельствами», связанными с

«яростной борьбой» против «земных» же (социальных? Каких же еще?) «обстоятельств», с «переорганизацией» этих обстоятельств, с «перелопачиванием» «земной материи». Эти-то «земные» заботы, то есть «материя», а не «дух», и заполняют доверху «купол сознания» Реального Человека. В них он видит «положительный идеал», «практическую пользу», которая в мироощущении Реального Человека и есть предел мечтаний...

Однако такое — «земное», «материальное» — заполнение духовного вакуума, по убеждению Л. Аннинского, бесперспективно. Это сказывается и на всей внутренней структуре, равно как и на образе деятельности Реального Человека. «Поскольку идеал Реального Человека состоит из той же осязаемой материи, что и сокрушаемые им препятствия, то вся деятельность его, все его осуществление себя как личности состоит, так сказать, в непрерывном перераспределении материи. Отсюда — пафос организации и переорганизации как пути к цели». Пафос, с точки зрения духовных ценностей личности, на взгляд Л. Аннинского, бессмысленный.

Но едва ли захочется критику стать в позу «небожителя», иронически поглядывающего на ту «суету», именуемую «яростной борьбой», но оказывающуюся на поверку «пустыми хлопотами», которую ведут эти чудаки, «реальные люди», во имя изменения «земных обстоятельств», ради справедливой «переорганизации» «материи». Позиция, за которой на самом-то деле глубочайшее равнодушие к этой борьбе, принципиальное нежелание брать на себя какую бы то ни было социальную, гражданскую ответственность. Но ведь еще Ленин писал, что «равнодушие к борьбе отнюдь не является... отстранением от борьбы, воздержанием от нее или нейтралитетом». Равнодушие есть молчаливая поддержка зла в жизни.

Так обстоит дело с точки зрения гражданской. С точки же зрения философской раздражение по поводу «организации и переорганизации как пути к цели» объективно оборачивается неприятием самого принципа детерминированного нравственного сознания. «Человек... выступает не столько как носитель духовного начала, сколько как элемент совершенствуемой структуры. Не человека надо преобразовать — надо поправлять структуру, — иронически замечает Л. Аннинский. — „Друзья мои, да вы не так

сидите"!». Из этой иронии следует, что все должно быть наоборот: «Человека надо преобразовать», а не «поправлять структуру»!

Но в основе любой материалистической концепции нравственности лежит мысль о том, что невозможно преобразить человека, не видоизменив социальной структуры общества. По Л. Аннинскому же с его импрессионизмом, объективно получается, что структуры общества несущественны для совершенствования духовных начал личности.

Не принимая «идеала» и «образа деятельности» Реального Человека, Л. Аннинский не может принять и «существа его самосознания». «В духовном составе Реального Человека убеждение есть осевая линия». Л. Аннинский не может с этим согласиться, — для него «убеждение» не составляет подлинно человеческой ценности. Почему? Да потому, что оно — «рационально», то есть идет от ума, знания. А в результате, делает вывод Л. Аннинский, «нравственность, как рациональное убеждение, венчает Реального Человека, выводя его к рациональной системе мироздания».

Все это не очень приятно Льву Аннинскому.

Какие любимые слова Реального Человека? — задается он вопросом и сам же отвечает: «Вокруг себя — трезвость; в книге — исследование; в характере — убеждение. А в истории? В истории главное — служение».

В итоге история оборачивается для Реального Человека «Молохом. Всесжигающим Молохом, который мостит себе дорогу поколениями людей. И единственный для личности путь в истории — отдаться ей, вымостить собой кусочек дороги».

Служение народу, обществу, убеждениям — в этом, как известно, черпала русская демократическая интеллигенция ту высочайшую одухотворенность и осмысленность бытия, которые определяли и ее систему нравственности. По Л. Аннинскому выходит, что такого рода одухотворенность — не одухотворенность, такая нравственность — не нравственность, он видит в этом лишь возможность «вымостить собой кусочек дороги». Препарировав столь прихотливо Реального Человека, он представляет его, с одной стороны, узким рационалистом, а с другой... плотским аморалистом, чьи внутренние порывы будто бы не поднимаются выше удовлетворения «природной здоровой чувственности», а его «моральное сознание остается на уровне здоровых человеческих потребностей».

И вот тут-то, напрочь отказав социальным идеалам Реального Человека в одухотворенности, Л. Аннинский ставит центральный вопрос своей статьи:

«А как же весь сверкающий купол нравственных убеждений и моральных категорий? Как же высшие истины?.. Выйти к той морали, которая выше, светлей и прекрасней самого «естества», такое здоровое существо не может, — в нем нет того органа, которым можно услышать зов этой высочайшей морали. И тогда наше полнокровное и здоровое существо возносится ввысь (!) с помощью чистого интеллекта. Потому и нужна Реальному Человеку система умозрительных ценностей, потому и вооружает он себя моралью, как проблемой и нормой (или анти-нормой — то же самое), что само по себе его сознание остается на уровне психофизическом. Человек, замкнувшийся на себя, на свой практически-земной контур, — вот что такое Реальный Человек и вот все его благо» (разрядка моя. — Ф. К.).

Как видите, Л. Аннинский мыслит человека лишь в двух уровнях: на уровне «естества», то есть уровне «психофизическом», иначе говоря — биологическом (этот уровень он и презентует Реальному Человеку), или же на уровне «высших истин» той высочайшей морали, которая «выше, светлей и прекрасней» «естества», — сверкающий купол этой внеземной «духовности» он оставляет себе, а также счастливым, обладающим «органом», которым можно услышать «зов этой высочайшей морали». «Зов» этот иррационален: к нему нельзя вознестись ни с помощью интеллектуализма, ни с помощью рационализма.

Итак — биология, «естество» в его «практически-земном контуре» и «духовность», с помощью которой человек «возносится вверх», — в этом состоит, по Аннинскому, антиномия человека. Когда отнимается «духовность», понимаемая как «зов высочайшей морали», тогда остается одно естество, «психофизический уровень», биологический, природный Реальный Человек.

Ограниченность такого понимания человека очевидна: разрывая человека на существо природно-биологическое и существо «духовное», толкуя при этом «духовность» ирреально, иррационально, воззрение это игнорировало самое главное, то, что и сделало человека человеком, а именно: человек — прежде всего существо социальное, общест-

венное. А между тем именно это качество очеловечило человека, определило его человеческую сущность, обусловило его духовность и нравственность.

Все встало на свои места. И прежде всего неприятие «рационализма», «интеллекта», «умозрительных ценностей» в этом мире, свойственное, как известно, не одному только Л. Аннинскому. Впрочем, он это знает: «Можно сколько угодно иронизировать над некоторыми критиками, ополчающимися на городской асфальт, и над их культур-философскими построениями. Но положи руку на сердце — ведь неспроста все это движение к «духу», к «духовности», к «духовному миру». Да, крайность и рождает крайность. Но сразу скажу, во всем том, что касается реакции нашей литературной мысли на Реального Человека и на его громохочущую логику, — я с теми, кто от нее шархнулся. Тяга к идеальному, к целостно-духовному, к возвышенно-мечтательному — великая тяга, именно она может сейчас приблизить нас к личностному сознанию... если... Но это уже тема особого разговора», — завершает Л. Аннинский свою статью.

«Особого разговора» не последовало, его многозначительное «если» так и осталось непроявленным. И тем не менее оно понятно.

«Личность», «личностное сознание» — любимые слова Л. Аннинского. «Теперь из любой конкретной литературной оценки («хорошо написал», «плохо написал» — в старые добрые времена все было ясно) критики сразу восходят к всеобщим проблемам. Номинал известен: «личность», — с мягкой иронией пишет он в статье «Номинал и обеспечение». — Это теперь лозунг и пароль; теперь все знают, какое слово надо сказать в первую очередь, чтобы тебя стали слушать: надо сказать: «расцвет личности»...»

Но что это такое — «личность» и ее расцвет в представлении Л. Аннинского?

Реальный Человек стремится осуществить себя как «личность» в «непрерывном перераспределении материи». Но на основе земных обстоятельств, не выходя из «практически-земного контура» к «морали, которая выше, светлей и прекрасней самого «естества», человек «личностью», по мысли Л. Аннинского, никогда не станет. Только тот, кто в силах ощутить «великую тягу» к «целостно-духовному, к возвышенно-мечтательному», в ком есть «тот орган, которым можно услышать зов этой высочайшей мо-

рали», «вознестись ввысь», к «высшим истинам», к «сверкающему куполу» нравственного самосознания, только то «существо», которое способно ощутить себя «незаконченным, бесконечным и, так сказать, разомкнутым», приблизиться к «личностному сознанию», станет в представлении Л. Аннинского «личностью».

Как это мне ни трудно, но я воздерживаюсь от филиппик по поводу такого рода терминологии Л. Аннинского и, дабы избежать обвинений в наклеивании ярлыков, ухожу от каких бы то ни было квалификаций. Я только цитирую, только реферирую его статью — с минимумом комментариев. Но у читателя, в особенности у философски грамотного, может возникнуть естественный вопрос: а какое же реальное (пусть Л. Аннинский и не любит этого слова) содержание вкладывает критик в такие слова, как «сверкающий купол нравственных убеждений», «мораль, которая выше, светлей и прекрасней самого «естества», «орган, которым можно услышать зов этой высочайшей морали», «высшие истины» и т. д.? Боюсь, что и сам Л. Аннинский не ответит на этот вопрос. Да если исходить из концепций Л. Аннинского, такого рационального, то есть выраженного в мысли и слове, ответа на этот вопрос и не должно быть.

Постижение «высших истин» духовности и морали, по Л. Аннинскому, возможно, по-видимому, лишь качественно иным, иррациональным, интуитивистским путем. В противном же случае и возникает Реальный Человек, «слепое существо, смирившееся с естественными пределами своих представлений». «А внутри-то, внутри — пустыня! Господи, да ведь на стену кинешься от этой уверенной слепоты, от этой самодовольной бездуховности!» Так почему-то несколько нервно завершает Л. Аннинский свою статью, свой спор с «определенной этической традицией русской литературы», «определенной философской концепцией» — традицией «реальной критики» и концепцией Реального Человека, и сегодня имеющих, с горечью замечает он, «и свои традиции, и свои сложившиеся права, и симпатии сторонников».

От постулатов — к анализу

А теперь посмотрим, как эта довольно цельная при всем своем эклектизме «теория» прилагается Л. Аннинским к практике конкретного литературно-критического анализа. Здесь самое время вспомнить о двух

критических статьях Л. Аннинского, посвященных как раз таким явлениям в литературе, где вопрос об опасности духовного вакуума и о духовных ценностях человеческой личности ставился с особенной остротой. Я имею в виду его статью «Неокончателльные итоги» (журнал «Дон», 1972, № 5), посвященную разбору повестей Ю. Трифонова «Обмен», «Долгое прощание», «Предварительные итоги», и статью «Соль воды» («Юность», 1970, № 6), посвященную в значительной степени повести «Большая руда» и роману «Три минуты молчания» Г. Владимова.

О повестях Ю. Трифонова уже много писали в критике, поэтому нет нужды возвращаться к их подробному анализу. Скажу только, что героев своих — Дмитриева, Геннадия Сергеевича, Гришу Реброва, «олукьяншихся», то есть омецанившихся, Юрий Трифонов, автор романа «Нетерпение» (о Желябове) и документального очерка «Отблеск костра» (посвященного его отцу, профессиональному революционеру), пытается судить, опираясь в первую очередь на идеалы русской «революционно-социалистической интеллигенции» (термин ленинский), но, к сожалению, делает это не всегда последовательно.

Зададимся вопросом: каким нравственным началам была верна мать Дмитриева, Ксения Федоровна, которую предал герой повести «Обмен», совершив духовный обмен с мещанами Лукьяновыми? Что в реальности стоит за этим характером?

В первую очередь тем духовным и этическим традициям нашего общества, которые связаны с разночинной, демократической русской интеллигенцией прошлого, — наиболее цельное воплощение этой традиции в повести, конечно же, дед Дмитриева, Федор Николаевич.

Заметим, что не только в повести «Обмен», но и в других повестях Ю. Трифонова так или иначе слышны отзвуки традиций демократической интеллигенции давнего прошлого. Вот родословная Гриши из повести «Долгое прощание»: «Одна его бабушка из ссыльных полячек... прадед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь...» Сам Гриша все свободное время отдает историческим изысканиям о шестидесятнике Прыжове...

Характер Федора Николаевича, при всей его эскизности, чрезвычайно значителен для Ю. Трифонова. Да и для читателей также. Этот характер помогает нам осмыслить

нравственную концепцию автора, как скажет в своей статье Л. Аннинский, «духовный смысл отпечатавшейся в трифоновских повестях драмы».

Смысл этот коренится именно в образе Федора Николаевича, который и является собой доподлинного русского интеллигента, воплощавшего в себе одухотворенность традиций русского освободительного движения, нравственным уровнем которого Федор Николаевич мерит окружающий его лукьяновский и дмитриевский мир. Вне всякого сомнения, писатель разделяет здесь то традиционное понимание слова «интеллигент», которое было обусловлено русским освободительным движением эпохи 60—70-х годов XIX века, проповедью Чернышевского и Герцена, Добролюбова и Писарева.

Как известно, само понятие «интеллигенция» возникло в России и вошло в английские, французские словари как калька с русского. Не образовательный ценз и не мера интеллектуальности — свойства необходимые, но недостаточные — определяли сущность тою социального явления, которое называлось в ту пору российской демократической интеллигенцией. Главным здесь были качества нравственные, качества духовности, одухотворенности, проистекающие из чувства кровной сопричастности личности с жизнью и судьбой народа, из чувства личной ответственности, личного долга перед народом, подвижнического служения ему.

Образование, наука, знание в глазах лучших представителей разночинной интеллигенции, самоотверженным трудом приобретшихся к этим плодам цивилизации, были не самоцелью, но условием гражданского нравственного развития личности, не средством корысти и эгоизма, не отмычкой для добывания материальных благ, но возможностью сторицей вернуть долг народу.

Федор Николаевич, бесспорно, сохранил верность высокому, подлинному смыслу понятия интеллигент, тому самому, в основе которого лежали борьба с феодально-крепостническим строем и формировавшаяся в этой борьбе демократическая нравственность, полагавшая главной целью человеческого бытия служение народу.

Вспомним в этой связи другую повесть Ю. Трифонова — «Предварительные итоги» и образ Гартвига, спор с Гартвигом в ней. Сам Гартвиг в известном смысле — идейный антитепа Федора Николаевича, его современный идейный противник. Он молится на тех самых русских философов-идеалистов, ко-

торые и составили ядро «Вех», которые были последовательными и яростными врагами того мирозерцания, которому был верен Федор Николаевич. Герой «Предварительных итогов» Геннадий Сергеевич в раздражении называет даже этот предмет увлечения Гартвига и своей жены крайне неуважительно — «белибердяевы», что, конечно же, аргументом в споре служить не может. Да и спор этот сам по себе в глубину не идет, он существует лишь как резкое выражение неприятия Ю. Трифоновым современных спекуляций на этом чуждом ему направлении идей.

Повести его — о растрате Дмитриевым, Геннадием Сергеевичем, Гришей Ребровым из «Долгого прощания» духовных и нравственных традиций подлинной русской интеллигенции. Об утрате ими идейной, гражданской, социально активной позиции в жизни и как следствие этого — неизбежном их «олукьянивании».

К сожалению, авторская позиция в этих повестях, особенно в двух последних, недостаточно последовательна. Непоследовательность ее, на мой взгляд, состоит прежде всего и главным образом в слабости положительной программы автора.

Что касается прошлого, тут все ясно. Но как справедливо говорит в повести «Обмен» Федор Николаевич, «нет глупее, как искать идеалы в прошлом». Следовательно, искать их надо в настоящем, естественно, не обрывая духовных и нравственных традиций прошлого. Что же противостоит реально «олукьяниванию» в современной нам действительности, в чем видит автор сегодняшнее позитивное решение проблемы человеческих ценностей? Откуда растет это решение, если иметь в виду не прошлое, а настоящее, современную действительность?

Ответа на эти вопросы мы не находим в повестях Ю. Трифонова, вопросы эти, по сути дела, даже не поставлены.

Л. Аннинский одним из первых подметил эту непроясненность, непоследовательность в позиции Ю. Трифонова и своеобразно на них откликнулся. «Можно сказать,— писал Л. Аннинский,— что, ополчаясь на Трифонова, я беру в союзники его же самого. Или что я за него «борюсь». Как угодно».

В чем смысл «борьбы» Л. Аннинского за Ю. Трифонова?

Проанализировав повести, критик в согласии с истиной приходит к выводу, что в своей «нравственной концепции», прежде всего концепции «мещанства» и духовных

ценностей, Ю Трифонов исходит из демократических традиций русской литературы. «Такая концепция мещанства...— замечает Л. Аннинский,— восходит, наверное, к Глебу Успенскому, а непосредственно — к Горькому, к его окурковскому циклу, к «свинцовым мерзостям» жизни, делающим из человека животное...»

Помимо мещанства бытового, тяжеловесного, свинцово-мерзостного («лукияновского» — добавим мы от себя), в горьковской традиции, пишет Л. Аннинский, есть еще и другой тип мещанства, Горьким активно исследованный, именно тот, который назывался в его эпоху так: «размагнитный интеллигент». Символ его — Клим Самгин. Рассуждал он в горьковские времена следующим образом:

«Ни в одном пункте своих убеждений я не раскаялся и не изменил им. Я только размагнитился, иначе сказать — настроение потерял...»

«Можно подумать, что это говорит Дмитриев», — замечает Л. Аннинский, и замечает справедливо.

«В этих словах немало правды, но... еще больше лжи,— цитирует он далее Горького... — В благотворность и силу своих старых убеждений он — не верит, ибо верить — значит и жить по вере твоей. Но в них он не раскаялся, это верно. Они, убеждения, при нем — только спрятались подальше. По праздникам, в кругу друзей, он вытаскивает их и надевает на себя... как праздничное платье».

«Вот такое же ощущение от «чистеньких» героев Трифонова, которыми он побивает низких мещан...» — комментирует Л. Аннинский. Под «чистенькими» он, оказывается, понимает не одного Дмитриева, но — Дмитриевых, не только сына, но и мать, которую в самгинщине никак не обвинишь, не делая между ними различия, снимая самую авторскую постановку вопроса об «обмене», моральном обмене, который совершил Дмитриев, предав ради Лукьяновых духовные традиции семьи Дмитриевых. Всей своей статьей Л. Аннинский пытается убедить читателя, что мать и сын — одного поля ягода и общая суть их в том, что они будто бы «не верят, но и не отрекаются... убеждены же в своих верованиях — то ли потому, что и впрямь иначе не могут, то ли ради того, чтобы иметь возможность других презирать».

«Других» — это значит Лукьяновых. Очень уж хочется Л. Аннинскому почему-то при-

низить Дмитриевых за счет Лукьяновых. Раздражают его Дмитриевы, причем не сын, но именно мать, пожалуй, больше, чем Лукьяновы. Любопытный нюанс: если вчитаться в критику Горьким «размагниченного интеллигента», нетрудно уловить, что он не принимает в нем отступничества от своих убеждений, того именно, что «в благотворность и силу своих старых убеждений он — не верит, ибо верить — значит и жить по вере твоей». Л. Аннинского же раздражает в Дмитриевых (не в сыне, а в матери) прежде всего то, что они «не отрекаются», «убеждены же в своих верованиях — то ли потому, что и впрямь иначе не могут, то ли ради того, чтобы иметь возможность других презирать». И мнится Л. Аннинскому — «не отрекаются» именно для того, чтобы «других презирать». Лукьяновы — те презирать никого не будут, потому что у них «убеждение» одно: «кормимся...».

Главное несогласие Л. Аннинского с Ю. Трифоновым именно в том, что его положительные герои «не отрекаются», «убеждены» в своих верованиях, которые и определяли когда-то лицо русской демократической интеллигенции, в характере отношения к этим верованиям. «...Тут главное мое несогласие с Ю. Трифоновым, — подчеркивает критик, — невозможно решить проблему современной интеллигенции с помощью концепций, выработанных в эпоху Нечаева и Клеточникова, когда, с одной стороны, копилась презрение и гнев непризнанных героев, а с другой — тупая и черная ненависть «непросвещенной массы» Колупаевых с Разуаевыми, подлиповцев с окуривцами, мещан с Растеряевой улицы и прочих, как сказал бы Геннадий Сергеевич, «обалдуев»... Нынешний интеллигент, представший нашей литературе сегодня, век спустя после того, как Нечаев убил презренного Иванова, а Прыжов пошел отбывать каторгу, а Клеточников — служить в Третье отделение, — нынешний интеллигент во всяком случае достоин принципиально нового подхода, и мораль его — какая угодно, только не «интеллигентская»...»

Нет спору, невозможно решать проблемы сегодняшнего дня, исходя только из прошлого. Но для решения их важен тот или иной характер отношения к этому прошлому!

Л. Аннинский, конечно, прекрасно знает это.

«Не секрет, — объясняет он Ю. Трифонову и читателю, — что русские идеалисты

конца XIX — начала XX века имеют сейчас большой спрос на западном рынке идей. Не секрет, что на этой почве развернулась сейчас идейная борьба...»

Почему же Л. Аннинский так обиделся на Трифонова, который вложил в уста одного из своих героев, Геннадия Сергеевича, язвительный термин «белибердаевы»? Ведь ясно же, что ирония эта адресована не только и не столько самим «идеалистам», сколько тем, кто в современной литературной и околосредовой среде кокетничает с «бердаевщиной», не понимая реального общественного значения и современного «функционирования» этого идейного течения. Ирония Ю. Трифонова адресована в первую очередь Гартвигу, этому воплощению современного супермещанства.

Л. Аннинский же в ответ пусть и на грубоватую, но шутку (смех, как известно, иногда бывает лучшим оружием!) расставляет целую систему защиты, причем делает это всерьез. Приведем трогательную заметку В. В. Розанова из «Опавших листьев» по поводу смерти жены, которую, как известно, тот очень любил, Л. Аннинский пишет: «...Русские идеалисты много критиковали семью со своих идеалистических позиций, но что до конкретных человеческих отношений с «близкими» — то тут-то они как раз стояли на самых добродетельных позициях и куда больше сентиментальничали, чем, скажем, теоретики «свободного эроса», книжки которых в начале 20-х годов, наверное, зачитывались дмитриевские родители, люди в пенсне и с бородаками...»

Тут, наверное, Геннадий Сергеевич остановит меня, — продолжает Аннинский, — и скажет, что и он подберет мне любые цитаты из любого автора, а эти частности ничего не доказывают.

Верно! Не доказывают! Но тогда зачем же вы начинаете это пустое фехтование? Зачем стремитесь уличить противников во вздор, никак не интересуясь существом их учений?..»

Из этой цитаты критика явствует, что уж он-то, во всяком случае, «существом» учений русских идеалистов интересовался — даже В. В. Розанова читал — и не объединит через запятую, как трифоновский герой, таких несовместимых, на взгляд Аннинского, философов, как «жесткий государственный и византист, каким был Леонтьев, и Бердаев с его принципиальной «антижесткостью», склонностью к анархизму, левизне и декадансу». Этими достаточно субъективны-

ми наблюдениями и ограничивается «серьезная» критика русского идеализма конца XIX — начала XX века в статье Л. Аннинского. Не кажется ли вам, что для человека, интересовавшегося «существом» учений Леонтьева и Бердяева, приведенная только что характеристика этих мыслителей, мягко говоря, неполная? Что она не содержит и тени принципиальной оценки взглядов и позиций этих, равно как и других, философов-идеалистов конца XIX — начала XX века с точки зрения той самой «идейной борьбы», которая шла в прошлом и которая продолжается и сейчас, о чем справедливо заметил сам же Л. Аннинский?

Ведь если уж Л. Аннинский знает о различии между Леонтьевым и Бердяевым (хотя различие это, конечно же, видовое, а не родовое), он не может не знать, к примеру, того значения, которое вкладывал русский идеализм конца XIX — начала XX века в термин «интеллигентская» мораль, «интеллигентское» сознание. (Напомним, что именно так определяла мирозерцание и нравственность русской демократии вся консервативная печать конца прошлого — начала нынешнего века.) Не может он не знать и того, что излюбленным и нечестным способом борьбы русского идеализма и реакции с революционно-демократическим наследием была спекуляция на Нечаеве и терроризме народовольцев.

Л. Аннинский требует от Геннадия Сергеевича, падающего на «белибердяевых», более высокого «уровня полемики», он радуется тому, что «у нас появились наконец серьезные работы, фундаментально полемизирующие с концепциями русских идеалистов». Это и в самом деле хорошо!

На каком же уровне спорит с «интеллигентской» моралью Л. Аннинский? Рассчитывая, по-видимому, на читателя, не искушенного в тонкостях и деталях освободительной борьбы 70—80-х годов, он не раз упоминает в своей статье «героического нечаевца» Прыжова, а также «террориста Клеточникова», объединяя их за одни скобки с Нечаевым. Прыжова и Клеточникова, их историю, их судьбу мало кто знает, а вот что такое «нечаевщина», да еще в сопряжении с «терроризмом», знают все. И стоит только сказать, как это делает Л. Аннинский, что концепции «интеллигентской» морали выработаны «в эпоху Нечаева и Клеточникова, когда, с одной стороны, копилась презрение и гнев непризнанных героев, а с другой — тупая

и черная ненависть «непросвещенной массы» Колупаевых с Разуваевыми, подлипцев с окуривцами», чтобы для широкого читателя стал очевиден ее полный аморализм.

Л. Аннинский отождествляет Прыжова с Нечаевым, подверстывая к ним и «террориста Клеточникова», пошедшего вдобавок «служить в Третье отделение» (без комментариев это выглядит вовсе уже злощастно!). Они-то и оказываются у него символическими фигурами, которые и воплощают будто бы концепцию «интеллигентской», как он пишет, морали, морали «эпохи Нечаева и Клеточникова», сконцентрированной в себе «презрение и гнев непризнанных героев».

Но можно ли ставить в один ряд Нечаева, Прыжова и Клеточникова? Ведь Нечаев и «нечаевцы» не одно и то же, и уже современники Нечаева, равно и наша историческая наука, да и сами семидесятники, заклеив аморализм и макиавеллизм Нечаева, отделяли от него «нечаевцев», в том числе Прыжова, в ту пору революционера и известного этнографа, который не был «нечаевцем» по убеждениям.

Что же касается Клеточникова, в душе которого, считает Л. Аннинский, так же «копились презрение и гнев непризнанных героев», то это одна из самых высоких и романтических фигур в истории народовольчества. Будучи человеком уже немолодым, как и Прыжов, он ушел в революцию и занимался в ней не террором, а по поручению «Народной воли» поступил канцеляристом в III отделение, чтобы получить доступ к материалам слежки за революционерами. Он был арестован, выполняя это задание революции, и стал общепризнанным героем в революционной среде.

Нельзя связывать с «нечаевщиной» ту концепцию русской демократической интеллигенции и морали, которая к Нечаеву как раз никакого отношения не имела, которая формировалась под воздействием проповеди «Колокола» и «Современника», «Русского слова» и «Отечественных записок». И не Нечаев, даже не Клеточников, но освободительное движение демократов и разночинцев сформировало «концепцию интеллигенции» того времени, равно как и так называемую «интеллигентскую» мораль, на самом деле мораль революционно-демократическую. И формировалась эта мораль как раз в непримиримом отталкивании от Нечаева и «нечаевщины» — аморализм и нравственно-этический нигилизм Нечаева

сослужил, как известно, объективно даже полезную службу, заставив народников с особой щепетильностью и тщательностью относиться к этике революции.

Вот как далеко, хотел того или не хотел Л. Аннинский, могут завести литературно-критический «импрессионизм» и беззаботность в отношении методологии! «Импрессионизм» этот, эклектика в исходных позициях сказываются и в тех положительных решениях проблемы духовности, которые критиком предлагаются.

Позитив Л. Аннинского в его понимании ценностей, пожалуй, наиболее явственно был заявлен в статье «Соль воды», посвященной повести «Большая руда» и роману «Три минуты молчания» Г. Владимова.

Произведения эти также не обойдены вниманием критики, и все-таки хотя бы вкратце напомним, в чем там суть. Напомним, что когда вышла «Большая руда» — первая повесть талантливого и молодого тогда писателя, — ее герой, шофер Пронякин, тут же вызвал разногласия в критике. Критики никак не могли договориться, кто же он, этот Пронякин, — «жлоб» или герой?

Пронякин — «„летун“... он хлопочет больше о своем престиже и о получке» — написал один критик.

«Он же мастер, шофер-виртуоз, и хочет, чтобы люди... поняли его талант. Стремится он к большому делу!» — возразил ему другой.

«Я доказывал, что малообразованный владимовский шофер, который джинсов не носит, о культе личности никаких слов не говорит и вообще сильно проигрывает некоторым своим литературным сверстникам по части дискуссий о коммунистическом идеале и общественном долге, — по сути дела, ближе к этому идеалу, чем его велеречивые собратья», — смело заявлял третий. И это был Л. Аннинский (цитирую его книгу «Ядро ореха». «Советский писатель», 1965).

Такова амплитуда колебаний: от «летуна», хлопочущего о своей получке, до «идеала»...

Но резонно поставить вопрос: нет ли здесь постижения молодым писателем той тайны второго рождения человека, когда происходит нравственный взрыв, когда потенция личности, устремленность ее к истинным, духовным ценностям разрывает лжесферу механического или растительного существования и перед человеком встает в полный рост вопрос об осмысленности бытия? И прорастает человеческая личность в

полном значении этого слова. личность, осознающая свои общественные связи с миром, с людьми?!

Ценой гибели постиг Пронякин себя и вынес приговор себе в последних прощальных словах, которые и были его завещанием:

«Я вот о чем хотел... Крохоборства много было в моей жизни. Теперь уже не поправись».

И еще: «Тут жена ко мне приезжает... Боюсь, не застанет... Вы бы потолковали с ней. Что делать ей... Жить как...»

За этим вопросом Пронякина — новое мироощущение, к которому он шел. Тот самый остов нравственного бытия, то возмужание духа, которые приходят с пониманием вот этой выстраданной одним из героев Платонова истины: «В сущности, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то низменное и непрочное».

Критика была единодушна во мнении, что роман «Три минуты молчания» Г. Владимова не был столь цельным художественно, как его первая повесть. Однако многие критики романа как-то проглядели, что в известном смысле он растет из «Большой руды», развивая ее идею.

«Большой рудой» Г. Владимов зарекомендовал себя как автор отменно точной, экономной, сдержанной прозы, отмеченной соразмерностью и художественным тактом, прозрачностью языка. В повести «Большая руда» не было заметно того, что есть в романе «Три минуты молчания»: издержек беллетризации. И все-таки, при определенных недостатках этого романа, Г. Владимов, изучавший матросскую жизнь не в творческой командировке, но «своими боками», службой на корабле, смог, на наш взгляд, достаточно глубоко понять своего героя, «матроса первого класса», жокавого Сению Шалаю, оценить тяготы его профессии, проникнуть в его психологию, а главное — в его внутреннее отношение к конфликту на корабле между механиком Бабиловым (Дедом) и представителем пароходства Граковым.

И характер Гракова и характер Деда — принципиально новые в творчестве Г. Владимова, хотя и не являющиеся открытием в советской прозе, давно и пристально исследующей коллизию между коммунистическим и мелкобуржуазным (мещанским) сознанием в современных формах его проявления.

Продолжая традицию, Г. Владимов на но-

вом жизненном материале и в чем-то по-новому, по-своему показывает социальную опасность граковых в нашей жизни. Именно Граков своим равнодушием ко всему, кроме собственного преуспеяния, и формально-бюрократическим отношением к делу едва не погубил рыболовецкий траулер «Скакун», настояв ради выполнения плана на продолжении плавания на этом попавшем в аварию судне.

Старший механик «Скакуна» Сергей Андреевич Бабилов, по-флотски — Дед, выигрывает этот спор.

И еще один бой выигрывает Дед — и автор — в романе. Бой за душу Сеньки Шалая, главного героя книги, собственно, об этом и написан роман. Что это за характер?

Сеня Шалая — углубление и развитие поиска, который Владимов начал «Большой рудой».

Сеня Шалая начинает задумываться о смысле жизни, об осмысленности своего существования. О том, «как мы друг к другу относимся». О том, чтобы «все были людьми». Сеня Шалая тревожно вступает в свое второе — духовное, нравственное, гражданское — рождение, и кульминацией романа, точнее внутреннего пути героя, является тот высокий «момент истины», к которому Сеня Шалая и его товарищи приходят в час, когда надо рисковать собой, чтобы спасти других — погибающий шотландский траулер, — в час борьбы за чужие жизни и за свои души.

Автора волнует не только и, пожалуй, даже не столько соотношение Дед и Граков, сколько другое: почему существование граковых пока еще возможно в нашей жизни? Существование этого зла, убежден Владимов, возможно лишь до той поры, пока Сеня Шалая будет пребывать, с точки зрения нравственной, духовной, гражданской, в эмбриональном, неразвитом состоянии. Отсюда и атмосфера разобщенности, которая поначалу властвует на корабле.

Но разобщенность уступает место единству нравственному порыву моряков, после того как с помощью Деда они приоткрыли для себя смысл истинных человеческих ценностей.

Важным не только для внутреннего развития Сени Шалая, но и для творческого развития Г. Владимова нам представляется, что в романе, пусть и пунктирно, намечено именно это направление последующего движения Сени Шалая, что идеалом для него является не кто-нибудь, но Сергей Андрее-

вич Бабилов, Дед. Художественное чутье не изменило Г. Владимову: такие характеры сегодня и в самом деле антитеза бездуховности и пошлости, еще бытующих в нашей жизни.

Нравственный остов Сергея Андреевича Бабилова — не только врожденная доброта характера, но еще и идейные, нравственные, гражданские убеждения, которые и сделали Бабилова таким, какой он есть — гражданской личностью, мужественным и неподкупным борцом за истину.

Жаль, что в романе характер Бабилова обрисован скорей внешне, чем внутренне, в поступках, в отношении к людям и жизни, но без глубинного проникновения в его духовную, идейную, мировоззренческую суть.

Как же оценивает «Большую руду» и «Три минуты молчания» Л. Аннинский? Как он оценил повесть Г. Владимова сразу после ее выхода, десятилетие назад, известно: напомним цитату, приведенную выше, о том, что Пронякин ближе к «коммунистическому идеалу», чем иные его «велеречивые» собратья.

Теперь же — в статье «Соль воды» («Юность», 1970, № 6) — он оценивает «Большую руду» и ее героя несколько иначе. Если десять лет назад Пронякин, в представлении критика, в своей гибели приблизился к «коммунистическому идеалу», то теперь, оказывается, он «погибал в столкновении с бригадой. Но он был. И погибал, не сдавшись».

По повести, Пронякин погибал в столкновении прежде всего с самим собой, а уж потом с бригадой. Он не столько «был», сколько становился самим собой. И погибая, прозревал себя как личность, как подлинного человека в значительной мере благодаря бригаде.

А как оценивает Аннинский в сравнении с «Большой рудой» «Три минуты молчания»? В романе, считает он, «дух» Пронякина «расслоился, раздвоился»: «Пронякинская жесткость, крутая верность себе как бы отделилась и в «Трех минутах молчания» дала отдельную фигуру Деда, стармеха Бабилова. Этот действительно поступает по совести, и только по совести, он ни перед кем не гнется и не ломает шапки. Дед — самый замечательный в романе характер, самая большая удача Владимова. Но... он как-то по большей части отключен от сюжета, он здесь скорее символический идеал...»

Вторая фигура, «выделившаяся», как кажется Аннинскому, из характера Пронякина — Сеня Шалай, «шалый парень, от имени которого ведется повествование. Жалость — вот все, чем он богат... Сеня наделен совершенно непонятной в его положении жаждой добра». По мнению Л. Аннинского, это качество — «жажда добра» в душе Сени Шалай — не более чем порождение «авторской воли, нагрузившей этого нормального Сеню великой жаждой добра, справедливости и товарищества». Критик недоумевает: «Если это личность, то чего он такой лопух, а если он, «как все», так чего я должен его слушать?»

Здесь все неясно.

Во-первых, «дух» Пронякина никак не мог «выделить» из себя фигуру Деда по той простой причине, что характер Пронякина духовных, нравственных, идейных принципов Бабилова пока еще в себе не заключал. Бабилов для Пронякина, если подойти к социальному типу Деда всерьез, был бы примерно то же, что и для Сени Шалай: с какого-то момента его внутреннего развития Дед стал бы для Пронякина нравственным идеалом. В натуре Пронякина дорого именно это: наметившаяся тенденция внутреннего развития к такому нравственному идеалу.

А разве не тот же порыв прорезается в душе Сени Шалай — в той самой «великой жажде добра, справедливости и товарищества», которая кажется столь неорганичной и непонятной в герое Л. Аннинскому? Неорганичной, непонятной — почему? Что в «его положении» исключает такую жажду? И что стоит за этой более чем странной дилеммой: или Сеня Шалай — «личность», или он «как все»; в первом случае он приемлем, во втором — нет. Неужели «личность» — это всего-навсего «не как все»? Неужели если человек «как все», то непонятна его жажда добра, справедливости, товарищества? А если истина в том, что Сеня Шалай — «как все», но при этом стремится стать личностью? И «всем» своим товарищам того желает?

Ответ на эти недоумения мы находим в последующих размышлениях критика. Он справедливо замечает, что Г. Владимов ставит вопрос главный, коренной: личность не может мириться с неморальной ситуацией и примириться с ложью не может. «Это вот личностное достоинство и сделало когда-то «Большую руду» книгой-событием... Был, однако, выявлен закон (?!): человек, в ко-

тором проснулось достоинство, не может отбуксовать обратно — он или ломается, погибает как личность, или ломает шею. (Разрядка моя.—Ф. К.) Пронякин погибал, неся свой крест до конца». А вот Сеню Шалай — и это главная претензия критика к автору «Трех минут молчания» — Владимов «хочет спасти». И в этом, на взгляд критика, волюнтаристском, нежизненным стремлении кроется причина неудачи Владимирова, его отступление от прозы в беллетристику. Наделив (от себя) героя романа удивительной остротой морального зрения, Владимов, по мнению критика, поставил его перед той же дилеммой: «Или сломаться, принять «закон хора», стать «таким, как все», или... На этот второй случай иллюзий мало. Как сказал Сене бондарь: я бы таких, как ты, добрячков на мачте подвешивал».

Автор, утверждает критик, попытался отыскать для Сени иллюзорную «формулу спасения». Стали тонуть шотландцы, и «Скакун» их спас... А потом — Сеня встретил Клавку-буфетчицу. И получилась беллетристика, потому что в реальности спасения Сене (автору) на тех путях, на которых они его ищут, по глубочайшему убеждению критика, нет. Это нарушило бы «выявленный закон».

Хочу подчеркнуть: Л. Аннинский критикует Владимира, так же как и Ю. Трифонова, не за художественные слабости решения темы, но — за качественное решение проблемы личности, которое предложено писателем. Он не верит в нравственное развитие Сени Шалай как личности на основе развития и упрочения человеческих, социальных связей с жизнью.

Но как же быть в таком случае с Дедом? С этой «самой большой удачей» Владимира, по собственному признанию критика? Ведь Бабилов — личность общественная, гражданская и развитие Сени Шалай — к Деду, а не к Гракову, к осмысленной, гражданской, а потому одухотворенной жизнедеятельности. Почему же Дед — удача, а Сеня Шалай «иллюзия»? Почему Дед возможен, а Сеня Шалай, каким мы видим его в финале романа, невозможен? Как критик выходит из этого противоречия?..

А ему не нужно выходить из него по той простой причине, что он видит Деда не так, как видит его писатель, не так, как видим его мы. Недаром конфликт Деда с Граковым, без которого невозможно понять

характер Бабилова, вовсе не интересует критика. Дед представляется ему лишь абстрактным носителем совести, вне реальных, социальных форм проявлений этой совести. В прямом противоречии с сюжетом книги Дед для Л. Аннинского всего лишь (цитирую) «старый, полуслепой, стоящий на грани пенсии механик, и к нему относятся скорее как к старому чудаку, «ископаемому» староверу, чем как к реальному противнику». Это для Гракова-то Дед — ископаемый старовер и нереальный противник? Это для Сени Шалая Бабилов — «старый чудаки»? Да полноте — речь, видимо, идет о каком-то другом Бабилове и о другом романе.

Переосмысление образа Бабилова, как и неприятие итогов внутреннего развития Шалая, прямо вытекает из привычного для критика отторжения личностных начал от реальной земли — и тогда обесмысливается само понятие социальной борьбы, гражданского действия, гражданского мужества и честности, не нужен ни новый, пробудившийся к осознанной активности Сенья Шалай, ни реальный Дед в его борьбе с Граковым.

Именно этим такого рода позиция опасна и вредна: она деморализует и демобилизует человека, она притупляет социальные чувства и утверждает Гракова и бондаря, изначального Сенью Шалая и царствующий на корабле «закон хора» как норму жизни, как нечто вечное и неизменное.

Где же выход? Где «спасение» — если путь Сени Шалая таковым не оказывается? И вообще что же такое «личность»?

Ответ на этот вопрос содержится в конечных размышлениях Л. Аннинского о человеке, о личности, которыми он завершает свою «Соль воды». Эти размышления и есть «ядро ореха», суть его статьи.

«Во владимовском понимании человека, — замечает критик, — есть одна слабая черта: он мыслит личность только в естественном, природном контексте». Иными словами (вспомнил «Номинал и обеспечение»), мыслит личность опять-таки как Реального Человека. Для Владимова, продолжает Л. Аннинский, «человек не сын природы, имеющий с нею, если хотите, нравственную связь (и потому имеющий нравственную связь с другими людьми как с сыновьями одной матери, как с братьями). В природе, в мироздании для Владимова высшего смысла нет; на пустынной ладо-

ни природы человек, в сущности, одинок. И значит, или он победит, или погибнет. Так лишенное морального смысла, построенное на соотношении стихийных сил мироздание производит на свет человека, который решительно не может понять, откуда же в нем это желание делать другим добро. И открывается в обыкновенной душе Сени Шалая непонятный просвет в бездну, и сам он не понимает, что с ним сделалось, и жить по-прежнему он не может. Но жить надо». (Разрядка моя.— Ф. К.)

И тогда, пишет Л. Аннинский, человек «заслоняется». В одном случае — в повести В. Конечкого «Соленый лед», например, — он заслонился «работой, делом, порядком».

«Заслонился и Г. Владимов. Рыбой».

При видимой туманности выражения сама мысль критика тем не менее предельно ясна.

«Просвет в бездну» в душе человеческой, «желание делать другим добро», духовные, то есть личностные начала в человеке, моральный смысл человеческой личности — опять-таки лишь отражение высшего смысла, морального смысла мироздания. Не работа, не дело и уж, конечно, не «рыба», не труд человека, добывающего эту рыбу, но высший моральный смысл природы и мироздания, таинственный «звон высочайшей морали» сообщает людям нравственную связь между собой, обуславливает духовные и нравственные ценности человеческой личности. И в этом смысле «старый чудаки» Бабилов для Л. Аннинского примерно то же, что и Иван Африканович из повести «Привычное дело» Белова. Оба они личности именно потому, что являются носителями «неистребимого нравственного чувства», что их «спасенная доброта» — не что иное, как отблеск высшего морального смысла мироздания.

А с другой стороны, Пронякин и Дед для Л. Аннинского опять-таки равнозначные личности, ибо и тот и другой освещены все тем же высшим моральным смыслом, а то, что они стоят на разном уровне общественного самосознания, для Л. Аннинского не очень-то важно. Для Аннинского естественно делить все человечество по этому жесткому ранжиру: по одну сторону — духовная личность, удостоенная «просвета» в «бездну», в высший моральный смысл мироздания, по другую — «все» остальные, «хор», не одушевленный нравственной связью с одухотворенностью мироздания.

Какой же выход? Идти в монастырь, в кельи новоявленных пустынножителей, где вдали от «мирского», от борьбы, пронизывающей общество, устремленное к социальной и нравственной справедливости, холить и лелеять свою одухотворенную «личность», созерцающую, высший моральный смысл мироздания?..

Но кому предложить этот выход? Сене Шалаю?.. Сыновьям Вавилова?.. Нашим современникам, живущим в прекрасном и яростном мире борьбы и созидания и органически стремящимся к высокой осмысленности своего существования?

Ответ Рыльникову

Что предложить им? Ответы земные, реальные и социальные — или же ирреальные, подменяющие подлинную одухотворенность иллюзией духовности, деятельную любовь к людям — ее абстрактным суррогатом, действительное утверждение нравственности на земле — апелляцией к «вечным нравственным ценностям», к ее «высшему моральному смыслу» в масштабах мироздания?..

Одним из первых откликнулся на этот насущнейший вопрос времени Владимир Тендряков, писатель обостренной социальной чуткости, — я имею в виду его повесть «Апостольская командировка».

В чем смысл жизни?.. Достаточно ли человеку материального благополучия, чтобы быть счастливым?.. «Для чего, для какой цели я живу?..»

В отсутствии сколько-нибудь убедительных ответов на эти «вечные вопросы» — суть духовного кризиса героя повести Рыльникова, молодого, вполне благополучного и процветающего человека наших дней.

Рыльников приходит к выводу, что ответ на вопрос о смысле бытия невозможен вне идеи бога, идеи бессмертия души. И он решает уверовать — от ума, от нравственного расчета, от желания разом и навсегда покончить с духовным вакуумом. Грустная история разочарования героя в боге, в религии, в истинности ее ценностей и составляет сюжетную — и идейную — основу повести. К сожалению, писатель художественно далеко не во всем выигрывает этот спор. И происходит это из того обстоятельства, что В. Тендряков, думается, облегчил себе задачу, упростив характер своего героя — Рыльникова, ибо не веришь в главное — в истовость и истинность его религиозности. Религиозность Рыльникова не столько вера,

сколько потребность в вере, смутная тоска по духовным ценностям, протекающая не от духовного богатства героя, но от его духовной бедности.

Рыльников приходит к богу в результате формально логического умозаключения: моя жизнь не имеет смысла, потому что я не вижу, ради чего, ради какой цели мне поддерживать свое растительное существование, религия указывает цель и смысл жизни; эти цель и смысл — в постижении бога; следовательно, в бога надо верить.

И Рыльников рационально, «от ума» становится «верующим». «От ума» для него означает «вне ума». Религия для него — не «постижение» умом, рассудком верховного существа и не слепая вера в него, но нечто качественно иное: идущий от ума, расчетливый диктат, волевое вменение себе иррациональной идеи. И этот путь — единственный, иначе все рассыпется.

«...Если поверишь в него (в бога.— Ф. К.), то поверь и в то, что он не допустит бессмыслицы. Я не знаю, в чем заключается его смысл, я не самостоятелен, я просто подопечный, но мне вполне достаточно, что этот смысл существует», — убеждает себя Рыльников. Оказывается, вовсе не обязательно иметь жизнь, достойную человека, а достаточно знать, что высокое назначение твоей низкой жизни «вообще-то имеется и начальству известно». Вот так, при помощи формально логического сальто-мортале Рыльников становится верующим в бога... Вот почему религиозность Рыльникова на самом деле таковой, по существу, не является, а потому трудно поверить и в последующее поведение героя, в ту решимость, с которой он рвет с семьей, с привычным укладом жизни и отправляется на поиски «бога» в далекую Красноглинку. Истовость поведения определяется истовостью убеждения, но уж никак не той рациональностью расчетов, с которыми Рыльников вычислил себе бога.

И при всем том в характере Рыльникова, пусть и не во всем точно, на наш взгляд, осмысленном писателем, схвачены какие-то существенные, я бы сказал, типические черты современного, нынешнего «богостроителя» и «богоискателя». Для него «бог», как правило, не столько вера сама по себе (представление о боге у него весьма смутное и фиктивное, он боится вдумываться в этот символ), сколько форма бегства от самого себя, от своего бездуховного существования в освященную тысячелетиями

иллюзию духовности. Современный «богоискатель», как правило, человек не верующий, но стремящийся «уверовать», миссионер по отношению к самому себе. В нем куда больше неудовлетворенности собой, бессмысленностью собственного существования, чем действительной веры в бога. А потому и спор с ним приходится вести не столько теологический (теологии современный «богоискатель» боится, несообразности Библии, видные невооруженным глазом, мешают ему верить), сколько нравственно-философский. Это — спор о духовных и нравственных ценностях, об их, говоря словами Л. Аннинского, «номинале обеспечения».

В «Апостольской командировке» оппонент Рыльников, председатель красноглинского колхоза Густерин, если верить финалу повести, выигрывает этот спор. Он выигрывает его, обращаясь не столько к абстрактным материям, сколько к живой практике действительности, и в первую очередь к реальной жизни своего колхоза.

Его ответ о путях красноглинцев к осмысленному одухотворенному существованию обескураживающе прост. В сравнении с заоблачными поисками Рыльникова он кажется предельно приземленным и даже прозаичным. Что там Реальный Человек, с которым спорит Л. Аннинский!

«Богу» Рыльникова Густерин противопоставляет... коллективное распределение красноглинцами своего колхозного дохода. «Не арифметически, не разложить по карманам, а с прицелом,— объясняет Рыльникову Густерин.— Что же нам завтра делать, как завтра жить? Так сказать, в будущее проникнуть, предугадать его. Ты участвуешь в таком распределении, вместе со всеми предугадываешь. Вокруг тебя есть люди и поумней — доверься им. Но доверие-то доверием, а держи ухо востро — можешь на ловкача налететь, сомненьце за пазушкой че помешает. Выходит, твое завтра зависит от того, как договоритесь друг с другом, поймете ли умного, разденете ли донага глупого. Понять друг друга — в этом весь фокус. Понять и не ошибиться — трудная наука, которой надо учиться. И доход дает возможность учиться. Бухгалтерское словечко... Цемент, которым можно спаять людей».

В эти слова красноглинского председателя вдаваться надо. В них есть глубокий подтекст.

А вникнуть в этот подтекст нам поможет объяснение Густериным причин того, поче-

му молодые красноглинцы устремляются в город: в родном колхозе они пока что «людьми себя не чувствуют», потому что красноглинца «много лет учили: не лезь с суконным рылом в калашный ряд. Он видел, что в наших снежных местах кукуруза не растет, ему приказывали: сей, не смей перечить! Он понимал, что резать стельных телят на мясо преступно, его заставляли: режь, не возражай лишка». А в результате — у людей пропадало желание думать об артельном, о «мирском»: красноглинец, говорит Густерин, «перестал возражать, заодно соображать и чем-либо интересоваться». Он утрачивал чувство хозяина жизни, а вместе с тем и высший смысл существования, тот смысл, который соответствует общественной природе, общественно-преобразующей сущности человека. Его интересы не выходят за пределы забот о личном благополучии. Что же касается забот высшего порядка, забот общественных, гражданских, то он отвечает: «Больно нужно, пусть у начальника голова болит». Или: «Что Валентин Потапыч скажет, так тому и быть!» «Окаменели,— говорит Густерин,— не уколупнешь». И чтобы пробудить в красноглинце личность, человека в высшем значении этого слова, необходимо, чтобы он почувствовал право и ответственность за что-то большее, чем он сам, чем его повседневное, узкокоматериальное, личное существование, чтобы он чувствовал право и ответственность думать, решать, заботиться — что же нам (колхозу, совхозу, обществу в целом) завтра делать, как завтра жить?

Вот два пути движения к духовным ценностям личности: один — иррациональный, мистический, другой — реальный, земной; один — через бессмертие на небе, другой — через бессмертие в делах на земле; один — через постижение абстрактного, мифического бога, другой — через развитие общественного, гражданского самосознания, через социальную активность личности, через одухотворенность ее трудов по преобразованию Земли и человека на Земле.

Это — два разных мирозерцания, отвечающих подлинной или перевернутой, искаженной, отчужденной сущности человека.

Вопрос Рыльникова и — пускай неполный — ответ на него Густерина (и в этом главное значение повести В. Тендрякова) приобретают сегодня особую, выходящую за пределы сюжета «Апостольской командировки», вполне современную остроту. Реше-

ние проблемы личности и ее ценностей с позиций Реального Человека, исходя из реальных общественных условий, растет из марксистской идеи общественной природы человека, его общественной, социальной сущности.

Разработанная К. Марксом философская концепция человека, его сущности как «совокупности всех общественных отношений» — теоретический исток, научный фундамент реального, практического решения проблемы ценностей. В своем осмыслении человека и его сущности Маркс преодолел ограниченность как натуралистического (вульгарно-материалистического) понимания человека, сводившего его лишь к биологической основе, так и идеалистического истолкования человеческой природы, также игнорировавшего ее социальную суть, объяснявшего духовную жизнь человека и человечества иррационально, спиритуалистически.

Марксу удалось преодолеть обе эти метафизические крайности благодаря тому, что он раскрыл реальную диалектику биологической и социальной детерминации человека, осмыслил человека как порождение природы и — общества, как не только биологическое, но прежде всего социальное родовое существо. Именно приобщение индивида к обществу и сообщает ему подлинно человеческую — в отличие от природной, в дополнение к природной — сущность.

Именно общественная, творчески преобразующая мир природа человека и делает его человеком, качественно выделяет его из мира природы, биологического естества, делает его существом одухотворенным, то есть наделенным разумом и совестью, способным творить мир по законам добра, истины и красоты. Отсюда растет, в нашем понимании, и духовное богатство личности: «...действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений» (К. Маркс). Активных, трудовых, революционно-преобразующих отношений с миром, обществом, с подобными себе. Отношений, в которых с наибольшей полнотой проявляется общественная, творческая, преобразовательная природа человека, формировавшаяся в общественных отношениях, в труде.

Это — гуманизм подлинный, реальный, способный «утвердить правду *посюстороннего мира*», полагающий смыслом человека и человечества — «развитие богатства *человеческой природы как самоцель*». Гуманизм,

органически включающий в себя борьбу и преодоление в жизни всего того, что мешает человеку быть человеком, проявляющий себя в активной и целенаправленной общественно-преобразовательной деятельности, конечный смысл которой — в «возвращении человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человеческому» (К. Маркс).

Для человека, верного своей сущности, так сказать, «вернувшегося к самому себе», средства существования, материальные ценности, поддерживающие его чисто биологическую жизнь, являются не более (но и не менее!) как условием его человеческой жизни, но еще не самой жизнью в полном и всеобъемлющем значении этого слова. Ибо помимо биологического, растительного, чисто природного существования, жизнь имеет для него еще и иной, высокий, одухотворенный, подлинно человеческий смысл. Смысл, обусловленный духовной, нравственной, общественной природой человека.

Для отчужденного от своей сущности человека средства существования, то есть материальные ценности, обеспечивающие ему чисто биологическую жизнь, из условия подлинно человеческой жизни превращаются в конечную цель и исчерпывающий смысл бытия. Возникает искаженная система «перевернутых» ценностей, «перевернутых» по отношению к действительной природе человека, когда ценности низшего ряда, удовлетворяющие самые первые, естественнобиологические потребности человека, вдруг оказываются главными и определяющими, а ценности высшие, духовные, подлинно человеческие, ценности, отвечающие социальной сущности, общественной природе человека, не осознаются как ценности. Именно такая, ложная иерархия ценностей характерна для буржуазной и мелкобуржуазной, мещанской морали. Отчуждение же человека от его собственной общественной сущности есть и его отчуждение от духовности и нравственности, то есть — бездуховность и безнравственность.

Когда нет возможностей для проявления общественных, подлинно человеческих начал, чувства необходимости самого себя людям и обществу, когда человеческая сущность — в силу тех или иных социальных причин — «не обладает истинной действительностью» (К. Маркс), тогда-то человек и обращается к религии, которая претворяет человеческую сущность в фантастическую действительность.

Но почему обратился к религии Рыльников? Ведь он живет в условиях нового общества, где давно уничтожена частная собственность, порождающая отчуждение человека от собственной сущности?!

Нет спору, проблема отчуждения не является проблемой социалистических и тем более — коммунистических общественных отношений. Если пока она и существует в нашей жизни, то в том же ряду, что и прочие остатки того «ветхого» мира, который мы унаследовали. Проблема отчуждения для нас существует в той мере и степени, в какой в нашем обществе сохраняется пока мещанское обыденное сознание, мелкобуржуазная психология и нравственность.

Рыльников же по природе своей — мещанин, не имеющий подлинной духовной жизни, которая в наших условиях может быть только социально, граждански активной жизнью. Человек может читать книги, ходить в кино и театры и даже писать, как мы видели, философские и антирелигиозные статьи — и при этом быть отчужденным от общества и от самого себя. Таков Рыльников. Собственно, кроме своей персоны, кроме заботы о собственном личном благополучии, о благополучии своей семьи, его ничего не интересовало. Он — не личность, но индивид, существующий по самой низкой, неодухотворенной шкале ценностей. Человеческое в нем подавлено биологическим, интерес духовный — интересом материальным. Он человек перевернутого жизнепонимания, вдруг ощутивший вполне понятную тоску по истине человеческого бытия. Так в жизни часто бывает, и мы порой не подозреваем, какая могучая сила заключена в инстинктивном стремлении человека к подлинному самому себе, к осмысленному, одухотворенному, а не растительному или, что хуже, животному существованию, к действительным ценностям жизни. Отсутствие таковых вызывает у нравственно чуткого человека страдание, которое может бросить его в равной мере в религию или алкоголизм, что нередко и случается с натурами слабыми. Сильные же — те прорываются сквозь лжесферу отчуждения к творчеству новой жизни и, следовательно, к подлинным самим себе. Таким личностным путем идут, скажем, Пронякин и Сеня Шалай у Владимира.

Почему, скажем, в «маленьких» повестях Ю. Трифонова, исключая разве что стариков Дмитриевых, мы не встречаем ни одной подлинно крупной личности, ни одного со-

временного характера, который противостоял бы бездуховности жизни, столь талантливо и точно обрисованной автором? Одна из причин, мне кажется, в том именно, что в этих своих повестях Ю. Трифонов попытался решать вопрос о духовном вакууме, не выходя за пределы быта, с некоторой искусственностью разорвав неразрывные в жизни сферы быта и сферы труда. Если характеры Карабаша и Ермасова в «Утолении жажды» или, к примеру, Ляхова и «доктора Гриши» в рассказах Ю. Трифонова раскрываются прежде всего в «деле», которое «больше их», больше их личных радостей и горестей, потому что это не только личное, но общее, человеческое, народное дело, если в этом «деле» они занимают социально активную, гражданскую, нравственную позицию, что и сообщает им одухотворенность, то герои «Обмена», «Предварительных итогов» и «Долгого прощания» лишены такого «дела». Все они — не более чем «демиурги» личного благосостояния. Они давно успокоились «на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил». Потому-то они не могут, да и не хотят противостоять бездуховности и «недочеловечности» Лукьяновых — они сами отчуждены от социальной, общественной сферы деятельности, от широких общественных интересов, от ответственности за реальную жизнь, за людей и даже — за самих себя и вполне удовлетворены этим. Они ирреальны и эфемерны и как личности не существуют.

Реальный же человек, тот же Карабаш или Ермасов у Ю. Трифонова, механик Бабилев (Дед) у Г. Владимова, утверждает себя как одухотворенную, нравственную личность в общественно полезном «деле», творчестве, в труде, в своей нужности, полезности, необходимости людям, в ощущении себя гражданином общества в полном смысле этого слова. Советский образ жизни, социалистический строй заключает в себе огромные возможности для пробуждения и проявления в людях этого гражданского чувства хозяина жизни и как следствие — внутреннего интереса к ней. Социально активная, а потому одухотворенная личность, занимающая гражданскую позицию в жизни, позицию борца за интересы общества и народа, за правду, добро, истину, совесть и честь, за коммунистические идеалы, всегда была и будет в центре внимания советской литературы и критики. Таков ре-

альный путь решения нашей литературой проблемы духовных ценностей. Это направление поиска «духовности» в жизни имеет свою — и немалую — историческую традицию, которую мы сегодня наследуем.

И не церковники, но русские революционеры, борцы и подвижники за счастье народное, декабристы и шестидесятники, народники и народолюбцы, наконец, марксисты-ленинцы дали миру непревзойденные образцы высочайшей духовности и одухотворенности, чистейшей человеческой нравственности. Не на идеях русского идеализма, а на проповеди Герцена и Чернышевского, Добролюбова и Писарева возмужавшая русская демократическая интеллигенция прошлого века, воплотившая себя в таких одухотвореннейших, глубоко типических фигурах отечественной истории, как, скажем, земский врач или народный учитель. Что могут противопоставить этому идеалисту, кроме туманных слов?..

Современная литература наша все углубленнее раскрывает эти великие гуманистические, духовные и нравственные ценности отечественной истории, которые нашли свое наиболее полное выражение в облике революционеров, в первую очередь в гигантском по своим духовным, человеческим масштабам облике Владимира Ильича Ленина.

А разве наша «военная» проза, книги о подвиге народа на фронте и в тылу не

убеждают нас, что войну выиграли люди (возвращаясь к спору с отцом Серафимом) «со святым за душой»? Эта проза таит в себе огромные возможности для постижения характера советского человека, его духовных и нравственных ценностей.

Для советских людей идеал одухотворенной и высокоразвитой нравственной личности неразрывно связан с качествами идейности, гражданственности, с качествами борца за правду и добро в их ленинском понимании, за счастье людей. Наша литература сегодня пристально исследует, как эти духовные и нравственные качества, определяющие духовный потенциал личности, проявляются в современных условиях мирного, созидательного труда советских людей, условиях научно-технической революции и развитого социализма. Литература, воссоздающая наше время и верная времени, заключает в себе огромные богатства человеческого духа, в реальных типических характерах утверждает духовные и нравственные ценности социализма. Дело литературной критики, первоочередная ее задача сегодня — осмыслить и обобщить этот немалый духовный и нравственный опыт современной литературы, не только постановку, но и решение кардинального для времени вопроса о человеческих ценностях. Критика выполняет эту свою важнейшую обязанность лишь на путях реального, а не мифологического подхода к литературе и жизни.



ВАДИМ КОВСКИЙ

★

«БУДЬ ЗАОДНО С ГЕНИЕМ...»

Личность писателя и позиция критика

Сначала — несколько ссылок, проясняющих суть проблемы. Полтора века назад Пушкин, горестно негодуя на обыкновенное любопытство, писал Вяземскому: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! (Выделено Пушкиным.— В. К.) Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Огорчение Вяземского по поводу потерянных записок Байрона было Пушкину непонятно: «Черт с ними! Слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах... Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением...»

О художнике надо судить по его творчеству. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» — это ведь все о том же. И когда век спустя Маяковский декларирует: «Я — поэт. Этим и интересен...» — а Есенин две странички автобиографии завершает категорическим: «Что касается остальных автобиографических сведений — они в моих стихах» — разве не звучит здесь пушкинское «Оставь любопытство толпе?»

Проблема старая, как само искусство... Казалось бы, легче всего разрешить ее, «поделить» каждого художника «на два»: вот он в «быту», вполне заурядный, как «все мы», а вот — в творческом экстазе, избранник божий, служитель муз. Но, увы, перед нами явно «число нечетное» — оно не делится на два, ибо в «остатке» получается творчество, где все слито воедино — земля и небо, повседневность и вдохновение, проза и поэзия. Недаром Блок,

вдоволь изыскивавшись над собратьями по перу, неожиданно восклицает:

Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достойным доцента,
И критиков новых плодить...

Что же из сего следует? Быть может, критикам и литературоведам действительно надо ограничить историю литературы анализом текстов? Отказаться от изучения биографии писателя? Видеть в нем только «автора», титульный портрет в собрании сочинений? Да ничуть не бывало...

Изучать историю литературы вне жизни писателя — значит, брать ее вне реальной истории, а следовательно, многого в самой литературе не понять. Изучать жизнь писателя в отрыве от истории литературы — значит, пройти мимо главного ее содержания, мимо ее общественного и профессионального смысла.

Бесспорно, что одно дело — любопытство «толпы», другое — «любопытство» исследователя: «записки, исповеди etc.» можно читать по-разному. Бесспорно также, что биография не сводится к обстоятельствам личного быта — она имеет множество слоев, и, вероятно, увидеть художника в его общественных взаимоотношениях куда важнее и сложнее, чем «в туфлях и халате». Бесспорно, наконец, и то, что степень обращенности к тем или иным аспектам биографии диктуется жанром исследования: биографический это роман или мемуары, критическое эссе или научная монография, интерпретируется ли произведение в целом или устанавливаются его прототипы и т. д.

Оставим, однако, всю эту многообразную

проблематику будущим диссертантам и зададимся лишь самым общим вопросом: как современным биографам советских писателей удастся «быть заодно с гением» в некоторых работах последних лет и какой отклик это «сотрудничество» получает в критике.

Вопрос этот занимает нас под определенным углом зрения: становится (или, напротив, не становится) жизнь писателя частью истории литературы, взаимодействует ли здесь с литературоведением наша текущая критика и сколь актуальны сегодня и подобный историзм и подобное взаимодействие.

К сожалению, пока еще нельзя оптимистически констатировать, что пристальное внимание к жизни писателя стало неотъемлемым свойством историко-литературных трудов. В еще меньшей степени есть основания утверждать, будто биографические изыскания всегда проводятся с ощущением историко-литературного масштаба биографии.

Между тем пересечение этих линий в книгах последнего времени становится все заметнее, интерес к жизни писателя — все острее, история литературы наполняется гулом живых голосов, приближается к нам в своей зримости и — хочется даже сказать — бытовой конкретности.

Естественно, что наиболее продуктивен в этом смысле по самой своей природе жанр литературных мемуаров. В том весьма остром обмене мнениями, который состоялся на страницах «Нового мира» в 1964 году по поводу мемуарной литературы, было справедливо замечено, что «взрыв» мемуаристики в последнее десятилетие прямо связан с новым этапом историко-литературных исследований, со стремлением «перепроверить» и уточнить устоявшиеся схемы обращением к забытым или вовсе не изученным фактам и именам, обогатить представления о нашем советском литературном наследии в целом и о сложных творческих путях иных писателей, внесших в него свой значительный художественный вклад.

Сегодня воспоминаний о писателях печатается гораздо больше, чем в 1964 году, а завтра, вероятно, их будет больше, чем сегодня, хотя и «возраст» воспоминаний, и возраст мемуаристов неизбежно начинают «омолаживать». Поэтому воспоминания о 20-х и 30-х годах приобретают все большую «стоимость» — очевидцев, увы, не прибывает...

Большой интерес с этой точки зрения представляют мемуарные книги последних лет, отчасти уже замеченные критикой: «Маяковский в воспоминаниях родных и друзей» (1968), «Всеволод Иванов — писатель и человек» (1970), «В ногу с тревожным веком. Воспоминания об Иосифе Уткине» (1971), «И. Бабель. Воспоминания современников» (1972), «Воспоминания об Александре Грине» (1972) и др. Мы встретим здесь малоизвестные, а то и совсем неизвестные биографические факты, новые документы, живые человеческие штрихи к литературным портретам, размышления об отдельных произведениях, восстановленные в памяти детали исторической эпохи и многое другое.

Подобного рода издания, когда они удачны, органично включаются в текущий литературный процесс. Не являясь литературоведением, они поставляют ему интереснейший историко-литературный материал; не являясь публицистикой, они пронизаны отчетливыми публицистическими интонациями и несут на себе яркий личностный отпечаток; не являясь художественной литературой в собственном смысле слова, читаются подчас с не меньшим увлечением, чем какой-нибудь роман. Не случайно один из исследователей современной мемуарной прозы М. Кузнецов называет и воспоминания И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», и давнюю книгу К. Федина «Горький среди нас» не просто мемуарами, а мемуарными романами особого типа.

Однако дело здесь мемуарами, разумеется, не ограничивается. Двинулась в рост и собственно художественная литература, посвященная жизни и творчеству известных советских писателей: мы имеем в виду роман о Маяковском «На планете, мало оборудованной» А. Никулькова («Сибирские огни»), «легенду» А. Андреева «Есенин» («Октябрь»), повесть Вяч. Лебедева о Горьком «Крылья буревестника» и т. д.

Историко-литературное значение всех этих работ трудно преуменьшить: ведь в жанре исторического романа, исторической повести в нашей литературе до сих пор фактически почти не было произведений о советских писателях, деятелях искусства. Между тем исторический роман, историческая повесть о писателе — дело чрезвычайно важное и нужное: здесь появляется возможность оживить историю литературы как часть большой истории, приблизить к нам ушедшую литературную эпо-

ху в красочной реальности и подлинной сложности человеческих взаимоотношений, воспроизвести процесс эстетического пересоздания действительности и одновременно показать ее подлинным источником художественного творчества и т. д. и т. п., одним словом, дать читателю то яркое, «конкретно-чувственное» соприкосновение с художественной литературой как делом всей человеческой жизни, которого он никогда не получит от научных изысканий, ибо у науки задачи другие.

Значительно повысился интерес к биографии и личности писателя и в самом литературоведении. Достаточно вспомнить, к примеру, книги А. Туркова о Блоке, А. Македонова о Заболоцком, П. Куприяновского о Фурманове, О. Резника о Сельвинском... Очень показательны в этом отношении вышедшее недавно исследование Ю. Прокушева, которое уже заглавием намеренно демонстрирует свою жанровую характерность — «Сергей Есенин. Поэт. Человек» (1973).

Литературные газеты и журналы завели постоянные рубрики — «Архив», «Из неизданного и забытого», «Наши публикации». Заметно активизировалась в изучении советской литературы деятельность «Литературного наследства».

Очевидно, что вся эта многочисленная и многообразная печатная продукция представляет отнюдь не только сугубо научный интерес. Не менее важны в ней и ценности сегодняшние — общественная позиция автора, мотивы его обращения к прошлому, ее ориентация на современного читателя, нравственный пафос.

И вот в выявлении именно этого, сегодняшнего смысла историко-биографических изысканий особую роль играет наша критика, быть может, наиболее заметно смыкающаяся здесь с литературоведением и в то же время отчетливо фиксирующая современный уровень восприятия историко-литературных проблем во всей его неоднозначности и противоречивости.

Процесс жизненной детализации, «портретной» прорисовки истории литературы в основе своей безусловно полезен и закономерен. Но вместе с тем он ставит нас перед целым рядом весьма сложных вопросов. Действительно, до какого предела биография является объектом истории литературы и где начинается бестактное «подсматривание» «частной жизни» писателя? В какой мере допустим вымысел и каковы

его соотношения с фактами, если речь идет о биографии художественной? Как корректировать биографию творчеством, а творчество интерпретировать при помощи биографических данных, не деформируя реальности, с одной стороны, и не вульгаризируя литературы, с другой? Как совмещать «крупный план» биографии с «общим планом» истории, не принося в жертву индивидуальному портрету «портрет групповой», и т. д. и т. п.?

Задавать вопросы, конечно же, всегда легче, чем отвечать на них, и было бы наивным ожидать в этой области каких-либо универсальных рецептов. Однако отчасти мы все-таки можем уяснить себе, в какой мере и в каком ракурсе жизнь писателя должна вводиться в историю литературы, руководствуясь испытанным способом «доказательства от противного» — надо хотя бы задуматься над тем, как этого делать не следует...

Нет необходимости да и возможности обозревать с подобной целью все упомянутые и неупомянутые работы. Остановимся лишь на некоторых, наиболее характерных, вовсе не ставя себе рецензионных задач, но постоянно возвращаясь к этим работам «по спирали», чтобы получить достаточно объемное представление о существе самой проблемы.

Многие мемуаристы до сих пор игнорируют принцип Маяковского «...этим и интересен». К сожалению, художник часто оказывается для них «интересен» как раз не «этим». Именно таково отношение к прекрасному русскому прозаику Александру Грину у составителя сборника воспоминаний о нем Вл. Сандлера.

Название книги — «Воспоминания об Александре Грине» — правда, не столько ориентирует, сколько дезориентирует. Собственно воспоминания (принадлежащие перу четырнадцати авторов и в большинстве случаев уже опубликованные, несмотря на заверение, что «подавляющая часть» их «публикуется впервые») скромно размещаются между «Автобиографической повестью» Грина, еще не забытой читателем по «огоньковскому» собранию сочинений, и объемистым произведением Вл. Сандлера, странным образом озаглавленным «Вокруг Александра Грина». Впрочем, как говорится, чем хуже, тем лучше — мы получаем в пределах одной книги и мемуары, и биогра-

фическое исследование, и автобиографическую концепцию самого писателя...

Позиция Вл. Сандлера заявлена в его предисловии весьма своеобразно. Сначала мы с полным сочувствием читаем следующие строки: «Казалось бы... автор все о себе рассказал в книгах своих, там и ищите ответа. Тем более что сам Грин оставил нам такие слова: «Не люблю пустого залезания в чужую душу. Слово писатель — магазинная витрина: пяль все наружу»; «Вся моя жизнь в моих книгах, пусть там потомки и ищут ответа».

Однако не спешите обольщаться — перед нами не больше чем минутная рефлексия составителя, которая тут же разрешается крайне агрессивно: «Это самооборона. Грин, как и любой художник, знает: искать его собственную жизнь в его книгах — занятие пустое. Попробуйте поймать солнечный зайчик в ручье!»

Бедный художник, напрасно надевшийся защититься от любопытствующих потомков! Вряд ли есть еще другая книга о писателе, где частным деталям биографии уделялось бы такое скрупулезное внимание, где мы могли бы узнать, как вел себя герой в подготовительном классе реального училища («19 марта. Хлопнул в ладоши, когда дежурный... не мог прочесть молитвы»), где на многих страницах цитировались бы донесения филеров («8 сентября от 9 ч. 30 мин. утра до 8 ч. вечера: «...вышел из дому в 10 час. 25 м. утра сел в трамвай... доехал до Пушкинской ул. слез и пошел... 9 сентября... пошел в булочную Филиппова в дом № 114 по Невскому пр. ...купил булок») и где господствовало бы такое непонимание главного в облике художника и такое, не побоимся сказать, неуважение к его памяти.

Начать хотя бы с воспоминаний В. П. Калицкой, первой жены Грина (кстати, объединение под одним переплетом мемуаров В. П. Калицкой и Н. Н. Грина, то есть двух жен писателя, трактовавших его характер совершенно по-разному, создает эффект несколько даже комический).

Судя по всему, В. П. Калицкая была женщиной крайне трезвой, рассудочной, антиромантической, творчества Грина не понимала вовсе и обращалась к его произведениям, пожалуй, лишь для того, чтобы в очередной раз удивиться, сколь велико расхождение между Грином-писателем и Грином-человеком.

Все записи Калицкой пронизаны горе-

чью несложившегося семейного счастья. Можно посочувствовать мемуаристке, но нельзя посочувствовать тому, что спустя полвека Вл. Сандлер делает историю ее matrimониальных огорчений достойным массового читателя (тираж сборника — 100 тысяч экземпляров!).

Между тем добрых три печатных листа воспоминаний скрелены именно историей этих огорчений: «...идиллия очень скоро кончилась... обычная мнительность Александра Степановича... никаких объяснений он не терпел... не выносил замечаний... перспектива жить в деревне с пьянствующим Александром Степановичем показалась мне нестерпимой... во хмелю он зол...» и т. д. и т. п.

Обида и непонимание окрашивают буквально все штрихи к портрету Грина в воспоминаниях Калицкой, причем к портрету не только человеческому, но и литературному. Чего стоит, например, такая деталь «творческого процесса» Грина: если «тема не находилась», он-де говорил, что «надо принять слабительное», то бишь «начитаться вдоволь... книг, в которых можно было бы найти занимательную фабулу, нравящегося героя, описание местности или просто какую-нибудь мелочь...». В главе «Отношение Грина к музыке и театру» нехитрый перечень нескольких мелодий, упоминаемых в книгах Грина, завершается ироническим: «Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу: перечисленные музыкальные произведения почти исчерпывают репертуар Александра Степановича. Он усвоил их, вероятно, слыша в ресторанах...» О круге чтения Грина Калицкая пишет: «Читал Александр Степанович... что попадалось под руку. Если начинал чувствовать, что автор ему несимпатичен, тотчас бросал книгу», а на вопрос, кого из русских писателей любит больше других, отвечивал «не задумываясь»: «Гоголя, Пушкина, Толстого и для развлечения (разрядка моя.— В. К.) — Чехова...»

Справедливости ради надо заметить, что в случае с Чеховым, как и в некоторых других случаях, когда несообразность утверждений Калицкой слишком уж очевидна, Вл. Сандлер пытается в примечаниях подправлять автора, но подобные попытки весьма малоэффективны, ибо, во-первых, вряд ли широкий читатель внимательно изучает примечания, а во-вторых, общая концепция Калицкой относительно «несовместимости двух ликов» Грина, «человека

частной жизни и писателя», вполне совпадает с нежеланием составителя искать жизнь Грина в его книгах.

Изображение человека «частной жизни», начатое Калицкой, успешно подхватывается и развивается в целом ряде последующих воспоминаний. Неоднократно упоминается, что Грин лечился от алкоголизма в частной психиатрической лечебнице. Приводятся сведения по части винно-водочных изделий: «В то время продажа водки была запрещена, а производство пива только начиналось». Бесхитростно повествуется о том, как Грин в период своей связи с эсерами молниеносно растративал деньги, получаемые «из скудных средств организации», причем факт этот комментируется с непередаваемым изяществом: «Деньги не держались у него, они словно жгли ему пальцы...» Со слов Калицкой, которой якобы рассказывал сам Грин (никаких документальных подтверждений, насколько нам известно, этот факт не имеет), воспроизводится эпизод, когда Грин всадил в любимую женщину пулю из пистолета за то, что она отказалась стать его жефой (с трогательным резюме Вл. Сандлера: «Они расстались навсегда, но Грин часто вспоминал ее...»). Делается достоинием потомства просьба Грина к Горькому: «Не осчастливите ли Вы меня содействием в получении где-либо 1-й бутылки спирта?» и т. д. и т. п.

Не будем закрывать глаза на правду: Грин прожил тяжелую, горестную жизнь, в ходе которой сложился характер противоречивый. во многих проявлениях даже болезненный. Да, были и случайные увлечения, и попытки найти забвение в кутежах, и вечная погоня за деньгами, заставлявшая Грина писать «пятикопеечные» рассказы (которые, кстати, вовсе не обязательно ныне поспешно перепечатывать из забытых журнальчиков и газеток), и желчность, и обидчивость, и обостренное самолюбие. Но ведь под всеми этими наслоениями пряталась душа прекрасная, строй мыслей высокий, творческие потенции огромные, восприимчивость к добру удивительная. Глядя на многие фотографии Грина, запечатлевшие тяжелое, мрачное, изборозженное резкими морщинами лицо, как не вспомнить блоковское: «Простим угрюмство — разве это сокрытый двигатель его? Он весь — дитя добра и света, он весь — свободы торжество!» На лучших произведениях Грина лежит свет поразительной

духовности, нравственной бескомпромиссности, и думается, что именно эти произведения и представляют самую существенную «документацию» личности художника. Но именно мимо такой документации многие мемуаристы проходят совершенно равнодушно.

Мемуары — литературный жанр, подразумевающий обязательное участие автора в описываемых событиях. Если речь идет не о событиях, а о человеке, — участие в его жизни. Внутренняя жизнь Грина была настолько замкнутой, что в ней, вероятно, мало кто «участвовал». Во внешней жизни участвовали многие, но «траектории» знакомств не пересекали судьбы Грина, а скользили мимо нее, по касательной. В этом «скольжении» Грин предстал перед людьми в стереотипном облике мрачного, много пьющего и эксцентричного чудака, о котором если что и осталось в памяти, то, по признанию Э. Арнольди, «действительно пустяки, хотя и забавные»...

Беда «Воспоминаний об Александре Грине» объясняется, конечно же, не каким-то злым умыслом, не сознательным намерением скомпрометировать автора «Алых парусов» (хотя читатели и почитатели замечательного романтика будут в достаточной степени смущены и растеряны, познакомившись с его «частной жизнью»), но скорее всего тем, что в книге участвует немало людей, либо просто знавших Грина очень поверхностно, либо чуждых его творческому видению мира, либо даже успешно помноживших свое незнание на непонимание.

Скажем, писатель Лев Гумилевский некогда «оказался случайным соседом» Грина на страницах еженедельника «XX век», а потом «часто заставал его в столовой Дворца труда». Единственное его воспоминание звучит следующим образом: «Александр Степанович как-то заметил, когда я, взяв бутылку пива, усаживался рядом: «Можно отсюда и не уходить вовсе, все под боком. Даже и заночевать можно где-нибудь на диване!» Если учесть при этом откровенное признание Л. Гумилевского: «Грин как писатель меня не интересовал» — а также то, что Грин как писатель не интересует мемуариста и в пору работы над воспоминаниями (в противном случае Л. Гумилевский вряд ли увидел бы в произведениях Грина героев, «слегка лишь прикрытых псевдонимами, чтобы не слишком походить на живых»!), то историко-литературная цен-

ность подобных мемуаров уже не потребу-ет комментариев...

Понятно, что воспоминания в книге о Грине разные — и по своему литературно-му уровню, и по встающему за их строка-ми облику мемуаристов, и по насыщенно-сти фактическим материалом. И мы не хоте-ли бы ставить в один ряд с упомянутыми страницами воспоминания хорошо чувство-вавших своеобразие Грина-человека и пре-красно понимающих своеобразие Грина-ху-дожника М. Слонимского или В. Рождест-венского точно так же, как не хотелось бы объединять по принципу «семейной» со-причастности записки В. П. Калицкой и Н. Н. Грин. Кто знает мемуары Н. Н. Грин целиком, может только пожалеть, что они изданы не полностью. В них виден яркий пример того, как могут быть поняты и ос-мыслены житейские слабости и недостатки художника, чья жизнь и творчество высту-пают в восприятии духовно близкого ему человека нераздельно. Однако общее зву-чание книги определяется, к сожалению, не лучшими ее страницами.

Парадоксально, но факт: обрушивая на чи-тателей поток деталей «частной жизни» Грина, биографы делают это вовсе не для того, чтобы бросить тень на имя писателя. Напротив, они преследуют цели вполне кон-структивные. Они хотят защитить Грина от тех, для кого слово «романтик» звучит руга-тельно. Они пытаются полвека спустя вос-становить справедливость, уже давно восста-новленную самим ходом развития литерату-ры, не понимая, что писатель побеждает время только одним — объективной, прокла-дывающей путь сквозь любые конкретно-исторические обстоятельства и оценки художественной силой своего творчества, что Грин нуждается не в защите и не в све-дении счетов с его стародавними противни-ками, но в новых подходах к глубинному смыслу его произведений, оригинальных научных интерпретациях, в объяснении эс-тетического воздействия слова писателя се-годня...

Принцип «интересен не этим» время от времени дает о себе знать и в работах, по-священных самому Маяковскому. Успехи со-ветского маяковедения в последние десяти-летия весьма ощутимы.

Творчество и литературная деятель-ность поэта стали разворачиваться перед нами в трудах В. Перцова, А. Метченко, Л. Тимофеева, Ю. Сурмы и других, в мате-риалах многочисленных дискуссий и конфе-

ренций, в книгах, исследующих литерату-рный процесс и литературное движение 20-х годов, во всем своем историческом объе-ме, во всей своей живой и подчас драма-тической сложности. Естественно, что каж-дая новая книга о Маяковском вызывает живейший интерес и критики и читателей. Тем более досадны уже знакомые нам инто-нации, прозвучавшие в сборнике «Маяков-ский в воспоминаниях родных и друзей».

Составители собрали здесь ряд неизвес-тных широкому кругу читателей материалов, рассеянных по разного рода центральным и периферийным изданиям.

Некоторые воспоминания появились в пе-чати впервые. В чем-то книга расширила наши представления о революционной дея-тельности Маяковского (воспоминания Х. Ставракова, П. Лидова, И. Карахана), о яркой человеческой одаренности, привлека-тельности этой натуры (воспоминания Н. Хлестова), о напряженности литерату-рной борьбы 20-х годов. Вместе с тем в целом материалы сборника отличались крайней не-однородностью. Многие в них было явно спроецировано в прошлое из будущего (ска-жем, учительница, когда-то готовившая Мая-ковского в гимназию, не уставала поражать-ся «серьезностью и вдумчивостью» восьми-летнего мальчика, его особым интересом к произведениям, где «описывалось тяжелое положение народа», «большим вдохнове-нием» при чтении вслух стихов, «логическим мышлением», «юмором и остротой» и вооб-ще «развитием его могучего таланта» уже в то время), кое-что выглядело просто ком-ичным: «Он победал у нас, причем ему особенно понравился вертут (сладкое сло-еное тесто с орехами и медом), который приготовила моя жена».

Однако главным недостатком книги были не эти частности — ее ценность, несомнен-но, снижалась несколькими бестактными по отношению к памяти поэта публикациями, которые, увы, к тому времени уже имели свои прецеденты. Речь идет в первую оче-редь о записях близкой к «Лефу» художни-цы Е. А. Лавинской.

Воспоминания Лавинской — дневник, не предназначенный для посторонних глаз. Если их и нужно было печатать, то не ина-че как в сопровождении добротного исто-рико-литературного комментария. А его-то в сборнике и нет.

Воспоминания открываются записью 1948 года, словно бы сконцентрировавшей весь их смысл: «18 лет тому назад в этот

час Маяковский был жив. Но вопрос жизни и смерти был решен. В том году великий поэт был окружен врагами...» И далее следует свыше трех печатных листов в высшей степени субъективных суждений о «врагах», в амплуа которых выступают здесь многие известные деятели советской литературы и культуры...

Объективное историческое значение тех или иных литературных явлений, реальное соотношение тех или иных культурных тенденций в складывавшемся и крепнувшем социалистическом искусстве автора дневника, естественно, не интересовало. Это, повторяем, записи сугубо личные и сугубо субъективные, делавшиеся, вероятно, в аффектированном состоянии человеком, искренне уверенным, что «Леф» сыграл злодейскую, роковую роль не только в его собственной профессиональной судьбе, но и в истории всей советской литературы.

Аттестуя одного участника группировки как «фанатичного догматика с лицом иезуита», другого как развратника и т. д., Е. Лавинская писала «для себя». Но даже в этом самоисповедальном жанре она начинала под конец испытывать некоторое неудобство: «Мне стыдно писать об этом...» Тем более трудно понять критика М. Бочарова, который в журнале «Молодая гвардия» (№ 10, 1969), защищая эти воспоминания от справедливых упреков Ал. Дымшица (см. «Литгазету» от 5 февраля 1969 года), усматривает здесь «безусловно ценное» содержание.

В повести Зои Богуславской «Семьсот новыми» некий спекулянт-букинист по прозвищу Подробность делает бизнес на историко-литературных сенсациях, заманивая, в частности, покупателей «таинственными намеками на некие малоизвестные стихи раннего Маяковского и неизданные мемуары Айседоры Дункан о последних встречах с Есениным». Между этой малопривлекательной фигурой и главным героем повести филологом-аспирантом Костей Добровольским на первый взгляд есть явное сходство — герой тоже гоняется за предметами интимного «антиквариата»: он не может завершить диссертацию «Трилогия А. В. Сухово-Кобылина — сатирическое разоблачение века», пока не выяснит, «был ли причастен автор трилогии к убийству своей возлюбленной», французенки Луизы Симон-Деманш.

Вокруг работы аспиранта в повести разворачивается целый внутренний диспут: «Ка-

залось бы, к чему ему доподлинные факты жизни художника? Творения Сухово-Кобылина и есть суть его... души, эстетики и этики». Однако это вполне резонное соображение тут же эффектно опровергается: «...Костя уже не мог относиться к Сухово-Кобылину только как к теме. Ему важен был человек. Его судьба, его побуждения».

Не будем принимать всерьез детективные гипотезы Кости Добровольского, но не будем и смеяться над его научной добросовестностью: биографические факты, бросающие новый свет на творческое развитие писателя, конечно же, должны изучаться самым пристальным образом. Скажем, многое в художественном мировосприятии Достоевского не может быть понято вне психологического опыта его каторги. Более ста лет внимание ученых приковано к смерти Пушкина — обычная на первый взгляд дуэль из-за обычной и, возможно, вполне беспредметной ревности оказалась теснейшим образом сопряжена с Историей.

Знание обстоятельств личной жизни полезно и просто как подсобный материал для комментария к тем или иным произведениям. Тут нам могут «пригодиться» и оба брака Грина, поскольку его отношения с первой и второй женами явно сказались на эволюции и типологии излюбленных образов гриновских героинь.

Меньше всего хотелось бы быть заподозренным в ханжестве и пуризме. Напротив, мы считаем, что даже сугубо биографический подход к творческому пути художника — как один из возможных принципов исследования — вполне правомерен и способен углубить историко-литературную интерпретацию. Вызывают сочувствие размышления, которыми Егор Исаев предваряет книгу Ю. Прокушева: «О Есенине писали и говорили... что-де, мол, он в своих ранних стихах подвержен был религиозным влияниям. А где была улица? Где была мальчишеская дружба? Красавица Ока, лес, поле, тяжкий труд на этой земле? Где же были сказки бабушки? Где же были, наконец, живая речь крестьян, застольные и уличные песни? Налицо очевидный перекос: иконостас перетянул живую жизнь»¹.

И если уж судить книгу Ю. Прокушева по закону, самому себе автором определенным, то как раз стоило бы, вероятно, упрекнуть ее в недостаточной разработке ря-

¹ В кн.: Ю. Л. Прокушев. Сергей Есенин. Поэт. Человек. М. «Просвещение». 1973.

да существенных биографических моментов, касающихся, например, связей Есенина с Клюевым, с имажинистами, истории его любви к Айседоре Дункан и прочего, в том, что детство и юность «перетянули» здесь жизнь зрелого поэта.

Но как углубляет наше понимание творчества писателя сообщение, что Грин, погостив на даче Елпатьевского... увез с собой хозяйское одеяло?

Никто не собирается отдавать «возвышающему обману» предпочтение перед «тьмой низких» биографических «истин». Речь идет о другом — о целях биографических разысканий, о наличии в них творческой «сверхзадачи».

Представляется совершенно очевидным, что — во имя решения такой сверхзадачи — целый ряд биографических деталей мы имеем право использовать только для «внутреннего потребления», передавая их читателю в «снятом» виде, то есть в форме более углубленного понимания и толкования каких-то художественных решений. Будучи опубликованными в качестве деталей «просто» человеческого поведения, они приобретают ту непомерную самооценку, которая способна придать подобной информации именно характер подглядывания в «замочную скважину». И потом — есть же, в конце концов, такая (государственная!) форма хранения и передачи информации, как архив!

«„Сереза“ как литературный факт — не существует, — заявлял Маяковский. — Есть поэт — Сергей Есенин. О таком просим и говорить». Не существуют в истории литературы и «Володя» и «Саша». Каждого исследователя, всерьез претендующего на звание биографа писателя, ждет серьезная, требующая творческой интуиции и психологического проникновения работа по органическому синтезированию фактов самых разных рядов, приведению их к «общему знаменателю», сохранению здесь точных масштабов и выверенных пропорций.

Изучение истории литературы не топчет с на месте.

Обнаруживаются неопубликованные произведения, новые биографические подробности, время меняет акценты и оценки общеизвестного... И нам предстоит каждый раз заново устанавливать сложный «баланс» между приобретенным и приобретаемым, приводить наши открытия в соответствие с тем, что уже давно открыто и самим ху-

дожником, и прежними исследователями его творчества.

К сожалению, вместо поисков подобного «баланса» читатель сплошь и рядом наблюдает лишь неукротимый энтузиазм литературных «Колумбов», устремляющихся к неведомым берегам. Объектом такой «колумбианы» нередко становится не только личная, но и общественная биография писателя. Быть может, наиболее примечательны в этом смысле зигзаги «гриноведения».

Взаимоотношения Грина с революцией были куда как не простыми. В начале 900-х годов он в силу ряда жизненных обстоятельств попал под влияние эсеров, угодил в тюрьму за политическую пропаганду, прошел через ссылку. Тем не менее о революционной биографии Грина можно говорить лишь в самом широком смысле слова: в эсеровской программе Грин очень скоро разочаровался, а ссылка оказалась расплатой — крайне затянувшейся из-за побега и вторичного ареста — за ошибки молодости. В «Автобиографической повести» и ряде ранних, «реалистически» рассказов писатель очень хорошо все это объяснил.

Февральскую революцию Грин встретил восторженно, а Октября испугался — испугался того «разрушения культуры» и жестокости классовой борьбы, которая оттолкнула тогда многих представителей русской либерально-демократической интеллигенции, занявших позицию абстрактной гуманности.

Однако Грин сумел со своим испугом справиться, остался по «эту сторону баррикад», а творчество его отразило объективную эволюцию достаточно индивидуалистически и пессимистически окрашенного в свое время мироощущения к новым, социалистическим по своей сути этическим ценностям и эстетическим идеалам.

Имя Грина уже при жизни было окружено невероятными историями, причем окружено до такой степени, что, работая над «Автобиографической повестью», писатель намеревался снабдить ее предисловием под выразительным названием «Легенда о Грине», где с иронией перечислял ходившие о нем слухи: «...плавава матросом... убил английского капитана, захватил ящик рукописей, написанных этим англичанином...»; «бежал с каторги, куда был сослан за убийство жены...»; «...притворяется, что не знает языков, хотя хорошо знает их...» и т. д. и т. п.

Легендами на протяжении десятилетий

пробавлялись не только «биографы», но и профессиональные критики — интерпретаторы творчества Грина, создавшие о нем несколько крупных и далеко не безобидных мифов, начиная с дореволюционной версии об «иностранце русской литературы», существующем вне каких-либо отечественных художественных традиций, и кончая позднейшими «открытиями», согласно которым Грин расценивался как «архиреакционное явление», а его излюбленный герой объявлялся «предвосхищенным автором гитлеровским молодчиком, фашистом, жаждущим уничтожать людей»...

Все это сейчас воспринимается как цепь вопиющих исторических несправедливостей, которую оборвала растущая популярность Грина среди самых широких читательских масс, сегодняшняя наша обращенность к гриновской романтике, к художественному своеобразие созданного им мира. Произведения Грина издаются и переиздаются миллионными тиражами, переводятся на иностранные языки, экранизируются, по их мотивам сочиняется музыка и пишутся стихи, их исследуют в диссертациях у нас и за рубежом.

И уже на волне этой славы начинает твориться новая, столь же антиисторичная, как и все другие, легенда — о Грине-революционере.

Из связи с эсерами, ранее дававшей повод только для общественной дискредитации писателя, теперь может быть сделан вывод: «Куда бы ни забрасывала Грина судьба, везде он служил... революции». С непомерным усердием раздуваются все обстоятельства его политического дела (вплоть до уже цитированных донесений филеров, фамилии которых Вл. Сандлер, кстати, с полной серьезностью помещает в именной указатель к сборнику!). В политических взглядах Грина выискиваются и подчеркиваются прогрессивные черты. Даже в прошении Грина на имя министра внутренних дел, где черным по белому пишется, что «в мирозерцании моем произошел полный переворот, заставивший меня резко и категорически уклониться от всяких сношений с политическими кружками», составитель ухитряется увидеть лишь «камуфляж», «словесный ритуал» и даже «сознательное искажение фактов». Восторги Грина по поводу Февральской революции незаметно начинают выглядеть восторгами по поводу Октябрьской, а антидемократические выступления (вроде «Реквиема») в

аверченковском «Новом Сатириконе», превратившемся после Октября в откровенно реакционное издание, стыдливо замалчиваются, будто бы их и не было.

В результате вся реальная историческая сложность, весь драматизм пути художника к революции выхолащивается, и читателю преподносится некая адаптированная биография, сильно смахивающая на лубок.

Здесь самое время процитировать Ю. Прокушева: «Противоречия во взглядах и творчестве Есенина являлись глубоким и серьезным отражением в его душе действительных явлений жизни... Отнять у Есенина его противоречия, драматизм, умолчать о некоторых произведениях, а другие, наоборот, выпятить — это значит обокрасть и поэта и самих себя».

Очень верная мысль! Но вот перед нами другое произведение о Есенине, не литературоведческое, а художественное, объемистый роман А. Андреева «Есенин», жанр которого обозначен как «легенда» (то ли для того, чтобы подчеркнуть его поэтический настрой, то ли для того, чтобы оговорить право на вольное обращение с фактами, хотя автор обильно привлекает документальный материал).

Подробно рассматривать роман А. Андреева пока что, вероятно, преждевременно. Перед нами только детство и юность поэта, по существу — «допрофессиональный» период его жизни: Константиново, Спас-Клепики, Москва, работа в типографиях. Есенин как великий русский поэт весь впереди, и есть основания полагать, что автор продолжит повествование. Но биографические пропорции его уже явно смещены — и потому, что подобного размаха «зачин» для сохранения реальных масштабов целого требует множества томов, посвященных зрелости героя, и потому, что участие Есенина в революционной деятельности типографских рабочих подано таким крупным планом, при котором жизнеописание поэта действительно превращается в «легенду». Да, Есенин и революционные листовки распространял, и слесжке подвергался — все это факты широко известные. Но нужно ли их до такой степени гиперболизировать? Исторично ли это?

«...Приехав в большой город, Есенин вошел в круг революционно настроенных рабочих и демократического студенчества. Но не в рабочем городе и тем более не в революционном движении видел Есенин ис-

точники своей поэзии. Вышеприведенные факты связи Есенина с рабочей средой не стали фактами его поэтической жизни», — писал К. Зелинский в предисловии к пяти-томнику Есенина. Ю. Прокушев, подчеркнув, что «рабочая среда оказала свое благотворное влияние на Есенина», вместе с тем полагает, что, «говоря о связи Есенина в 1912—1914 годах с революционным рабочим движением... не следует преувеличивать революционности его дел и поступков».

Конечно, великий художник — всегда революционер. В этом смысле революционер и Есенин. Больше того, хотя Есенин не побывал в тюрьмах и ссылках, его взаимоотношения с революцией выглядят гораздо более основательно и социально мотивированно, нежели, скажем, у Грина. Ведь их «корневая система» уходит в мощные слои русского крестьянства. Творчество Есенина во многом — «зеркало русской революции» на новом ее этапе с той самой точки зрения, с какой Ленин оценивал творчество Л. Толстого. А помните у Горького: «Сергея Есенина не спрячешь, не вычеркнешь из нашей действительности, он выражает стон и вопль многих сотен тысяч, он яркий и драматический символ непримиримого раскола старого с новым?»

Однако насколько же все эти связи сложнее, серьезнее, значительнее, нежели эпизоды с распространением листовок...

Рассматривая на страницах «Литературной газеты» мемуары последних лет, Ф. Чапчахов не без оснований отмечал в них черты идеализации и сусальной олеографичности, стремление к «щедрой раздаче лавровых венков». апологетический тон, оборачивающийся в конечном итоге «искажением реального облика того, о ком вспоминает мемуарист». Конечно, значение творчества Маяковского, Есенина или Грина трудно «завысить». Но упростить в своем поклонении этим художникам живые противоречия их творческого развития, реальную сложность их социальных и профессионально-литературных связей, свести всю многозначность их взаимоотношений с историей к одной лишь прямой и неуклонно восходящей линии, как мы имели случай убедиться, вполне возможно.

Именно такой многозначности, сложности, объемности недостает и литературным портретам Вс. Иванова и Бабеля, какими они вырисовываются на страницах сборников воспоминаний, а ведь у этих замечательных

писателей была хотя и очень разная, но в обоих случаях весьма сложная творческая судьба!

Есть в книге «Всеволод Иванов — писатель и человек» щемящая нота, с предельной выразительностью прозвучавшая у В. Шкловского: «У Всеволода большая квартира, большая семья. Мебель хорошая и такая, какой больше не встретишь в других квартирах, неповторяющаяся. В большом столе из карельской березы, удобном и вместительном, лежали непринятые рукописи.

Издавали и переиздавали «Партизан».

В театре шел «Бронепоезд».

В столе лежали написанные, непринятые пьесы.

Всеволод был заключен в своем прошлом, при жизни произведен в классики.

У входа в его жизнь поставили каменные ворота из лабрадора...

Лабрадор загораживал жизнь...»

Мемуаристы называют те или иные рукописи, оставшиеся в столе из карельской березы, но только Александр Крон делает попытку по существу порассуждать о творчестве Вс. Иванова, о его методе, о его противоречиях, о его взаимоотношениях с читателем. Из воспоминаний вырисовывается обаятельнейший образ Иванова-человека, но Иванов-писатель во многом остается для нас «загороженным» все тем же лабрадором...

Нет нужды говорить, какими огромными возможностями для всестороннего исследования и «человеческой» и творческой сущности своих героев, для исследования личности во всей полноте ее бытия располагает реалистическая художественная проза, тем более — проза романного масштаба.

«В Маяковскому долго не ставили памятников. Не только потому, что поэт был убежденным противником «бронзы многопудья»... не находилось скульптора, готового и способного изваять монумент» — так начинает А. Субботин свои заметки о романе А. Никулькова «На планете, мало оборудованной». И это чувство удивленной настороженности — действительно самое первое и естественное чувство, с которым читатель приступает к эпическому произведению о Маяковском. Тут уж требовательность у всех предельная, отношение — сугубо личное, и трудно было бы даже ожидать, чтобы опыт сооружения подобно-

го литературного «монумента» сразу удался на славу...

Впрочем, мы не собираемся заниматься здесь рецензированием романа А. Никулькова — это тема особого разговора. Обратимся к нему лишь в той мере, в какой требует аспект нашей статьи.

Вполне возможно, что тема «личной. домашней, интимной жизни поэта» «не созрела ни для биографических изысканий, ни для художественных произведений», как то полагает, рецензируя роман в «Литгазете», критик И. Эвентов. Однако романист уделяет этой теме одно из центральных мест в своем произведении, и, следовательно, нам остается отнести к ней как к объективной данности. И. Эвентову кажется, что Никульков не добился здесь успеха. С точки зрения желаемого это действительно так — слишком сложен и неподатлив, слишком затрагивает за «живое» сам материал.

Тем не менее нам кажется, что по сравнению с иными мемуарами и статьями о Маяковском романист делает значительный шаг вперед. Изображая личную жизнь поэта, он, во всяком случае, занимает единственно реальную в настоящее время позицию — не берет на себя прокурорских функций — и рисует взаимоотношения героя с близкими ему людьми через самого Маяковского, а не через сегодняшние представления о должном.

В романе наглядно открывается и некая область уже специфически художественных затруднений биографического жанра.

Дело в том, что роман о Маяковском есть одновременно и роман о его эпохе. Поэт был активнейшим участником литературной борьбы, «военачальником» художественной группировки, многое в его позициях и оценках (мы имеем в виду прежде всего статьи и выступления, а не поэтическое творчество, где Маяковский выходил к широкому обобщению, используя левовские формулы лишь в качестве поэтических метафор) диктовалось полемическим пафосом, задачами момента.

Общая картина и объективный смысл литературного движения 20-х годов, как оно нам видится сегодня, неадекватны восприятию Маяковского, и тут приобретают силу уже законы собственно художественного творчества: по существу, речь идет о точке зрения героя и точке зрения автора-повествователя. Но А. Никульков даже не пытается создать у читателей чувство истори-

ческой дистанции, исторической перспективы, и это значительно снижает достоинства его романа. К примеру, Алексей Толстой фигурирует в романе лишь в формуле Маяковского: «бывший граф, который въехал в Москву из эмиграции на белом коне своих сочинений». Сложные отношения поэта с Горьким, в которых Маяковский занимал достаточно прямолинейную и уж во всяком случае «наступательную» позицию, подаются без каких-либо авторских коррективов. Борьба «Лефа» и Маяковского с психологизмом как с «психоложеством» (ее жертвой, в частности, был и Фадеев со своим «Разгромом») в романе выглядит как бы совершенно оправданной и необходимой, и т. д. и т. п.

Сегодня в реалистическом романе, который вводит в широкий читательский оборот картину сложного и противоречивого движения советской эстетики 20-х годов, уже невозможно давать слово только одной какой-нибудь «стороне». Разумеется, наше последующее знание не должно выражаться в модернизации истории, в наведении ретуши на исторические факты, в приписывании участникам литературной жизни несвойственных им позиций и поступков. Художник всегда располагает достаточными средствами для того, чтобы ввести в повествование свою точку зрения, не нарушая его исторической достоверности (это, кстати, успешно делалось даже в таких трудных для авторских коррективов повествовательных формах, как, например, в «Жизни Клима Самгина», представляющегося нам ныне, после расшифровки большинства его реалий, романом именно историческим, если даже не документальным).

Справедливости ради следует указать на то, что и в романе А. Никулькова есть линия, исторически скорректированная и многомерная. Мы имеем в виду отношение Маяковского к Есенину. Известно, что Маяковский после самоубийства Есенина в своих публичных выступлениях говорил о нем весьма жестко и какого-либо принципиального различия между понятиями «Есенин» и «есенинщина» специально не проводил. Но автор, художественно осмысляя эту проблему, руководствуется не столько высказываниями своего героя, продиктованными реальным опасением, что сильные предсмертные строки Есенина многих подведут под револьвер, сколько той многосторонней поэтической трактовкой личности и творчества Есенина, которая дана в зна-

менитом стихотворном послании Маяковского.

К сожалению, подобной объемности понимания и изображения А. Никульков достигает не часто. Мы бы сказали даже, сознавая всю рискованность этого тезиса применительно к произведению исторического жанра, что роману остро недостает свободы художественного освоения и интерпретации фактов. Где-то на середине он уже начинает определенно восприниматься как летопись жизни и творчества, построенная — подобно всем летописям — сугубо эмпирически.

Образу Маяковского в романе не хватает красок внутренней жизни, богатства психологических состояний, того, что мы сейчас называем самодвижением характера, то есть такого его развития во взаимодействии с окружающей средой, которое не запрограммировано в сюжетной схеме и не может быть документировано, даже если речь идет о лице историческом, но художественно адекватно сложной закономерности кажущихся на первый взгляд произвольными жизненных процессов. Писатель и в историческом жанре пересоздает мир реальный в мир художественный, а не фотографирует историю, писатель и здесь сохраняет право на домысел, право утверждать исходя из внутренней логики развития образа: «Этого не было, но если бы было, то было именно так».

Мы понимаем, что касаемся проблемы не менее сложной и дискуссионной, чем проблема современного прочтения истории. В самом деле, каково должно быть соотношение факта и вымысла в историческом романе? Кому эти пропорции известны? И не подтолкнем ли мы писателя к искажению истории, к авторскому произволу, если станем доказывать, что вымышленный эпизод, ситуация, реплика могут дать читателю в смысле постижения характера исторического героя и его эпохи гораздо больше, нежели факт?

Вот, кстати, любопытное рассуждение на эту тему историка. Доктор исторических наук С. Утченко пишет: «При чтении исторических романов почти всегда возникает вопрос: насколько позволительно автору отступать от исторической действительности, то есть от засвидетельствованных источниками фактов, событий и реально действовавших лиц? Не углубляясь в дискуссию... замечу лишь, что соотношение между исторической «фактурой» и вымыслом в

беллетристическом произведении, на мой взгляд, определяется интуицией, тактом автора. Но интуиция должна, несомненно, опираться на безупречное знание материала». Наиболее общее требование, которое мы можем предъявить к авторской фантазии, как полагает С. Утченко, лишь одно — она не должна «вызывать протестов историка».

Но ведь есть и столь же беспорное требование, связанное уже с отсутствием авторской фантазии, — для читателя в определении «исторический роман» слово «роман» все же главное, а потому факт не может целиком подменить вымысла.

В произведении А. Никулькова все написано таким образом, что чуть ли не каждый его эпизод может быть снабжен библиографической сноской: это — из статьи Маяковского; это — из стенограммы диспута или обсуждения; это — из журнала «Леф»; это — из воспоминаний имярек; это — из письма... и пр. и пр. Прямая речь персонажей сплошь и рядом представляет собой раскавыченные цитаты и потому иногда производит даже комическое впечатление: «Молчал, молчал и вдруг (! — В.К.)... опять говорил, размягченно, задумчиво...»

— Социалистическую литературу я начал читать лет с двенадцати, и на всю жизнь поразила меня способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир» (выделенное см. в автобиографии Маяковского «Я сам». Собрание сочинений в 13-ти тт., т. 1, стр. 14.). Все действующие лица романа — лица подлинные и названные своими фамилиями. Фактографическая насыщенность романа огромна и свидетельствует о большой трудоемкости и добросовестности подготовительной авторской работы.

И вместе с тем роман дает яркий пример того, как документальность вредит художественности. Дело ведь не просто в том, что устная речь неадекватна письменной и, заставляя персонажей объясняться фрагментами из их печатных выступлений, автор лишает образы романа такого могущественного средства художественной индивидуализации, как язык. Чтобы стать литературным героем, функционирующим в мире художественных измерений, исторический прототип должен обрести живую плоть и кровь, детальную достоверность повседневного существования. Как бы подробно ни была документирована жизнь реального исторического лица, в ней всегда есть великое множество лакун, которые

можно заполнить только с помощью писательского воображения и интуиции.

В этом смысле автор любого исторического романа вынужден сплошь и рядом выпускать из рук «спасательный круг» факта и плыть по волнам своего повествования самостоятельно. А. Никульков «плавать» самостоятельно умеет. К лучшим страницам романа, нам кажется, относятся те, где он воссоздает процесс работы поэтического сознания Маяковского, идет ли речь о стихотворении «Сергею Есенину» или о поэмах «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин». Сильное впечатление оставляет финальная часть романа, в которой автор пытается связать воедино многие мотивы и причины психологической депрессии поэта, заставившей его взять в руки револьвер. Но большей частью А. Никульков находится под гнетом документа, внутри него, а потому и вне полноты художественной правды, причем особенно это сказывается не столько даже на образе Маяковского, сколько на разработке фигур других исторических персонажей. Брик и Третьяков, Авербах и Либединский, Полонский и Асеев, Кирсанов и Шкловский, Пастернак и Фадеев, Луначарский, проходящий через всю книгу,— все это скорее «знаки» каких-то литературных воззрений и платформ, нежели живые люди со своими индивидуальными характерами.

В то же время и сам Маяковский предстает перед читателями в достаточно «обуженном» виде — либо в групповой литературной борьбе, либо в любовных коллизиях. Вполне возможно, что подобные координаты действительно до известной степени могут быть опорными в работе над биографическим произведением о Маяковском. Но совершенно очевидно, что бесчисленное множество ярких внутренних проявлений замечательно одаренной натуры поэта в эту «сетку» не укладывается...

Было бы крайне опрощенным сделать из всего сказанного вывод, что в художественном произведении с реальной историко-литературной проблематикой опора на факты не нужна, что она сковывает писателя, мешает домысливанию и угадыванию творческого облика героя и т. д. Вот, например, известная повесть Леонида Борисова о Грине «Волшебник из Гель-Гью» построена по принципам, прямо противоположным роману А. Никулькова: реальные персонажи книги живут и действуют в насквозь вы-

мышленных ситуациях, а вымышленные документы воспроизводят как раз только те взгляды и мысли героев, которые, по мнению автора, им могли бы принадлежать.

В случае с повестью Л. Борисова речь должна идти уже не о доммысле, не о творческом «дорисовывании» реальности там, где ее невозможно восстановить иным путем, не о художественном развитии характера, ни в чем не противоречащем его сохранным историей чертам.— словом, ни о чем таком, без чего художественная литература, на какие бы реалии она ни опиралась, вообще не может существовать.

Здесь мы сталкиваемся с заведомой мистификацией читателя, с приписыванием Грину, Бунину или Куприну суждений, никогда ими не высказывавшихся, с введением исторических имен и известных биографических моментов в такой эклектично-фантастический контекст, который все связи изображаемого с действительностью просто обрывает.

С точки зрения внешних и «внутренних» событий Л. Борисов выбрал период, прямо сказать, наименее для судьбы Грина характерный,— его петербургский быт 1913—1914 годов, «богемные» знакомства, кутежи, личную неустроенность. Позади — скитания по России, приобщение к народной жизни, революционные искания и разочарования, тюрьма, ссылки, первые шаги в беллетристике. Впереди — революция, крайне сложное и драматическое вхождение Грина в советскую литературу, впереди — лучшие его произведения. Иными словами, наиболее насыщенный фактами, социально значимый и богатый реальными конфликтами материал творческой биографии героя остался за пределами повести. И это не случайный момент, а принципиальная позиция, ибо Грин Л. Борисова сознательно противопоставлен действительности как художник, ничего общего с ней не имеющий, существующий имманентно, внутри «творимой» самим собой легенды, в роли героя выдуманной для себя же «Гринландии».

Пожалуй, единственный канал, по которому «впадает» в повесть реальность,— канал «гастрономический». «Еще две кружки пива, к нему мятных бомбошек и пять бутербродов с колбасой,— приказал Грин служащему...»; «Обедали дома, гостю и хозяину подали горох с ветчиной, вареное мясо с тушеной капустой, пирог с брусничным вареньем...»; «В кухне соорудили для

Бунина на подносе целую витрину: поставили два чайника — один с кипятком, другой с заваркой, положили несколько апельсинов и яблок, огромный кусок халвы...» и т. д. А на фоне этого торжества сзади разыгрываются всяческого рода мистерии с перевоплощениями глухонемой незнакомки, мудрыми вещими воронами, снами и видениями.

Если А. Никульков чрезмерно «биографичен» в узком смысле слова, то Л. Борисов, напротив, вообще пренебрегает реальностью факта, предпочитая ей ирреальность вымысла, якобы «моделирующего» творческий метод Грина, а на самом деле свидетельствующего о непонимании особых взаимоотношений гриновского романтизма с действительностью.

Грин выступает в этой книге создателем «по-театральному пышных и всегда мелодраматических рассказов», врагом всяческих «психологизмов», хватающим первый «сунувшийся» под руку фантастический сюжет и не позволяющим «яви» присутствовать в своих произведениях «хотя бы намеком»...

Повесть Л. Борисова сразу же по выходе получила в ряде рецензий недвусмысленную оценку в нашей критике: «...образ подлинного Грина — неудовлетворенного, ищущего, мечущегося — дан в ней весьма расплывчато. В своем увлечении всевозможными дешевенькими «тайнами» автор проглядел сущность своего героя» (Г. Ленобль); «Откровенной проповедью бегства от жизни является повесть Л. Борисова «Волшебник из Гель-Гью» (Н. Маслин); «...образ Грина ложен с начала и до конца, вся философия повести чужда и даже прямо враждебна философии умного и значительного писателя, о котором пишет Борисов» (Евг. Рысс) и т. д.

Несмотря на известную жесткость терминологии, эти выводы критиков повести представляются справедливыми и сегодня. Больше того — именно сегодня, после того, как появился ряд книг и множество посвященных творчеству Грина диссертаций последнего десятилетия, их справедливость кажется особенно очевидной. Но ведь рецензий 1946 года нынче никто не читает, а книжка Л. Борисова с завидным постоянством переиздается (последнее такое издание датируется 1971 годом), а следовательно, борисовская трактовка вновь и вновь делается фактом текущего литературного процесса.

Все это далеко не столь безобидно, как кажется на первый взгляд. Если Л. Борисова выдуманный им образ Грина — мистика и врага реальности — приводил в восторг, то иным критикам чуть позже эта же самая «интерпретация» дала повод для таких обобщений, которые надолго изъяли имя Грина из литературного обихода.

В конце концов Грин вернулся к читателю. Но вот в 1966 году появился лирический этюд одаренного ставропольского прозаика Андрея Губина «Чайное дерево», этаким сокращенный вариант «Волшебника из Гель-Гью», где опять возник образ отрешенного от жизни чудака, искателя кладов, любителя старинных магических рукописей, бродяги, приносившего «в жертву своим идолам себя, любимых, близких, славу» и согревающегося «в морозы у призрачных костров мечты»...

И словно в противовес подобной концепции критики и литературоведы стали лихорадочно выискивать в творчестве Грина признаки сугубого реализма, едва ли не документализма, то обнаруживая, будто Гуктас из «Возвращенного ада» — это октябрист Гучков, то устанавливая, что охотник Тинг и его подруга Ассунта в «Трагедии плоскогогорья Суан» «близки революционному подполью».

На первый взгляд может показаться, что мы все время говорим о разных вещах: одно дело — истолкование гриновского метода, другое — интерес к его биографии; одно дело — принципы художественного исследования личности Маяковского, и совсем другое — научная историко-литературная концепция творчества поэта.

Однако, как мы имели случай убедиться, не так уж далеко друг от друга все это отстоит. История литературы есть, пользуясь излюбленным термином В. Шкловского, «система — сцепление». Здесь, как зубья шестерен, сопряжены факты биографии и факты творчества; то, что говорят о себе писатели, и то, что говорят о них современные им критики, — действительность реальная и действительность, эстетически преображенная. Достаточно одной «шестерне» выйти из строя — и весь механизм перестает действовать...

Многие десятилетия биография Грина была неизвестна, реальный объем творчества не установлен. Легенды туманом клубились в биографических и библиографических провалах. Затем был вскрыт целый «пласт»

общественной биографии писателя, творчество благодаря обращению к забытым произведениям приобрело протяженность и обнаружило эволюцию. Новую информацию надо было ввести в «систему», соотнести частное с общим, найти всему естественные и пропорциональные очертания. Этого сделать большей частью не удается, «шестерни» срываются с осей и перестают зацеплять друг друга; вхолостую проворачиваются версии: «чистый романтик» — «реалист» — «революционер» — «реакционер»...

Нечто похожее происходит и с Есениным. «Одно время поэту приписывали «кулацкие» взгляды, его обвиняли в «нэпманских» настроениях, теперь намечается крен в иную сторону», — справедливо замечает критик Е. Сидоров, разбирая в «Литературной газете» роман А. Андреева.

Биографические изыскания на территории «маяковедения» тоже оборачиваются подчас существенными историко-литературными издержками. Неправомерно представлять весь литературный процесс и литературное движение 20-х годов как борьбу мелких честолюбив и протекающих вне литературы групповых склок, самой яркой разновидностью которых стала-де травля Маяковского, год от года все более настойчивая и грубая.

Эпоха 20-х годов была эпохой триумфальных завоеваний крепнущей советской литературы и в то же время эпохой ряда трагических ее потерь.

Глубочайшая диалектика темы «Судьба Маяковского» как раз и состоит в том, что здесь мы сталкиваемся с исключительной яркости примером того и другого — триумфа и трагедии, примером блистательного «первопроходческого» преодоления традиций и обстоятельств, которое было чревато неимоверным творческим напряжением, подорвавшим на какой-то миг духовные и физические силы поэта.

Сколько лет понадобилось нашему литературоведению и критике, чтобы выйти из-под магической власти формулы «лучший и талантливейший», осознать, что преодоление противоречий, сложность и драматизм творческого пути не только не умаляют фигуры Маяковского, но, напротив, позволяют увидеть поэта во весь его огромный рост!

Маяковский создавал искусство социалистического реализма рядом с Горьким, рядом и впереди многих других советских мастеров культуры. Пламенный певец рево-

люции, нашедший ей адекватную художественную форму, новатор, обозначающий целый этап в развитии мировой поэзии, талантливый и своеобразнейший драматург, блестящий прозаик, к сожалению, успевший заявить о себе только в очерке, артист, теоретик искусства, живописец — не пора ли нам уже осмыслить творчество Маяковского во всех его измерениях, перешагнув через полувековой гипноз «литдрак», которые сегодня ни для мемуариста, ни для исследователя, ни для художника уже не могут служить главной «точкой отсчета» при проникновении в духовный мир Поэта!

Отношения Маяковского с критикой зачастую действительно складывались весьма болезненно, и можно лишь удивляться, сколь основательно отказывало Полонскому или Воронскому их достаточно развитое эстетическое чутье при столкновении с поэтическим феноменом Маяковского. Но ведь нельзя забывать, что сам поэт шел навстречу своим критикам, позванивая доспехами предводителя «Лефа», что эта роль постоянно приводила его на перекрестки самых ожесточенных литературных боев своей эпохи. Добрая половина всех обвинений, адресованных Маяковскому критикой 20-х годов, либо касалась отстаиваемых им лефовских теоретических установок, либо проистекала из механического отождествления его собственной творческой программы с декларациями «Лефа».

Тем не менее, несмотря на ожесточенность критических наскоков и решительность ответных акций Маяковского, совершенно неправомерно рисовать его положение в литературном процессе 20-х годов в ореоле трагического одиночества и непонимания. Мы не говорим уже об огромной популярности имени поэта среди читателей и о том несомненном авторитете, которым Маяковский пользовался в партийных кругах («под» Маяковского открывали журналы «Леф» и «Новый Леф», Маяковскому было доверено выступать на протяжении многих лет подлинным полпредом советской поэзии за рубежом и т. д.).

Но ведь и с критикой дело обстояло куда сложнее, чем сейчас сплошь и рядом представляется.

С большим уважением и полным пониманием масштаба его таланта относился к Маяковскому А. В. Луначарский, который, даже критикуя его за футуризм в первой своей статье о Маяковском «Ложка проти-

водяня» (1918), делал это в весьма лестном для поэта контексте: гений должен быть конгенитален гениям. Луначарский постоянно подчеркивал большое дарование Маяковского, его «искреннюю влюбленность в революцию», «огромные ресурсы образов» его поэзии. Он уподоблял поэму «Война и мир» «настоящему подвигу Самсона», поэму «Хорошо!» называл Октябрем, отлитым в бронзу, и т. д. Полонский при всей остроте своей непрекращающейся полемики с Маяковским понимал, однако, что «не Чужак, не Брик... сделали вклады в историю литературного движения», а «лишь Маяковский с Асеевым трудолюбиво вертели жернова поэзии, вытирая пот со лба». Даже в нашумевшей фельетонной статье «Последние дни русского футуризма. Леф или блеф?» Полонский делал своего рода примечание: «О Маяковском не говорю: он давно превратился в классика». Только в статье «Блеф продолжается» критик дал волю личному раздражению против Маяковского, во многом спровоцированному агрессивной и подчас просто грубой «обороной» лефовцев, о чем, кстати, впоследствии весьма сожалел (см. его работу «О Маяковском», вышедшую отдельной брошюрой в 1931 году).

Даже Воронский, чье отношение к Маяковскому хронически ухудшалось от первой половины 20-х годов ко второй, по мере отхода критика от марксистских критериев анализа художественного творчества, даже Воронский, повторяем, в вопиюще несправедливых по отношению к поэту своих статьях «Маяковский» и «О художественной правде» нашел в себе достаточно объективности, чтобы сказать об «огромном таланте», о «бездне таланта» Маяковского, о том, что поэт «шире и больше футуризма и «Лефа»...».

Мы не собираемся «защищать» Маяковского от Воронского или Полонского — он в этой защите не нуждается. Нет необходимости «защищать» и критиков. Нам лишь хотелось бы подчеркнуть, что история литературы требует объективного освещения.

Литературный процесс 20-х годов отличался необычайной сложностью. Метод социалистического реализма рождался в яростном столкновении школ, традиций, мировоззрений, нередко имевшем не только профессиональный, но и политический характер. До сих пор еще идут в советском

литературоведении споры об истинном смысле и значении группировок, до сих пор мы сталкиваемся в нашей сегодняшней литературной практике с издержками вульгарно-социологических, формалистических и пр. концепций этого периода. Тем не менее 20-е годы навсегда войдут в историю советской литературы как значительный ее этап, как время формирования метода социалистического реализма, движения писателей к идейно-художественному единству.

В дискуссии, организованной в свое время журналом «Вопросы литературы» (№ 9, 1961), Б. Сучков, Л. Тимофеев и другие ее участники совершенно справедливо отмечали, что не существовало группировок вне литературы, что важно видеть и исследовать самый литературный процесс.

Между тем многое в биографических изысканиях выпадает из современного масштаба истории советской литературы, возвращает нас на пройденные рубежи. И думается, что критика, несмотря на отдельные ее удачи, еще далеко не всегда достаточно активно защищает поступательное движение научной мысли от этих потерь.

Иногда это объясняется просто какой-то нашей нерасторопностью и нелюбопытством. В постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», которому исполнилось вот уже два года, подчеркивается, что «многие книги... вообще остаются вне поля зрения критики». Сейчас это отставание всячески ликвидируется, но можно представить, сколько их было, таких книг, если роман А. Никулькова — первый в советской литературе роман о Маяковском — в течение четырех лет (с 1968 по 1971 год) «собрал» всего три критических отклика, причем только один из них был посвящен произведению в целом.

Иногда нам не хватает твердости в отстаивании принципиальной точки зрения на затронутую историко-литературную проблему: там, где нужна была бы дискуссия, серьезное подведение итогов, одиноко ютится одна-другая рецензия.

Иногда критика просто проходит мимо каких-то определенных тенденций, предпочитая их не замечать даже в случае, если эти тенденции направлены прямо против нее. В последние годы, например, многое сделано для того, чтобы поднять общественный авторитет критики, но вот ведь хотя бы упоминавшиеся нами книги — иные из них, честно говоря, способны воспитывать в

читателе разве что полнейшее неуважение к этому литературному цеху...

Сошлюсь на характерный пример. Возможно, наиболее живой и бесхитростный сборник воспоминаний последних лет — уже упоминавшиеся мемуары об Иосифе Уткине. Свет искренней любви к поэту здесь не выливается в привычный панегирик: мемуаристы держат в памяти и срывы в творчестве Уткина, и те времена, когда его стихи «начинали напоминать стихи многих», и то, что Уткин «преодолевал в себе инерцию литературщины, дешевой красоты». Общий настрой книги точно выражен в словах Эренбурга: «Не наше дело распределять по рангам, взвешивать караты и выдавать лавры, только одно можно сказать: Иосиф Уткин был поэтом».

Но стоит лишь мемуаристам коснуться современной поэту критики, их тон резко меняется вплоть до фразеологии: «чудовищные рассказы», «на руку кое-кому», «иным «гражданам вселенной» казались сомнительными строки Уткина...», «распространявшееся многими критиками мнение о байроническом высокомерии и самолюбленности Уткина...», «у Уткина были все основания для раздражения...», «безответственные нападки левовцев...», «у Иосифа Уткина было немало недостатков, но критики редко помогали ему разбираться в них» и т. д. и т. п.

Дело доходит до того, что одна вполне заурядная рецензия фигурирует в книге трижды, у трех авторов. Причем если Н. Рыленков упоминает ее в тоне спокойно-неодобрительном, не больше («Автором ее как назло, оказался мой хороший знакомый... Увидеть его подпись под несправедливой рецензией мне было особенно огорчительно»), то Лев Рубинштейн в своих очень человеческих и подчас даже трогательных мемуарах выстраивает вокруг нее просто-таки злоецкую схему: «И вдруг в газете, которой был отдан весь жар молодого сердца, он прочел о себе и только что изданной книге статью. Нет, это была не статья, а пасквиль. Уткин рванул в Москву. Над Москвой и Подмосковьем — метель. Аэродромы не принимают... И — катастрофа...»

Но, право, к авиакатастрофе рецензия на книгу Уткина не имела ни малейшего отношения! К сожалению, мемуаристы и историки литературы зачастую предстают перед нами в роли шахматного комментатора, который, уже имея перед глазами сыгранную

партию, трактует ход е2 — е4 как начало проведенной в эндшпиле комбинации...

Нельзя сегодня «гвоздить» именем Маяковского всю критику 20-х годов. И точно так же нельзя, обвиняя критиков в непонимании гриновского романтизма, проходить, с одной стороны, мимо объективных исторических причин этого непонимания, с другой — не видеть содержательных статей Л. Войтоловского и А. Горнфельда, написанных задолго до революции (1910), интересных рецензий 20-х годов (С. Боброва, Я. Фрида) или блестящих эссе 30-х годов, с которыми выступили М. Шагинян, К. Паустовский, К. Зелинский, Ц. Вольпе, А. Роскин.

Советская критическая мысль всегда активно участвовала в текущем литературном процессе и немало сделала для теоретического осознания эстетических основ советской литературы. При этом она и ошибалась — что особенно ясно нашим проницательным современникам.

Если верить, например, книге М. Шкерина, посвященной «тайнам творчества» Ефима Пермитина, то с критикой все обстояло крайне просто: литературный мир 20-х годов делился на писателей и «литературных трутней». «Трутни» травили писателей и делали «обстановку в писательской среде невыносимой». Тогда-то и подоспело постановление о перестройке литературно-художественных организаций. «Трутни... были напуганы постановлением... Прошел слух, что в создаваемый Союз писателей будут принимать только писателей... Иные из трутней набили руку на газетных статьях и коротких рецензиях. Но какое же это художественное творчество? У таких, однако, оставалась смутная надежда «пройти» в Союз писателей по жанру литературной критики — с натяжкой, конечно, и при содействии тех, перед кем на брюхе ползали...»².

Подобные вещи можно рассказывать вечером у костра, в компании охотников, но для историко-литературного труда они вряд ли годятся.

История литературы — дело серьезное и требующее серьезного к себе отношения.

«Быть заодно с гением» в жанре литературной биографии значит быть заодно с исторической правдой, значит отдавать себе ясный отчет в том, что в творчестве пи-

² М. Шкерин. Тайны творчества. Ефим Пермитин и его романы. Новосибирск. 1971, стр. 116—117.

сателя и почему нам сегодня дорого, уметь увидеть его собственную судьбу и судьбу его созданий в их неразрывном единстве, понять связи художника с его временем во всей их сложности. Быть заодно с творцом значит не расследовать, а исследовать, не осуждать, а рассуждать, относиться к прошлому с максимальной объективностью и уважением.

Говоря обо всем этом, мы повсеместно подчеркиваем в статье роль критики вовсе не потому, что непосредственное ее дело — заниматься историей литературы, хотя чем основательнее методологическая оснащенность критики, чем глубже ее историко-литературная подготовленность, тем условнее традиционное и маловразумительное размежевание между ней и литературоведением (вообще, скажем прямо, подобная «табель о рангах» существует лишь в психологических стереотипах «сегодняшнего» дня — стоит только современности стать Историей, как масштабы и оценки на-

чинают менять привычные очертания, а события литературной жизни выстраиваются в ряд, в котором прежняя «знаменитость» подчас почти не просматривается, а иная критическая статья выглядит заметнее пухлой научной монографии...).

Однако, обращаясь к истории литературы лишь по мере необходимости, подлинная критика не может не стремиться к тому, чтобы, с одной стороны, делать ее факты фактами современного общественного сознания, а с другой — осмыслять текущий литературный процесс в историческом объеме.

И вот тут-то отношение к проблемам биографии, общественных связей и позиций писателя, проблемам, приобретающим в социалистическом обществе с его пристальным вниманием к личности, заботой о личности особый вес, становится существенным показателем глубины критического анализа, способности критики к полноценному участию в процессе дальнейшего развития социалистической культуры и литературы.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Цурикова. Мудрость движения.—И. Роднянская. «А душу можно ль рас-
сказать...» — Л. Михайлова. Вчера и сегодня.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Е. Соловей. Пламенный революционер.— Олег Мороз. Освоение науки.—
В. Орлов. В море — значит, дома. — В. Турбин. Тайна или секрет?

Литература и искусство

МУДРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Мариэтта Шагинян. Собрание сочинений в девяти томах. Том четвертый.
Очерки 1941—1969. М. «Художественная литература». 1973. 640 стр.

Участие литературы в великом общена-
родном деле — проблема, издавна и по-
стоянно волнующая советских писателей.
На прошедшем в марте 1973 года пленуме
Правления Союза писателей СССР, посвя-
щенном важнейшему вопросу современного
развития нашей литературы — «Писатель и
пятилетка», говорилось о прекрасных тради-
циях советской литературы: прочных и дей-
ственных связях литературы с жизнью, с
трудовым подвигом народа, — начало ко-
торым положено было еще на рубеже 20-х
и 30-х годов. Тем больший интерес пред-
ставляет сегодня опыт виднейших мастеров
советской литературы, для которых, как
говорил в своем докладе на пленуме Г. Мар-
ков, «очерк являлся первоначальной фор-
мой художнического познания и осмысле-
ния жизни, необходимым этапом творче-
ства».

Советская публицистика прошлых лет
имеет свои, ставшие классическими, при-
меры активного вторжения писателя в
жизнь, его непосредственного участия в об-
щественном труде. Среди многих имен, на-
званных на пленуме, прозвучало и имя Ма-
риэтты Сергеевны Шагинян. Ведь в творче-
стве далеко не каждого писателя публици-
стика занимает действительно центральное
важнейшее место. К Шагинян такое утверж-

дение полностью применимо, при всем бо-
гатстве и разнообразии литературных жан-
ров, к которым она за свою долгую и пло-
дотворную жизнь обращалась.

Творческий опыт писательницы приобре-
тает особую ценность и специфический ин-
терес именно в силу ее многолетней предан-
ности публицистике. Этот опыт представ-
ляет богатый материал для размышлений,
связанных и с некоторыми исторически важ-
ными моментами в развитии нашего обще-
ства, и с проблемами сугубо литературными,
с задачами, которые и сегодня стоят перед
советским писателем-публицистом.

Одну из главных задач литературы пи-
сательница полагает в том, чтобы «видеть и
наблюдать, понимать и обобщать» движение
жизни. В «движении жизни» для нее заклю-
чена правда истории, мудрость сущего.

Этим признанием объясняются многие
характерные особенности публицистической
работы Мариэтты Шагинян. И ее возвышен-
ный пафос. И неистощимое вдохновение.
И главное — постоянное стремление быть
там, где движение жизни всего заметней:
на быстрине — где сплетенье стальных ма-
гистралей; среди изыскателей, строителей,
новаторов; в гуще событий... Причастность
времени определяет своеобразный эмоцио-
нальный строй очерков Мариэтты Шагинян.

В новом собрании сочинений Мариэтты Шагинян один из томов целиком отдан ее публицистическим произведениям, выходящим в свет на протяжении тридцати лет.

Как сегодня читается очерк тридцатилетней давности? Ведь не секрет, что публицистика писателя — жанр не только самый оперативный, гибкий, живой, но и, случается, недолговечный, время — жесткий, безоговорочный контролер, проверяющий публицистический очерк писателя на живучесть.

Книгу Шагинян открывает очерк, написанный в первые месяцы Великой Отечественной войны, — «Оборона Москвы» (он был напечатан в 1942 году под названием «Дневник москвича»), очерк, созданный на основе еще не отстоявшихся впечатлений, не выходящих к тому же за пределы московских домов и улиц. Очерк, можно сказать, открыто пропагандистский, обращенный непосредственно к гражданской совести читателя. Видишь воочию, как удивительно соединились в очерке «злободневная» агитаторская задача с живым ощущением историзма — истинного, увиденного в упор. Конкретность примет еще непривычного военного быта с непосредственностью размышлений о выявленных войною свойствах советского строя.

Скажем, поразительная «сорганизованность» москвичей перед лицом войны, когда каждый дом вдруг превратился в единый организм: все жильцы, прежде бывшие сами по себе, стали вдруг «словно мобилизованные в военном строю». Поразительно, замечает Мариэтта Шагинян, с какой осязаемой быстротой все проделали «переход на оборонное положение». Вдруг появились на лестницах синие лампы, на окнах — наклейки, зеркальные стекла витрин закрылись мешками с песком; кадки, лопаты, ведра, песок — все водворилось на места. И — как естественный из всего этого вывод: «Увидели мы наш коммунальный советский быт, советские отношения; пережили то особенное, острое, только в нашей стране знакомое, повсеместное чувство домашности, уверенности...»

А детали тогдашнего быта — житейские, подмеченные наблюдательным глазом, наивные иногда, особенно в свете всего потом пережитого, — они даже своею наивностью так волнующе достоверны! И впечатления первых бомбежек, и странный ночной быт московских бомбоубежищ, и даже это не-

уместное, какое-то детское любопытство, одолевавшее взрослых людей: а что там, наверху? И недоверие к тому, что все это вполне всерьез... Вот подмосковный крестьянин — «дремучая борода, деловой приезжий дядя-колхозник», загнанный бомбежкой в убежище прямо из магазина, с его вековой уверенностью, что никакое дело само не делается — надо «похлопотать»: «Граждане, да чего ж мы сидим? Похлопотать надо!..»

Психологическая точность факта, неповторимого и в своей событийной сути, и в специфике непридуманного душевного состояния, характерна для Шагинян.

Вчитываясь в очерк «Оборона Москвы» и в другие военные очерки Мариэтты Шагинян, видишь отчетливо, как от простейших фактов, от непосредственных наблюдений она настойчиво прокладывает путь к обобщениям, к выводам и рекомендациям, как ценит она возможность не только «видеть» и «понимать», но и действовать, соединяя свой душевный порыв с напряженным усилием всенародным. И само это общее усилие в ее очерках ощущается так наглядно и так конкретно, как это может быть только в дни очень больших испытаний. Вклад каждого в оборону... Движение рук работницы, которая лепит стержни для мин в своем формовочном цехе; движение точное, безостановочное — оно получает добавочный душевный заряд «через взгляд, через руки, через все существо работающего человека». Волна этой самоотдачи проходит сквозь серию очерков «Урал в обороне» (вышедших отдельной книгой впервые в 1944 году). Перед писательницей стояла задача: обобщить достижения передовиков уральской промышленности и сельского хозяйства. Но рядом с деловой целью — душевная потребность: «Объезжая уральские заводы, присматриваясь к группам работающих на полях, заходя в кабинеты ученых, переживаешь вместе с гордостью и остроту до слез любовь к советскому человеку, веру в народ наш, кладущий за родину душу свою, и чувствуешь потребность рассказать о нем, рассказать об этих людях, чтобы увидели их не только через цифру выполненной программы и сдержанного слова, но и в этой их неучитываемой, неизмеримой душевной самоотдаче».

Деловые очерки Мариэтты Шагинян, подводящие первые итоги трудовым подвигам тыла, конкретные по материалу, поражают и сегодня своей эмоциональной напряжен-

ностью. Рассказывает ли писательница о набранных в ремесленные училища деревенских подростках, которых эвакуировали на Урал, где они в короткий срок, так и не успев повзрослеть, становились рабочими высокой квалификации. Или о пришедших на уральские заводы домашних хозяйках с их женской сноровкой, внимательностью, аккуратностью, с их воспитанной в трудном домашнем «производстве» способностью сосредоточиться одновременно на нескольких операциях. В любом из фактов, подмеченных наблюдательным глазом опытной журналистки, Мариэтта Шагинян ищет высший смысл. И часто находит характерную для поры больших испытаний «более высокую норму душевной жизни», более высокую требовательность к себе...

И это ничуть не мешает ей вести деловой разговор и о не использованных еще в полной мере производственных резервах тыла. Ведь и высокий душевный потенциал народа — резерв поистине неисчерпаемый! Послойно, с дотошностью газетчика исследует Мариэтта Шагинян эти людские пласты, замечая ненасытную потребность действовать и в рабочем-подростке, и в колхознице, и во вчерашнем фронтовике, — всюду видит она естественную жажду «реализации своей личности» во имя общего дела.

Очерки, вошедшие в книгу «Урал в обороне», чрезвычайно разнообразны. Но для всех них характерна жесткая деловая целенаправленность, непосредственно связанная с эмоциональным, гражданским, патристическим воодушевлением, черта, впрочем, весьма показательная в ту пору для всей советской литературы.

...Может быть, труднее, но не менее важно почувствовать и правильно понять существо эмоционального строя послевоенных очерков М. Шагинян: циклы «По дорогам пятилетки», «На Алтае», «Челябинские колхозы», «Магнитогорск после войны». Они богаты живым опытом, и сами названия их уже говорят о широком диапазоне авторских интересов: открытие башкирской нефти и выбор варианта при строительстве новой южноуральской железнодорожной магистрали, строительство железной дороги вдоль берега Чу — в Средней Азии, алтайские животноводы и садоводы Сибири, жилищное строительство в Магнитогорске, комплексное соревнование... Обилие фактов не заслоняет целого. Мариэтта Шагинян особенно часто и охотно пишет о плане, придавая чрезвычайное значение

пониманию «о б щ е й» экономической канвы, связывающей отдельные участки пятилетки в единое целое», «всей совокупности экономических интересов», «экономическому фону». Она смело оперирует цифрами, рассказывает о проектах и вариантах проектов. Иногда это придает ее очеркам некоторую даже суховатость, слишком строгую деловитость. Но и за деловой серьезностью ощущаешь постоянно, кроме «экономического фона», еще и другой, отчетливый — фон эмоциональный.

Взволнованно и энергично звучит рассказ Мариэтты Шагинян о строительстве Туймазы, о «большой нефти» Башкирии, — рассказ об успехах и сложностях, о достижениях и потерях. Здесь строгий анализ проделанной строителями работы, но разве только анализ? Это — увиденный свежим глазом «странный мир, раскрытый до горизонта, широкий, зовущий, мир необъятного простора. Поэтический и странноватый мир, где дышит черное золото земли, дышит нефть». Оно еще только смутно тревожит, это дыхание нефти, — «легкая странная желтизна, копать не копать, осень не осень, что-то неуловимое», но осязаемое сразу, едва человек ступает на эту землю. А эти красивые факелы? «Вы видите, как вся эта пустынная земля вокруг, словно ожерельем илюминации, простегнута яркими вспышками огней, горящих сильным пламенем среди бела дня. Это горит газ, горят миллионы рублей...»

Автор знает, что иначе тогда не могли, отчасти, может быть, и не умели, а главное, не было средств — того, что можно было бы назвать материальной базой этих мест, — необходимых для быстрого завершения большого строительства.

Деловой разговор не теряет взволнованно-вдохновенного тона: захватывающе интересно и поучительно проследить все трудности, пишет Мариэтта Шагинян. «Волной счастливого оптимизма» веет на нее от деловитого инженера-строителя с его жестом военного человека, скупым и решительным, человека, который хорошо сознает свою задачу... Трудное кажется легче, невозможное — осуществимым.

И самый разговор о непостроенных, но позарез необходимых дорогах, газопроводах, домах — это все-таки радостный, исполненный надежд разговор, нацеленный в будущее и неразрывно связанный с прошлым. Рассказ о том, «как бессмертна жизнь, связанная умной памятью поколений».

В последующие годы Мариэтта Шагинян постоянно обращается в своих очерках к теме трудового подвига. Она пишет о «герое нашего времени» — современном рабочем, который у нас стал хозяином всех материальных ценностей и свободным творцом своей исторической судьбы, который с детства привык ощущать «интересность» труда в качестве главного стимула при выборе профессии, привык видеть в труде «источник всех радостей на земле». Пишет о человеке, для которого трудовой коллектив — необходимая как воздух творческая среда. Черты облика этого нового человека Шагинян находит и в передовиках производства, прославивших себя трудом в годы первой послевоенной пятилетки, и позднее — среди инициаторов движения за создание бригад коммунистического труда.

В четвертом томе собрания сочинений Мариэтты Шагинян представлены и другого рода ее публицистические работы: портретные очерки, полемические статьи, отзыв на книгу Д. Данина о Резерфорде... И в них гражданский темперамент, всегда присутствующий автору, сочетается с гибкостью мысли — по существу очень личной. Это принципиальный момент, на который нельзя не обратить внимания. Ведь, в сущности, речь идет не только о характерном, отличающем творчество Мариэтты Шагинян качестве, но одновременно и об одной из наиболее волнующих писательницу проблем: о личной культуре мышления и я. Эту тему выделяешь невольно уже при чтении написанных в годы войны четырех очерков — портретов выдающихся советских ученых: академиком В. Л. Комарова, А. А. Байкова, С. Г. Струмилина и В. А. Обручева. В небольших по объему статьях Мариэтта Шагинян ставит перед собою задачу столь же трудную, как и увлекательную: раскрыть присущий каждому из ее героев характерный для него «способ мышления» — его своеобразие и его преимущества.

Итоги научных открытий бывают независимы от личности ученого, но в самом ходе развития науки, в процессе открытия личность ученого, влияние его духовного облика имеют значение первостепенное; тип человека науки эволюционирует вместе с изменением общества; и он не может не оказывать воздействия на «среду и характер ученой работы», — замечает Мариэтта Шагинян.

«Наша эпоха требует воспитания мышле-

ния» — к этой мысли писательница возвращается постоянно, настойчиво как в давнишних, так и в самых недавних своих статьях.

Культура мышления, «связь мышления с делом, сознания с нравственностью, разума с поведением» — вот круг волнующих писательницу проблем.

Так, в облике замечательного советского ботаника В. Л. Комарова она выделяет прежде всего присущую его личности «высокую общественную реакцию», умение в неожиданном, часто импровизированном выступлении захватить аудиторию и «сквозь эмоцию, поднятую в слушателях, как буря звуков в оркестре, вдруг провести чистую, четкую, строгую познавательную мысль, всегда направленную на современность, всегда глубоко историчную, словно стрелка семафора на проходимом нами пути».

В научных трудах металлурга А. А. Байкова Мариэтта Шагинян подчеркивает такую законченность, такую отчетливость и ясность научной мысли, благодаря которым сугубо специальное исследование становится доступным и увлекательным даже неспециалисту. В этом Мариэтта Шагинян видит прежде всего «уважение к человеческому разуму, к человеческому времени, к предмету своей науки».

Проблема культуры умственного труда — одна из важнейших и для более поздних полемических статей Мариэтты Шагинян.

Поражает жадное стремление автора к новым знаниям, желание проникнуть в святое святых — в самую недоступную непосвященным атмосферу научных, технических, философских открытий. Писательницу волнуют проблемы лесоводства и рыболовства, загадочные свойства древнего янтаря и еще более таинственные — янтароносной «голубой земли», мир кибернетики, «думающих машин», философский смысл второго закона термодинамики, проблема подготовки школьных учителей, необходимость обучать детей иностранным языкам в более раннем возрасте, неосуществленный проект реформы русского правописания...

Мариэтта Шагинян жаждет проникнуть в самую суть каждой из этих сложнейших задач, дойти до основы. Докопаться до живого пласта формулы: «От каждого по способностям, каждому — по потребностям». Понять, что же значит это «от каждого по способностям» сегодня.

Потребность творческой самоотдачи. угверждает она, одна из самых сильных страстей, владеющих человечеством; и нет страшней наказания, чем «наказать человека бездействием, запереть его душу, его руки», — это значит толкнуть его к саморазрушению, к потере способностей и умения. Разбудить в человеке творческое начало, воспитать инициативу, научить мыслить самостоятельно, поднять уровень интеллигентности — «того общего образовательного фона, который делает человека грамотным членом своего общества и своего времени», — задачи актуальнейшие сегодня.

Волнующие писательницу проблемы современного школьного обучения, к которым она обращается в своих статьях неоднократно, трактуются в свете той же мысли о творчестве, о наиболее полной реализации личности, ибо в новом обществе, пишет она, труд обязан быть творческим, чтобы стать не только полезным, нужным, но и любимым, «потребным, как хлеб». Творческим же становится всякий труд, в ко-

торый человек привносит нечто свое, индивидуальное, личную инициативу. «И притом, — замечает Маризетта Шагинян, — личная инициатива — всегда конкретна, нельзя общую фразу превратить в нечто инициативное, общая фраза всегда стоит себе на месте». Сказанное по совершенно конкретному поводу — в связи с учительским съездом, вместе с тем и один из важнейших творческих принципов автора.

О чем бы ни возникал разговор в статье, свое, личное, новое Маризетта Шагинян привносит неизменно даже в самый сложный, сугубо научный круг мыслей. Не претендуя на бесспорность, а иногда и «не включаясь в спор», она сохраняет живую инициативу, она считает писательским долгом иметь свою личную точку зрения по вопросу, о котором высказывается, и не прячет пристрастия, заинтересованности: речь идет о деле всеобщем — о нашей жизни.

Г. ЦУРИКОВА.

Ленинград.



«А ДУШУ МОЖНО ЛЬ РАССКАЗАТЬ...»

Александр Титов. *Лето на водах. Повесть о Лермонтове.* Лениздат. 1973. 288 стр.

Начинается эта повесть словом «беда» и кончается словом «убит!..». Длится рассказ от дуэли (с Барантом) до дуэли (с Мартыновым), все убыстряясь к концу, так что роковая пятигорская развязка — самое «лето на водах» — предстает кратким послесловием к событиям преимущественно 1840 года, уже вполне выяснившим общее сложение лермонтовской судьбы. Ход жизни замыкается в обреченно прочерченный круг, как скитания Мцыри, возвратившегося к стенам своей темницы. На орбите этого круга между двумя поединками — резко выделенные точки: одно заточение и суд; одно прямое и личное столкновение с властью (в канцелярии Бенкендорфа у Цепного моста); одно прощание с Петербургом, одно — с Москвой; одна ссылка; одно, главное, сражение — Валерик; одна мгновенная и роковая встреча с царем — «каменным гостем» в кирасирской каске — на балу у Воронцовых-Дашковых в петербургском отпуске 1841 года (эта встреча примышлена автором ради ее символического эффекта), одна с виду беззаботная и праздничная передышка (в Пятигорске); и

наконец, предчувствуемая, но внезапная смерть. Реальная жизнь создает повторения, размывает и усложняет сюжет «судьбы», но автор повести действует не как беллетрист-жизнеописатель, а как поэт — укрупняет, восстанавливает, а порой и домысливает затерянный в обилии подробностей четкий контур.

Итак, ключевые слова «беда», «судьба» и «досада» звучат уже в первой фразе. А всего несколько страниц спустя:

«...радостно вдыхая сладковатый предвесенний воздух, щурился на пылавшие под солнцем огромные дворцовые окна или, глубоко запрокинув голову, глядел с седла на раннюю, прозрачную, как стекло, луну, тонувшую в безбрежной голубизне... «Не пишется! Не пишется! Не пишется!» — без огорчения напевал он, пуская Августа размашистой рысью по середине аллеи, по дорожке, протоптанной в вязком снегу другими лошадьми. И, ритмично подпрыгивая на стременах, вторил самому себе: «Зато как скачется! Как скачется! Как скачется!»...»

И уже в конце повести — перед июльской

ссорой с Мартыновым и под бременем предчувствий:

«Его радовала жаркая сквозная тень на бульваре, пробегавшая по светлым платьям женщин, по мундирам и курткам, по влажным, лоснящимся телам лошадей, дрожащая на клумбах и цветниках, увеличивая их пестроту; радовал золотистый сумрак, застаивавшийся в таинственной путанице ветвей и листьев в саду при домике, который он снимал вместе с Монго. На улицах ему доставляло удовольствие глядеть на приезжавших по торговым делам черкесов — гуртовщиков, конных барышников, оружейников. Они ходили, никого не замечая, — высокие, костлявые, с равнодушно блестящими круглыми глазами... А Лермонтову и они были интересны...»

На таком перекресте праздничной энергии и «беды» и построена повесть.

«Рассказана» ли душа Лермонтова? (А ведь это главное, раз повесть — не биография, а «душа» и «судьба».) Да, рассказана, и притом целомудренно, с соблюдением той «неуловимости» натуры, какую удивленно отмечали современники (К. Х. Мамацев, Ю. Самарин). Вместо портрета два-три беглых очерка сквозь чужой, вскользь брошенный взгляд: смуглый офицер, ладный в движениях, часто смеющийся. Ему дано нечто от печоринского «жеста» — блеск пронизательности и сознающего себя, но в узде воли едва прорывающегося превосходства. Таков он в первой дуэли, когда с «сухой насмешкой» в голосе бросает секундантам, вытаптывающим в снегу площадку для поединка: «Вы хорошо поработали, господа! Довольно уж!»; когда, «сильно размахнувшись раненой рукой», отбрасывает свой сломанный клинок; когда усмехается страху бойкого еще минуту назад противника и круто поднимает дуло пистолета к бледному небу; когда, «опустив смеющийся взгляд», совершает церемонию примирения. Но сквозь «печоринское», поясняя и смягчая его (а это так нужно современному читателю), прорывается нечто «ростовское», мило-молодое, домашнее. Лермонтов ощущает своим домом отчасти полк, отчасти петербургские покои бабушки, где его всегда поджидает патриархальная нежность барственной и смиренной старухи. Бабушка, главная из женщин, вдвинута в центр лермонтовской сердечной жизни как простая и неизменная ее опора. «Герой мой — добрый мальчик», — мог бы повторить А.Титов пушкинско-лермонтовскую (Онегин,

Сашка) формулу, в которой, помимо иронического, был ведь и прямой смысл. Эти два психических слоя, печоринская «сухость» и незащищенная непосредственность, стальное и мягкосердечное, даются, как правило, в слитности повествовательной фразы, противоречиво объединяющей внутреннее настроение и мимическое движение. Убедившись в ненависти Мартынова, «Лермонтов вдруг ощутил на душе такую тягость, что ничего не смог сказать и, пожав плечами, отошел». Для нас, читателей, — «ничего не смог», растерялся перед необъяснимой злобой; для свидетелей сцены — «пожал плечами»: самообладание Печорина перед петушиной яростью Грушницкого. То же двойное освещение душевного облика тонко подчеркнуто игрой писателя французской речью. На суде по делу с Барантом Лермонтов отвечает на вопрос аудитора длинной французской тирадой, дразня его чиновничье плебейство и насмехаясь над казенным судопроизводством с высоты привилегий рождения и образования. Однако французское «Je vous provoque» («Я вас вызываю») Мартынова и «Michel, il faut nous dépêcher» («Надо спешить») секунданта Глебова — для него как звук захлопнувшейся ловушки, как знак отлучения от жизни и воли.

И апокрифические вишни (прямоком из пушкинского «Выстрела», помнитса, перекочевавшие в один из кинофильмов о Лермонтове), герой Титова потому-то и ест едва ли не под дулом пистолета, что от волнения пересохло во рту. Вот как она дается, эта «демоническая» статья, вот что под ней...

Вообще, на страницах книги Лермонтов хотя и предстает не только в форме пехотинца, но и в сшитом по косточке гвардейском мундире и очень нравится в нем и самому себе, и автору, и читателю, повесть оставляет в воображении скорее того «простого» Лермонтова с рисунка Д. П. Палена, о котором Блок говорил: «Не правда ли, Лермонтов только такой? Только на этом портрете?» Единственное лермонтовское стихотворение, звучащее в повести целиком, — «Завещание», верх горечи и простоты перед лицом смерти. Черты аристократизма духовного углубляют, а черты аристократизма «светского» оттеняют эту простоту искренне живой души.

Но и за «породисто»-печоринским и за человечески-простым — поэзия. Вкус и такт подсказали писателю неуместность и сомнительность любых воспроизведений «твор-

ческого процесса», равно как обильного цитирования или пересказа стихов. И однако же Лермонтов, едва ли даже приподнятый внешне над товарищами — над кокетливым великолепием Монго-Столыпина, мальчишеской лихостью Мити Кропоткина, утонченным высокоумием Ивана Гагарина, — предстает в незримом сиянии своего поэтического дара. В этой повести, в которой далеко не все удалось (например, беседа с Белинским в ордонанс-гаузе, получившаяся гораздо скучнее, чем в воспоминаниях И. Панаева, а подчас и речи персонажей — чего стоит хотя бы реплика Марии Щербатовой: «Людей бы постеснялся!»), — в этой повести есть некоторый секрет, заставляющий поверить без отсылки памяти к первоисточнику в исключительность лермонтовского духа. И так получилось, думается, потому, что весь мир повествования щедро отражен во взоре Лермонтова, пронизан токами его напряженно-отзывчивого восприятия. Лермонтов-поэт дан в зеркале жизни, проведенной через его пять чувств и оттого одетой в покров красоты. И черное кружево нагих деревьев на Каменноостровском проспекте, и громада домов за бледной завесой метели, и груды печного жара, яркая в середине и сумрачно-алая по краям, и неяркая небесная синева над молодой листвою Летнего сада, и узкая лазурная полоса Лебяжьей канавки с угольно-блестящей грязью на кромке ее берегов, и темно-зеленая, сухо трепещущая листвою алыча — это не «от автора», а «от Лермонтова», со всем этим герой поверх дуэлей, «полка», «бабушки», поверх цензора, жандармов «тайнственным занятием разговором». И в момент смерти он сосредоточивает душу на этом таинственном разговоре, на окоме мира, суживающемся под наставленным дулом до колеблемой ветром веточки. (В финале потому и не упомянуто ничего из того, что так волнует биографов-исследователей — успел ли Лермонтов выстрелить, было ли двое секундантах или еще двое подоспело, — ибо иное в фокусе предсмертного восприятия). И еще — кони: ни разу не упущено случая описать их с толком и знанием, как реалию быта, но все они влодь до Черкеса, теплоту которого Лермонтов чувствует сквозь крылья седла, торопясь под мартыновскую пулю, один и тот же «черногривый конь», — символ поэтической воли.

В повести Лермонтов-поэт живет «мускульно» и душевно, как бы в промежутках своей внешней судьбы, стремительно

(«...чуть не загасив свечи в канделябре») прорываясь сквозь щели туго сошедшихся обстоятельств и счастливо замирая под каждой струей свежего воздуха, донесшейся до него милостью случая. Это не демонический вихрь (демоническая версия личности Лермонтова автором начисто отброшена), а жизненно-творческий напор. «Чувство стремительного бега», которым он изнутри руководит, знает свои остановки и созерцательные привалы, задумчивость и всматривание. Но его ритм не совпадает с внешним, извне наложенным. Ему то и дело мешают вслушаться в себя, выявиться, излиться, прорваться к чему-то главному. «Беда» предстает не только как ограничение свободы, гонение, опасность, но и как сплошная гигантская помеха, незримо поставленная подножка. А он не может, не хочет ждать по пути к своей неназываемой, лишь смутно ощущаемой цели (она маячит в виде выхода «в отставку» и неестественных литературных занятий, но это лишь частичный символ свободного «устроения» и самораскрытия). По всему ходу повести рядом с живой готовностью к радости настроению Лермонтова сопутствуют раздражение и досада, и трактованы они как правое нетерпение человека, которого отвлекают от своего заветного и запрудами и облавами направляют на вспышки, выходы, существование минутой. Выдержка, такая блестящая в условиях «света» или боя, мгновенно изменяет ему тогда, когда нужно перетерпеть бессмысленную, непрошеную, унижительную остановку. Сердит и раздражает минутное опоздание дуэльного противника Баранта (потому что и вся дуэльная «история» — как бы навязанная, докучливая, не смотря на долг чести, поднятый воображением и раскладкой светски-политических обстоятельств до долга перед памятью Пушкина). Досаждают — из-за несовпадения своего и извне диктуемого, из-за невозможности быть понятым — метафизическое прение с приятелем, князем Иваном Гагариным, об ужасе посмертного уничтоженья. Даже сидение на гауптвахте переживается не столько в связи с ожидаемыми последствиями, сколько как томительный перерыв в бытии, и лишь яркими точками выступают кутеж у цыган (услуга знакомого караульного офицера), прикосновение к их вольной волюшке да немое общение с законной «соседкой». Наконец, в приемной у Бенкендорфа эта непокорность ожиданию обостряется сначала в дер-

зкий выпад (Лермонтов нарушает тишину излучающего на него страх присутственного места боем своего брегета), а затем при разговоре с шантажирующим его шефом жандармов — во вспышку ярости, пагубную в будущем. И далее как неосторожен он в своей досаде! Небрежно отмахнулся от сварливых, вдобавок еще по-французски, выговоров Мартынова, от их фальшивой ноты, вклинившейся в «последнюю счастливую полосу» жизни, и тем утвердил свой смертный приговор. Но и на близящейся смерти, на внутреннем, подготовительном труде расставания с жизнью мешают ему сосредоточиться: по дороге к месту поединка извне отбегают его слух беззаботные речи Глебова о заготовленном шампанском и последуэльных развлечениях.

Эти заторы и преграды под конец сливаются в одну безличную стену смерти, на которую натывается в своем внутренне-музыкальном разбеге творчески живущий человек, — в «прозрачную и непроходимую стену». «Но мог ли он угадать?..», «Судьба сделала выбор за меня», «За что?», «Это где-то и кем-то уже давно решено...» Хоть Лермонтов отлично знает и властительных и житейских своих врагов, но «где-то» и «кто-то» — это «судьба». Записанная, впрочем, как утверждается строим повести, не на небесных скрижалях и предрешаемая не на одном только земном Олимпе, где высится театрално-величественный государь, похожий на Каратыгина в пятом акте «Сида» (он написан А. Титовым по следу «Хаджи-Мурата»).

Когда Лермонтов сидит под арестом и ждет военно-судного решения по делу о дуэли с Барантом, ему в руки попадает свежий номер «Отечественных записок» с повестью его светского и литературного приятеля, даже прежнего конфидента графа Соллогуба, где Лермонтов под именем Леониона изображен в пасквильном духе. Он ошеломленно перелистывает и прежде известную ему, но неожиданно распубликованную повесть-оскорбление и тут же со злополучным журнальным номером в руках узнает от Акима Шан-Гирея о слухах, распускаемых Барантом относительно якобы лживых его, Лермонтова, показаний на суде. Ярость, вызванная клеветой приятеля, не поддающейся прямому опровержению (каковое было бы и дурным тоном), мгновенно обращается на заносчивого лгунишку-противника. Следует безумно неосторожное объяснение с Барантом в Ар-

сенале и повторный вызов на дуэль, немедленно истолкованные властями как необузданная дерзость и бретерская «безнравственность». Теперь снисхождения подсудимому не будет... Основа эпизода фактична (как вообще почти вся повесть), но психологическая увязка фактов как раз и принадлежит Титову, входит в его версию «судьбы Лермонтова». Он сводит вместе, в один остро пережитый, решительный час «месть врагов» и «клевету друзей». В последней формуле, которая присутствует сразу в двух стихотворениях, написанных, по видимому, как раз в эти месяцы — и в «Благодарности» и в «Тучах» («...друзей клевета ядовитая»), — мы привыкли делать смысловое ударение на слове «клевета». Титов же делает его на слове «друзья». Ибо в повести подчеркнута как важный мотив «судьбы» психологическая открытость Лермонтова своему кругу и своему образу жизни.

Какие ни есть эти друзья, этот вольничавший «цвет молодежи», какие бы змеи клеветы, тайного недоброежелательства и тщеславного завистничества ни заползали в их общество, от них, от «своих» внутренне, душевно никуда не денешься. С ними веселее и вольнее дышится, и язык развязывается политическим остроословием без опаски, и умный Бенкендорф смешон и мал — как бы за тридевять земель, и «неписанные законы чести» порою торжествуют над писаными законами казенщины, и гусарская повадка сверкает в общем красочном строю. Случалось сживать за одним столом с Трубецким-Бархатом, императрицыным фаворитом, братом приятеля и будущего секунданта Сержа Трубецкого, да и с Дантесом (и потом Лермонтова — по повести — мучит преувеличенное чувство вины за невольную косвенную включенность в среду противоположнинской интриги). Это, правда, бывало в обществе «павлинов»-кавалергардов, а не у родных лейб-гвардейцев в Царском, но все близко, рядом — перегоронок здесь нет, перегородки задним числом возвели историки из своего упрощающего далека.

И вещественный быт этого круга (от нового английского седла и модного сорта пахитосок до «свиастшего щегольского звука вырываемых из ножен клинков»), и психическое его бытие, ценимое Лермонтовым как вольность и дружество, как *esprit de corps*, выписаны не только с поразительным реставраторским вниманием, но и с

силой любовно-причастного художественного воображения. Иногда впечатление закругляется в «толстовскую» фразу, проницательную и эпически снисходительную одновременно: «...в комнату влилась та беззаботная, радостно-беспокойная атмосфера, которая как-то сама собой, без чьих-либо усилий устанавливается всегда, когда в одном месте собираются привычные к праздности и друг к другу пьющие молодые мужчины». В ту же «атмосферу» без особых раздумий окунается Лермонтов в Ставрополе, куда в отряд генерала Галафеева, идущий на Чечню, опять-таки слетаются «все свои», и потом — пятигорским летом.

Ровно в середине повести панорама неожиданно и умело раздвинута: следует большой рассказ о падении форта Михайловского, с бою взятого чеченцами. Лермонтова в этих событиях нет, вместо него — молодой офицер Гаевский, скромный представитель воюющей и читающей дворянской России (за несколько часов до смертного боя он читает журнальную новинку — «Фаталиста»). Потом военный министр граф Чернышев в одном и том же докладе сообщит Николаю и о кровавом падении форта и о лермонтовском дуэльном деле, тем самым надоумив царя насчет Тенгинского полка — подходящего места опалы. Но не затем только введен военный эпизод, чтобы рассказать, как и куда, под какие пули сослал дерзкого и политически неудобного дуэлянта. И не затем лишь, чтобы косвенно усилить мотив обреченности (под впечатлением от «Фаталиста» Гаевский различает печать близкой смерти на лицах своих соратников). Эта обширная картина, написанная отличной «батальной» прозой (снова толстовская выучка — «Севастопольские рассказы»), наводит на мысль, что и у Лермонтова, и у Гаевского, и у этих двух офицеров, у «писателя» и «читателя», одна, в сущности, судьба, одно социально уготованное жизненное место, хоть Лермонтов, бывший гвардеец, чуть повыше стоит на той же лестнице. И недаром во время дуэли с Мартыновым князь Ксандр Васильчиков, штатский «умник», испытывает «нечто вроде прерывательной зависти к этим людям, для которых пистолеты были такой же привычной вещью, как для него самого — маникюрная пилка».

Итак, опасность везде — в Петербурге («удивительно опасное и скользкое место», по замечанию П. Вяземского), в бою, в беззаботном Пятигорске («внутренние трения

кавказской ссылки», как говорит современная исследовательница, анализируя обстановку в кружке, где произошла ссора Лермонтова с Мартыновым). Опасна жизнь. Опасны влиятельные враги (если жить без подбострастия), опасны пули, игра в войну («...для человека, который привык к сильным ощущениям дуэлового банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными» — из письма Лермонтова), опасны друзья: допущенные к сердцу, они-то и наносят неожиданные удары (в этом смысле Соллогуб и Мартынов, светские люди ближне-дружественного круга, — в повести дублеры). Но вдвойне рискованно пребывать на своем житейски predetermined месте, не уместаясь в его границах (ибо — поэт).

Перевернув последнюю страницу, еще раз мысленно пережив мучительный финал — где насильно отдирают от жизни неподдельную и высокопробную часть ее, душу поэта, — установив в сознании некую слитность всего рассказа с его нервным и сбивчивым чередованием эпизодов, возвращаешься памятью к тому месту, в котором авторская мысль выходит наружу. Это московский разговор Лермонтова с Александром Тургеневым. Дело происходит у Погодина, на именинах Гоголя. Тургенев объясняет необычное, на взгляд Лермонтова, поведение именинника («...он с величественной и небрежной простотой принимал поклонение собравшихся вокруг него московских знаменитостей») его «самочувствием гения». «Я не оспариваю его гениальности, — ответил Лермонтов, — но думаю, что и ему самому, и окружающим было бы намного легче, если бы он обладал самочувствием обычного человека, а не гения». «Окружающим — конечно, но не ему самому, — убежденно сказал Тургенев. — Вот вам близкий пример: Пушкин... Самочувствие у него было обычного человека... разумеется, человека светского... И что же? Уберегло ли это его самого, его талант от гонений со стороны властей или светской черни?.. А поставь он себя, как поставил Гоголь, прояви он эту детски-капризную беспомощность, разве пришлось бы кому-нибудь в голову клеветать на него перед государем, вынуждать к поединку, да мало ли что еще? Нет, конечно... Да черт с ним, в конце концов, с этим отливом инфантильности, даже юродивости... зато литературе нашей сохраняется большой писатель. Эта юродивость, если хотите, — защитная окрас-

ка, мимикрия, и очень жаль, что ею не обладал Пушкин, да и вы, например, не обладаете...» Лермонтов «был готов согласиться с ним, хотя и не во всем». Возможно, ему пришло в голову, что и «странности» Гоголя могут оказаться саморазрушительными, — такая мысль, во всяком случае, мелькает у читателя, которому хорошо известен трагический конец гениального «юродивого». (Это различие жизненных стилей отразилось в словах самого Гоголя: «Никто еще не играл так легкомысленно со своим талантом и не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презрение, как Лермонтов».)

Повесть А. Титова, разумеется, написана не «на тезис». В ней есть черты художественной произвольности, чем она и привлекательна. Но своим психологическим рисунком, в котором линия обреченности — только одна из линий, она корректирует, или, по крайней мере, усложняет, представление о Лермонтове как о жертве извне противостоящей ему социальной судьбы.

В повести А. Титова Николай I, чье ожесточенное неприятие лермонтовской личности достигает степени физиологической несовместимости, невозможности пребывать под одним небом, под одной «петербургской» крышей, затевает настоящую облаву на поэта и бдительно следит за ее ходом (эта тема усилена в отдельном издании повести по сравнению с ее журнальным вариантом в «Звезде», 1973, №№ 1, 2). Царь — преследователь, охотник, насти-

гающий гонимого на всех перепутьях. Но Лермонтов, по А. Титову, не принимает навязываемой ему роли беглеца и живет без оглядки на коронованноголовчегу, живет непосредственно, свободно и на своем месте. Более того, он принимает как органический способ существования противоречие между своим социальным местом (а у каждого «обыкновенного» человека есть неизбежное социальное место, в этом случае — «светское» и дворянски-оппозиционное) и своим гениальным даром, не вмещающимся ни в бытовые, ни в идеологические рамки уклада. Противоречие приводит к трагической развязке. Но живущий в н у т р и его прав. Ибо если большой мир поэта, очищенный и омытый «мечтою благородной», просматривается в минуты вдохновенья поверх малого мира — «своего круга», то человеческая закваска творчества закладывается именно в этом кругу, в той жизни, в которой прирождено, суждено жить, какой бы тесной она ни была. И что с того, что Лермонтов рвался «в отставку» от этой жизни и пронизал ее своими «едкими истинами», — она была не только против него, но и по нем, жизнь без «мимикрии», враждебная, но и близкая, как своя кожа.

Повесть названа иронически: «Лето на водах». Какое уж лето, когда смерть. Но такая «летняя» полнота и прелесть сквозит в краткой череде влекомых к гибели дней, что рядом с трагической иронией заглавия утверждается другой его смысл. «Убит!..» Но жил.

И. РОДНЯНСКАЯ.



ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Владимир Солоухи и. Прекрасная Адыгене. «Наш современник», 1973, №№ 8, 9; Осенние листья. «Москва», 1973, № 9; Олепинские пруды. М. «Современник». 1973. 351 стр.; Из книги «Олепинские пруды». «Наш современник». 1972, № 9.

Владимир Солоухин — один из ярких представителей лирической прозы и один из ее зачинателей в послевоенной литературе. Вокруг этого жанра, его возможностей, органичности и просто правомочности споры длятся уже не первый год. Соображение насчет «усталости» лирической прозы высказывалось еще десять лет назад. Но неподатливая действительность и ее живой организм — литература перехлестывают берега умозрительных дискуссий. В последние годы, характерные все большим усложнением жизненных процессов и, зна-

чит, усложнением человеческой личности, исповедальная форма в искусстве завоевывает новые плацдармы.

Владимир Солоухин начинал как поэт, и лирическое самовыражение осталось его оружием в прозе. Избрав специфическую художественную форму — рассказ от первого лица, он в свое время создал прекрасные образцы реалистического повествования, шел «от горизонта одного — к горизонту всех людей».

Несколько лет назад на страницах «Литературной газеты» мне довелось защищать

книги Солоухина от критики, которая отказывала писателю в «исследовательском пафосе и философской насыщенности».

Тогда я доказывала, что стихия Солоухина — гармония явлений в природе. Он поэт жизнеутверждающего, страстного единения человека с живой природой. Возделывание сада изображается им как внутренняя и общественная необходимость для человека, жаждущего своим трудом украшать землю. И в этом социальная насыщенность лирической прозы Солоухина. Во «Владимирских проселках» предметом исследования служила собственная душа автора, принятованная, как сказал бы моряк о надежном и прочном, всеми своими гранями к родной русской земле. Манера Солоухина не изменилась, и сегодня, объясняя связи человека с обществом, он стремится обосновать свои принципы выражения и оправдать творческую практику в прямом разговоре с читателем.

«Говорят: веди дневник, веди дневник. Но всякая мысль, более или менее достойная внимания, ложится, допустим, даже вот в этот жанр, в «Осенние листья». Всякая жизненная ситуация, наблюденная или со мной самим происшедшая и достойная постороннего внимания, ложится потом в рассказ, в эпизод повести и романа. Всякая искра чувства ложится в стихи. Что же остается для дневника? Мякина. Зернышки уже отвеяны и собраны в отдельную горсть».

На заглавном листе «Осенних листьев» жирно набрано — «проза», тогда как это, в сущности, рабочий дневник. И, как полагается дневнику, содержит ряд замечаний и признаний, именно недостойных «постороннего внимания», непроработанных, важных только для автора как намек, который в дальнейшем либо будет художественно расшифрован, либо по причине своей неглубокости забыт.

Солоухин вроде бы сочиняет «Осенние листья» набело. Но при параллельном чтении нескольких его вещей убеждаешься, что формулировки, фрагменты, тезисы (назовем это как угодно) переходят из книги в книгу: из «Осенних листьев» в «Прекрасную Адыгене» и в «Олепинские пруды».

Далеко не всегда эти повторяющиеся мысли значительны. Например: «Попробуйте перефразировать знаменитую истину древних: «В здоровом теле — здоровый дух». Получается несколько не хуже: «Здоровое тело благодаря здоровому духу».

Хуже или лучше — это спорный вопрос.

Но (если только тут не заведомая небрежность) повторное воспроизведение текста может означать лишь одно: в «Осенних листьях» это наброски, в других текстах — более или менее органические элементы замысла. И, следовательно, на практике писатель опровергает свои же теории относительно ненужности дневников.

Солоухин — писатель активный, по-видимому, открывший в себе за последнее время жилку проповедника. Возможно, желание высказываться впрямую, без обиняков, и толкнуло его к непосредственной фиксации мыслей и впечатлений, с какой мы сталкиваемся в «Осенних листьях» и где автор считает себя сильным: «...с воздушными арочными мостами я сравнил бы бессюжетную лирическую прозу, лишённую видимой занимательности, но исполненную внутреннего напряжения в отличие от ползучей прозы, держащейся на очевидных сюжетных ходах».

Сильно сказано. Надо поискать признаки того «внутреннего напряжения, скрытого в ферме и держащего все грандиозное, ажурное сооружение», какие составляют основу предлагаемой прозы. Читаем: «Прекрасный горный пейзаж, цветочная долина, лес, шум старых сосен приятен нашему слуху, аромат цветка сладостен для нашего обоняния. Ну, потрогаешь рукой молодые листья березы, мягкий мох или гладкий камень... Но возникает глубокая и досадная неудовлетворенность при созерцании красоты природы, как если бы созерцал красивую и любимую женщину без возможности обладания ею, через стекло, что ли, через решетку или во сне».

Кажется, что это пишет другой Солоухин, не тот, который умел передать тончайшие переживания при соприкосновении с природой и какого мы знали по «Капле росы». Теперь он рассуждает так: «Скажут мне, что восторг духовного слияния с природой (вплоть до звездного неба) и полного духовного растворения в ней бесценнее физических вожделений, даже если бы они и были чудесным, фантастическим образом удовлетворены. Все так, если одно заменять другим. Но если «плюс к этому», то зачем же от этого отказываться?»

Люди испытывают драгоценное и возвышающее чувство перед картиной прекрасного. Автор считает, что это чувство следует дополнить «иллюзией наиболее полного, наиболее физического, наиболее плотского обладания». Он находит способ: «Вода

погружает в себя, вода обволакивает, вода жаскает каждую нашу клетку. Погружаясь в воду, мы приходим в физическое соприкосновение с природой». И, таким образом, освобождаемся от неполноценного чувства обладания ею «через стекло».

Рекомендация вроде бы язычески раскованного слияния с природой на самом деле дышит, да простит меня автор, утилитарным, обывательским отношением к отвлеченной красоте, стремлением материализовать нематериальное. Писатель хотел выделить философский критерий из собственного чувственного опыта и ошибочно возвел в степень идеала то, что надо бы изобличить. Он сам восстает против излишеств вторжения в мир природы, и сам же странным образом пытается обосновать в человеке будто бы уточненное, а в действительности вульгарное, эгоистическое отношение к живой красоте. Есть четкая композиция или ее нет, есть главное событие, организующее движение характеров, как в сюжетной прозе, или его нет — ничто не освобождает образную мысль от цельного и дейного основания. Иначе происходит игра в приблизительные или ошибочные понятия, выдаваемые за выстраданную истину.

В «Осенних листьях» среди не столь важной для общего внимания «мякины» есть замечания, важные для самого писателя и для анализа его творческих принципов.

«Считается, что Пришвин писал всю свою жизнь о природе, о лесе, о погоде, о ручьях, но это глубокое заблуждение. Пришвин писал только о человеке... Он фиксировал вслащеское движение человеческой души и человеческой мысли при взгляде на цветок, на сосульку, на каплю дождя, нависшую на паутине, на тающий снег, на плывущее облако. Правда, если согласиться, что он писал человека, то писал он только себя, но это и хорошо, ибо он был человеком тонким, обостренным, умным, а главное, что он был большой художник. Зачем нам отношение к незабудке шофера такси Иванова, описанное Пришвиным, вместо отношения к незабудке самого Пришвина?»

Допустим, что так. В самом деле, отождествление себя со своим народом и даже человечеством характерно для пишущего в лирическом жанре. Но если лишь о себе, то лишь в том качестве, которое значительно и интересно для всех. Отношение художника к незабудке интересно. Но, может быть, отношение шофера Иванова интересно по-сво-

ему? Правда, если бы художник опирался на мнение Иванова, это была бы другая, объективированная форма повествования, форма «ползучей» прозы, которую не примет Солоухин. И самое главное — нигде у Пришвина мы не встретим пренебрежительной интонации в адрес шофера или другого представителя обычной профессии. Солоухин же высокомерен, когда говорит об Ивановых и «тетях Машах»: «Грустью, что все тети Маши научатся в конечном счете говорить «биплан»...» Выходит, кому-то пристало пользоваться современной терминологией (и заодно благами цивилизации), кто-то обойдется.

Пережить вместе с людьми твоей земли, вместе со страной и сказать от себя о пережитом — этот принцип обещает долговечность искусству лирического повествования. Мысль о мессианской избранности чужда этому принципу. Судя по рассказу «Золотое зерно», Солоухин думает иначе. Славу, привилегии известности он расценивает как «заведомую неизбежность» для всех, кто «рядом с метром» (между прочим, «метр» — мера длины, а в этом значении надо писать «мэтр»).

Все кажутся автору по сравнению со знаменитым тенором, которому он сопутствует в поездке в Новгород, «плебеями, челядью, уличной толпой... Да, конечно, демократизм. Но как же быть в исключительных случаях? Неужели идти на поводу у этого самого демократизма?»

Нежелание идти «на поводу» у демократизма продиктовало смысл и стилистику рассказа. «Я согласился участвовать тогда в десятидневной, как раньше сказали бы — благотворительной, поездке...» Одну к одной подбирает автор возвышенные метафоры: «незыблемая слава гор», «титул, самовольно даденный мною», «бремя славы», «король, патриарх» (по адресу Ивана Семеновича Козловского). Но торжественная интонация сменяется брюзгливой, когда писательское воображение нисходит до простых смертных: «Нет, демократия демократией, но иногда хорошо, когда найдется и власть!»

Если верить рассказу, Козловский пел перед жителями Новгорода вполсилы, зато в Юрьевом монастыре, наедине с писателем («ключница... как бы не существовала для нас») так «сильно, смело и во весь голос» взял «Ныне отпускаеши...», что несущественная «старуха с ключами» не помня себя бросилась в ноги певцу, а сам писатель объявил «простой мякиной» все, что видел и

испытал в десятидневной поездке раньше. Возможно, Козловский пробовал голос под высокими сводами собора и, как настоящий артист, выбрал текст, подходящий для декорации. Что взять с богомольной старухи? Но Солоухин не поспешил на краски, чтобы сообщить этой сцене некий тайный экзистенциальный и культовый смысл.

Всякий исторический скачок порождает у одних энтузиазм, у других стремление укрыться от бурь времени, боязнь перемен. У того и у другого настроения есть свои поэты. И свои штампы. Один — претенциозное любованье старинной обрядностью, предметами ушедшего быта.

В рассказе «Восхваление Гомера» фигурируют лакированные автомобили, чья скорость сравнительно со скоростью старого грузовика, понятное дело, приравнивается к «космической», есть упоминание о «многоэтажном, крупноблочном строительстве». Отъехав триста километров от Москвы, автор увидел, что «этот уголок на земле не захватило еще» новое строительство — «улица была как улица — два порядка домов, а в каждом доме — надо полагать — одна-единственная семья». И это его растрогало. Насколько удобно людям живется в стареньких домах, автор не проверял. Наверно, не очень. Сам он сильно огорчился отсутствием известных «удобств» в альпинистском лагере и даже описал свои в связи с этим обстоятельством ощущения. Тут автор как бы делит себя на человека и писателя. Человеку подавай удобства, а писателю — колорит старины.

В «Восхвалении Гомера» мы опять сталкиваемся с подобным расщеплением авторского «я». Рассказчик подался в небольшой городок за вещами, «которые могут быть проданы (а некоторые подарены)» и «которыми был набит, вероятно, каждый купеческий дом». В ответ на «интеллигентное, подлинно интеллигентное письмо» приобретатель рассматривал обстановку с «бесцеремонностью и дотошностью». В этом занятии, повествует рассказчик, «судьба благоприятствовала мне, как она умеет иногда благоприятствовать, не объявляя мотивов своего доброжелательства. Хозяин ушел на почту и хотел еще зайти в магазин, а открыла мне посторонняя женщина, тетя Зина, которая приходит раз в неделю (все это выспрошено у нее)». Эстетическое чувство — само по себе, любоваться можно будет дома, а пока нужно дело обмозговать.

Как все происходило, не знаем. Старик,

продавший или подаривший «прекрасные старинные вещи», остался за кадром. Писатель обещает, «может быть», рассказать о нем «в другом месте и по другому поводу», сейчас у него «другое на уме». На уме история про то, как вез свои приобретения на старой машине местной автобазы по разбитой дороге и терзался страхом за целостность поклажи.

Не все старое хорошо. Например, старинное кресло лучше старого грузовика, «периферийного», нагруженного «хрупкими и драгоценными вещами», когда «каждый толчок, каждый перекос кузова, каждая его подпрыжка» отзываются болью для водителя и седока. Пожалуй что водитель, опять-таки «периферийный», страдал даже больше. Опыта погрузки и перевозки подобных вещей у него не было, не было и выгода: получил наряд — надо везти. У рассказчика, знающего цену «канделябрам», «серебру с эмальями и без них», был выход из драматических для него обстоятельств. Очень простой выход. Надо было повременить, нанять подходящий транспорт и поехать по более длинной, но более удобной дороге. И вся недолга. Возможно, такой способ и путь доставки стоили бы дороже, но это, как говорится, частное дело покупателя.

Судьба благоприятствовала рассказчику не только в удачном выборе вещей. Она указала ему на две человеческих судьбы, на живых обитателей старых домов, что так его умилили. Но люди не слишком заинтересовали писателя. Прислушиваясь «к происходящему в кузове», поглощенный этим занятием, он бросает вокруг тот же беглый взгляд, что и на живых людей, и мимоходом наводит поэтический лоск: «...а по сторонам дороги проплывали солнечные мартовские пейзажи, наша средняя, наша русская сторона». Проплыли, исчезли, скрылись, остались сами по себе, а рассказчик — сам по себе. Его главная мысль: что там в кузове? Туда уставились «прекрасные мягкие кресла из сплошного красного дерева», шкаф «с пламенем», двухпудовые мраморные часы с бронзой, «а вместе с ними и чемодан с фарфоровыми блюдами, хрусталем».

Овладел человек тем, что понравилось, и набьет «со вкусом или без вкуса» свой дом. Нам-то что? А ничего. Если бы элементарный инстинкт приобретательства не выдавался за гуманный акт охраны антикварных ценностей. И если бы под насмешливые упреки и строгие наидания провинциаль-

ному шоферу («Чтобы часы не подпрыгивали, зависит только от дороги и от вас... Вам приходилось возить когда-нибудь часы «Восхваление Гомера»?») не подводились некие высшие философские соображения, якобы вытекающие из «специальности» автора (надо думать, писательской) и понуждающие его следить за тем, «чтобы плохое казалось плохим, а хорошее — хорошим. Настоящее — настоящим, а мнимое — мнимым...»

Казалось, в замысле рассказа «Три белоснежные хризантемы» было искреннее настроение, но логика поэтизации несущественного завела писателя в ловушку, им же расставленную. Опершись на «азы во французском языке», он захотел без посторонней помощи найти мало кому известное место погребения Шаляпина. Такое решение он объясняет «капризом и прихотью» и рассуждает о праве человека, прожившего «на земле больше сорока лет» и успевшего «кое-что увидеть, почувствовать и понять», на такое состояние духа. Ну что ж, художнику все подвластно. Но вот беда: пока замысловато обставлял поиски, подошло время закрытия кладбищенских ворот, на стояние у могилы и возложение трех белоснежных хризантем, купленных «в разноцветном центре Парижа», оставались считанные минуты. Причудливая душа столкнулась с чужеземной регламентацией. Пришлось сократить «эту встречу двух русских людей» (очевидно, из прихоти автор не делает разницы между собой и Шаляпиным). А не капризничал бы, пришел бы на полчаса раньше — и не было бы проблемы.

Искренний порыв, толкнувший писателя к перу и бумаге, заставил бы сильнее забиться и наше сердце. «Каприз и прихоть» (а повод — «могила Шаляпина. В Париже!») вызывают чувство неловкости. Мнимое и есть мнимое.

Солоухину свойственно сознание важности своего писательского предназначения. Правда, он тоскует по физической работе. «Мне нравилось бы чистить и убирать снег (нешто в дворники записаться?), но я органически почему-то не люблю копать землю». Однако такая работа «должна быть не во всякое время, а в определенные часы, потому что с утра я должен делать свое основное дело — писать, расставаться с которым я не собираюсь, да и не имею права» («Прекрасная Адыгене»).

Но и этой, главной его работе мешает многое, увь, слишком многое. Помимо беготни («за отсутствием слова «ездотня») на

разные совещания и обсуждения, «где сидишь... иногда требуя и ругаясь, иногда соглашаясь, идя на уступки, выслушивая и доказывая, но всегда торопясь в еще одно похожее место», помимо участия в декадах литературы (в Грузии, Армении, Таджикистане) и выстулений по линии бюро пропаганды Союза писателей (в Тюмени, Тобольске), есть еще периодические коктейли в посольствах, частые посещения ресторанов, не говоря уж о вечерах в Центральном доме литераторов, а еще премьеры и вернисажи, а еще телефонные разговоры, газеты, телевизор. И наконец, выезды за рубеж «в гости к болгарским (польским, венгерским, датским) писателям», в Англию, Францию, Швецию. «Во всем мире, — сетует автор, — не беседуют друг с другом без сигареты в левой руке и без стакана в правой. Сколько протокольных мест вы посетите за день (газета, телевидение, режиссер театра, мэр городка, известный художник, Общество культурных связей), столько вы и получите чашечек кофе и рюмочек коньяка к нему. Восемь посещений — восемь чашечек. Удобное кресло, сигаретный дымок, доброжелательный, но дежурный разговор, запланированный тем департаментом международных дружественных связей, который осуществляет по отношению к вам французское (румынское, польское, датское, чехословацкое) гостеприимство». Сорок тысяч департаментов — словно сорок тысяч хлестаковских курьеров...

А сколько пришлось автору съесть и выпить в разных точках планеты! «Узбекские пловы. Грузинские шашлыки. Датские бифштексы. Кусок мяса величиной с тарелку, высотой в спичечный коробок, поставленный на попа, истекающий соком и тающий во рту, словно хорошее сливочное масло. Две дюжины устриц в Париже как предисловие к ужину. Килограммовая рыба, запеченная в керамической посудине, в пригородном ресторане в Софии. Киргизские бешбармаки, когда пятью-шестью человеками съедается практически целый баран, да еще тесто к нему, да еще гора помидоров, да еще кумыс из большой пиалы». При таком положении вещей размышлять о смысле жизни и вправду затруднительно. Поневоле вспомнишь чеховского Жилина из рассказа «Сирена» и его кредо: «Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном; умное да ученое всегда аппетит отшибает».

Чехов высмеял культ обжорства. А в чем

же интерес для «постороннего внимания» гастрономических живописаний автора «Прекрасной Адыгене»? Я не стала бы цепляться за кулинарные абзацы, если бы страницы солоухинской прозы не пестрели бесконечными жалобами на усталость от такого рода «перегрузок». Какое чувство хотел пробудить он в читателе? Сострадание? Или ощущение дистанции между смертными и избранником муз на сверхкалорийном питании, от которого, увы, тучнеет писательское тело? Слишком часто предстает он перед нами как почетный гость городов, республик и стран, отягощенный дружеским или протокольным застольем.

Содержание «Прекрасной Адыгене» составляет рассказ о том, как автор, покинув на короткое время свою повседневную, довольно суетную жизнь и решив взойти на снежный пик Адыгене в горах Тянь-Шаня, «покорил в себе боязнь, осторожность, слабость, благоразумие, инертность, расхлябанность, некоторые вздорные представления о себе и о жизни». Но не все в этой прозе равноценно по своему поэтическому и реальному содержанию. Противоречие между ведущей идеей и образными, да и просто житейскими понятиями автора во многом не преодолено.

После опубликования «Прекрасной Адыгене» «Комсомольская правда» выступила с «Репликой». Из хода рассуждений ее автора у читателя как раз и может сложиться мнение, что стиль пресыщения типичен для писательского быта. Это не так. Образ писательства как занятия в значительной степени неуправляемого лежит целиком на совести В. Солоухина. И дело вовсе не в том, что он «вынес сор из избы».

Ряд страниц «Прекрасной Адыгене», некоторые рассказы цикла «Олепинские пруды» и целиком «Осенние листья» представляют собой этап работы над произведением, а не само произведение. Может быть, Солоухину с его сугубо субъективным представлением о законах творчества трудно это осознать. По всей очевидности, «самоуправление» в процессе творчества, воссоздающего собственный облик писателя, не является его сильной стороной. На беду, он легко поддается различным соблазнам.

Но когда перед автором возникла цель — восхождение на горную вершину, — потребовавшая отдачи всех нравственных и физических сил, мы увидели человека и мужчину в истинном значении этих слов. И увидели мастера, способного раскрыть большое

через самую малейшую деталь. Все психологические нюансы и все степени физического напряжения, первые неудачи и страхи, а потом новые навыки, наитие, вдохновение собраны в фокусе рискованного, интуитивного, но и обдуманного движения к вершине, что существовала на местности и глубоко в сознании. Было самоотречение и самоограничение, было преодоление собственного несовершенства, была борьба с инерцией существования, и на трудном этапе рассказчик вырвал победу у прекрасной Адыгене.

Как жаль, что к концу испытания к автору вернулось все то же сознание собственной исключительности: «не каждый день поднимаются на вершину» московские писатели, сказал альпинист, бросая в сторону рассказчика «косвенный взгляд» и мотивируя тот необычный факт, что группу новичков, в которую входил автор, вели три снежных барса, три мастера альпинизма. И «московский писатель» без ложной скромности оценил сказанное и не забыл опубликовать это большим тиражом...

Не каждый день писатели ходили через моря и океаны в дальнюю и долгую дорогу к шестому континенту. А Юхан Смуул ходил. Его «я» в центре «Ледовой книги»: «То, что происходит во мне, передается кораблю, а то, что происходит на корабле, передается мне». Он не ханжа и счастлив своим участием в грандиозной обидности затеянного. Но не преувеличивает своей роли: «Я не сумасшедший, считающий себя гением, и не воображаю, что бог знает как преуспел в том, чтобы «развлекать, поучать и вести за собой свою эпоху». Себя, как и многих своих коллег, я считаю дорожным рабочим, прокладывающим путь большим талантам, которые придут после нас. Это тоже почетная работа, и, в конце концов, должен же ее кто-то сделать. Но и этот труд требует немалой дисциплины, немалой силы воли, и если впрямь произойдет чудо и мой характер сегодня изменится, то мне хотелось бы, чтоб эти две составные части намного выросли».

Один человек может бороться со своим избыточным весом, другой — со своей ленью. Но если этот человек — писатель, задача его усложняется. Ему нужно связать итог своих усилий с результатом художественных намерений. Солоухин сбавил четыре килограмма, но, боюсь, потерял не только физический вес, обрушив на читателя лавину непродуманных мыслей.

Никто не может заставить писателя пи-

сать так, а не иначе. Но, взяв книги, близкие по манере, нельзя не увидеть, что Смуул, например, откровенен в своем горячем сочувствии трудовым людям и объективно смотрит на свою задачу лирического летописца.

Выражение собственного «я» в искусстве, выбор рассказа о себе самом налагает на художника огромную дополнительную ответственность и таит свои трудности. Возможность расширить изображаемую картину за счет психологии других персонажей ограничивается. Некуда и не за кого спрятаться, весь на виду. Форма непосредственных записей по горячим следам увиденного и услышанного отвечает у Солоухина постоянной жажде самовыражения, а ресурсы во многом комплектуются за счет частных, узких пристрастий, не дающих повода для серьезного художнического осмысления. Все, что выходит за пределы этих пристрастий, заносится по разряду «мякины». Объекты, привлекающие внимание, сужаются порой до минимальной величины, а времени, чтобы критически отобрать материал, годный для опубликования, писатель не находит. И авторитет формы совместно с авторитетом имени терпит урон.

Бессмысленно отрицать субъективное начало в художественном творчестве, без это-

го фактора нет и самого творчества. Но губоко различны по своей сути субъективное чувство художника, отражающее объективную реальность, и эгоцентризм, который, обладая повышенной реактивностью и маскируясь под остроту эмоционального восприятия, вытесняет художническую чуждость. Никогда эгоцентризму не будет сопутствовать поиск. Эгоцентризм — трясина, в которую погружается человек либо вовсе не уверенный в своих силах, ищущий защиты и понимания только у себя, либо тот, кто излишне уверен в себе и признает верховным судьей себя одного.

Хорошо воспитанные люди, рассуждает автор «Осенних листьев», умеют слушать себя со стороны. «Для писателя тоже одно из главных условий его искусства — умеет ли он себя читать со стороны, чужими глазами. Тонкость заключается в том, что надо уметь это делать (как и в разговоре) не задним числом, а тут же, во время разговора или писания, то есть, как теперь говорят, синхронно».

Я привела еще и эту цитату, чтобы напомнить простую истину: лучше всего оправдываются теоретические послышки тогда, когда они соответствуют практике.

Л. МИХАЙЛОВА.



Политика и наука

ПЛАМЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

Ю. М. Стекло в. Избранное. Редактор М. И. Тюрин, составитель В. Ю. Стекло в.
М. «Известия». 1973. 264 стр.

«Тов. Стекло в!
Пишу наспех. Очень хочется послать Вам привет по поводу прекрасной статьи сегодня (13/1) о съезде в Туре. Анализ отношений гедизма и крестьян превосходен. Вот как и вот о чем надо Вам и писать побольше и дать, может быть, брошпору. Вероятно, и на французский перевести понадобится».

Лучшие приветы! Ленин»¹.

С этого письма В. И. Ленина начинается вводный очерк жизни и деятельности Ю. М. Стекло ва, предпосланный его книге «Избранное», которая выпущена к столе-

тию со дня рождения этого видного деятеля партии, крупного ученого-марксиста, публициста ленинской школы.

Весь материал книги «Избранное» так умело подобран и сгруппирован, что позволяет проследить революционный путь Стекло ва, характеризует все основные направления его публицистической деятельности.

Еще юношей Ю. М. Стекло в вступил на путь революционной борьбы с царизмом. В 1893 году он вместе с группой товарищей создает в Одессе рабочую социал-демократическую организацию. После ее разгрома в январе 1894 года Стекло в был заключен в одиночную камеру одесского тюремного замка, где просидел семнадцать

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 47.

месяцев. По «высочайшему» повелению его приговаривают к десяти годам ссылки в далекую Якутскую губернию, куда он добирался по этапу девять месяцев. Все эти испытания не сломили революционного духа Стеклова, и с первых дней пребывания в ссылке он начал помышлять о побеге.

Включенные в книгу воспоминания «Как я бежал из Якутки» рассказывают об этом героическом эпизоде из жизни молодого революционера. Читатель вместе с автором переживает все трудности побега, вызвавшего панику среди «охранителей порядка». Стеклову удалось проскочить на лошадях по бездорожью три тысячи верст до ближайшей железной дороги и затем пересечь всю Россию от Иркутска до Варшавы. С помощью польских революционеров он перешел русско-австрийскую границу и вновь включился в революционную работу. Эта статья была впервые опубликована в двухтомном труде Ю. М. Стеклова «Борцы за социализм», а затем перепечатана с предисловием его старого партийного товарища Г. М. Кржижановского в журнале «Новый мир» (1958, № 3).

В 1900 году Стеков впервые встречается с В. И. Лениным. Эта встреча сыграла решающую роль в его жизни.

Стеков принял участие в совещании руководителей русских социал-демократов в местечке Бельрив, под Женовой, где обсуждался вопрос о создании газеты «Искра» и журнала «Заря» и были заложены основы революционной социал-демократии. В своих воспоминаниях Стеков дает яркую характеристику молодого Ильича, уже тогда ставшего во главе русского революционного движения:

«...Ленин молчаливо всеми был признан главой движения. Впоследствии эту роль у него пытались оспаривать, но безуспешно. Очевидно, история знает, что делает. Выбрав такую фигуру в исторические вожди, сделал ее средоточием всего прошлого коллективного человеческого опыта, снабдив ее для этого достаточными умственными силами и волей, она вместе с тем наделяет носителя этой исторической роли сознанием своего значения и внушает ему веру в свое призвание. Объединение этих объективных и субъективных моментов — таланта, знания, воли и сознания своих сил в одном лице — и создает таких вождей, каким был наш покойный Ильич»².

Почти четверть века Стеков был связан в своей революционной работе с В. И. Лениным. Благодаря уменью Ильича принципиально и бескомпромиссно ставить вопросы революционной теории и практики, глубоко разбираться в людях, помогать им осознать свои ошибки Стеков в дооктябрьский период смог преодолеть некоторые колебания и твердо стать на ленинские позиции, с которых он после победы Октябрьской революции никогда не сходил.

Многие годы Стеков сотрудничал в большевистской печати, начинал с «Искры» и «Зари», а затем печатался в «Пролетарии», «Социал-демократе», «Звезде». Я помню, когда в апреле 1912 года, открыв первый номер газеты «Правда», в списке сотрудников ленинской газеты увидела имя Ю. М. Стеклова.

Я впервые узнала о нем в 1905 году, когда он был арестован во время заседания Петроградского Совета рабочих депутатов. В 1906 году мы познакомились с ним лично. Начавшаяся реакция заставила нашу партию искать новые пути для социал-демократической большевистской пропаганды. Мне было поручено войти в состав правления петроградского клуба «Наука».

Я работала вместе со старой большевичкой, членом партии с 1898 года Софией Яковлевной Стекловой, женой Юрия Михайловича, которая также была направлена в «Науку». Она меня и познакомила со Стековым.

Юрий Михайлович несколько раз выступал в нашем клубе. Его речи всегда вызывали большой интерес. Это объяснялось, с одной стороны, глубокими марксистскими познаниями, которые он приобрел за годы ссылки и эмиграции, и, с другой стороны, тем, что он был одним из лучших агитаторов нашей партии, одаренным оратором.

К этому еще надо добавить, что внешний облик Стеклова был очень запоминающийся — огромного, почти двухметрового роста человек с красивой головой и большим лбом мыслителя.

Уже в то время Стеков был известен как историк революционного движения. После третьего ареста и высылки из России в 1910 году он в эмиграции продолжал активную работу в архивах, изучая материалы русского и мирового революционно-освободительного движения.

Его печатные работы о К. Марксе, революции 1848 года во Франции и в особенности книга о Н. Г. Чернышевском в доре-

² Ю. М. Стеков. Избранное, стр. 17.

волюционные годы были широко известны в социал-демократических кругах, среди передовых рабочих. В письме М. Горькому в 1911 году Ленин называет Стеклова автором «хорошей книги о Чернышевском»³.

Интересно напомнить, что в личной библиотеке Ленина хранилось около тридцати книг Ю. М. Стеклова.

Мне лично не пришлось попасть в организованную Лениным в 1911 году партийную школу в местечке Лонжюмо. Но я слыхала еще до революции, что в числе лекторов этой школы был и Юрий Михайлович, участник созданной Ильичем парижской группы большевиков.

Первый раздел книги «Избранное» содержит целый ряд материалов о В. И. Ленине. Сюда включены многие работы из ленинианы Стеклова. С исключительной теплотой и сердечностью пишет Стеков об Ильиче, о его исторической роли в революционной борьбе пролетариата.

«Не удивительно, что о Ленине уже творится легенда. И эта легенда будет все расти и шириться. Но в отличие от других легенд ленинская легенда является правдой. Его жизнь и труд — это целая мировая эпопея. Другие герои истории, в том числе легендарные основатели религий, бледнеют и уходят в туманную даль по мере развития и роста человечества. Фигуры таких людей, как Ленин, напротив, становятся все величественнее и ближе человечеству по мере того, как оно поднимается из бессознательного состояния и переходит в стадию активного и творческого участия в историческом процессе. Вот почему Ленин Бессмертен в настоящем смысле этого слова»⁴.

По воле партии и лично В. И. Ленина Стеков в первый день Октябрьской революции возглавил редакцию созданной им в феврале 1917 года газеты «Известия», откуда в мае 1917 года вынужден был уйти из-за предательства меньшевиков.

Публицистический талант Стеклова особенно ярко расцвел во время его работы в «Известиях». Он руководил газетой в течение восьми лет. И чуть ли не ежедневно «Известия» выходили с передовыми статьями Стеклова, которые читались не только в нашей стране, но и далеко за ее рубежами. Эти статьи, шутливо названные в народе «стекловицами», были написаны с

исключительной глубиной марксистского анализа, большевистской принципиальностью, ярким полемическим талантом. Всего после Октября в «Известиях» и «Правде» вышло около полутора тысяч статей Ю. М. Стеклова. Можно только поражаться его титанической работоспособности, когда наряду с государственной и партийной деятельностью он почти ежедневно выступал с передовой статьей, каждая из которых может служить и поныне примером для наших журналистов.

Ю. М. Стеков был создателем (совместно с А. В. Луначарским) и первым редактором журналов «Красная нива» и «Новый мир», вокруг которых удалось в те дни объединить лучшие литературные силы страны. Под руководством своих редакторов «Новый мир» с первых номеров привлек внимание читателей яркими прозаическими произведениями, стихотворениями популярных поэтов и содержательными научно-популярными статьями. На его страницах впервые увидели свет работы Ленина о диктатуре пролетариата и «Тезисы ответа германским «независимым» на предложение переговоров», которые не были опубликованы при жизни Ильича. Сам Стеков выступал в журнале неоднократно. Здесь были помещены его статьи «Наследие Ленина» (вошедшая в «Избранное»), «Российские царисты и германские империалисты».

Приведенные в книге «Избранное» произведения Стеклова, напечатанные в «Правде», «Известиях» и «Новом мире», характеризуют широкий диапазон вопросов, освещенных автором, глубокие знания ученого, историка и журналистский опыт крупного публициста-ленинца.

Особый интерес представляют статьи Ю. М. Стеклова о первых днях Октябрьской революции, в подготовке которой он принял активное участие. Он описывает волнующую обстановку II съезда Советов, исторические выступления на нем В. И. Ленина. Мне пришлось как председателю Рождественского (ныне Смольнинского) райкома партии участвовать в работах II Всероссийского съезда Советов, слушать выступления Ленина и видеть в эти боевые дни Ю. М. Стеклова, совмещавшего участие в съезде с подготовкой выхода первых номеров «Известий», вновь ставших большевистской газетой, с приемом непрерывно прибывающих делегаций фабрик, заводов, воинских частей. Когда в коридоре я обра-

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 32.

⁴ Ю. М. Стеков. Избранное, стр. 25.

тилась к нему, спешившему в кабинет, занятый для редакции «Известий», с вопросом о том, каковы наши последние успехи в городе, он уверенно и твердо ответил мне: «Власть уже в наших руках... — И, подумав, добавил: — И теперь уже навсегда!»

Рассказу об этом времени посвящены статьи «Он не знал колебаний», «В этот день» и другие.

В статье «Он не знал колебаний», впервые опубликованной в журнале «Новый мир» (1958, № 11), Стеклов создал яркий образ Ильича, возглавившего первое рабоче-крестьянское правительство. Стеклов ясно понимал, что в победе Октябрьской революции В. И. Ленин сыграл решающую роль, и поэтому Ленину он посвятил книгу «Год борьбы за социальную революцию», написав в предисловии к ней: «Чем ночь темней, тем звезды ярче. И чем отвратительнее ренегаты социализма, тем в более светлом ореоле выступают фигуры активных борцов за интернационализм и за социальную революцию.

Среди этих исторических деятелей самой видной фигурой является, конечно, товарищ Ленин, который сумел раньше нас всех заглянуть в исторические дали и толкнул нас на решительное выступление в целях полного освобождения трудящихся. И кому другому, как не ему посвятить эту книгу, озаглавленную «Год борьбы за социальную революцию»...»⁵.

Во втором разделе «Избранного» помещены воспоминания о Я. М. Свердлове. В них приводится интересный и малоизвестный эпизод, связанный с созданием первой Советской Конституции:

«Для выработки конституции Советской Республики ВЦИКом образована была особая комиссия. Эта комиссия работала несколько месяцев, но результатов от ее работы получалось очень мало. Был принят, насколько я помню, только один пункт о правах наций на самоопределение, да и то в самой общей редакции. Прения по всякому вопросу бесконечно затягивались, ни к чему определенному не приводили и не фиксировались в точные юридические положения, необходимые для такого государственного акта, как конституция. А между тем приближалось время открытия 5-го съезда Советов, на котором конституция должна была обсуждаться. Возникло предположение отложить этот вопрос ввиду не-

подготовленности его до следующего съезда. Но Свердлов рассуждал не так. За день до открытия съезда он вызвал меня к себе и сказал: «Юрий Михайлович, надо сейчас же выработать проект конституции». Когда же я указал ему на то, что для этого не остается достаточно времени, то он возразил: «Как недостаточно времени? У вас есть еще 24 часа!» Я не стал спорить. Тут же он дал мне на помощь тов. Шенкмана... запер нас в «Метрополе» в отдельной комнате, велел нам подать кофе и хлеба и сказал: «Не выходите из комнаты до тех пор, пока вы не выработаете проекта конституции! Я, когда будет свободное время, тоже к вам наведаюсь». Разумеется, «свободного времени» у него не оказалось, и он к нам не наведался; но мы с Шенкманом засели за работу, а так как основные положения у меня уже были намечены, а тов. Лениным, с своей стороны, тоже были даны нам принципиальные указания насчет формулировки вопроса о «свободах», то в тот же день проект конституции и был выработан. Через некоторое время мы прочитали его полностью в кабинете тов. Ленина, в его присутствии и в присутствии Свердлова, и после некоторых мелких изменений проект был утвержден, представлен съезду и после моего доклада съездом принят...»⁶.

Естественно, что наиболее объемистым разделом книги явилась публицистика — жанр, в котором Юрий Михайлович был одним из самых выдающихся мастеров. Его статьи, касающиеся задач укрепления советской власти и социалистического строительства, вопросов борьбы с контрреволюцией и социал-предателями, соседствуют в этом разделе со статьями, посвященными проблемам международного революционного движения.

Стеклов в своих работах отражал очередные задачи советской власти не только в области политики, но и в области хозяйственного строительства. Образцом таких статей служит его передовая «Великое дерзновение», посвященная плану ГОЭЛРО.

В этот же раздел включен очерк о великом основоположнике научного социализма — «Карл Маркс как учитель рабочего класса». В июне 1918 года Стеклов написал статью «Г. В. Плеханов», в которой, отдавая должное заслугам Плеханова в распространении марксизма в России, показал слабость

⁵ Ю. М. Стеклов. Избранное. стр. 113.

⁶ Там же. стр. 103—104.

Пеханова в революционной практике, которая привела его в самый ответственный момент истории русского пролетариата в стан врагов.

В последнем разделе книги помещены работы Стеклова, касающиеся вопросов печати. Пройдя путь партийного публициста начиная с «Искры» до организатора и большевистского редактора «Известий», он являлся правофланговым советской журналистики. Уже в первом году существования Советского государства он с исчерпывающей ясностью определил роль советской журналистики в эпоху пролетарской диктатуры и строительства бесклассового общества.

В своих статьях в «Известиях» и «Правде» Стеков разоблачал попытки буржуазных литераторов и их соглашательских подпевал под фальшивым лозунгом «свободы печати» добиться превращения наших газет и журналов в трибуну антисоветской пропаганды. Полемизируя с «новожизненцем» Базаровым, который называл большевистских литераторов «правительственными, казенными, официозными публицистами», Стеков писал в «Известиях»: «Мы — «казенные» литераторы? Да, поскольку казенными были литераторы, писавшие в официальных и официозных изданиях Парижской коммуны; поскольку казенным литератором был сам Базаров, если бы в момент пролетарской революции он не изменил рабочему классу и не перебежал в лагерь его врагов.

Быть «казенным литератором» в эпоху, когда власть перешла наконец в руки трудящихся,— это величайшая честь, доступная писателю; быть в это время неказенным писакой, оплывающим пролетарскую революцию и всячески ее срывающим,— это бесчестие и позор.

В такое время можно служить или пролетариату, или капиталу. Третьего не дано!»⁷.

Стеков сразу же сумел увидеть за болевой о демократичности печати и свободомыслии скрытую идеологическую диверсию, попытку атаковать достижения пролетарской революции в области идеологии. В своих статьях он четко указал, что после торжества пролетарской революции в России в области идеологической

борьбы надо быть по одну сторону баррикад — служить пролетариату или буржуазии. Эта мысль Стеклова имеет важное значение и сегодня.

На наших глазах борьба за так называемую «демократию и свободу», которую вели в Чили реакционные силы, превратилась в фашистский террор хунты, в физическое истребление лучших представителей свободолюбивого чилийского народа. Буржуазные пропагандисты оплакивали нарушения демократии, когда в Чили при правительстве Народного единства социалисты и коммунисты выступали со страниц газет против сил реакции. Но они не увидели «нарушений демократии», когда избранный народом президент республики Альенде был убит фашистскими молодчиками из хунты, а застенки переполнились коммунистами, социалистами и рабочими-активистами.

В «Избранном» помещены выдержки из книги Стеклова «За кулисами современной (буржуазной) печати», где автор показывает себя глубоким знатоком путей развития печати в условиях капитализма, ежедневно отравляющей народное сознание клеветой и ложью.

В конце книги помещен перечень дат жизни Ю. М. Стеклова, который дает возможность проследить за основными этапами его революционной деятельности. Надо сказать, что такой указатель желательно публиковать в книгах старых революционеров для того, чтобы читатель, а в особенности молодежь, мог лучше представить жизненный путь авторов книги.

Библиографический перечень огромного литературного наследия Стеклова включает только его основные книги и журнальные статьи. Остается пожалеть, что в нем отсутствуют повторные издания (некоторые работы Стеклова переиздавались по нескольку раз), имеется ряд пропусков.

Со страниц книги встает яркий образ Ю. М. Стеклова — одного из старейших пролетарских революционеров России, верно ученика Ленина, воплотившего образ вождя партии в лучших своих произведениях. Жизнь большевика Ю. М. Стеклова — пример беззаветного служения делу партии, борьбы за коммунистические идеалы.

Е. СОЛОВЕЙ,

член КПСС с 1905 года.

⁷ Там же, стр. 185.



ОСВОЕНИЕ НАУКИ

Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сборник десятый.
М. «Советский писатель». 1973. 480 стр.

Нередко, когда разговор заходит о научно-художественной литературе, кое-кто требует точного определения — что же, собственно, это такое, научно-художественная литература? Как правило, вопрошаемый медлит с ответом: найти точное определение нелегко — и это вроде бы служит веским аргументом против введения нового понятия.

Между тем, если подумать, многое в мире не поддается точному определению. И тем не менее существует. Осознавая этот парадокс, мудрые люди, когда перед ними стоит задача растолковать какое-то понятие, в шутку (а может быть, всерьез) прибегают к тавтологии. Например, что такое физика? Это то, чем занимаются физики...

Следуя их примеру, и в данном случае можно было бы вместо того, чтобы ломать голову, просто сказать: «Научно-художественная литература? Это то, чем занимается художник, пишущий о науке».

В научно-художественном произведении внимание автора, вероятно, должно быть разделено примерно поровну между человеком и наукой. Между человеком — «субъектом» науки и наукой, отражающей человека. Такое разделение кажется вполне естественным. И это единственное, что можно сказать заранее по поводу научно-художественного произведения. Как решить на деле такую задачу, чтобы получился не обычный очерк, утяжеленный рассказом о научной проблеме, и не научно-популярная статья, приукрашенная беллетристическими вкраплениями, а нечто новое, органическое, цельное — это уже вопрос мастерства художника.

Известно, что разговоры о научно-художественной литературе стали у нас особенно частыми после выхода книги Д. Данина «Неизбежность странного мира». Автор ее как раз и обнажил перед нами, сколь великий простор для углубленных раздумий художника открывает наука. Внешне книга была представлена читателям, как любят представлять издательства любую научно-популярную книгу: путешествие в страну такую-то (в данном случае — в «страну элементарных частиц»). Но поразительно, сколь закономерным образом такого рода поездки, оказывается, дают возможность увидеть нечто гораздо большее, чем только ландшафты по обе стороны колес.

Не лишено интереса сравнить, хотя бы на примере одного эпизода, как раскрывается история решения той или иной проблемы в научно-популярном и научно-художественном произведении. Возьмем эпизод признания реальности квантов, представление о которых впервые выдвинул Макс Планк в качестве математической абстракции.

В книге Дж. Орира «Популярная физика»: «Чтобы получить математическое описание формы спектра излучения нагретых тел (излучения черного тела), Планк постулировал, что лучистая энергия переносится определенными порциями, или «квантами»... Эти световые «частицы» были названы фотонами...

Эйнштейн предположил, что при фотоэлектрическом эффекте отдельный электрон полностью поглощает в элементарном акте один фотон. Процесс происходит мгновенно, подобно столкновению двух частиц... Смысл этого смелого предположения состоит в том, что свет в конечном итоге оказывается состоящим из частиц».

В книге Д. Данина «Неизбежность странного мира»:

«Планк — тихий, педантичный, строгий, очень немецкий ученый — работал над решением трудной задачи много лет. Успех пришел к нему тогда, когда он отважился на гипотезу, о которой никто не посмел бы сказать, что она «тиха и педантична»... Он высказал мысль, что энергия излучается и поглощается отдельными порциями...

Эта мысль была так неожиданна, что сам Планк сначала смотрел на нее только как на рабочую гипотезу... Абрам Федорович Иоффе не раз рассказывал, как в свое время, в десятых годах, уже маститый Планк убеждал его, молодого ученого из России, очень осторожно обращаться с идеей квантов — «не идти дальше, чем это крайне необходимо», и «не посягать на самый свет»... От такого посягательства... предостерегал Макс Планк молодого Иоффе, когда тот взялся за развитие взглядов Эйнштейна. «Напечатаете ли вы мою статью в «Анналах?» — спросил Иоффе у Планка. С широтой большого ученого Планк ответил, что, конечно, не будет возражать против ее опубликования, но с честностью человека, не умеющего идти против своих убеждений, заметил, что ему было бы больше по душе, если б статью при-

нял к печати второй редактор «Анналов физики», Вин. «Я буду огорчен,— примерно так сказал Планк,— что опубликована статья, в которой сделан еще один шаг в сторону от классической теории света».

Нетрудно видеть всю разницу подхода к изложению у авторов в первом и втором отрывках. В первом случае — точное, бесстрастное, суховатое изложение существа данного эпизода. Во втором — тот же рассказ, но окрашенный человеческими страстями, не просто эпизод истории науки, но фрагмент «драмы идей»; здесь же — убедительный психологический портрет ученого, нарисованный точными скупыми красками.

К сожалению, распределять внимание между человеком и наукой строго поровну возможно, пожалуй, лишь теоретически. Законы литературного письма требуют точно определять, о чем, собственно, вы собираетесь в первую очередь рассказать читателям — об ученом ли, о существе ли его работы. А когда ваш выбор состоялся, вы опять не вольны — вы вынуждены соблюдать пропорции между главным и второстепенным в соответствии с намеченной фабулой. Но то, что предстает второстепенным при одном подходе, может выступить на первый план при другом. Так что нередко возникает желание пропахать несколько раз одно и то же поле, но всякий раз вести пахоту иначе.

В книгах «Неизбежность странного мира», «Резерфорд» и «Нильс Бор» Д. Данин, по сути дела, разрабатывает один и тот же пласт, подходя к нему с различных концов. «...«Большая история» науки и «малая история» личности, тесно переплетаясь, все-таки не совпадают. У них не одна и та же содержательность и разная логика», — пишет он в отрывке из биографии Нильса Бора, опубликованном в десятом сборнике «Путей в неизвестное». В книге «Неизбежность странного мира» писатель взял за основу «большую историю» науки, в дух последних своих книг — «малую историю» личности.

В целом же происходит многосторонний охват одного из самых значительных периодов развития физики в XX веке. Получается некая трилогия, в которой внутренние связи между отдельными частями, возможно, прочнее искусственных соединений в иных декларированных многотомных эпопеях.

...Устремления науки и интересы отдельного человека, изменяясь с течением времени, нередко движутся параллельными путями. В общем-то, здесь нет ничего удивитель-

ного: ведь наука обретает то или иное направление не в обход конкретных людей. Однако для науковедов, которые анализируют какой-то этап научной истории, как правило, важно выявить объективные причины, вызвавшие определенное явление. У писателя подход иной: ему хочется посмотреть, как те или иные веяния сочетаются с внутренними интересами выбранного им героя.

Было время, не столь уж давнее, когда природоведение не слишком благоволило к математике. Однако шли годы, в каждой из областей естествознания все настоятельной становилась нужда в надежных количественных методах обобщения. Снова, как во времена Гумбольдта, частные науки обращались за помощью к математике.

В очерке А. Давыдова «Испытатель природы» эти благодатные события показаны через судьбу инженера, математика Владимира Меншуткина. Счастливую, в общем-то, судьбу. Счастлив человек, вовремя родившийся, нечаянно уловивший тот момент, когда для раскрытия его способностей сложились наилучшие обстоятельства.

Математика — призвание Меншуткина. Но есть у него и еще одно качество, своего рода второе призвание — непоседливая тяга к природе, к просторам, присущая путешественникам, геологам, землепроходцам и, по обычным понятиям, плохо совмещаемая с кабинетной профессией математика.

В иные времена такое сочетание, вероятно, породило бы тяжелый внутренний конфликт. Однако время пришло на помощь Меншуткину. Побывал он и на дивном, прозрачном Байкале, и на безлюдном Курильском озере, где каждое утро, не стесняясь людей, ходит за рыбой троица медведей, и на озере Дальнем... Побывал не в качестве отпускника-туриста, а в качестве работяги-ученого, «испытателя природы». Случались и вовсе символические положения — коротал ночь в машинном зале вычислительного центра, натянув на себя спальный мешок. Две страсти — к математике и к вольной, скитальческой жизни — сплелись воедино...

В очерке А. Давыдова рассказано не только о судьбе Владимира Меншуткина, не только о подвижническом подвиге Файны Владимировны Крогиус и Евгения Михайловича Крохина, более сорока лет вдвоем ведущих всесторонние исследования озера Дальнего на Камчатке и проделавших, вероятно, работу целого института, укомплектованного полным штатом сотрудников. В очерке под-

робно рассказано и о проблеме, которой занимаются Меншуткин и его товарищи, — о разработке математических моделей, описывающих, как ведут себя так называемые биологические системы — скажем, стада рыб. Необходим ли этот рассказ или можно было ограничиться традиционным очерковым материалом? И если необходимо — в полном ли объеме? Возможно, что с точки зрения традиционных жанров очерка рассказ о кибернетических моделях следовало бы сделать короче. Но все дело в том, что одновременно с рождением нового вида литературы вырабатываются и сами критерии оценки.

Тут — как в новом виде спорта, например, санном. Чтобы научиться судить, кто хорошо катается, нужно «набрать статистику» и в прямом смысле (численные результаты) и в переносном — посмотреть, кто как катается. Чтобы с уверенностью оценивать научно-художественные произведения, тоже нужна «статистика».

Не писать же вовсе о существе дела было нельзя: не объяснив, в чем суть математического моделирования происходящих в природе процессов, невозможно передать читателю понимание высокогуманного смысла того явления математизации природоведения, которое возникло благодаря объективной эволюции науки и субъективным устремлениям людей, подобных Меншуткину. Получилось бы декларативно и неубедительно...

Требование органической необходимости тех или иных частей и элементов повествования, конечно, остается в силе для научно-художественного, как и для любого другого литературного произведения, независимо от того, идет ли речь о частях, посвященных людям или научным проблемам.

Все было бы хорошо, если бы столь же отчетливо, как научная проблема, как ход мыслей ученого, ее решающего, был выписан и человеческий портрет героя, тем паче что места этому уделено немало. Увы, тут авторское перо оказалось слабым: портрет бледен, схематичен, лишен ярких индивидуальных черт. Сколько лет мы помним гранинских Данкевича, Крылова... Скажут: то чисто художественные образы, а здесь портрет с натуры. Что ж, в жизни встречаются не менее яркие характеры ученых. Главное же, не надо бояться использовать то средство, которое предоставляется художественным описанием, — обобщение. Не надо жалеть усилий в поисках точных штрихов.

Встречаются в очерке А. Давыдова и более мелкие просчеты. Основная его идея, как полагает автор, — идея гуманного исследования, «испытания» природы, не требующего от нее напрасных жертв. «Природу можно испытывать так, чтобы рыба жила и здравствовала в озере, когда ее математическое отражение гибнет в вычислительной машине» — таков благородный финал очерка. А вот отрывок, взятый из середины: «Никто, как известно, не может ответить на вопрос, сколько рыбы в море. Жаков надеялся сосчитать, сколько ее было в озере. Такой уникальный случай представлялся ихтиологу, наверное, впервые за всю историю науки... Меншуткина пригласили считать дохлого окуня. Симпатичное озерцо, к которому его привез Жаков, производило странное впечатление. Лес по берегам, трава на лугу, песчаные отмели — все осталось таким, как было. Но озеро вымерло — лишь ветер шевелил на поверхности воды трупы рыбы. Тишина, даже лягушки не квакают. Яд сделал свое дело чисто».

Ихтиологам, наверное, в самом деле повезло: знающие люди сочли окуня малоценной рыбой, подлежащей отравлению и замене более «перспективными» видами, привезенными издалека. Возможно, когда-нибудь ученым представится еще более «уникальный» случай — посчитать таким же способом, сколько рыбы в Атлантическом или Тихом океане, например. А уж окуневых водоемов на земле и вовсе вдоволь... Но автор научно-художественного произведения должен «на слух» улавливать всю антихудожественность, антигуманность подобного полубезразличного («дохлый окунь», «странное впечатление»), полувосторженного («уникальный случай») описания страшной картины тотального (пусть в небольшом масштабе) уничтожения всего живого. Ассоциации тут возникают вполне определенные...

Кстати, на этом примере опять легко увидеть отличие научно-художественного произведения от научно-популярного. В последнем, по-видимому, описание всеобщей гибели погинуло было бы вполне допустимо — это был бы лишь простой бесхитростный рассказ о методике исследования. Здесь же, кроме того, что описание само по себе производит отталкивающее впечатление, оно еще перечеркивает декларированную автором главную мысль очерка — поиск гуманных способов исследования природы.

Совсем иначе построен очерк Ю. Вебера «Уроки одного ландшафта». По своему внут-

ренному пафосу он приближается к многочисленным в последние годы статьям в защиту природы. Но слов, впрямую сказанных об этом, здесь не так уж много. Как и положено художнику, автор просто изображает, рассказывает, а уж читатель сам должен сделать выводы.

Рассказ — о песчаных дюнах знаменитой Куршской косы, о ее древней драматической истории. Три стихии вот уже тысячи лет противоборствуют на этом узеньком клочке земли — песок, наступающий с моря на сушу, лес, преяствующий этому наступлению, и человек, то и дело бездумно вмешивающийся в ожесточенную схватку живого и мертвого и, без догадки о том, выступающий на стороне мертвого, ослабляющий сопротивление живого.

Казалось бы: как можно было навредить природе первобытными каменными орудиями, пригодными разве лишь для того, чтобы не дать самому человеку умереть от голода и холода? Однако в последние годы ученые обнаруживают все новые и новые свидетельства: уже в древние времена начался тот скорбный процесс бессмысленного разрушения окружающего, о котором мы начинаем всерьез задумываться лишь теперь. Кто знает, сколько видов животных было выбито первобытными охотниками? Сколько раз губительным, катастрофическим образом человек нарушал равновесие, с таким трудом найденное природой?

Вот и на Куршской косе в древних слоях открывается пепел, остатки обугленной древесины. Но, может быть, это молния поджигала лес, со стоическим упрямством противостоявший пескам? Нет, молния тут ни при чем: поблизости находят каменные топоры, молотки, ступы, черепки посуды — следы человеческого жилья. Человек и жег и рубил, открывая дорогу песчаному нашествию.

«Все же коса могла это еще как-то выдержать», — пишет Ю. Вебер. — Несмотря на отдельные опустошения, она сохраняла свой зеленый наряд. Леса стояли против песков. В них размножался зверь. Медведи и волки. Кабаны, косули, зайцы, лось... Суровый край, благословенный край».

Но вот на Куршскую косу приходила война. «Сражения пылали вокруг косы, на берегах Куршского залива, на берегах Немана, на подступах к тогдашнему Кенигсбергу. Передвигались, наступая и отступая, многотысячные войсковые массы... А на самой косе многочисленные военные команды рубили лес для укреплений, курили смолу, необхо-

димую армии и флоту... Какой ураган мог с этим сравниться?»

В самом деле, нет ничего опустошительнее, чем ураган войны. Он сделал свое дело: песок, примирившийся было со своей судьбой под цепкими корнями деревьев, теперь, освободившись от них, вновь пополз, уничтожая все на своем пути, в том числе и человеческое жилье.

Война — апофеоз безумия. В истории Куршской косы эта истина раскрыта своеобразно, с той стороны, о которой говорят не часто и которая по нынешним временам приобретает особое значение: вспомним хотя бы уничтожение лесов Вьетнама американской авиацией...

И опять, если бы автор вознамерился написать простую научно-популярную статью о закономерностях образования дюн, он бы, вероятно, делал это совсем по-другому. Возможно, она была бы богаче научной информацией, но уж, конечно, беднее красками, чувством, ощущением человеческой сопричастности природе. Наконец, в такой статье не было бы человека...

Сейчас он есть. Наиболее колоритна фигура профессора Витаутаса Гуделиса. Удивительно: автор посвящает ему совсем немного строк — в промежутках между последовательными рассказами об истории Куршской косы, но их оказывается достаточно, чтобы мы близко узнали ученого, внутренним слухом услышали его «размеренный, всегда корректный» голос, рассказывающий о тысячелетних невзгодах косы, о ее надеждах. Несомненно, человек в конце концов должен извлечь урок из прошлого своего неразумного отношения к природе, должен в конце концов чему-то научиться. И образ профессора Гуделиса — как раз почти символический и вместе с тем очень живой образ умудренного опытом, «научившегося» человека.

Кстати, Гуделис говорит слова, как будто прямо предназначенные для чересчур ретивых «знающих людей», которым что рыбу в озере отравить, что реку повернуть вспять — одинаково ничего не стоит: «Все-таки надо поменьше вмешиваться в режим природы. Лишь немного регулировать его».

Тема заботливого, бережного отношения к природе, к Земле вообще постоянно присутствует на страницах «Путей в неизвестное». Тут можно вспомнить и статью С. Залыгина «Из записок мелниоратора» в сборнике восьмом, и очерк А. Кременского «Золотой куст», также опубликованный в восьмом сборнике, и другие материалы...

Кстати, в таких материалах писатель не только выступает как рупор идей того или иного ученого, о котором он пишет, но подчас на равных со специалистами, от своего имени. Обсуждает волнующую его проблему. Именно такое обсуждение вопросов землепользования и землеустройства находим мы в «записках» С. Залыгина. Но в данном случае автор идет даже дальше. Опережая ученых, он разрабатывает основы своеобразной философии обращения с землей, с ее природными богатствами.

С прогрессивном движении математизации традиционно «качественных» наук (которым посвящен очерк А. Давыдова) «Пути в неизвестное» также пишут не впервые. В сборнике пятом (1965 год) были опубликованы заметки А. Смирнова-Черкезова со спокойным, «научно-популярным» названием «Усилители интеллекта». Однако в них содержалась не только популяризация научных знаний. Это было писательское слово в защиту экономико-математических методов и, в частности, в защиту общепризнанных ныне автоматизированных систем управления — АСУ. Тогда они не были еще общепризнанными и общепринятыми. Кое-кто резко критиковал их, в том числе и с глубокомысленных «философских» позиций: дескать, в основе ошибок современных энтузиастов применения математики в экономике лежит стремление механически распространить методы физических наук на общественные науки, имеющие дело со значительно более сложным предметом исследования. А. Смирнов-Черкезов, который вообще много сделал для пропаганды современных методов экономики и управления, показал всю безосновательность подобных рутинерских утверждений, за которыми, как правило, скрывалась интеллектуальная лень, нежелание пошевелиться.

...В десятом сборнике среди многих интересных вещей помещен очерк С. Резника «Один день в Ясной Поляне». Это скрупулезное исследование не очень продолжительной, но яркой истории отношений выдающегося русского физиолога Ильи Мечникова и Льва Толстого. Рассказ о единственной их встрече.

Широко известно, что Толстой беспощадно иронизировал по адресу науки.

Антинаучные выпады великого писателя удивительны нынче в первую очередь тем, что почти все они — без видимого повода. Скрытая же, истинная их причина, очевид-

но, заключается в том, что «впечатлительность и чувствительность Толстого», как говорит Мечников, «до такой степени овладели его чисто художественной натурой, что умственная сторона, рассуждение и логика у него отошли на задний план». А поскольку наука постоянно возникает перед глазами писателя с «рассуждением и логикой», она и кажется враждебной силой.

В целом в истории это не какой-нибудь уникальный случай. Не так уж редко человек, склонный к иррациональному освоению действительности, ополчался против рационального подхода. Мы знаем, есть и теперь литераторы, настороженно или в лучшем случае равнодушно относящиеся к науке. Но нынче это и вовсе представляет курьез. ...Вот уже увидели свет десять выпусков «Путей в неизвестное». Почти триста авторских листов. Восемьдесят шесть авторов, из которых пятьдесят девять — профессиональные литераторы. В редколлегии сборника — многие энтузиасты этого «странного» и «не вполне законного» жанра — научно-художественной литературы. До последнего времени редколлегия возглавлял известный писатель-очеркист Борис Николаевич Агапов, недавно скончавшийся. Писатели рассказывают о науке. Писатели «осваивают» науку. Нынче среди литераторов спор идет не о том, как относиться к науке, а о том, как писать о ней, как примирить научность с художественностью, не утратив ни того, ни другого.

В общих чертах понятно, в чем здесь главное. Главное — во взаимных уступках и добровольных жертвах. «Когда сочетается несочетаемое, — писал в свое время Д. Данин, — обе стороны должны чем-то пожертвовать от своего естества. Иначе ничто третье никак не возникнет. В лучшем случае появится равновесная смесь... Научность и художественность вынуждены ограничивать друг друга. И без вражды — полюбовно. Они вынуждены приносить свои жертвы на общий алтарь во имя целого».

Но теория теорией, а практика практикой. «Если бы еще знать, как это следует делать», — добавлял при этом Д. Данин.

Что ж, сегодня мы можем сказать, что уже многие писатели знают, «как это следует делать». О таком знании свидетельствует, в частности, и опыт выпуска десяти сборников «Путей в неизвестное».

Олег МОРОЗ.



В МОРЕ — ЗНАЧИТ, ДОМА

С. Семанов. Макаров. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1972. 288 стр.

Однажды поздней осенью у главного командира Кронштадтского порта собрались несколько старших офицеров. Все были в давней и прочной дружбе. Беседовали, по обыкновению, о флотских бедах, ругали чинуш морского ведомства.

— А знаете ли, господа,— усмехнулся адмирал,— какая собачья порода самая противная?

— ???

— Шпиц! — убежденно определил адмирал.

Все невесело рассмеялись. А кто-то добавил:

— И такса!

Этот горько-шутливый разговор происходил в 1903 году в домашнем кабинете вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, и собравшиеся прекрасно понимали, какой такой «шпиц» и какая разедакая «такса».

Шпиц венчал петербургское Адмиралтейство; там их высокопревосходительства вершили судьбы флота и моряков. Под «таксой» разумелись не вообще расценки, а гангрена взяточничества.

Эпизод, приведенный выше, мы не стали бы извлекать из давнего номера «Вестника Европы», если бы «шпиц» и «такса» не терзали всю жизнь героя рецензируемой книги.

Макаров — фигура трагическая. Он знал власть одной заботы — заботы о военной мощи и безопасности родины, его глас был гласом вопиющего в пустыне. Он провидел катастрофу, чуял гром Цусимы — от него отмахивались. Он и в мыслях не держал что-либо против монархии — на него косились как на возмутителя спокойствия. Автор не скрывает политического кредо адмирала, и это выгодно отличает книгу от иных глянцевиных биографий военачальников старой России.

Личная трагедия Макарова типична для того времени. Флотоводец подлинный, талант яркий, он вынужден был год за годом ломать тяжелые льды косности и равнодушия, как его знаменитый «Ермак» ломал полярные торосы. Макаров не одинок: людей его калибра, энергии, страсти, нелакейского патриотизма чурались не только в департаментах морского министерства. Не только под шпицем жила темная, почти суевверная боязнь перемен, боязнь новатор-

ства, та, что всегда, словно сумеречная тень, ползет и растекается перед закатом; а закат империи уже начался. Современник Макарова, крупный и весьма осведомленный дипломат, охарактеризовал в своих воспоминаниях Николая II: «Всякого новшества он по малодушию боялся, и новаторы были ему ненавистны...»

Итак, жизнеописание С. О. Макарова заняло свое место в серии «Жизнь замечательных людей». Биограф, как и любой исследователь, испытывает трудности от недостатка материала и от избытка материала. Первое соблазняет на домыслы. Второе подобно наводнению. Деятельность Макарова занимала и ученых с мировым именем, и морских специалистов, и полярников, и литераторов. Существует к тому же и двухтомное издание архивных материалов.

С. Семанов «не утонул в море фактов», удержался на главном курсе. Автор рассказывает о Макарове, про Макарова, ради Макарова. О жизни, начавшейся близ моря, прошедшей на море, кончившейся в море.

Макаров скрылся в пучине вместе со своим броненосцем. «Классическая, если можно так сказать, смерть для флотоводца!» — восклицает автор. Пусть русская адмиральская «классика» не такова. Ни Ушакова, ни Сенявина, ни Лазарева, ни Корнилова с Нахимовым не поглотили волны. И все же именно так скажешь о человеке, которому принадлежит девиз: «В море — значит, дома».

Да и начальная пора его тоже не укладывается в «канон». Названные нами флотоводцы были помещичьими детьми, и сами они были помещиками, хотя и далеко не всегда первой руки, не княжеской или графской крови. Но Макаров-то был сыном прапорщика, беспоместного офицера, едва тянувшего от двадцатого числа до двадцатого.

Наивно настаивать на том, что происхождение непременно формирует мировоззрение. Давно сказано: необязательно владеть лавочкой, чтобы обладать психологией лавочника. Примечательность «простого» происхождения Макарова в том, что он с малолетства познал вкус упорной и упрямой работы. По английской поговорке, то был человек, сделав-

ший самого себя. Без радетелей, без тетьки или дяденьки, без протекций и связей.

Суровый, требовательный, даже жестко-требовательный, он имел на это право. Не только должностное, в соответствии с параграфами устава, а право нравственное, моральное, которым не располагали слишком многие его сослуживцы и которое тотчас чувствовали и понимали «нижние чины».

Автор книги щедр в изображении неустанный, подвижнический труда, то есть в изображении капитального в биографии флотоводца и кораблестроителя, ученого и изобретателя, натуры, по сути, новаторской, неугомонной, постоянно претворяющей мысль в дело.

Личная, домашняя жизнь адмирала занимает в книге сравнительно небольшое место, хотя С. Семанов, на зависть биографам других русских флотоводцев, располагал большим эпистолярным наследием. Очевидно, сдержанность автора объясняется нежеланием слишком уж вторгаться в семейные обстоятельства, нередко огорчавшие его героя. Пожалуй, иные читатели осудят авторскую деликатность. Но тут приходит на память рассуждение Н. К. Михайловского о том, что литераторы сплошь и рядом берут любовь основным мотивом, так и эдак выворачивают интимности, а «идею труда», эту «вечную долю человечества, бесконечно разнообразную в своих условиях», оставляют в стороне.

Беллетристика — беллетристам. С. Семанов написал книгу почти без беллетристики. «Почти», потому что элементы ее, к сожалению, присутствуют. Мы говорим «к сожалению», потому что они досадны, как звук внезапно лопнувшей струны. Такова, например, сценка с экзекутором («через него» освещается заседание в Академии наук) или с генерал-адмиралом Алексеем Александровичем.

Разумеется, без великого князя Алексея, шефа российского флота, не обойтись: Макаров чуть не четверть века испытывал гнет августейшего мастодонта. Жаль, что автор не обратился к свидетельству мемуариста, ему, несомненно, известного. А тот оставил портрет по-своему колоритный: «Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа заставила бы его подать в отстав-

ку... Трудно было себе представить более скромные познания, которые были по морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице... Несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества».

Свидетельство вдвойне ценное. Во-первых, оно принадлежит лицу императорской фамилии. Во-вторых, мемуарист не сторонний наблюдатель: он изучил военно-морские науки и некоторое время нес палубную службу.

Повторяем, автор книги о Макарове не уходит в сторону от намеченного курса, жизнеописание движется слаженно. Однако ощутим и некий недостаток: уж очень бедно представлены сподвижники и друзья Степана Осиповича. Правда, видишь Менделеева, академика Рыкачева, да вот люди флота возникают редко. По нашему мнению, явно не хватает такой фигуры, как Григорий Иванович Бутаков. Прямой предшественник Макарова, старший его современник, он был создателем и учителем отечественного парового и броненосного флота.

Есть и огрехи. Вот некоторые. Морское ведомство «никогда не отличалось слишком уже большой деловитостью». Никогда? После Крымской войны именно морское ведомство отличалось и деловитостью — не без внутренней борьбы с ретроградами — и прогрессивностью, что, между прочим, отобразилось в статьях «Морского сборника». Подчеркивая выдающуюся роль наших моряков в дальних плаваниях первой половины прошлого столетия, автор указывает: русским принадлежит семнадцать «кругосветок». Куда больше — около тридцати. В одной из глав читаем: Коцебу на бриге «Рюрик» совершил первое в истории нашего флота путешествие вокруг света. Пальму первенства следовало отдать «Надежде» и «Неве».

Есть и еще неточности, но нет нужды отвлекаться от главного: обстоятельно, вразумительно, неспешно автор рассказал нам о человеке богатырского труда и громадного мужества.

В. ОРЛОВ.

ТАЙНА ИЛИ СЕКРЕТ?

Владимир Леви. Охота за мыслью. Изд. второе, переработанное. М. «Молодая гвардия». 1971. 223 стр.; Владимир Леви. Я и мы. 2-е изд. М. «Молодая гвардия». 1973. 287 стр.; Владимир Леви. Искусство быть собой. М. «Знание». 1973. 155 стр.

Мозг, мозг, мозг. И еще раз мозг... Работы Владимира Леви панегиричны; это панегирики мозгу — человека, животного. Мозгу как центру управления восприятием окружающего, поведением. Как кладовой памяти. Как механизму, в недрах которого происходят взаимные смещения бессознательного, подсознательного и сознательного.

«Рай» и «ад» — эти метафоры маршрутируют по работам Леви. И «рай» и «ад» — у нас в мозге: существуют в нем клетки «адские», возбуждение которых приносит страдание; и «райские» клетки, интенсификация которых дает ощущение наслаждения. Работы Леви — панегирик мозгу человека, в сознании которого все расставлено по своим местам между двумя полюсами: «рай» («Мне очень хорошо!» — как бы говорит нормальный человек) и «ад» («Мне чрезвычайно плохо!»). И влечет хотя бы мельком сопоставить эти работы с опубликованными недавно отрывками из частных писем академика А. А. Ухтомского («Новый мир», 1973, № 1). Там тоже, только в других терминах, говорится о рае и аде в быту, о двойничестве, о контактах личности с миром. Первое впечатление: рассуждения академика в сравнении с рассуждениями Леви кажутся какими-то аморфными, добродушно-расплывчатыми. А Леви корректен. И в высшем, научном смысле слова: у него нет ничего недоказанного и неопределенного. И в житейском: он — психиатр; он — из тех, кто мужественно обрек себя всю жизнь возвращаться в сферах патологии жизни; но как же тактично рассуждает он о запретных сферах! Мир Леви — мир всепроникающего здоровья. Здравия. И именно потому, что доктор-литератор убежден в здравии мира, он и открывает нам патологическое, больное. Отворяет нам двери в наш мозг: смотрите! И — смотрим: мозг отражающий, мозг прогнозирующий. Постоянно осуществляется «предвосхищающая прогностическая деятельность мозга», мозг как бы привыкает к повторяющимся ситуациям, и даже у твари бессловесной, у кошки, мозг формирует долгосрочную память, предсказывает.

Психиатр, психотерапевт и прирожденный литератор Владимир Леви, несомненно, зацепил нечто важное в нашей жизни.

В этическом плане: перед нами предстает человек, который дело делает — осязаемое, дающее зримые результаты. Да еще в какой области! В такой, которая касается всякого, каждого: преобразователи мира, физики, физико-химики, как бы то ни было, творили такое, с чем простой человек все-таки не мог соприкоснуться в повседневности, непосредственно, осязаемо. Но перенос акцента в развитии науки на биологию резко увеличивает рост потребности в непосредственном контакте с Биологом, Жизневедом. С Врачом, знающим, как мы «устроены» и как можно повлиять на это «устройство»: мозг-то есть у каждого и каждый из нас хоть раз в жизни ставил себе какой-то касающийся своего собственного мозга дилетантский диагноз. Кстати сказать, уже и в поэзии появился такой художественный мотив — тревожная постановка себе диагноза (вспомним поэму Сергея Есенина «Черный человек», начало ее). Работы Леви — шаг, который наука делает навстречу каждому из нас, ищущему с ней непосредственного, житейского контакта, стирающему к ней руки: «Помоги, поддержи!» Иногда: «Напутствуй!» А иногда и: «Спа-си!»

В плане, в аспекте литературной эволюции работы Леви столь же насущны: изображать дело так, будто современное развитие науки порождает и поток научно-популярных книжек, всего-то лишь сосуществующих с собственно художественным и с собственно академическим словом, видимо, неточно. Ибо качественный сдвиг намечается. Понятие «писатель» расширяется. Трактаты о хирургии сердца, о физиологической и социально-этической природе трансплантаций слагаемых нашего тела, все это — тоже литература.

Итак, трактаты о мозге. И более отвлеченные: «Я и мы», «Охота за мыслью» — жизнерадостная и веселая книга о внушаемости, о гипнозе и о гипнотизерах; книга, полная полемики с остающимися за кулисами оппонентами, — снова панегирик мозгу, клочочку материи, творящему высочайшие духовные ценности. И чисто прагматические трактаты: «Искусство быть собой» — об активизации скрытых ресурсов человеческой памяти, об умении управлять собой,

телом, поведением на работе, в общественных местах и в интимнейших ситуациях. «...Никто никогда не знает истинной меры своей энергии». Но есть способы активизировать эту энергию, и «Искусство быть собой» — книжка, которая учит, как это делать. Учит, подбадривая. Учит с улыбкой. Учит с учетом всех тех банальностей, которые каждый из нас десять тысяч раз уже слышал — про пользу режима, свежего воздуха, души и витаминов.

Работы Леви сверкают отлично выполненными литературными портретами. Гениальный русский психиатр Сергей Корсаков, один из наставивших нас в недавнее время йогов, — «громادного роста красавец, закутанный лишь в тонкое белое покрывало, с черными ниспадающими кудрями и бородой, с изумительными мидалевидными глазами». Портреты людей, по вполне понятным причинам остающихся неизвестными: больных, дико фантазирующих на ультрасовременные темы — брызжущих, например, гипотезами о новом истолковании физической природы времени. Или великолепный групповой портрет гипнотизируемых, описание сеанса гипноза в «Я и мы»: одному внушено, что он президент, и он дает пресс-конференцию; другой же играет на воображаемой скрипке с виртуозностью Ойстраха. А нарисовать портрет человека, людей — это значит все-таки очень любить их: портрет всегда проникновенен, проникающ, если, конечно, он не ремесленная мазня сухой кистью, выполненная куска хлеба ради. А то, что портреты, рисуемые Леви, идут от клинических описаний, сообщает им только большую оригинальность и глубину.

Результат литературной и врачебной работы Леви — популярность, которой награждаются деятели открытой души, ума, сердца. Ведь нет-нет да и ловишь себя на мысли, которая подкрадывалась и к Пушкину, и к Достоевскому, и к Есенину, и к каждому из нас, — Пушкин выразил ее как-то... растерянно, совсем, казалось бы, не по-пушкински:

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад...

И легче становится от того, что есть на свете чуткие, умные врачи: случись что, пойду к нему, к таким, как он; найду же их где-то, они выручат, не оставят. Мир не без добрых людей; более того, мир не без

людей, твердо знающих, как надо быть добрыми. И книги Леви успокаивают, не убаюкивая. Но и тревожат.

Панегирик безоговорочен: тут хвалят так хвалят. Леви хвалит наш мозг; хвалит науку, проникающую в его тайны. Но в тайны ли? Только в секреты скорее. А мне кажется, что подменяют понятие тайны понятием секрета, отождествляют их или видеть в них лишь количественное разграничение — распространенная ошибка. Леви и те, от имени которых он говорит, добрались до некоторых секретов нашего устройства. Но секреты выведывают. А тайны, я бы сказал, постигают. Хорошо, что наука вывела у природы какие-то секреты нашего «я», но есть в ее достижениях и какая-то иллюзорность. Иллюзорность, которая рано или поздно всегда обнаружится там, где рассуждения строятся исключительно на фундаменте очевидного. Вроде бы уж чего очевиднее: мозг — действительно средоточие нашей умственной жизни; и знание человека, «меня» начинается и завершается знанием моего мозга, его химического состава, его структуры. Мозг — крепость. Дот. Леви штурмует крепость напрямую, поневоле рождается каламбур: атакуя ее в лоб. Но где-то есть и отдаленные фланги.

Таким отдаленным флангом представляется мне жизнь, лежащая за пределами «моей» жизни, но какими-то тайными путями воздействующая на нее: жизнь Другого, Других.

Леви говорит о «рае», об «аде». «Все в вас а м и х», — убеждает он. В то же время: «Если бы мы не могли хотя бы весьма неполно перевоплотиться в окружающих — мыслить, чувствовать за них, воспроизводить в себе их оценки и решения, общение выше животного или даже растительного уровня было бы невозможно». И проблема воплощения «я» в Другого занимает у него огромное место: уже Корсаков знал, что исцеление начинается с воплощения в больного. Но — оговорка: «хотя бы весьма неполно». А что значит «неполно», да к тому же еще и «хотя бы весьма»? А до какого предела неполно? А чем обусловлены полнота или неполнота воплощения? А какова цель их? Вот фрезеровщик Игорь воплотился на сеансе гипноза в зарубежного президента, но... Воплощение ли это? Или это всего лишь ряжение, интеллектуальное переодевание, которое с подлинным, еще неизвестным нам воплощением соотносится

так же, как секрет соотносится с тайной? Легенды о богах, воплощавшихся в людей, и фрезеровщик, талантливо валяющий дурака под гипнозом,— одно ли и то же явление имело место в мифе и в жизни? Мифы, впрочем,— красивые небывлицы. Пусть так! Но цель-то в них все-таки запечатлелась какая-то: войти во внеположенное. В инородное. Стать солидарным с ним.

Еще раз: «рай» и «ад». Вторжение в мозг может доставить и «райские» и «адские» ощущения. Леви строит все рассуждения на аксиоме: в «аду» человеку плохо и он всегда ищет «рая». Но...

«Рай» все же немислим, если где-то мучаются Другие. И даже если мучались они когда-то в далеком прошлом: их, положим, замучали brave парни из стада Аттилы, замордовал Тамерлан. Крыса, которой вживляются в мозг электроды, ощущает себя в своем, крысящем, «раю». Но ей-то хорошо! Крыса не знает о том, что где-то на краю света существуют другие крысы и в то время, когда она блаженствует, им нечем кормить своих бедных крысят. Лев Толстой, по свидетельству Горького, смотрел на ящерицу, которая «грелась на камне в кустах», и... спрашивал: «Хорошо тебе, а?» И, не получив ответа, «осторожно оглянувшись вокруг», признавался: «А мне — нехорошо». Ящерице-то хорошо, а Толстому худо. Потому что «рай» для одного, для индивидуума,— все-таки ложь. И мотив отказа от рая в литературе, к слову, тоже постояен: Иван Карамазов у Достоевского от рая отказывается; Есенин от рая отказывается, предпочитая жить на Руси; Константин Симонов отказывается от рая в одном из классических стихотворений своих. «Не надо рая!» — так-таки и вопиют все. И в самом деле: могу ли я, «я» жить, нежась, в раю, если где-то есть ад? Да не хочу я такого! Мне же совестно станет, как совестно мне чавкать бутербродом на глазах у голодного здесь, на земле, даже будь я очень хорошим, а голодный — уголовным преступником. И вживи ты мне в мозг хоть сто электродов, закорми меня снадобьями, химикатами, вкусив которых я испытую успокоение и блаженство, мне все-таки будет, как и Толстому, «нехорошо». Потому что каждый из нас — Толстой, Лев Николаевич, переживающий по крайней мере за три с лишним миллиарда Других. И уж во всяком случае, я считаю себя порядочным человеком, который не может уми-

роторенно есть, спать и развлекаться одновременно с... Не стану говорить о бомбе, упавшей где-то на ребенка, на кроху. Проще: по улицам города сейчас где-то неприкаянная абитуриентка слоняется, которой я утром поставил два балла (справедливо поставил). Она — в «аду» (глубочайшая метафора: на экзаменах «проваливаются», то есть низвергаются в «ад»). А я? Повторяю: блаженствовать, упиваясь своей справедливостью, я не могу! Но и стопроцентного «ада» на свете не может быть: мое мучение — уже не мучение, если хотя бы одному человеку на свете жить хорошо. В общем, не хотят люди в «рай». Но и в «ад» не хотят, если, разумеется, они не отпетые мазохисты. И кто их знает, чего же им нужно: тут, видимо, тайна какая-то, которой не постичь ни при помощи наочевиднейших фактов, ни при помощи аксиом о том, что в «раю» хорошо и прекрасно.

«Рай» и «ад» глубоко относительны. А у Леви есть, по-моему, все-таки склонность к абсолютизации относительного — болезнь века, который клянется Эйнштейном, гордится Эйнштейном, ждет его повсеместно, в каждой ветви науки (ждет его в биологии и Леви), но притом... не чувствует как-то Эйнштейна. Не чувствует грозного блага совмещений наглядного с невероятным — совмещений, которые в области взаимоотношений людей окажутся более ошеломляющими, чем в области физики.

Одновременно с работами Леви были опубликованы несколько частных писем академика А. А. Ухтомского — физиолога, видимо, гениального. И, как выяснилось, глубочайшего знатока социальной этики, смутно намечавшего, казалось бы, совершенно ~~безуныный ее вариант~~. Размышлял он о двойничестве, с которым сталкиваются все психопатологи. О социальной природе нашего эгоизма. И о доминанте, хранимой каждым из нас. О превращении ее из помехи, препятствующей нам видеть и понимать Других, в архимедов рычаг, переворачивающий все представления о контактах с Другими. О самоотвержении — приблизительно таком же, на которое отважился Коперник, поместивший Землю не в центр, а на периферию мира. Не так ли будет когда-нибудь и с нашим индивидуальным «я»? «Наше время,— писал А. А. Ухтомский,— живет муками рождения... нового метода. Он оплодотворит нашу жизнь и мысль стократно более, чем его прототип — метод Коперника». Человек перестанет

считать себя носителем и мерилем всех норм этической жизни; он будет преобразоваться, развиваясь по нравственным координатам, где совсем не индивидуальный «рай» окажется точкой отсчета. У Ухтомского заветная крепость штурмуется совсем по-иному, чем у Леви: не в лоб, а с глубоких флангов. С принципиально иных позиций — и этических и методологических: не подгонять человека под якобы аксиоматически правильный эталон, а до конца войти в его мир, при каждой новой встрече как бы начиная говорить на новом языке. Войти, научившись быть, скажу огрубленно, как бы «полиглотом» в этике.

Разница, повторяю, огромная. В концепции Леви важно прежде всего обретение себя, своего индивидуального «я»; в концепции

Ухтомского драгоценна и кажущаяся утрата себя: С собой ты станешь только тогда, когда растворись в Другом. Ухтомского я сравнил бы с человеком, стремящимся обучиться самому и нас обучить всем языкам. Живым и мертвым (впрочем, мертвых языков в его картине мира быть не должно: древние греки и египтяне для него так же живы, как жив идущий по улице прохожий, мой современник). А Леви — с человеком, обучающим всех какому-то одному языку. Правильному, но одному. Но Леви, конечно же, спасибо за книги его: время Ухтомского еще не скоро настанет, а добрый, знающий, деятельный и чуткий врач и писатель надобен нам сегодня, сейчас.

В. ТУРБИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



АНАР. Круг. Библиотека «Дружбы народов». М. «Известия». 1973. 320 стр.

Новая книга Анара, собранная из произведений различных жанров, не только расширяет наше знакомство с писателем, но словно бы проявляет какие-то стороны его творчества. Кроме уже известных читателю рассказов и повестей «Юбилей Данте» и «Круг», в сборник вошли очерк о писателе-сатирике Джалиле Мамедкулизаде, цикл юмористических рассказов «Молла Насреддин».

И странное дело: уже известные старые произведения, прочитанные вместе с новыми, воспринимаются по-иному, чем прежде. А оказавшиеся рядом знакомые повести вдруг увязываются внутренне, и словно бы возникает новый ракурс, в котором иначе видишь героев со всеми сложными перипетиями их судеб. Отчетливее прослеживается и человеческая, гражданская позиция автора, размышляющего над жизнью...

Герой повести «Юбилей Данте» — старый актер Кябирлинский. Сорок лет жизни он провел на сцене. Увы, не наполненных исканиями, радостями и откровениями. Он пришел в театр, одержимый желанием служить искусству. Одержимый настолько, что не покинул театр, даже когда выяснилось, что нет у него таланта, необходимого для актерской работы. Теперь Кябирлинскому шестьдесят. Он нелегким трудом добывает свой хлеб, прозябая на скудном амплуа лакеев и стражников. Ему приходится сносить оскорбительные вспышки молодого режиссера, привыкнуть к снисходительному отношению коллег. В определенном смысле Кябирлинский — неудачник. Но акценты в повести расставлены так, что, читая, испытываешь не жалость к нему, а мучительный стыд за надменное равнодушие окружающих людей, за безнаказанность жестокости и эгоизма, злую неприязнь к бездушности, рядящейся в чины и образованность. А сам Кябирлинский несчастным себя не ощущает. Просто его ранят равнодушие и грубость.

Молодой способный переводчик Неймат Намазов (повесть «Круг») — словно бы антипод Кябирлинского. Ему «выпало» все, чего недостает старому актеру: он образован, преуспевает в работе, начальство к нему благосклонно и дом — полная чаша. Когда-то в ранней молодости Неймат жил впроголодь в тесной каморке с облупленны-

ми стенами. Тогда дом профессора Асада с просторными комнатами, серебром и шуршащей скатертью казался ему символом счастья. Теперь это его дом. Есть в нем любимые жена и дочери. Есть работа по душе. А герой все чаще осознает ущербность своей жизни и начинает видеть необыкновенные сны с дорогами, белыми гаванями и красными кораблями.

Это несоответствие «бытия» и «сознания» только на первый взгляд может показаться нелогичным. Нет, все цепко увязано в характерах, объяснено и оправдано.

Кябирлинский живет по своим точным внутренним законам. Кроткий и застенчивый по натуре, он не может обмануть, слукавить, пойти на компромисс даже в мелочах. Сталкиваясь с пошлостью, завистью, мещанством, он не чувствует желания приспособиться, он остается самим собой. Его порядочность органична и естественна. И в этой нравственной целостности — душевное здоровье героя, то, что делает его неуязвимым.

У Неймата Намазова нет ни цельности, ни одержимости Кябирлинского. В издательстве вокруг него — равнодушные люди, внешне озабоченно, а по сути потребительски и деловито относящиеся к своей работе. Неймат временами остро чувствует это, но все-таки идет по тому же кругу. И преуспевает. Вот ему уже и работу поручают серьезную — заключают договор на перевод большого романа. Он живет по законам среды, в которую вошел: умеет достать начальнику дефицитную газету, подвести к разговору на нужную тему, собрать в доме полезных людей и сказать им то, что они хотели бы услышать. Эти невинные и незначительные компромиссы, которые Неймату то и дело приходится совершать, лишают его уравновешенности, чувства радости от жизни, уважения к самому себе.

Не важно, замыслил ли писатель такое противопоставление героев, важно, что он углубленно размышляет над существом, казалось бы, привычных понятий, пристально вглядывается в будни людей, чья жизнь волею обстоятельств или их самих чем-то обеднена, обделена.

Та же настойчивая сосредоточенность, те же раздумья над нравственным содержанием нашей обычной жизни, над тесной увязанностью проблем этических с понятиями Долга, Принципа, Счастья, Смысла жизни

явно ощущаются в очерке «Большое бремя — понимать» о Джалиле Мамедкулизаде. Суровая, полная драматических коллизий, но яркая, граждански активная жизнь писателя — словно бы завершенное воплощение нравственных поисков Анара.

Специфичность таланта сатирика привносила в жизнь Д. Мамедкулизаде драматическую остроту. Сколько несправедливых обвинений и попреков пришлось выслушать писателю за свою жизнь! И что было особенно трудно — не только от врагов! Как и Салтыкова-Щедрин, его обвиняли в том, что он не любит свой народ, не дорожит честью нации и т. д. Его, признанного теперь классика, критиковали и поучали беспринципные и равнодушные ремесленники, жрецы «чистого» искусства. Образованный передовой человек, Мамедкулизаде видел дальше и глубже своих современников, и это часто воздвигало стену непонимания, отчуждения, отдаляло его, приводило к одиночеству.

Анара, тяготеющего к исследованию «неудавшегося», трагического в его бытовом, если так можно сказать, варианте, должна была привлечь судьба Мамедкулизаде. Как человек он восхищен его мужеством, стойкостью, удивительной одаренностью и чистотой. Профессионально его занимают бесконечные внутренние сложности и превратности судьбы писателя, упорство и одержимость, с которыми он нес свое «бремя неогласия, бремя понимания».

Последние два-три года критики часто вспоминают прозу Анара. Особенно повести «Круг» и «Юбилей Данте». Отмечая несомненную одаренность писателя, справедливо, на мой взгляд, говорили о нем и несовершенстве его прозы — некоторой вычурности стиля, щеголянии красотами, торопливости письма, приводящей к риторике, и т. д. Все это еще предстоит преодолеть...

Книга же примечательна тем, что позволяет проследить за нравственной концепцией писателя, за его стремлением проникнуть в будничную мир «обыкновенного» человека, почувствовать сложность этого мира, не растративший нравственный потенциал героя, истовое, хотя иногда и неосознанное стремление жить по-другому — значительное, ярче, достойнее...

Г. Петрова.



ЛАЗАРЬ МАГРАЧЕВ. Сюжеты, сочиненные жизнью. М. «Искусство». 1972. 190 стр.

Когда герой твоей книги сам пишет и выпускает книгу, испытываешь не только радость, но и чувство ревнивой тревоги: так ли освещены на этот раз события, факты, действующие лица, как это выдось и хотелось тебе? Такую книгу раскрываешь с особым вниманием и читаешь придирчиво. Тем не менее «Сюжеты, сочиненные жизнью» и изложенные Л. Маграчевым, выдержали это «испытание» с честью.

В книге «Театр в квадрате обстрела» мне довелось рассказать о напряженной и яркой работе этого талантливого радиожурнали-

ста и радиопублициста в дни войны и блокады Ленинграда; тогда репортажи Маграчева о людях и сражениях волновали всю страну, а ленинградцам помогли пережить то, что выпало на их долю. Сорок небольших историй самого Маграчева, объединенные им теперь в книгу, охватывают время значительно более продолжительное, отражая тридцатилетнюю с лишним работу автора у микрофона.

Слушая истории о людях или событиях, воссоздаваемые в эфире Маграчевым, всегда волнуешься. Иногда ком подступает к горлу. И сам удивляешься своей реакции, своей растроганности. Как и чем достигает Маграчев такого воздействия на слушателей, в точности объяснить не берусь. Скажу только, что тот же «способ» острого воздействия на собеседника сохранен им и в книге. Истории, рожденные для звучания в эфире, не потускнели от «переложения» на бумагу. Даже самые простые из них волнуют в одних случаях память человека, в других — темперамент и совесть гражданина.

Такое острое воздействие на слушателя и читателя более объяснимо, когда речь у Маграчева идет о событиях военного прошлого, о трагической биографии нашей победы и поколения, добывшего ее. Но Маграчев резко нарушает душевное равновесие читателя и тогда, когда рассказывает о случае очковитирательства на лесопункте; о происшествии в вагоне поезда, когда сотни пассажиров объединились вокруг беды одного; о мальчике из Ярославской области, приславшем записку: «Либо вы меня выложите, либо я свою жизнь порешу». Каждый раз Маграчев заражает нас своей заинтересованностью в судьбе человека, вовлекает в сражение за доброту, за уважение человеческого достоинства.

Воинственно-непримиримое отношение к равнодушию побуждает Маграчева исследовать биографии самых разных людей не одновременно, как это обычно делается в журналистике, а на протяжении десятилетий. Он возвращается к ним снова и снова, разыскивает героев после многолетней разлуки с ними. Само время становится драматургическим приемом.

У Дж. Б. Пристли есть пьеса «Время и семья Коввей». В первом акте герои мечтают о будущем. Во втором мы видим это будущее безрадостным, несостоявшимся. А в третьем герои снова молоды и продолжают предаваться мечтам, а мы уже знаем, что время обернется для них катастрофой. Герои Маграчева приходят в жизни к иным результатам. Потому что на них воздействует не только время, но и доброта и заинтересованность окружающих, и прежде всего самого автора.

Маграчев не сочиняет свои истории, а только записывает их. Но он удивительным образом «сочиняет» биографии своих героев, реально существующих людей. Он делает это, когда едет в далекий город вступать за обиженного честного работника; когда неделями пропадает в больнице, когда месяц кряду сидит в классе сельской

школы, когда находит потерявших друг друга людей и устраивает им встречу прямо у микрофона, заставляя пережить радостное потрясение не только участников передачи, но и слушателей, а затем и читателей.

Доброта, ставшая не столько личным качеством журналиста, сколько чертой его общественного и профессионального темперамента в момент подготовки книги «Сюжеты, сочиненные жизнью», понадобилась и ему самому. Жизнь сочинила отрицательный сюжет: в те дни Л. Маграчев попал в автомобильную катастрофу, приковавшую его к постели. И тогда его товарищ по работе журналист Н. Н. Паперная помогла ему довести работу над книгой до конца и сдать рукопись в срок.

Передачи Лазаря Маграчева снова звучат в эфире. А его книга сохранит многие подлинные истории для будущих слушателей и читателей.

Юрий Алянский.



МАКС ФРИШ. Штиллер. Роман. Перевод с немецкого Т. Исаевой. М. «Художественная литература». 1972. 398 стр.

Проблема человеческой сущности и тесно связанная с ней проблема взаимопонимания людей глубоко волнуют современную литературу. Этому и посвящен роман известного швейцарского писателя М. Фриша «Штиллер».

Структура романа далеко не проста, его форма — записки человека, находящегося под следствием и ведущего их в цюрихской тюрьме. Этот человек называет себя американцем Джимом Уайтом; однако у юриста есть все основания считать, что это лицо вовсе не Уайт, а пропавший несколько лет назад без вести швейцарец Анатолий Штиллер. Упорное нежелание этого человека признать, что он известный скульптор Штиллер, а это утверждают все близкие Штиллеру люди, вынуждает следствие обратиться к нему с просьбой описать свою жизнь. И вот его записки перед нами. В них рассказ о прошлом героя прерывается его тюремными дневниковыми заметками; сюда же вкраплены истории, которые, казалось бы, не имеют отношения к личности героя: это повествование о судьбе добропорядочного аптекаря Исидора, сказка-притча о Рипе Ван Винкле, рассказ о ковбое-авантюристе Джиме... Уже через несколько строк эти истории захватывают своей кинематографичностью, зримостью. События же романа вращаются вокруг стремления героя прийти к подлинной жизни. Динамичность — одна из особенностей повествования, но не в калейдоскопической быстроте событий ее основа. Эта внутренняя энергия хода мыслей возникает из напряженности духовной жизни героев. В их словах, поведении много скрытого, непроявленного, конфликт главного героя мучителен, и это все сообщает взволнованность стилю.

В чем же истоки неудовлетворенности героя жизнью? Казалось бы, поиски Штилле-

ра направлены на обретение своего «я», а его трагедия — в необходимости прятать лицо под фальшивой маской. Штиллера мучит прежде всего не трудность самовыражения; его угнетает то, что близкие люди на самом деле чужды ему.

Стена отчуждения отделяет героя от его жены — хрупкой балерины Юлики. Штиллер искренне желает ей добра, но тщетно: они чужды друг другу, поскольку Штиллер не понимает истинного смысла жизни Юлики, не взяв на себя труд взглянуть на мир ее глазами. Юлика, в свою очередь, не особенно задумывается о подлинной сущности своего мужа: все помыслы ее в балете, в театре. И все глубже уходит в себя Штиллер и Юлика, скрывая друг от друга свои тяжелые мысли. Смерть Юлики разлучает их, столь же чужих друг другу, как и раньше, а может, эта чуждость с годами еще и выросла...

Наряду с рассказом о печальном исходе супружеской жизни главного героя автор вводит в роман еще две сюжетные линии — истории взаимоотношений Рольфа и Сибиллы и дружбы Штиллера с Рольфом. Благодаря своему уму и такту Рольф понял смысл бунта скульптора; он смог преодолеть кризисную ситуацию в отношениях с женой... Казалось бы, Фриш, допуская случаи духовного родства, разрешает все проблемы в духе оптимизма. Но скорее автору хотелось бы сделать такой бодрый вывод. Ведь просматривая живую ткань романа, мы убеждаемся, что Рольф произносит перед Штиллером сухие, черствые в своей объективности слова, которые не могут вызвать душевного подъема и вытащить Штиллера из его трясины. И в восстановлении счастливой жизни Рольфа и Сибиллы не чувствуется внутренней обусловленности. Так что едва ли образом Рольфа Фриш положительно разрешает проблему духовной близости. Что ж, в литературе отражается эпоха: ведь и в жизни поверхностные контакты гораздо более распространены, чем отношения, основанные на полном взаимопонимании. И вместе с тем жива вера, что не всегда будет так. Потому мы и не станем упрекать автора в том, что он не дал ясного ответа на важный и современный социальный, этический вопрос, а будем ему благодарны за постановку проблемы и за подход к ней с умной и честной гражданской, человеческой позиции.

Н. Бонепца.



НИКОЛАЙ ЯНОВСКИЙ *Голоса времени.* Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1971. 359 стр.

Н. ЯНОВСКИЙ. *Лидия Сейфуллина. Критико-биографический очерк (издание второе, дополненное).* М. «Художественная литература». 1972. 246 стр.

«Голоса времени» — название точное. Книга литературоведа охватывает примерно шесть—шесть с половиной десятилетий: от начала века до середины 60-х годов. Читая

ее, будто и в самом деле слышишь разноголосую переключку тех бурных, переменчивых десятилетий. Эта переключка — в биографиях писателей, в содержании и судьбах их произведений, в литературной полемике прошлых и нынешних лет, участником которой становится и автор книги — сибиряк Николай Яновский.

Глава об Адриане Топорове и его книге «Крестьяне о писателях» рождена, думается мне, не одним лишь стремлением «осваивать, пропагандировать, брать на вооружение» просветительский опыт А. Топорова, но также и внутренней близостью этого опыта тому, что делает в критике сам Н. Яновский, обращающийся к массовой читательской аудитории. И в литературе, подобно крестьянам коммуны «Майское утро», мнения которых изучал и записывал А. Топоров, критик ищет прежде всего нужности, исполнения «познавательной, учительской миссии» и правдивости.

Любое художественное произведение, будь то рассказ, повесть, роман или очерк, небольшой эскиз, зарисовка, Н. Яновский рассматривает как оружие в социальной борьбе, как источник внутреннего движения человека — нравственного, идейного. Об одном из видных наших очеркистов — «деревенщиков», Леониде Иванове, Н. Яновский пишет, что для него, «писателя и человека, характерна гражданская смелость в постановке острейших хозяйственных проблем». И это высокая оценка.

Интересен анализ Н. Яновского творчества старых бытописателей Сибири — С. Исакова, И. Гольдберга, А. Новоселова, М. Кравкова, М. Ошарова, И. Чернева, С. Кожевникова, К. Урманова. Здесь историк литературы и критик идут рука об руку. Один заново открывает забытые либо малоизвестные факты. Другой спорит с неверными и устаревшими суждениями, осмысливает факты с позиций, современной марксистской методологии. И всякий раз Н. Яновский стремится избежать гипноза прежних оценок, посмотреть на произведения и на его автора сегодняшними глазами.

Критик неравнодушен к своим «героям» — писателям. Но это неравнодушие не субъективистская предвзятость, не слепая всепрощающая любовь, а любовь требовательная и зрячая. За нею стоят уважение к литературе и к ее читателю и чувство гражданской ответственности за судьбу культурных ценностей. Страстная партийность, которая заявляет о себе не декларациями, не крайними, слепца, суждениями, а бережным, внимательным, всегда конкретно-историческим, всегда опирающимся на доскональное знание фактов и текста отношением к литературе и к ее творцам, — таков определяющий пафос всей критической работы Н. Яновского.

По собственным словам, Н. Яновский следует той традиции современного советского литературоведения, «когда оценивают первые произведения нашей прозы, учитывая всю реальную сложность действительного революционного процесса в России, его диалектику». Этот подход характерен и

для книги критика о Л. Сейфуллиной, откуда взяты приведенные слова.

К сожалению, в книге «Голоса времени» критику не всегда удается сохранить высоту им же самим отстаиваемых позиций. Так, на фоне объективно-доброжелательного разговора о писателях-сибиряках чрезмерно резкими и недостаточно обоснованными представляются некоторые суждения о панферовских «Брусках». И еще одно замечание. «Голоса времени» — книга, а не просто сборник литературно-критических работ. В ней есть своя логика, своя цельность. Но ее явно нарушают включенные в книгу рецензии на повесть молодого писателя В. Коньякова «Не прячьте скрипки в футлярах» и на «Владимирские проселки» В. Солоухина, несколько наивное «Слово о Чехове».

Неверно было бы «привязывать» Н. Яновского как литературоведа и активного участника сегодняшнего литературного процесса к сибирской тематике. Несомненно, однако, что вклад его в изучение литературного движения в Сибири, в изучение творчества писателей-сибиряков весом и значителен. Это подтверждают и рецензируемые работы критика.

Игорь Мотышов.



А. АНИКСТ. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М. «Наука». 1972. 643 стр.

Во всех работах по истории русской критики, как правило, оставалась в тени одна из важных ее составных частей — театрально-эстетические взгляды русских писателей и критиков. Огромный и интересный материал, по сути дела, не привлекал внимания историков отечественной критики и драматургии. Новая книга А. Аникста заполняет этот пробел, она убедительно показывает, что в России XIX века было высказано, хотя и в несистематизированной форме, очень много важного об искусстве драмы.

Еще в 1967 году вышла книга того же автора «Теория драмы от Аристотеля до Лессинга». В новой работе, продолжающей избранную тему — исследование учений о драме, — А. Аникст поставил своей целью изложить и осмыслить суждения русских писателей и критиков по поводу основных вопросов теории драмы, объяснить их понимание реализма, народности, типизации, законов жанра и композиции, проблемы характера, вопросов поэтики, стиля применительно к драматургии.

Одно из примечательных достоинств книги состоит в том, что автор не ограничился анализом театрально-критического наследия крупнейших писателей. Разумеется, он посвятил им обстоятельные очерки, в них тщательно рассмотрена концепция драмы у Пушкина, заботы Гоголя о создании русского национального репертуара и его мысли о народности драматического искусства, эстетические взгляды Островского, противоречивость суждений Л. Толстого о драме и

новаторство его собственного драматургического творчества. Но не менее важную часть книги составляют главы, в которых рассматриваются взгляды сравнительно второстепенных писателей. Без них картина была бы далеко не полной.

Здесь автору предстояло привлечь мало изученный материал, обратиться к забытым высказываниям многих драматургов, прозаиков. Едва ли не впервые он проанализировал обширные комментарии А. К. Толстого к его исторической трилогии. Неожиданной являлась фигура И. Гончарова среди тех, кто писал о драме (в книге отмечено принципиальное значение его мыслей не только о «Горе от ума» Грибоедова, но также об Островском и Шекспире). Наконец, отдельное место в работе А. Аникста занимает историческое рассмотрение забытого трактата Д. Аверкиева о драме, единственного в русской литературе теоретического труда, специально посвященного этому виду искусства. «Почвенник» по убеждениям, посредственный беллетрист и драматург (автор «Каширской старины»), Аверкиев, как показал А. Аникст, сумел сделать некоторые ценные наблюдения над природой и сущностью трагедии и комедии.

Не менее существенным для истории учений о драме оказался и анализ профессиональной критики, посвященной русской драматургии. В соответствии со своим принципом автор и здесь исследует не только «вершины» (например, теорию драмы у Белинского, взгляды Добролюбова, Писарева), но также привлекает и всю массу критической продукции того или иного периода. Он выделяет имена Надеждина, А. Григорьева, Шелгунова, И. Анненского, в главе о Чехове — Ольминского, Ворovskyго. Особенно интересны разделы, где даются подробные обзоры критики и полемики, вызванной крупнейшими явлениями отечественной драмы, — таковы обзоры современной критики о «Борисе Годунове», о «Ревизоре», о пьесах Островского, Чехова, А. Толстого.

Свод высказываний о драме, собранный и изученный впервые, показывает, каким замечательным наследием в этой области мы обладаем. Картина становится особенно наглядной потому, что автору книги «Теория драмы в России...» удалось преодолеть трудности, связанные с работой такого рода, — придать обширному и разнородному материалу цельность и единство, создать четкую и стройную композицию книги, избежав при этом всякого эмпиризма, пересказа и описательности. Строго исторический подход к теме сочетается здесь с уяснением актуального современного значения теории драмы, созданной усилиями многих русских писателей XIX века.

В. Жданов.



ЯКОВ КРИВЕНОК. Бора. Роман. Краснодарское книжное издательство. 1972. 400 стр.

Агроном Владимир Александрович Старосельский в 1905 году был назначен губерна-

тором Кутаисской губернии (по свидетельству очевидцев, В. И. Ленин позднее называл его «товарищ губернатор»), а в 1907 году он становится большевиком («Образованный марксист и выдержанный революционер», — писал о Старосельском А. В. Луначарский). Имя В. А. Старосельского в наше время получило широкую известность после опубликования в периодической печати документальных материалов о нем (1966—1969).

Колоритнейшая фигура! И надо ли говорить, сколь благодарна для литератора задача художественными средствами показать превращение ученого-либерала в революционера-большевика.

Роман «Бора» посвящен событиям 1905 года в Новороссийске, к которым Старосельский если и имел какое-либо отношение, то очень отдаленное. Между тем имя Старосельского появляется уже на первой странице и потом еще более двух десятков раз встречается на протяжении почти всей книги. При этом удивляет воля, с какой автор обращается с фактами.

На странице 22 Яков Кривенок сообщает, что партийная кличка В. А. Старосельского — Старик. На странице 44 он еще раз утверждает это, не полагаясь, видимо, на память читателя. Упомянув о подавлении политической стачки в Ростове в 1902 году, Кривенок далее пишет: «Руководитель Донского комитета РСДРП Гусев, спасая Ветлугина от неминуемого ареста, переправил его в грузинскую школу марксистов, к Старику». И поясняет: «Под этой кличкой в партии был известен В. А. Старосельский, заведующий Сакарским питомником».

Но, во-первых, в 1902 году В. А. Старосельский не состоял в партии, он вступил в РСДРП спустя пять лет после описываемых событий, а во-вторых, не было у него партийной клички Старик. Автор путает партийную кличку с той, которую давали своим «подопечным» филеры царской охранки: именно в их секретных донесениях он именовался Стариком. Партийная же кличка (Старов) появилась у Старосельского лишь в 1908 году, когда он жил в эмиграции в Париже. Что же касается «грузинской школы марксистов», которая будто существовала в Сакарском питомнике, то это не подтверждается ни исследователями, изучавшими историю коммунистической организации Грузии, ни документами.

На совести автора остается также утверждение о том, что Старосельский якобы много рассказывал о Крупской (стр. 147), хотя в то время, о котором идет речь, он еще не был знаком ни с Надеждой Константиновной, ни с людьми, знавшими ее. Далее автор пишет, что через Старосельского пересылались письма в ЦК РСДРП (стр. 152), что в Потю он выдавал революционерам оружие (стр. 263). Но и эти, как и некоторые другие сообщения автора книги, не соответствуют истине.

Кому нужны эти домыслы и преувеличения? Заслуги В. А. Старосельского перед революцией столь значительны, и вообще

фигура эта столь ярка, что не нуждается ни в каком приукрашивании.

Мы не говорим здесь о художественном уровне книги — это дело критиков. Однако не можем не заметить, что в языке героев романа иногда своеобразно «трансформируются» использованные автором документы. Так, жена В. А. Старосельского писала ему в Париж: «Тяжко, страшно тяжело, но зато светло и чисто» («Новый мир», 1967, № 4, стр. 248). «Я сознаю, что будет тяжело, страшно тяжело, но зато светло и чисто!» Это уже говорит совершенно не имеющая отношения к Старосельскому героиня романа Маша («Бора», стр. 260). Но, повторяем, оценки художественных достоинств произведения, его языка — не наша задача, мы хотели только обратить внимание на недопустимость вольного обращения с документами.

**И. Брайнин,
С. Маглакельдзе.**



В. С. ПОЗНАНСКИЙ. Сибирский красный генерал. Новосибирск. 1972. 270 стр.

Рецензируемая книга посвящена революционной деятельности бывшего генерал-лейтенанта царской армии барона Александра Александровича Таубе, сразу же после Октябрьской революции ставшего на сторону советской власти. Фамилия эта упоминается в ряде новейших трудов в числе видных военачальников, перешедших на сторону революции. При этом отмечается преданность Таубе советской власти, его активность в строительстве Красной Армии¹.

После Октября Таубе оставили на посту начальника штаба Омского военного округа. Председателем Военно-окружного комитета тогда был старый коммунист В. М. Косарев. Характеризуя роль Таубе, он писал, что «этот 60-летний старик с начала революции перешел на нашу сторону и до конца дней своих был верен нам»². Такой отзыв одного из руководящих советских работников Сибири о Таубе подтверждается в рецензируемой книге на многочисленных примерах его деятельности по формированию Красной гвардии, а затем частей Красной Армии, по руководству боевыми

операциями против банд-атамана Семенова и против белочешских мятежников.

На происходившем в конце февраля 1918 года II общесибирском съезде Советов был создан Военный комисариат Сибири (Сибвоенкомат), начальником главного штаба которого назначили Таубе. Членом Сибвоенкомата и командующим Забайкальским фронтом против атамана Семенова тогда же назначили прапорщика С. Г. Лазо. Он был образованным и талантливым офицером, но опыта штабной работы не имел и в этих вопросах опирался на помощь Таубе, к которому относился с полным доверием и уважением. Сергей Лазо был близок с Таубе и среди своих соратников ласково называл его «наш красный генерал».

В заключительной части книги автор рассказывает о гибели Таубе в белогвардейском застенке. После временного свержения советской власти в Забайкалье и на Дальнем Востоке руководящие партийные и советские деятели перешли на нелегальное положение, на подпольную работу. Перешел под чужим именем на нелегальное положение и Таубе. Однако вскоре — 2 сентября 1918 года — его опознал офицер, знавший его еще в дореволюционное время. Таубе арестовали и препроводили в иркутскую тюрьму, затем в екатеринбургскую, где он и умер в конце января 1919 года. Газета «Правда» в номере за 30 июля 1919 года писала: «В екатеринбургской тюрьме до занятия города красными умер красный генерал Таубе. Колчаковский главнокомандующий Гайда неоднократно посылал к нему гонцов с предложением отказаться от большевизма, на что всякий раз получал решительный отказ».

В заключение автор пишет: «Александр Александрович Таубе с честью выполнил клятву, данную им Советской власти, бороться за нее, а если нужно — отдать и жизнь». И следует полностью согласиться с мнением автора, что Таубе — первый генерал царской армии, вставший на сторону пролетариата и погибший в борьбе за советскую власть.

Достоинством книги надо признать то, что образ А. А. Таубе дается не изолированно, но сводится к биографическому очерку, а строится на широком фоне борьбы трудящихся Сибири за советскую власть, против белогвардейцев и интервентов. Автор использовал большой документальный материал из историографии гражданской войны в Сибири.

**А. Т. Якимов,
кандидат исторических наук.**

¹ См. «Краткая история СССР». М. 1972, кн. 2, стр. 91, 601; «История КПСС». М. 1968, т. 3, кн. 2, стр. 103.

² Газета «Советская Сибирь», 7 ноября 1921 года.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание 2-е. Т. 47. 680 стр. Цена 1 р.

В. И. Ленин. О продовольственном налоге (Значение новой политики и ее условия). 46 стр. Цена 5 к.

В. И. Ленин. С чего начать? — Партийная организация и партийная литература. — О характере наших газет. 48 стр. Цена 5 к.

В. И. Ленин. Политическое положение. — К лозунгам. — Уроки революции. 32 стр. Цена 4 к.

Л. И. Брежнев. О внешней политике КПСС и Советского государства. Речи и статьи. 600 стр. Цена 93 к.

Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 3. 535 стр. Цена 1 р. 16 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. Издание 4-е, дополненное. 752 стр. Цена 1 р. 24 к.

Вопросы организационно-партийной работы КПСС. Сборник документов. 304 стр. Цена 59 к.

П. Гуров, А. Гончаров, Ленинская аграрная политика. 192 стр. Цена 86 к.

Д. Гурьев. Становление общественного производства. («Над чем работают, о чем спорят философы») 263 стр. Цена 27 к.

Георгий Димитров. Биографический очерк. Перевод с болгарского, 271 стр. Цена 1 р. 31 к.

Человек — Наука — Техника. Опыт марксистского анализа научно-технической революции. Сборник статей. 368 стр. Цена 1 р. 54 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Гонтарь. Колосья на камне. Стихи. Перевод с еврейского. 158 стр. Цена 45 к.

Е. Дорощ. Дождь пополам с солнцем. Деревенский дневник. Предисловие Д. С. Лихачева. 798 стр. Цена 1 р. 66 к.

А. Евтых. Двери открыты настужь. Роман. 511 стр. Цена 1 р. 2 к.

С. Каспаров. Сафьяновая шкатулка. Повести и рассказы. 447 стр. Цена 74 к.

Я. Сипаков. Зеленая молния. Книга дорог. Очерки. Перевод с белорусского. 280 стр. Цена 58 к.

Б. Соловьев. От истории к современности. Литературно-критические статьи, очерки, полемика. 631 стр. Цена 1 р. 87 к.

Н. Старшинов. Осинник. Стихи. 119 стр. Цена 31 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Э. Гаскелл. Крэнфорд. Роман. Перевод с английского И. Гуровой. Предисловие А. Елистратовой. 206 стр. Цена 34 к.

М. Карим. Избранное. Стихотворения. Сказки. Трагедии. Перевод с башкирского. Вступительная статья К. Кулиева. 512 стр. Цена 1 р. 97 к.

О. Кожухова. Ранний снег. Роман, повести, рассказы. 606 стр. Цена 1 р. 51 к.

И. Меттер. Разные судьбы. Повести и рассказы. 343 стр. Цена 78 к.

Современные венгерские повести. Перевод с венгерского. Предисловие А. Туркова. 623 стр. Цена 2 р. 14 к.

Б. Станкович. Избранное. Перевод с сербскохорватского. Предисловие И. Голенищева-Кутузова. 400 стр. Цена 86 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Бынов. Обелиск. Повести. Перевод с белорусского. 270 стр. Цена 50 к.

И. Валько. Куда летишь, журавлик? Документальная повесть о юном связном партизанского отряда. Перевод с украинского. 175 стр. Цена 41 к.

А. Дрилинга. Монологи любви. Сборник стихов. Перевод с литовского. 111 стр. Цена 31 к.

М. Каминский. В небе Чукотки. Записки полярного летчика. 368 стр. Цена 99 к.

И. Минутно. Давно, когда была юность. Повести. 351 стр. Цена 47 к.

Ю. Фучик. Избранное. Перевод с чешского. 479 стр. Цена 1 р. 72 к.

«СОВРЕМЕННОК»

С. Баруздин. Просто Саша. Рассказы и повесть. 134 стр. Цена 32 к.

А. Бочаров. Человек и война. Идеи социалистического гуманизма в послевоенной прозе о войне. 456 стр. Цена 1 р. 20 к.

Х. Гиляжев. Весны мои не считаны. Стихи и поэма. Перевод с башкирского. 96 стр. Цена 47 к.

В. Дементьев. Дар Севера. Сборник статей о творческих связях с Севером. 301 стр. Цена 64 к.

Л. Обухова. Вначале была зима. Повесть-воспоминание о Ю. Гагарине. 269 стр. Цена 1 р. 11 к.

В. Садай. Повести о земляках моих. Перевод с чувашского Л. Парфенова. 319 стр. Цена 66 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Бедный. Избранное. Стихи и поэмы. Вступительная статья А. Суркова. 159 стр. Цена 36 к.

И. Васильев. Как жить будете, мальчики? Повесть. 144 стр. Цена 37 к.

А. Воинов. Западня. Роман. 351 стр. Цена 71 к.

И. Ефимов. Сильнее ветра, быстрее звука. Рассказы о науке полета. 96 стр. Цена 28 к.

Н. Печерский. Будь моим сыном. Повесть. 158 стр. Цена 46 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Н. Асеев, Э. Багрицкий, В. Луговской и Н. Тихонов. Сборник стихов. 191 стр. Цена 52 к.

Б. Гусев. Ось жизни. («Писатель и время. Письма с заводов и строен»). 92 стр. Цена 12 к.

Добрая душа. Книга о Николае Рыленкове. Воспоминания, стихи, статьи и рецензии. Составители Г. Ладонщиков, Е. Осетров и К. Поздняев. 335 стр. Цена 98 к.

Ф. Кузнецов. Наставники. («Писатель и время. Письма из деревни»). 80 стр. Цена 11 к.

Е. Лопатина. На Оке и на Каме... («Писатель и время. Письма из деревни»). 80 стр. Цена 11 к.

А. Приставкин. От Братска до Усть-Илима. («Писатель и время. Письма с заводов и строек»). 94 стр. Цена 13 к.

А. Яшин. Сладкий остров. Рассказы. 72 стр. Цена 71 к.

ВОЕНИЗДАТ

В. Ачкасов и Н. Павлович. Советское военно-морское искусство в Великой Отечественной войне. 404 стр. Цена 1 р. 83 к.

Н. Горбачев. Дайте точку опоры. Ударная сила. Романы. («Современный военный роман») 592 стр. Цена 1 р. 35 к.

Е. Долматовский. Всадники, песни, дороги. Стихи и песни. 470 стр. Цена 1 р. 56 к.

К. Фирсанов. Так воевали чекисты. («Героическое прошлое нашей родины») 136 стр. Цена 15 к.

«ПРОГРЕСС»

Запах медовых трав. Рассказы писателей Демократической Республики Вьетнам. Перевод с вьетнамского. 364 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Лерумо. 50 лет борьбы. История Южно-Африканской коммунистической партии. 1921—1971. Сокращенный перевод с английского. Под редакцией А. Ю. Урнова. 311 стр. Цена 1 р. 26 к.

З. Станку. Ветер и дождь. Роман. Перевод с румынского и предисловие И. Константиновского. 667 стр. Цена 2 р. 4 к.

Японская новелла. 1960—1970. Перевод с японского. Составитель К. Рехо. Предисловие В. Гривнина. 443 стр. Цена 1 р. 46 к.

«НАУКА»

О. Горбатов и Л. Черкасский. Сотрудничество СССР со странами Арабского Востока и Африки. 371 стр. Цена 1 р. 56 к.

С. Григорьян. Карл Маркс и социально-экономические проблемы технического прогресса. 240 стр. Цена 94 к.

В. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой. 184 стр. Цена 50 к.

М. Курганцев. Факелы и родники. Сборник очерков и статей о современной литературе афро-азиатских стран. 223 стр. Цена 47 к.

Литературы Индии. Статьи и сообщения. 248 стр. Цена 1 р. 20 к.

Мировоззрение Джавахарлала Неру. Сборник статей. 212 стр. Цена 70 к.

Политика империалистических держав в Африке на рубеже 70-х годов. 140 стр. Цена 76 к.

П. Топеха. Рабочее движение в Японии. 1945—1971. 360 стр. Цена 1 р. 67 к.

Экономика Африки. Сборник статей. 287 стр. Цена 1 р. 56 к.

Ж.-М. Эридна. Трофеи. Сборник стихов. Переводы с французского. Издание подготовили И. Поступальский и Н. Балашов. 327 стр. Цена 91 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Г. Бялый. Русский реализм конца XIX века. Ленинград. Издательство Ленинградского университета. 168 стр. Цена 66 к.

В. Дементьев. Прощаться не будем. Повесть о строителях Волгограда. Волгоград. Нижне-Волжское книжное издательство. 143 стр. Цена 20 к.

И. Марков и Ф. Марков. В сибирской дальней стороне. Роман. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 432 стр. Цена 84 к.

А. Марьямов и А. Шиндель. Североморцы. Очерки. Мурманск. Книжное издательство. 288 стр. Цена 58 к.

Ю. Черный-Диденко. Матвей с «Капитальной». Повести и рассказы. Киев. «Радянський письменник». 280 стр. Цена 41 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь); **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путиновский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: Москва, К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 31/X 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 4/1 1974 г.
А 13231. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
Тираж 175.000 экз. Зак. 3622.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», г. Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0236.

Цена 70 коп.

70636